

**А.Э. ДЕВИТИН-  
КРАСНОВ**

**В  
ПОИСКАХ  
НОВОГО  
ГРАДА**

**ВОСПОМИНАНИЯ  
ЧАСТЬ III**

ТЕЛЬ-АВИВ, 1980

**А.Э. ДЕВИТИН-  
КРАСНОВ**

**А. Э. ЛЕВИТИН-КРАСНОВ**

**В ПОИСКАХ НОВОГО ГРАДА**

**Воспоминания**

**ЧАСТЬ III**

Корректор: **Б. Красная**  
Технический редактор: **Н. Рубина**

**Издательство "Круг"**  
**Тель-Авив**  
**1980**

## ВВЕДЕНИЕ

### В ПОИСКАХ НОВОГО ГРАДА

К своему стыду, я узнал о группе русских литераторов "Новый град", сложившейся в Париже в тридцатые годы, недавно, уже здесь, в эмиграции, и почувствовал себя связанным внутренним родством с этими людьми.

Я в то же время, что и они, искал Новый град там, в такой далекой и такой близкой для них России. И искал там же, где и они, по стопам В. С. Соловьева, по пути духовного просветления и обновления, равно далекого и от большевистских, и от фашистских изуверов — от нестерпимой пошлости буржуазного общества и от ханжеского словоблудия советских нуворишей. И сейчас я слагаю к их святым могилам, к могилам возвышенных идеалистов и истинных христиан, эти воспоминания. К могиле дорогого учителя, давно горячо мною чтимого певца русской святости проф. Георгия Петровича Федотова и к могилам павших от руки немецко-фашистских палачей: истинного русского социалиста и революционера Ильи Исидоровича Бунакова-Фундаминского, княгини Веры Оболенской и ее недавно умершего мужа протоиерея о. Николая Оболенского, матери Марии Скобцовой и ее сына Георгия, отца Димитрия Клепинина, Бориса Вильде, Анатолия Левицкого и к могиле недавно умершего Владимира Варшавского, который своей высокоталантливой книгой "Незамеченное поколение" (Нью-Йорк, 1956 г., изд. имени Чехова) дал мне почувствовать героическую атмосферу, в которой жили, боролись и умерли эти люди.

Господь да упокоит их в своем Небесном Царстве! И да откроется их молитвами грядущий Град на этой темной, грязной и

такой дорогой нам планете и в темной России, такой дорогой и любимой!

И хочется закончить это введение стихами Анны Ахматовой:

“Так молюсь за Твоей литургией,  
После стольких томительных дней,  
Чтобы туча над темной Россией  
Стала облаком в славе лучей”.

*Анатолий Левитин-Краснов*  
*23.7.1979*

*Люцерн*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Итак, 29 мая 1956 года с Казанского вокзала я прибыл после семилетнего заключения в Москву.

Опять Москва.

Приехал в лагерном бушлате, зашел в парикмахерскую против вокзала. И стал бродить по Москве. Все такая же. Как будто не было этих семи лет. Прошел по Большой Спасской, мимо дома, в котором был арестован (жил там в течение 4-х лет), вышел на Садовую.

Говорили мне, что Москва переменялась. Высотные здания очень меняют городской ландшафт. Ничего подобного. Никакие высотные здания не изменяют дух города.

Перемена только для тех, кто не жил здесь, а для тех, кто знает город, — ничего не переменялось. Та же Москва.

Во всяком городе есть нечто неизменное, неуловимое. То, что можно назвать духом города, его характером. И улавливается он не сразу. Надо пожить, приглядеться, войти в самую суть городской жизни.

Дух Москвы в основном мещанский, домовитый, полукупеческий. Сталинские пятилетки с их стремительным темпом этого не изменили. Кипучая энергия. Но лишь на поверхности. В домах старая купеческая, мещанская Москва.

Долго бродил по городу, дошел до Парка Культуры. Здесь — на метро. Доехал до Калужской. И в Донской монастырь. В крематорий. Отыскал место, где находится урна с прахом отца.

Золотая надпись с обозначением фамилии, имени, отчества, дат рождения и смерти. С мраморной доски глянуло хмурое родное лицо. С фотографии, где он снимался за 8 лет перед смертью, когда последний раз был в Сочи.

.....

И только вечером добрался до Вешняков, до отцовского дома, встретился с мачехой. Первый раз после семи лет спал в своей постели, — странное ощущение, — спи сколько хочешь, никто не разбудит, не надо вскакивать и бежать на проверку.

Утром Екатерина Андреевна (мачеха) ушла на работу, и я остался один. Впервые за семь лет.

Достоевский в "Записках из Мертвого дома" говорит, что самое страшное на каторге — невозможность уединиться, всегда на людях, никогда не остаешься сам с собой.

Тяжесть этого я ощутил, лишь очутившись на воле, в этот первый день, в Вешняках, в крошечных двух комнатках, — в небольшом деревянном доме, предназначенном для одной семьи, разделенном на 13 домовладений, — и в каждом жила отдельная семья. Сейчас на этом месте станция метро "Вешняки", а улица вся застроена двадцатипятиэтажными домами.

А все-таки жаль старых Вешняков, где все такое было маленькое, старинное, уютное.

\* \* \*

А интересные места. Сплошь имения московских бояр, преобразившихся со времен Петра в придворных вельмож. Вешняки спокон века были землей бояр Шереметьевых, чья усадьба рядом, в Кускове. Посреди старых Вешняков древняя церковь — двухэтажная. Нижний храм построен при Михаиле Федоровиче, в 1640 году, а второй этаж надстроен уже при Петре, когда один из Шереметьевых возвысился, был главнокомандующим русскими войсками под Полтавой в чине генерал-фельдмаршала.

При нем построен и дворец, весь деревянный, окруженный огромным парком, и пруд (огромный), ископанный крепостными, в виде вензеля грозного царя-преобразователя — латинской буквой "Р". А при Екатерине один из Шереметьевых, гуляя по дороге, обсаженной липами, ведущей из Кускова в Вешняки, встретил девушку — Прасковью Жемчугову, — дочь вешняковского кузнеца. Приглянулась она барину, и взял он ее в свой крепостной театр (напротив дворца — здание, горевшее несколько раз, а потом отстраивавшееся вновь, цело до сей поры). Овладела Прасковья сердцем барина, и произошло чудо из чудес, оставшееся в памяти народной, запечатленное в песнях, многократно описанное мемуаристами: женился всемогущий вельможа, богатейший

помещик Русской империи, владелец бесчисленных поместий, дворцов, десятков тысяч душ крепостных, — на простой девушке из Вешняков и жил с ней в Кусковском дворце, рядом с Вешняками, где половина населения была связана родственными узами с новой графиней. Неприветно встретила ее сановная Москва — не приняла вначале новую барыню в свою среду. А однажды, гуляя в Кусковском чудесном английском парке (он цел до сих пор), подверглась она оскорблению. Подбежала к ней гурьба деревенских детишек, наученная кем-то, и загудели детские голоса: "Тетенька, не знаете ли, где живет здесь кузнец со своей кузнечихой?"

Обиделась молодая графиня, и навсегда покинули после этого Шереметьевы родовое имение, переехав в другое поместье (поближе к Москве) — в Останкино.

Впоследствии рыцарь Мальтийского ордена Павел I поправил дело. Лично посетил Шереметьевых в Останкине и, прощаясь с графиней Прасковьей, вышедшей его провожать, публично поцеловал ей руку.

Все двери после этого открылись перед дочерью вешняковского кузнеца, вся Москва побывала у нее с визитом. Но поздно. Недолго прожила после этого Прасковья Жемчугова. Умерла в злой чахотке, завещав подруге воспитать малолетнего сына Николая.

Николай Шереметьев впоследствии жил в Кускове и оставил по себе плохую память: он, как говорят, был самый жестокий и непреклонный из всех Шереметьевых и особенно не любил обитателей Вешняков, в которых большинство населения были родственники его по материнской линии. Интересно, что все это свежо в памяти жителей Вешняков, — и многие рассказывают обо всем этом так, как будто со дня смерти Прасковьи Жемчуговой прошло не 180 лет, а всего лишь два года. В этом поэтическом месте, куда бросил якорь отец в последние годы жизни, мне предстояло поселиться и прожить пятнадцать лет. И это самое знаменательное время моей жизни.

\* \* \*

Первое место, куда я отправился, была церковь. В ближайшее воскресенье я причастился за ранней обедней, впервые за семь лет.

Вешняковская церковь, где был я прихожанином долгие годы, — знаменательный храм. Когдаходишьтуда, кажется, ничего со

времен Шереметьевых не переменялось: не только старинные иконы, перед взорами которых за 300 лет прошло бесчисленное количество вешняковских крестьян, но и люди как будто те же. Пожилые, простые, скромные, старики и старушки.

Церковь в Вешняках была закрыта в 1937 году. Но пробыла закрытой лишь самое малое время. В 1945 году, сразу после войны, была открыта вновь, так что уцелели все старые иконы и старинная церковная утварь, и все старые прихожане еще были живы; они открыли храм и стояли на тех местах, с которых сигналы их во время закрытия церкви 8 лет назад. Хорошо молилось в этом храме, среди простых русских людей. Особенно хороши ранние обеды в нижнем Успенском храме, низеньком, тесном, древнем, полутемном, — в это время, в ранний час, здесь совсем темно. И одни простые люди. В крохотном приделе — исповедь. На клиросе гудят псаломщики и певчие-любители (простенькие девушки в платочках). Поздняя обедня — в верхнем храме — здесь уже хор. Очень примитивный, но все-таки профессионалы. Поют неважно, особенно неприятны потуги (очень неумелые) на концертное пение.

А в нижнем храме в это время — совсем другие люди, здесь происходят крестины детей.

Масса подвыпивших парней, дамочки в шляпах. Переминаются в ожидании крестин, толпятся у свечного ящика, покупают свечки, расплачиваются... Крестины посреди церковки, двумя-тремя партиями. Каждый раз крестят по сорок-пятьдесят детей. Люди из Вешняков, из Кускова, из Перова, из многих окрестных сел. Церковь одна на несколько десятков километров.

Во время крестин — гомон. Никто ничего не понимает из того, что читает священник по требнику и подпевает дьячок, не понимают и службы. Единственный осмысленный момент — общая исповедь, которая фактически соединяется с проповедью. Здесь иногда проскальзывают в устах священника интересные мысли. Помню, например, рассказ пожилого священника: "... Приходит ко мне однажды, — рассказывает батюшка, — женщина, плачет, плачет: "Облегчите, батюшка, мою совесть..." — "Да что такое с тобой случилось?" И говорит она мне: "Батюшка, я прокляла свою мать... сказала ей: чтоб ты сдохла, старый черт, и она в тот же вечер умерла. И я с тех пор места себе не нахожу". Интересен ответ священника. Интеллигент бы стал успокаивать: "Ну, что ж,

у вас были расстроены нервы..." Фанатик бы сказал: "Окаянная грешница, нет тебе прощения".

Но не так сказал старый, много видевший на своем веку, побывавший в лагерях человек. Он ответил: "Ты мучаешься, плачешь, это хорошо, продолжай плакать — этим ты будешь искупать свой грех".

И передо мной в этот момент прошли многие грехи и тоже хамская грубость, которую я допускал по отношению к бабушке; вздохнув, я перекрестился.

Священники — все старички, люди опытные, практические, прошедшие лагеря. Этого не скрывают: один из наших батюшек, говоря против курения, рассказал, как в лагерях многие меняли последнюю хлебную пайку на курево и умирали прежде времени от дистрофии.

Много говорят против аборт. Один из батюшек, строгий, крикливый, называет прямо женщин убийцами. Бабы плачут.

Изредка ловлю на себе любопытные взгляды батюшек. Но я ни в какие разговоры ни с кем не вступаю. Однажды слышал за собой вполголоса произнесенную реплику: "крещеный". Мачеха мне рассказывала, как кто-то ей говорил: "Сначала удивлялись: еврей пришел в церковь. Потом привыкли".

\* \* \*

Но жизнь состоит не только из церкви. С первых же дней окунулся в милую советскую действительность. Надо прописываться. Часть дома отцовская — собственная, теперь хозяйка мачеха, я также наследник. Прихожу в милицию. В старом пиджаке, в русской рубашке. Какая-то женщина спрашивает: "Вы, товарищ, верно, агроном?" Отвечаю: "Нет, учитель".

Дохожу до окошечка, посылают к начальнику милиции. Здесь, в Вешняках, простота нравов. Офицеры милиции откровенно безграмотные, полупьяные. На моем заявлении безграмотная резолюция: "Отказать. Бывшего в заключении". Еду в Люберцы, где находится районное отделение милиции. Здесь резолюция более грамотная, но сущность та же самая. Остается одна лишь инстанция: областная милиция на Покровке, около Курского вокзала. Направляюсь туда.

Несметные очереди. Чтобы чего-нибудь добиться, надо про-

стоять день. К вечеру меня принимает какой-то чин. Капитан. Типичный чиновник. Вежлив. Блондин. Курносое лицо.

Смотрит документы. Допрос: где жили до лагеря? В Москве. Представляю справку. А во время войны? В армии, в эвакуации. А до войны? Никак не предвидел этого вопроса. Поперхнулся. Он пишет резолюцию: "Отказать. Не житель Москвы". Возмущаюсь. Он говорит: "Записываю вас на завтра к генералу".

Ухожу. На завтра то же самое. Очередь. Иду на Покровский бульвар. Сажусь на скамью. Нахожу соску. Верно, передо мной здесь сидела мать с ребенком. "Хороший знак!" Я всегда был страшно суеверен. Прячу соску в карман, начинаю перебирать документы. И вдруг — чудо! Будучи в лагере, я просил мачеху снять копию с моих документов и прислать мне, заверив у нотариуса.

И вдруг замечаю справку с места работы: "Такой-то работал с 1939 по 1942 год учителем литературы в 4-й школе Московского района". Мачеха, переписывая справку от руки, написала: "В 4-й школе Москворецкого района". Лечу в милицию как на крыльях. С видом победителя подхожу к генералу: "Произошло недоразумение: я житель Москвы. Жил в ней всегда: и до войны, и после войны. Вот документ". Генерал смотрит документ, переворачивает, видит штамп нотариуса, пишет: "Прописать". С тех пор, когда нахожу детскую соску, обязательно поднимаю. Здесь, в Люцерне, у меня уже набралась целая коллекция детских сосок.

Для читателей, не бывавших в Москве и Ленинграде, поясняю. Я работал в 4-й школе Московского района в г. Ленинграде. А Москворецкий район — всем известный исторический район Москвы. Таким образом, описка мачехи и растяпистость нотариуса меня спасли: помогла детская соска.

\* \* \*

И все пошло как по маслу. В эти же первые дни в Москве я неожиданно вернулся к учительской профессии.

Время либеральное. Только что пал культ Сталина, всюду еще висели его портреты, во всех скверах возвышались его статуи, сам он еще величественно почивал в мавзолее, но всюду веял новый дух — либеральная эпоха, либерализм всюду и везде, и наибольшими либералами стремились быть вчерашние чекисты. В этом я убедился через неделю после своего возвращения в Москву.

Поехал я в свою школу в Марьину Рощу за справкой. Пришел. На лестнице меня встретила учительница химии, поганая баба, — но либерализм, так либерализм. Кинулась ко мне с распростертыми объятиями, повела в учительскую. Навстречу моя приятельница — учительница географии. Повели меня к директору. Новый директор. Уходя, моя приятельница показала ему большой палец: “Учитель — во!”

Директор корректный, улыбающийся, в хорошо сшитом заграничном костюме. Еврей. “Прекрасно, прекрасно! У меня долгое время была ваша трудовая книжка, недавно сдал ее в роно. Много слышал про вас”.

Я сказал: “Мне хотелось бы получить символическую нагрузку”. — “Символическую нагрузку я вам могу дать”.

На другой день пришел ко мне коллега, старый учитель, слышавший о моем возвращении, и рассказал мне историю директора. Директор — полковник МГБ, работник дипломатического ведомства. Кстати сказать, в советских посольствах главное лицо был в сталинские времена — не знаю, как сейчас, — не посол, а советник посольства — работник МГБ. Был наш директор советником посольства в Лондоне, потом перекочевал в Прагу; в 1948 году, во время февральского переворота, был поверенным в делах. Видимо, держал в руках дирижерскую палочку. Блестящая карьера предстояла молодому дипломату. Но на беду свою был он еврей. Когда новый фараон Сталин начал в 1952 году гонение на евреев, вышибли нашего советника из дипломатического ведомства, не считаясь ни с какими заслугами, — и поделом: знай, от кого родиться. И тут пришлось дипломату вспомнить, что когда-то, в незапамятные времена, окончил он Педагогический институт. И спустился он с международных высот до Марьиной Рощи, до нашей несчастной, захудалой школы рабочей молодежи. И здесь он всегда держал себя отчаянным либералом (тогда, впрочем, и все себя так держали; с легкой руки Никиты пошла мода на либерализм). И вот принял он в школу гонимого и реабилитированного учителя.

Так, через семь лет я вернулся к учительской профессии, в ту самую школу, из которой я был изгнан таким роковым образом за семь лет перед тем.

Когда-то в лагере был у меня разговор с одним заключенным врачом. Разговорились о прошлом. Рассказывал, как я был учителем.

Он сказал: "А теперь вас в эту школу и сторожем звонки давать не возьмут". Я ответил шутя, с нарочитым еврейским акцентом: "Я таки вернусь и дам в этой школе такой звонок, от которого многим каламутно станет". "Хорошо, хоть надеетесь", — отвечал врач. И он продекламировал, переврав, стихи Ломоносова:

"Надежды юношей питают,  
Отраду старым подают,  
В счастливой жизни услаждают,  
В несчастный случай берегут".

Вообще говоря, у Ломоносова говорится про науки, но, конечно, можно сказать это и про надежды: они и юношей питают, и стариков радуют, и даже иногда, как это ни странно, осуществляются.

Вернулся в школу, а через три года дал такой звонок, что многим, начиная с директора-дипломата, каламутно стало.

\* \* \*

И тут же началась моя церковно-литературная деятельность.

Было это так. Был у меня в Москве друг-приятель (назовем его хотя бы Павловым. Почему бы нет?) Когда-то, в 1945 году, держали мы с ним вместе экзамен в Академию. Оба выдержали, но меня, как я уже рассказывал, выгнали через 2 недели, а Иван Павлов (будем называть его так) прочно бросил якорь в Академии. Был он человек солидный, серьезный, вдумчивый, на 11 лет старше меня. Много испытал, был землемером. Богоискатель. Талантливый и начитанный.

И как это ни странно, крепко подружился со мной, изгоем. Сам смеялся: "Надо же! Из всей Академии выбрал. Нашел с кем. Но всю жизнь тянуло меня к странным людям". Стал я своим человеком у него в доме. Вместе штудировали богословов, вместе обсуждали, часто спорили.

Как пойду к нему, засижусь до 2-х часов ночи. Хозяева мои ворчали: "Неужто до 12 часов все никак не наговоритесь?"

До сих пор с удовольствием вспоминаю эти вечера. Сидим мы в уголке, друг против друга. За ширмой храпит его жена (тоже

чудесная, религиозная, тогда еще молодая женщина, моя ровесница), в другой комнате спят тесть с тещей.

А мы сидим под лампой с зеленым абажуром. Со стены смотрит на нас бородатый Владимир Сергеевич Соловьев. А мы все дискутируем, перебираем Сермитский символ веры, учение Оригена, учение о Софии — Премудрости Божией (в интерпретации Соловьева, Флоренского и Булгакова).

Но наступил 1948 год, стали собираться надо мной грозовые тучи. Дрогнул мой Иван Николаевич (был он человек нервный и нельзя сказать, что очень отважный — Георгия бы за храбрость не получил, хоть человек он глубоко религиозный и кристально честный). И прекратились наши встречи. А через некоторое время меня арестовали.

Сейчас, учитывая "перемену декораций", направился однажды в воскресенье после обедни к нему. Открыла мне дверь теща моего друга, чудесная старая женщина (жива ли теперь, Бог весть; если умерла, Царство небесное и вечный покой ее праведной, чистой душе). Бросилась ко мне на шею, заплакала, ввела в комнату, стала расспрашивать. Смотрит на меня любящими глазами, как на родного сына. Пришла через некоторое время и жена моего друга. Эта сказала с несколько натянутой улыбкой: "Очень приятно вас видеть".

Павлова не было. Он в это время был преподавателем провинциальной семинарии. Я оставил адрес, а через неделю пожаловал ко мне в Вешняки и он сам, мой друг, собственной персоной. Обнялись с ним и расцеловались. И сразу стали обмениваться новостями. Я стал рассказывать о своих лагерных приключениях, а он стал делиться со мной церковными новостями.

Он блестяще окончил Академию, давно уже кандидат богословия. Преподаватель провинциальной семинарии. Но теперь надоело жить в разлуке с женой, решил переводиться в Москву в "Журнал Московской Патриархии". И тут начало моей новой карьеры церковного писателя. Как раз в это время намечался выпуск сборника о Русской православной церкви. Решено было предпослать сборнику вводную статью — очерк по истории Русской церкви. Ведал этим делом Митрополит Николай, а непосредственно все делал секретарь редакции журнала Московской Патриархии Анатолий Васильевич Ведерников.

Иван Николаевич и доложил ему о том, что появился человек,

который мог бы написать очерк по истории Русской церкви. "Кто это?" — спросил Анатолий Васильевич.

"Левитин, помните?" Анатолий Васильевич очень удивился.

"Он же, говорят, умер". — "Нет, воскрес из мертвых".

"Как так?"

"Так. Был семь лет в лагере, сейчас реабилитирован".

"Ну, пусть напишет десять страниц. Посмотрю, как он пишет".

Я написал. Анатолий Васильевич посмотрел, сказал: "Я не в восторге, но я вижу, дело пойдет". Так началась моя деятельность церковного писателя.

\* \* \*

В это время Церковь переживала, быть может, наиболее тягостный период своей истории. Патриарх Алексий, совершенно одряхлевший, немощный, слабовольный (он в это время приближался к своему восьмидесятилетию), фактически совершенно отстранился от дел. Митрополит Николай занимался "внешней политикой" — разъезжал по всему свету, имел репутацию "негласного министра иностранных дел".

Все церковные дела находились в руках протопресвитера Колчицкого, о котором я уже писал во втором томе настоящих воспоминаний.

В церкви еще не было XX съезда, не прошла еще сталинская одурь. Последние годы жизни Сталина — это самое противоречивое время в Церкви. Прекратились гонения. Открылись храмы и обители. Толпы народные заполняли церкви. Но не было священников — все лучшие перемерли в лагерях. Рукополагали первых попавшихся. Налоги были отменены. Зарботки священнослужителей были бешеные. Все это вместе взятое представляло собой великолепную канву для МГБ. Церковь была буквально наводнена агентами, которые настолько распоясались в это время, что действовали почти совершенно открыто, не утруждая себя маскировкой.

Обер-шпиком, особо доверенным лицом МГБ, был на протяжении всего этого времени (с 1941 по 1958 год) протопресвитер Николай Колчицкий. Его власть несколько умерялась Даниилом Андреевичем Остаповым, лицом, лично близким Патриарху, с которым приспешники Колчицкого хотели расправиться, но у них оказались коротки руки.

При попытке его арестовать Патриарх обратился лично к Сталину, и Данила был немедленно освобожден.

Д. А. Остапов пытался противодействовать Колчицкому. Но человек малограмотный (бывший лакей в доме Симанских — родителей Патриарха) понимал свою задачу очень узко: он заботился лишь о том, чтобы личный авторитет Патриарха не был задет. В непосредственном окружении Патриарха действуют интеллигентные люди, но донельзя ограниченные, трусливые, одержимые карьеристским зудом: в числе их можно упомянуть священника о. А. (ныне покойный — не будем тревожить его памяти); был и картинный молодой человек с выхоленной бородой, с манерами князя церкви, иеродиакон Питирим Нечаев, ныне здравствующий и преуспевающий архиепископ Волоколамский, редактор "Журнала Московской Патриархии".

Своеобразное впечатление производили тогдашние настоятели московских храмов. В свое время Чацкий характеризовал полковника Скалозуба как "созвездие маневров и мазурки". Тогдашних настоятелей московских храмов можно охарактеризовать как "созвездие духовной консистории с МГБ". Тогда еще уцелел старый тип благообразного, степенного батюшки, отпрыска духовной династии. И в то же время все эти бати из кожи лезли вон, чтобы показать свою "лояльность", быть апробированными советской властью. Настоятелем Елоховского собора был "сам" благочестивейший протопресвитер Николай Колчицкий. Открытое прислужничество советской власти (по его собственным словам, у него "не было секретов от Сталина") сочеталось у него с любовью к уставному богослужению, к церковному благочестию, к внешнему благолепию. Человек грубый, мелко мстительный, тщеславный, он сочетал свое прислужничество Сталину с грубым антисемитизмом и черносотенством. Благо, в то время это поощрялось. Тем не менее и он находил многих почитателей и духовных дочерей. Незадолго до отъезда из России я был в Переделкине, где за алтарем патриаршего храма находится его могила. На кресте я увидел карандашную надпись, видимо, сделанную кем-то из его поклонниц: "Спасибо, что ты жил". Каюсь, у меня зачесались руки, чтобы продолжить надпись: "и нам служил — КГБ". К счастью, у меня хватило сил, чтобы преодолеть это искушение и не осквернить могилу.

Под стать отцу Колчицкому настоятель второго по значению московского храма — "Храма Воскресения Христова в Сокольни-

ках” — протоиерей о. Андрей Расторгуев (человек злобный, крикливый, грубый, из симбирских купцов), он был буквально помещен на церковном уставе. В праздники, стоя на клиросе, сам часами вычитывал канон (канонаршил), бдительно следил за точным соблюдением устава и был очень близок к “сферам”, часто ездил за границу. Одно время был, в частности, настоятелем православного патриаршего собора в Берлине.

И наряду с этим было множество скромных, глубоко религиозных, много испытавших, многострадальных батюшек, которые скромно и смиренно делали свое дело, с утра до ночи исполняли свои обязанности: крестили, отпевали, причащали больных. Вся тяжесть духовного труда лежала на них. И они безропотно и смиренно делали свое дело. Царство им небесное и вечный покой.

Среди епископов тогда еще не появился новый тип архиерея “никодимовского типа” — молодого энергичного администратора-карьериста и бюрократа в рясе. В то же время еще превалировал тип архиерея-старца, обычно из вдовых протоиереев, религиозного, спокойного, стремящегося ни с кем не портить отношения. Были также и среди архиереев “молодые из ранних”, вроде епископа Сергия Ларина. Но, в общем, преобладали чистые люди.

Как обстояло дело с религиозностью духовенства?

Как-то один священник мне сказал: “Я знал священников небрежных, развратных, пьяных, но я не знал ни одного неверующего священника”. Думаю, что он прав. Религиозными людьми были и Колчицкий, и Расторгуев, и все остальные. Все они молились искренно, а перед смертью глубоко каялись в своих грехах и умерли, как христиане, причастившись с горячей верой Святых Таин. Как оправдывали они свои действия, столь мало совместимые с Евангелием Христовым?

Мне приходилось беседовать с некоторыми из них на эту тему. Первое оправдание: ссылка на семью, на детей. “А что мне оставалось делать? Я жалел своих детей”. Нельзя отказать этому аргументу в правдивости: арест в 30-е годы — не шутки. Часто вслед за арестом следовали репрессии по отношению к семье, не говоря уже о том, что семья оставалась без кормильца. Некоторые, чтобы застраховать себя от ареста, становились стукачами (что, кстати сказать, еще не гарантировало их от тюрьмы).

А став на этот путь, они становились ярыми приспешниками МГБ и моральными дегенератами. Были также люди, которые

успокаивали свою совесть рассуждением о том, что все это делается для блага церкви.

У Патриарха Сергия — глубокого богослова и психолога — есть великолепное выражение: “услужливая совесть”. Успокоить, подкупить свою совесть можно всегда — Христа никак не уговоришь и ничем не купишь.

Тем не менее не будем и в них кидать камень. Да примет Господь их предсмертное покаяние и да упокоит их в Своем Царстве.

Так, постепенно я постигал жизнь, в которую мне предстояло войти, которой мне снова предстояло жить. Незаметно пробежало лето. Наступила осень. Наступил для меня первый после долгого промежутка учебный год.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### БОЛЬШЕ СВЕТА

“Света! Света! Ставни шире!  
Тьма окутывает веки!  
Света! Света! Больше света —  
Прежде, чем уйду навеки!”

*(Фрэнсис Эллен Харпер)*  
*(Перевод: Г. Бен)*

Пятидесятые годы — борьба тьмы со светом. Еще крепка кагебистская хватка, еще все погружено во мрак. И все-таки проблески света, светлые блики, “солнечные зайчики” врываются сквозь тщательно занавешенные окна, сквозь дверные щели. Где-то восходит солнце. И опять хочется сказать об этом стихами, вещими стихами гениального современника:

“Как обещало, не обманывая,  
Ворвалось солнце утром рано,  
Косою полосой шафрановой  
От занавески до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою  
Соседний лес, дома поселка,  
Мою постель, подушку мокрую  
И край стола за книжной полкой”.

“И солнечные блики везде и всюду, — и на этих страницах, столь чуждых Вашему поэтическому уединению”. Так писал я Б. Л. Пастернаку, посылая ему свои самиздатские статьи в 1959 году, за год до его смерти. А пока никаких статей еще не было: 1 сентября 1956 года скромный учительшка вошел в 10-й класс, в школе рабочей молодежи в Марьиной Роще, и начал говорить

о Горьком. Директор имел со мной перед этим беседу, просил меня в коллективе "не выпячиваться" и не говорить о том, что я прибыл из заключения. Я пожал плечами: "Так в этом же коллективе и так все это знают". — "Пусть знают, а вы все-таки не говорите". Я промолчал.

Уже 1 сентября, в первый же день, со свойственной мне болтливостью я рассказал о своих злоключениях по меньшей мере сотне человек. В 9-м и 10-м классах, всем учителям и всем техническим работникам. Директор качал головой: "Я же вас просил..." — "Просили, а у меня нет никаких оснований этого стыдиться". Словом, в первый же день я вошел в привычную для меня роль "enfant terrible", которую играл всюду и везде.

Сразу же усвоил с учениками привычный мне фамильярный тон, кое с кем поссорился, кое с кем поругался, наговорил грубостей всем и каждому. Словом, Левитин в своем репертуаре. Как будто тех семи лет не было.

В школе за эти семь лет порядка еще меньше, знаний также. Хрущев решил зачем-то разрушить весь тот порядок, который мы, учителя, с таким трудом налаживали в течение 20 лет. Зачем-то отменил все переводные экзамены. Экзамены на аттестат зрелости свел к минимуму. Из программы выкинул все моменты, способствующие общему развитию. В Марьиной Роще, самом хулиганском районе Москвы, все это было воспринято как полная индульгенция делать что угодно, как угодно, а также вообще ничего не делать. Директор, строгий по отношению к учителям, предпочитал (как тонкий дипломат) не вмешиваться в отношения между учителями и учениками. И опять вся неразбериха, все трудности пали по обыкновению на плечи учителя. Справились. А со мной, при моем несдержанном характере, непрестанно случались инциденты.

Вот, например, в 9-м классе, где публика особо хулиганистая, объясняю и вдруг вижу: один парнишка читает книгу. Подхожу, захопываю книгу, через минуту смотрю: он опять читает. Захопываю. Опять книга на парте. Опять захопываю. Здесь начинается "бой быков". Читать он все равно не может — я не даю. Он нарочно открывает книгу, а я как сумасшедший уже ничего не вижу, кроме этой книги. Наконец, когда книга раскрылась в десятый раз, я подбежал к 20-летнему парню (ведь это школа рабочей молодежи), треснул его со всей силы по затылку и зарорал как бешеный: "Вон отсюда, сволочь". Парень вышел, а дру-

гой, хамоватый, хулиганистый парень на последней парте (его однофамилец — Васильев, как сейчас, помню), вступился за своего тезку. “Первый раз слышу, чтоб в советской школе ругали учеников сволочью”. — “Не слышал, так услышишь. Пятнадцать лет преподаю, а такой сволочи не видел”. — “Мы только знаем, что вы в тюрьме сидели”. — “В тюрьме сидел, и там такой сволочи, как ты, не видал. Пошел вон, чтоб духу твоего на моих уроках не было!”

Девчонки начали меня успокаивать: “Что вы, что вы, Анатолий Эммануилович!” А я как бешеный. В таком состоянии меня и блатные побаивались. “Кровавые мальчишки” в глазах и прямо на нож лезу. Потом пришел в себя: что же я все-таки наделал?

На другой день спрашиваю завуча: “Ну как, вам на меня не жаловались?” — “На вас — нет, а в чем дело?”

На другой день прихожу на урок. Приходит Васильев, которому я запретил показываться у меня на уроке. Нерешительно останавливается на пороге. Я: “Входи, входи, хороши оба: и ученик, и учитель”. Он проходит к своему месту. Урок начинается. Инцидент исчерпан.

“И при всем, при том” ребята на меня не обижались (босяцкая Марьяна Роща — свой своего видит издалека), а на моего коллегу, учителя математики, деликатнейшего, аккуратнейшего, культурнейшего человека, они ходили жаловаться толпами и добились, что его в конце концов сняли.

Это был небольшого роста сладковатый еврей, муж нашей старой учительницы. У него произошел в этом же классе следующий инцидент. Приходит он в класс, осматривается. Начинается медоточивая речь: “Что это за бумажечка? Поднимите бумажечку”. Молчание. “Что же, мне самому поднимать бумажечку?” Голос с задней парты (того же Васильева): “Обломовых у нас нет”.

Рассказывая мне об этом, коллега прибавил: “Тут я понял, что это уже ваша работа”. Действительно, только что перед этим мы проходили “Обломова”.

Среди учительского коллектива много старых друзей. Хорошие, трудящиеся люди. Единственные, которые несли свет в эту дикую Марьяну Рощу. Но за то время, что я отсутствовал, появились новые учителя. Лев Михайлович Малкин. Так же, как я, недавно вернувшийся из лагеря. Его история такова.

Отец — крупный инженер, умерший перед войной. Мать — Клав-

дия Федоровна, — и ныне здравствующая, осталась после мужа с двумя детьми. Лева в детстве обнаруживал большие способности. Его считали вундеркиндом. Во время войны, окончив уже в шестнадцать лет школу, поступает в университет на филологический факультет, здесь начинаются знакомства, завязываются "опасные связи". Он знакомится с компанией интеллигентных ребят, среди которых Вячеслав Грабарь, сын знаменитого художника. Либеральные разговоры. Критические замечания в адрес "вождя и учителя". По обыкновению, находится стукач. Всех арестовывают. Игорь Эммануилович Грабарь как раз в это время писал портрет Сталина. На очередном сеансе умоляет своего модельера спасти сына. Тот обещает. Действительно, на другой день сын на свободе. Все остальные парни остаются в тюрьме, зверские пытки, знаменитая "ласточка". Знаю, испытал это тоже. Неприятная процедура. Кладут на животик. Руки связывают с ногами. Веревками подтягивают к потолку. Раз-два, раз-два. Пока не лишишься чувств. Потом обливают водой. Каждый раз, когда Лева приходил в себя, первое, что видел — пожилого врача в белом халате, с интеллигентным лицом, в пенсне; ощупав пульс, врач говорил: "Можно продолжить". И у Левы закипела дикая злоба. Это помогло выстоять. Он не сказал ни единого слова. Десять лет лагерей. Освободился раньше меня. Помог И. Э. Грабарь. Его немного мучила совесть, что он просил Сталина только за сына, не сказав ни слова о его друзьях.

Вышел из лагеря. Женился. Поступил в университет, на этот раз на физико-математический факультет. Решил, что с литературой лучше не связываться ("опасный вид спорта"). Поступил в нашу школу учителем математики. Красивый парень. Девчонки от него без ума. И сам он нельзя сказать, что равнодушен к женскому полу. Остроумен, развит, начитан, блестящие способности — великолепный учитель; и вообще все, за что бы он ни принимался, удается. На редкость талантлив. Но юность, проведенная в лагерях, сказывается. Лагерь усилил в нем богемность, свойственную ему от природы. Сейчас в Москве. Много работает. Нежный отец. Очень любит своих двух дочерей. Переписываемся с ним до сих пор.

Как я уже писал, о моей религиозности еще до моего ареста знали многие. О некоторых эпизодах я писал в своей самиздатской статье "Вырождение религиозной мысли". Расскажу кое о чем еще раз.

В десятом классе перемена. Выхожу, чтобы проветриться, на лестничную площадку. Стоят несколько парней, курят. Я стою рядом. Один из парней — Зеленов. Типичный марьинорощинский хулиганистый парень. Работает полотером. Обращается ко мне:

“Анатолий Эммануилович! Когда я был в армии, у нас был один парень с Западной Украины, окончил десятилетку с золотой медалью. А он верующий. Как это может быть?”

Я (спокойно): “Друг мой, я сам верующий”. Шок всех окружающих. Парень — коммунист, стоящий рядом со мной, делает корректно отсутствующее лицо: “Я ничего не слышал”.

В этом классе у меня также были напряженные отношения с ребятами. Но после моих слов лед был разбит. Я почувствовал теплую дружбу ко мне со стороны класса. Ребята и девочки стали относиться ко мне хорошо: вели со мной с полной откровенностью дружеские разговоры. В этих разговорах иной раз высказывались на очень опасные темы.

Говорит мне, помню, один парень: “Вот все говорят: революция, революция. А моя теща мне говорит: я вот в старое время 12 ребят вырастила, попробуй-ка ты вырасти. Мне и крыть нечем”.

Другой раз один рабочий парень мне говорит: “Как тут быть смелым? Есть-пить надо. Ведь вот женился, ребенка жду”. Я отвечаю также с полной откровенностью, говорю о Христе. Он отвечает: “Так ведь у Него семьи не было. Он, говорят, ходил по селам, побирался”.

Мой друг Иван Павлов меня останавливал: “Опять ведь влипнешь с этими разговорами. Опять в тюрьму попадешь”. — “Не влипну”. “Беда с этими евреями, — говорил Иван Николаевич, — русские люди, верующие, ходят в церковь, едят по праздникам пироги — и довольны. А этот, из евреев, стал верующим, так подавай ему Бога всюду и везде. Даже в советской школе”.

Впрочем, нечто подобное говорил мне и еврей — Вульф Исаевич Каневский, тоже учитель, бывший троцкист, мой товарищ по лагерю, отсидевший в лагерях дважды. Как сейчас, помню его выразительное междометие: “А!” ... И потом выразительную фразу: “Не терпится вам туда опять попасть”. Но у страха глаза велики. Никто из учеников на меня никогда не доносил, и ни разу я за свои разговоры с учениками никаких неприятностей не имел.

Часто бывали с ребятами забавные инциденты. Прихожу на

Пасхальной неделе в девятый класс. Ребята ко мне обращаются (со мной вообще держались очень фамильярно): "Анатолий Эммануилович! Вы верующий? Давайте с девчонками христосоваться". Я (на полном серьезе): "Да, я верующий". Опять шок всего класса. "Но почему? Какие у вас основания?" — "Ребята, у нас же сейчас не урок Закона Божия. Вы спрашивали, я ответил. А теперь займемся Чеховым".

Наш директор любил своеобразные мероприятия. И опять они у меня всегда выходили боком. Директор собрал 8-е, 9-е и 10-е классы для лекции на тему: "В чем счастье?" Лекцию проводила моя коллега, учительница литературы Любовь Семеновна Пустыльник, работавшая параллельно лектором в Московском лекционном бюро. Встал вопрос о том, чтобы уроки отменить и всех позвать на собрание. Лев Михайлович протестовал, прибежал в учительскую: "Как, из-за бесполезной болтовни отменять математику?" Директор, болезненно морщась, сказал: "Ну, ладно, ладно, не отменяйте". (Дело было сугубо добровольное, и отменять уроки директор не имел права.) Что касается меня, то я объявил в своем классе об этом мероприятии так: "Ребята, сегодня будет вместо уроков лекция: "В чем счастье?" Я, правда, этого не знаю, но Любовь Семеновна знает и все вам скажет". На этот раз морщатся ребята: "Ну, опять будут говорить: счастье — в труде". Любовь Семеновна, однако, ограничилась лишь общими фразами. Она стремилась превратить лекцию в диспут. Стали высказываться ученики и ученицы. Меня поразила ограниченность интересов молодежи. Все сводилось к тому, какие танцы танцевать, какие брюки (широкие или узкие) носить.

Под конец я взял слово: начал французской поговоркой: "Плох тот солдат, который не хочет стать маршалом". А затем стал укорять ребят: "Почему у вас всех такие малые требования к жизни? Почему только танцы и брюки определенной длины и ширины?" Стал говорить о великих людях, указал на портрет Паскаля (диспут проходил в физическом кабинете): "Взгляните на этого парня. Ему здесь 20 лет. Если ему состричь кудри и одеть его вместо камзола в пиджак, будет походить на вас. Почему бы вам не походить на него?" И закончил речь: "Стремитесь быть маршалами, а если не будете стремиться, так и останетесь солдатами и будете очень жалкими и неинтересными людьми".

Опять шок всех присутствующих. Директор морщится. Учителя улыбаются. Обиделись и ребята. Не мои ученики (те уж при-

выкли к моим выходкам), но ведь здесь были собраны ученики параллельных классов. Жаловались потом моим коллегам: "Почему он так нас оскорбил?" А я оскорбить никого не хотел: просто сказал, что думал.

Другой раз еще лучше. Опять лекция о счастье. На этот раз пригласили "варяга" из Союза советских писателей, поэта Финкельштейна. Сказал поэт речь; когда говорил, казалось: "какой милый, симпатичный человек". Но когда стал читать свои стихи о гражданской войне, Боже мой! О каком-то Митьке — партизане:

"Он еще девчонок не любил,  
А уже пятнадцать подстрелил..."

Как говорят в таких случаях евреи, "тоже мне стихи!". Но вот кончил речь поэт, стали высказываться ребята. В перерыве ко мне подходит девушка, моя ученица: "Анатолий Эммануилович, я хочу сказать о религиозных предрассудках". — "Скажите все, что вы хотите". Она действительно выступила. Шаблонные фразы из антирелигиозных статей. На этот раз с довольным видом смотрит на меня директор. Приходит очередь морщиться мне. После диспута ко мне подходит девушка, ожидая комплиментов. Директор (демонстративно), глядя на меня: "Прекрасно выступали, прекрасно!" Уходит. Я (спокойно): "Когда вы у меня спрашивали, как вам выступить, я сказал: "Скажите все, что хотите". Но с моей стороны было бы двурушничеством, если бы я вам не сказал: я сам верующий и каждое воскресенье хожу в церковь". Бедная девушка как ошпаренная: "Какой ужас!"

После этого избегала мне смотреть в глаза, чувствовала себя со мной неловко.

Кончил год экстравагантно. Для выпускного вечера было снято помещение столовой около Садовой-Каретной. Духота страшная. Набралось в небольшом помещении 200 с лишним человек. Сначала сидел с учителями. Речи. Обычные учительские разговоры. Выпиваем по маленькой. Тоска зеленая.

Перешел к ребятам. У этих весело. Подносят мне водку в стаканах (принесли с собой). Чокаюсь с одним, с другим, с третьим. И вдруг... провал...

Открываю глаза: лежу на диване. Большая, типичная рабочая комната, разделенная занавесками на 3 части. Рядом со мной аккуратно сложенный вычищенный пиджак. Ничего не могу по-

нять. В это время приходит парень (Миша Катков), учился у меня два года. Хороший парень, но с ленцой. Собирался однажды жаловаться на него родителям. Подходит ко мне: "Как себя чувствуешь?" — "Ради Бога, как я к тебе попал?" — "Потом, потом об этом..."

Ложится на пол. Соображаю: вчера был вечер. В хорошеньком виде меня, значит, привезли к нему. Сейчас проснутся родители Михаила, в хорошем я положении. Встаю. Голова трещит, в глазах все двоится. Трогаю за плечо Михаила. "Открой мне дверь. Как это вышло?" Он меня провожает: "Да, ничего. Говорят, Анатолий пьяный, вызвали грузовик, хотели везти к вам домой. Я говорю: "Везите ко мне". — "Ну, спасибо". На прощанье все-таки парень съязвил: "Хотели у меня побывать — вот и побывали!"

Иду по улице. Безлюдье. Рано, пять часов. Дохожу до Новослободской. В сквере сажусь на скамейку. На воздухе развезло. Слышу на соседней скамейке разговор троих рабочих: "Пьяный. Еврей. Вот и евреи пьют". Встаю, подхожу. "Нет, евреи не пьют, но у меня мать русская, видимо, она все дело испортила".

Когда рассказывал потом матери об этом эпизоде, она сказала: "Мерзавец" — и много смеялась.

А осенью разговор в кабинете директора: "Я слышал, вы спрашиваете, что с вами было весной на вечере. Могу сказать. Вы лежали как пласт, а дорога вокруг вас была на километр не проезжая. Как это могло быть?"

Я (смущенно): "Да не знаю. Ребята подливают водку стаканам. Я пью по привычке".

Завуч (интересная, язвительная дама): "Странные у вас, однако, привычки!"

\* \* \*

А весной, во время каникул, побывал в Ленинграде, в моем родном, обожаемом Питере. Увидел Дору Григорьевну. Наконец-то. Трогательная встреча. После стольких лет. Через три дня, однако, поссорились. Мирясь, вручил ей стихотворение, написанное сразу после ссоры. Поссорились мы на улице, проходя по Большому Проспекту, на Петроградской стороне.

"Была весна и ветер был,  
Сказала ты: "Довольно,

Давно огонь наш отчадил".  
И стало весело и больно.  
Свернул в Гребецкую, во мрак,  
Легко здесь и спокойно,  
Лишь пьяный возится впотьмах  
И стих слагается невольно.  
Коленце, угол и доска:  
"Тут жил поэт — Михайлов".  
И грязь, и слякоть, и тоска...  
Так застрелился Свидригайлов.  
Да, здесь, у этой каланчи,  
В такой, должно быть, вечер  
Провыл последнее "прости"  
Ему такой же ветер.  
И я свое уж отчудил,  
Легко мне и спокойно,  
Давно огонь мой отчадил,  
И лишь немного больно".

вместе с сынишкой, работая с утра до вечера, зарабатывая себе на хлеб тяжелым учительским трудом.

Связи с церковью не порывал, хотя, разумеется, это не афишировал (как сказал он мне однажды: "Я не так болтлив, как вы" — что правда, то правда). Был всегда, как практический человек, ярим сторонником Митрополита Сергия (его политика "лояльности" была в те тяжкие времена единственно возможной, хотя и не была свободна от ряда ошибок). В 1945 году, после сталинского "конкордата" с церковью, Анатолий Васильевич Ведерников бросает якорь в церковные круги. Он становится сначала одним из руководящих работников вновь основанного Богословского Института, а затем редактором "Журнала Московской Патриархии". (Правда, без официального титула — номинальным редактором был Митрополит Николай.) Он был рожден для этой должности: трудолюбивый сверх меры (он мог работать буквально круглые сутки), уклончивый, обладающий способностью быстро улавливать момент, быстро ориентироваться, находить нужные формулировки, он был буквально незаменим. Анатолий Васильевич не только редактировал журнал — его перу принадлежат все ответственные выступления в международных форумах Патриарха Алексия и Митрополита Николая.

Была у него, однако, черта, не совсем подходящая к должности редактора официального журнала: он имел на редкость доброе, отзывчивое сердце и буквально не мог видеть равнодушно человека в беде и ему не помочь. Характерный момент:

Как раз в описываемое мною время освободился после семилетнего пребывания в лагерях Дмитрий Дудко. Когда он явился в Академию, он столкнулся с ледяным тоном ректора, с холодной недоброжелательностью инспектора. Даже духовник Лавры, сам бывший лагерник, когда он подошел к нему под благословение, тихо сказал: "Благословлю после — ты же сейчас только из заключения".

И вот, Дмитрий явился в редакцию "Журнала", разумеется, не ожидая ничего доброго. Робко вошел в помещение. А Ведерников, завидя его, выскочил из-за стола, воскликнул: "Митя! — и крепко сжал его в объятиях. А потом помог чем мог.

Когда я приехал, в церковных кругах была сенсация: Анатолий Васильевич после 32-х лет "соломенного вдовства" женился. Да еще как романтически женился!

Этого от него никто не ожидал. Я, услышав об этом, не поверил

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ANTE LUCEM

*(Перед светом)*

Предыдущую главу я окончил описанием пьяного вечера со школьниками. И эту главу я должен начать описанием пьяного вечера. Пьянел я всегда с одной рюмки. И сразу развязывался язык.

Однажды на учительском вечере я сказал директору: "Настоящий начальник у меня не вы, Михаил Маркович, — настоящий начальник на Цейлоне". В первый момент директор выпучил глаза. А потом посмотрел на меня испытующим и любопытным взором. И понятиливо протянул: "А-а!"

В это время все газеты писали о конгрессе мира на Цейлоне и о пребывании там Митрополита Николая. Действительно, школа была лишь одним (и притом) не главным аспектом моей деятельности. Уже в первые дни моего пребывания на воле я установил связь с церковными кругами. Началось с очерка по истории Русской Церкви для готовящегося сборника о Православной Церкви, который должен был быть издан на шести языках.

Работал над этим очерком с увлечением. Вообще, как это ни парадоксально, писать я выучился в лагере. Преподавателем я стал в 19 лет и с тех пор привык все свои мысли излагать устно. Писал плохо. Диссертация, написанная мною перед арестом, написана так неряшливо и таким тяжелым слогом, что мне самому противно взять ее в руки. (Другим, вероятно, еще противнее.) И лишь в лагере, оторванный от живого слова, от возможности преподавания, я стал писать. Писал статьи, читал их ближайшим друзьям, уничтожал (одну из моих статей, впрочем, удалось вынести из лагеря Вадиму Шаврову, и она была потом даже напечатана в одном из парижских журналов). Поэтому, выйдя из лагеря, я стал с необыкновенным увлечением писать на дорожную для меня тему. Близким людям понравилось. Павлов, который отнюдь

не склонен был к комплиментам, сказал: "Хорошо, легко", хотя и ополчился против ряда нецерковных моментов. Особенный гнев вызвало у него вставленное мною в очерк юношеское стихотворение об Александре Невском. Его от этого стихотворения чуть удар не хватил. "Это еще что такое?" — воскликнул он весь красный от гнева, перечеркивая стих. Редактор, более снисходительный, был более либерален: "Да, да, прекрасное стихотворение, — сказал он. — Шура (это уборщица), отнесите, пожалуйста, статью в машинное бюро. Пусть перепечатают ее без этой страницы".

Мачеха, Екатерина Андреевна, также похвалила, хотя и в своеобразной манере: "Диссертация твоя — произведение нормального человека, а здесь сразу видно, пишет одержимый". Она и сама не понимала, наверное, какую глубокую мысль высказала: писать надо лишь в состоянии одержимости или не писать вовсе.

Сначала все делалось через Павлова, а потом (в один прекрасный день) явился я в Новодевичий, в бывшие игуменские покои (над воротами), где тогда помещался "Журнал Московской Патриархии". Здесь я предстал перед Анатолием Васильевичем Ведерниковым, многолетним редактором журнала.

Так как с ним моя деятельность была связана (прямо или косвенно) в течение многих лет, не могу не рассказать и о нем (хотя это, конечно, не приведет его в восхищение).

Анатолий Васильевич — человек двадцатых годов. Крестьянский сын, уроженец Тверской губернии, Старицкого уезда (отец его, наряду с крестьянством, столярничал, умер сравнительно недавно, дожив до 90 с лишним лет). Крестьянский сын был первым на селе, который получил высшее образование (окончил университет). Воврав еще в детстве крепкую крестьянскую религиозную традицию, он на университетской скамье увлекся русской мистической философией и богословием. Однако в двадцатые годы все было под запретом — работать в этой области было невозможно. По окончании университета — работа в школе учителем русского языка, потом в консерватории.

Не сложилась у него личная жизнь. Женился он по-крестьянски, в ранней молодости, в 19 лет; однако брак не был счастливым: вскоре ушла от него жена, оставив ему малолетнего сына Колю (ныне протоиерея, настоятеля одного из подмосковных храмов отца Николая Ведерникова). И жил Анатолий Васильевич бобылем

ушам и взглянул на Павлова как очумелый: что он шутит или рехнулся? А новая супруга Анатолия Васильевича — колоритная женщина во всех отношениях. Ее жизнь — тема для романа.

По национальности — еврейка. Это одно уже способно ошарашить кондовых церковников, не лишенных антисемитизма.

Дочь крупного киевского коммерсанта. Еще гимназисткой обращала на себя всеобщее внимание. Ослепительная красавица (красива она и теперь, в глубокой старости), умница, блестяще эрудированная, без труда изъяснявшаяся на многих языках. В революцию с семьей отца эмигрировала в Париж.

Через некоторое время выходит замуж за молодого ученого, профессора Оксфордского университета. Переезжает с мужем в Англию. Однако вскоре муж умирает, оставив ее с двумя детьми (сыном и дочерью), которые в настоящее время живут в Америке. После смерти мужа вновь переезжает в Париж, живет с семьей отца. Знается с литературной и театральной богемой. Затем встречается с эмигрантским священником о. Андреем. Восприимчивая, эмоциональная, быстро подпадает под его влияние. Погружается в Евангелие, изучает богословие. Решает креститься. Это намерение приводит в ужас ее отца. Она знакомит его со священником. Отец Андрей произвел на старика неожиданно сильное впечатление.

Старый скептик сказал: "Если есть Бог, то Он похож на этого человека". Дочь, однако, просил не креститься до его смерти.

Она все-таки приняла крещение в самой романтической обстановке. Крестилась в Сене через погружение, а ее крестная мать, знаменитая артистка Художественного театра Германова, возлила на нее воду, привезенную из Палестины, из реки Иордана. После смерти отца она унаследовала от него большое состояние и на свои деньги построила в Париже церковь.

Но вот, наступает война. Париж в руках нацистов. Она, ее мать и дети подлежат, будучи евреями, уничтожению. Скрывается. Активная участница "Resistance" (Сопrotивления). Мать прячется в другом месте. А детей в течение 5 лет прячет у себя на квартире отец Андрей.

Но вот война окончена. В эмигрантских кругах увлечение Советским Союзом. Преосвященный Евлогий — глава эмигрантского духовенства в Париже — присоединяется к Патриархии, Митрополит Крутицкий Николай приезжает в Париж. Отец Андрей

поддается этой волне. Елена Яковлевна — тоже ярая советская патриотка.

Отец Андрей побывал в Москве. Возвращается. На rue Daru встречается со своей духовной дочерью. Восторженный рассказ о Москве. О возрождении там религиозных чувств. К ним подходит "новая эмигрантка", из "второй волны", власовка. Бросает о. Андрею реплику: "А странно, что вас там не расстреляли". Экспансивная Елена Яковлевна — на всю улицу: "Мерзавка!"

Один за другим ее знакомые едут в СССР. Возвращается на родину и отец Андрей.

Елена Яковлевна тоже хотела бы возвратиться, но останавливают дети: взрослые — сын и красавица дочь, которые родились за границей.

Между тем наступает "холодная война". Елену Яковлевну в один прекрасный день вызывают в "Сюрте Женераль". Там ее принимает любезнейший чиновник ("Сахар Медович"), владеющий русским языком. Заверяет в своей любви к Русской православной церкви (сколько, однако, у нас друзей!), предлагает место тайного агента. Категорический отказ. На другой день приказ о высылке из Франции.

Ее в сопровождении двух чиновников везут к французской границе. К вечеру подъезжают к Страсбургу; один из сопровождающих спрашивает у все еще прелестной сорокалетней дамы: "Где же вы хотите ночевать? Куда мы едем: в отель или в тюрьму?" Резкий ответ: "В тюрьму". Через несколько дней в Берлине. В Советской зоне. Устраивается переводчицей в представительство "Московской Патриархии". Во главе представительства — епископ Борис (Вик); его подручные: о. Андрей Расторгуев и небезызвестный Шишкин — присяжный, профессиональный стукач. Теперь уже все трое покойные. *De mortuis aut bene, aut nihil*. Поэтому "*nihil*".

Она все еще наивна, как дитя. Разговор за завтраком. Говорят о том, что немцы очень боятся коллективизации. Елена Яковлевна: "Какие мерзавцы — немцы! Почему они не хотят, когда это так оправдало себя в России?" Пауза. После завтрака Шишкин стремглав бежит в комендатуру (видимо, жаловаться на провокацию — никто же не может себе представить, что такую фразу можно произнести всерьез). Через некоторое время Елена Яковлевна наконец получает разрешение вернуться в Москву.

Приезжает. Все советские люди, которых она знала в Париже, —

как будто их подменили. Митрополит Николай, который в Париже была сама любезность, ее не принимает. Остальные также. Родной брат (советский человек) отказывается с ней увидеться.

Елена Яковлевна — прекрасный художник, специалист по стилизации древней иконописи. Кто-то советует ей обратиться в "Журнал Московской Патриархии"; она отправляется в Новодевичий и здесь встречается с Анатолием Васильевичем. Он принимает участие в талантливой художнице. Предоставляет ей свою квартиру для занятий живописью. А через некоторое время происходит сенсационный брак. Новобрачные все сделали очень скромно; венчались в Питере, венчал их отец Андрей, который в это время был профессором Ленинградской Духовной Академии. Но весть о браке облетела церковные круги. Все горячо поздравляют, а Патриарх Алексей делает царский подарок: дарит новобрачным дачу между Переделкином и Баковкой, в самом шикарном месте Подмосковья.

История этой дачи также любопытна: рядом великолепная дача (целый дворец), принадлежавшая тогда известной исполнительнице русских песен певице Руслановой. Смежная дача генерала Крюкова (одного из приспешников Жукова). Когда соседи поженились и Русланова стала генеральшей (впоследствии оба также побывали в лагерях), дача Крюкова была продана Патриарху, который предназначал ее для своей племянницы. Но та от дачи отказалась. Десять лет дача стояла нетопленная, запертая. Наполовину развалилась. И вот здесь понадобилась Анатолию Васильевичу его крестьянская хватка. Своими руками, ни к кому не прибегая, он привел дачу в образцовый порядок, отделал ее, как игрушку, смастерил паровое отопление, и через некоторое время Елена Яковлевна стала вести привычный для нее образ жизни (не хуже, чем в Париже).

Сейчас Анатолий Васильевич давно уже не редактор. Дача также давно продана. Супруги живут в Москве, у Арбата, в Плотниковом переулке, в старой коммунальной квартире, в которой жил Анатолий Васильевич еще тогда, когда был учителем. С ним мы уже давно (еще за несколько лет до моего отъезда из Москвы) разошлись. Слишком различны наши пути: он — ярый сторонник Московской Патриархии, а — заядлый оппозиционер. Но на всю жизнь у меня осталось к обоим супругам теплое чувство. Каждый день поминаю их в молитвах. Храни их обоих Господь!

И той же осенью я имел свидание (после долголетнего промежутка) с Митрополитом Николаем. Это было время расцвета его деятельности. В Москве готовились к фестивалю молодежи. Ожидался приток религиозной (в основном католической) молодежи.

Патриархия ожидала множество гостей. Главным инициатором всех этих торжеств был Митрополит Николай. Печатавшийся в это время сборник "Русская Православная Церковь" был предназначен для гостей. "В порядке надувательства иностранцев", — как сказал мне не без юмора один из составителей.

Мы хотели этим воспользоваться и поместить в сборнике очерк по истории Русской Церкви (впервые, ибо за 60 с лишним лет не появилось даже намека на какую-либо историю русской церкви, написанную не с антирелигиозных позиций).

Это не было случайно: власть хотела превратить русскую церковь в ораву жрецов-требоисправителей, колдунов, исполняющих магические обряды. Жрецы не должны иметь никакой идеологии, никаких знаний, не должны иметь никаких традиций. Тем скорее, по мысли советских властителей, их можно было бы в нужный момент ликвидировать. И наша попытка протащить, хотя бы в урезанном виде, исторический очерк, хотя бы только для иностранцев, не прошла.

В последний момент цензура наложила "вето". Сборник вышел без нашего очерка. Мало того, никакого исторического обзора русской церкви так и не вышло до сих пор, хотя с тех пор прошло уже почти четверть века. Мне, однако, этот очерк был полезен (помимо литературного гонорара, первого в моей жизни), он послужил входным билетом в Патриархию, показал, что я умею писать и владею материалом.

Обо всем было доложено Митрополиту Николаю, и он охотно санкционировал мое сотрудничество в журнале. Уже летом мы обменялись любезными письмами. 1 октября я вновь переступил хорошо мне знакомый порог бывших игуменских покоев в Ново-девичьем.

Около кабинета дежурил новый секретарь Владимир Талызин. Не знаю, по какому принципу Владыка подбирал штат своих секретарей. Если судить по внешним впечатлениям, то он подбирал по признаку наибольшей антипатичности. Хамоватые, неотесанные, с замашками "вышибал" из второразрядных "заведений",

они составляли любопытный контраст с безукоризненно воспитанным, европейски любезным хозяином. Впрочем, может быть, так было и надо. Владыка был, как всегда, очарователен. Я сделал ему комплимент: сказал, что за десять лет, которые я его не видел, он мало изменился.

“Комплиментщик!” — воскликнул Владыка. Действительно, комплиментщик: взял грех на душу — он сильно постарел. Затем я вручил ему его проповедь, записанную мною за 26 лет перед этим, которую он произнес 20 января 1930 года в Питере. Взял, начал читать.

Словом, на этот раз я выступил в несвойственной мне роли придворного льстеца.

“Слушай, такой человек может даже понравиться”, — сказал со свойственной ему язвительностью мой друг Павлов, когда я ему рассказал о моем “подарке”.

Затем начался деловой разговор. В очень осторожных выражениях Владыка санкционировал мое сотрудничество в журнале и одобрил мой план написания “Истории Русской Церкви XX века”.

Подробный план работы, отпечатанный на машинке, я представил тут же. Для первого визита достаточно. Затем в соседний кабинет. К милейшему Анатолию Васильевичу.

Мой “конкордат” с Патриархией был заключен. Началась новая полоса в моей жизни. В течение трех лет я писал для журнала. Ни один номер не обходился без моей статьи. Дело, однако, осложнялось тем, что по нелепым советским установкам сотрудничать в журнале я не имел права. Журналу запрещено было брать людей со стороны. Сотрудничать могли только лица, официально санкционированные Советом по делам Православной Церкви. Советский школьный учитель и одновременно сотрудник “Журнала Московской Патриархии” (или ЖМП, как его принято было называть в быту) — внутреннее противоречие. Проще всего было оформить меня штатным сотрудником. Но Владыка Николай и А. В. Ведерников обещали, медлили, без конца тянули. Видимо, немного побаивались “enfant terrible”.

Как показало дальнейшее, нельзя сказать, что совсем необоснованно.

“Слушай, вы компрометируете девушку, и на ней не женитесь. Это безобразие!” — сказал я раз Павлову. “Хорошенькая девушка, которой деньги платят”, — ответил мой саркастичный друг.

Что правда, то правда: журнал мне давал в три раза больше, чем школа.

\* \* \*

Работать в журнале было трудно, но приятно. Я избрал себе в это время новую специальность — агиографию — жизнеописание святых. Перед современной агиографией стоит трудная задача: соединить историчность и научность (очистив жития святых от легендарности и *loci communes* — общих мест) с мистической, религиозной окрыленностью. Изучая жития святых, я нашел, что это вполне возможно. Мои статьи появлялись за подписями других сотрудников журнала, потому что редактор всегда должен был быть готов указать, кто именно автор статей.

Первой статьей этого цикла и вообще первой моей статьей, появившейся в печати, была статья о Святителе Николае, архиепископе Мир Ликийских, напечатанная в декабрьском номере журнала за 1956 год. Когда-то на Западе в XVIII веке дело исправления и очищения житий святых начали отцы баландисты (монашеская школа, специализирующаяся на агиографии) и продолжают эту миссию до сих пор.

У нас со времен Святителя Димитрия Ростовского (XVIII век) никто за это никогда не принимался. У католиков при Папе Иоанне XXIII была предпринята широкая ревизия житийной литературы. Хотели освободить агиографию от элементов апокрифичности и впали в другую крайность: вместе с водой выплеснули из ванны ребенка — деканонизировали тех святых, в житии которых имеются элементы апокрифа.

Я являюсь автором статей о житии четырех наиболее “апокрифичных” святых: Святителя Николая, Великомученика и Победоносца Георгия, Алексия — человека Божия и бессребреников Космы и Дамиана. Я проанализировал в связи с этими статьями весь исторический материал и твердо убежден в том, что жития эти в своей основе безусловно историчны, точно передают колорит эпохи и составлены во время, близкое к жизни святого, по свидетельствам современников. Элементы апокрифичности, внесенные позднее, легко устраняются, не нанося никакого ущерба основному историческому фону. Создание новых Четьи-Миней, в которых строгая научность должна сочетаться с глубоким психологизмом,

при религиозном трепетании художественной кисти — одна из актуальных задач, стоящих перед богословской мыслью.

К сожалению, я мог лишь в очень малой степени послужить осуществлению этой задачи, так как мне непрестанно приходилось отвлекаться для выполнения других заданий, а вскоре злободневные вопросы церковной политики увлекли меня совершенно в сторону от этого, близкого моему сердцу делания. Пришлось передать воплощение и этой задачи, как и многих других, в руки грядущих поколений.

Впрочем, должен заметить, что далеко не все жития святых содержат апокрифические элементы. В частности, мне пришлось посвятить статьи пятерым угодникам, жития которых выдерживают самую строгую научно-историческую критику: жития Блаженной княгини Российской Ольги, великомученицы Анастасии Узорешительницы, преп. Михея Радонежского, Святителя Филиппа, Митрополита Московского и Святителя Амвросия, архиепископа Медиоланского.

Сразу же после начала моей работы я столкнулся с “чудищем, которое обло, озорно и лаает”, — с цензурой. Если цензура простерла свои “совиные крыла” над всей русской литературой, то “Журнал Московской Патриархии” страдал от нее вдвойне, втройне. Как только статья попадала на редакторский стол, сразу начиналось ее “хождение по мытарствам”. Первоначальными цензорами были работники редакции. Они цензуровали статью особенно строго. Прежде всего с политической стороны по принципу “как бы чего не вышло”, затем со стороны ортодоксально-консервативной.

У страха глаза велики: всюду и во всем им чудилась ересь (опять по принципу “как бы чего не вышло” — Патриарх будет недоволен, профессора из Академии напишут донос и т. д., и т. д.). И наконец, правка стилистическая: всякое смелое выражение, всякий яркий эпитет немедленно вымарывался; стиль переделывался, блекнул, становился ялым, серым, необыкновенно скучным.

“Какой вы живой человек в разговорах, Иван Николаевич, и какой мертвец в своих статьях”, — сказал однажды Павлову о. Димитрий Дудко. Он был прав.

Кастрированная таким образом статья поступала в Совет по Делах Русской Православной Церкви. Там третьестепенный чиновник из работников КГБ, имеющий о литературе и о богословии такое же представление, как мы все о высшей математике, снова марал, снова вычеркивал, снова исправлял. Придирки цензуры

были совершенно фантастичны. Так, нельзя было цитировать, конечно, никакие заграничные источники. Но что более удивительно — нельзя было ссылаться и на советские источники, на книги, изданные в СССР: “Что ж, выходит, что мы работаем на вас?” — говорил чиновник. Изумительная логика!

И конечно, тот же принцип: “как бы чего не вышло”. Так, например, цензура зарезала мою статью о шведской церкви из-за... короля Эрика XIV. “Там какой-то сумасшедший король, а вдруг они обидятся!” Из статьи о Святителе Николае был вымаран абзац, в котором говорилось о различных церквях, посвященных Святителю Николаю в Москве, так как этих церквей сейчас нет. Из статьи о Святителе Филиппе был вычеркнут абзац, в котором рассказывалось о его трудах по благоустройству Соловецкого монастыря. Опять-таки по тому же принципу: “А вдруг читателю придет в голову мысль: а где же теперь все это?”

Статья о княгине Ольге оканчивалась абзацем, который начинался словами: “На какую высоту вознесло христианство женщину”. Далее приводились примеры святых женщин и Той, которая вознесена выше херувимов и славнее без всякого сравнения серафимов. И заключительная фраза: “Как радостно нам, что у истоков Русской Церкви также стоит мощная фигура отважной, боговдохновенной женщины”. Вычеркнули. Согласно официальной идеологии, христианство только и делало, что унижало женщину.

Наибольшие хлопоты были со статьей о Святителе Филиппе. Как известно, Сталин боготворил Ивана Грозного (видимо, чувствуя родство душ с ним), хотя и критиковал его в беседе с артистом Черкасовым за “излишнюю мягкость” (sic). В известной кинокартине Эйзенштейна в соответствии с этим, вопреки всякому историческому правдоподобию, Митрополит Филипп изображен страшилищем, которое ополчается против прогрессивного и чуть ли не кротчайшего государя. Наши умники из “Журнала” (особенно один, молодой человек, только что окончивший Академию) начали переделывать статью в этом роде, так что я в конце концов сказал: “Ну, давайте напишем, что Митрополит Филипп убил Ивана Грозного. Может быть, это вас устроит?”

Анатолий Васильевич, к его чести, стал на мою сторону. В конце концов, было решено отправить статью в цензуру примерно в таком виде, в каком она вышла у меня из-под пера. Однако цензор, которого еще не коснулись веяния эпохи “позднего реабилитанса”,

вытаращил глаза. "Как, о Митрополите Филиппе? Против Грозного? Об этом не может быть и речи". Спас дело я. Немедленно отправился к одному из своих приятелей, достал журналы: "Вопросы истории" и "Ученые записки" одного из институтов, в которых говорилось о нелепости идеализации Грозного. Статья была спасена.

Как я говорил выше, мне приходилось писать статьи на актуальные темы. Из них упомяну о двух статьях: "Жертвенная любовь", написанная к 80-летию освобождения Балканских славян, что мне дало возможность погрузиться в газеты и журналы прошлого века (мое любимое занятие), и большая статья в два печатных листа, появившаяся в качестве редакционной: "Первосвященитель Русской церкви (к 80-летию Патриарха Алексия)". В течение месяца я сидел в Библиотеке им. Ленина, перелистывая старые журналы, издававшиеся в местах, где служил когда-либо Патриарх: в Пскове, в Туле, в Новгороде. Здесь открылись для меня странные вещи: преданный советской власти Патриарх был, оказывается, ярым монархистом (слова: "преданность престолу", "благочестивейший монарх" — попадались в его проповедях и статьях буквально на каждой строке), строгим консерватором (поклонником Каткова и Победоносцева), хотя, как аристократ и выходец из европейски культурной семьи, он всегда держался в стороне от черносотенцев и от всего одиозного и экстравагантного, в каком бы то ни было смысле. Примерно такой же линии держался Патриарх и в советское время: сотрудничество с советской властью на почве патриотизма, строгой лояльности, официальной вежливости, но без всякой одиозности: никаких доносов, якшания с МГБ, негласных контактов. Здесь, в читальных залах Библиотеки им. Ленина, для меня стала открываться душевная драма этого высокопоставленного человека, которого я знал с детства. О многом говорят факты, как будто случайные, никому не известные. Вот, например, перед нами журнал "Новгородские церковные ведомости" за 1917 год. Правящим архиереем в Новгороде был в те времена Митрополит Арсений (Стадницкий) — один из трех кандидатов на патриарший престол, которого семнадцатый год застал в Москве. У него было два викария: епископ Хутыньско-Новгородский Алексей и епископ Белозерский Иоанникий, проживавший в Кирилло-Белозерском монастыре, который был зверски расстрелян около монастырской ограды. Епископ Алексей мог ждать ежедневно подобной участи. Затем два ареста

в период 1917—1920 гг., дважды под судом — лишь случайно приговор оказался условным. Затем в Питере викарием Митрополита Вениамина, арест Владыки Митрополита, угрозы в адрес епископа Алексия, вынужденное снятие запрещения с протоиерея Введенского, петроградская автокефалия, ссылка в Семипалатинск. Но это все только цветочки. Что было в тридцатые годы, — как должен был чувствовать себя тогда сын камергера, брат эмигранта, потомственный дворянин, псковский помещик, воспитанник Катковского лицея, митрополит? Под каким Дамокловым мечом он жил годами? И каким самообладанием, выдержкой надо было обладать, чтобы в те времена спокойно, с достоинством управлять остатками епархии, служить в прежней величавой манере, произносить изящно отделанные, спокойные проповеди? Я написал статью о Патриархе абсолютно искренно, нигде не допуская фальшивых нот, лишь умолчав о наиболее одиозных политических моментах. Когда я оканчивал статью, мною овладело еретическое намерение. “Скажите, — сказал я редактору, — что если чуть-чуть приоткрыть завесу над тем, как проходило воссоединение униатов на Западной Украине в 1946 году? Патриарх ведь не знал о многих аспектах этого воссоединения”. “Что вы, что вы? — замахал руками, смеясь, редактор. — Приоткрыть ни в коем случае. Прикрыть. Пожалуйста, сколько хотите!”

Мое сотрудничество в журнале было неплохим уроком смирения. “Негласный сотрудник”, я играл роль “бедного родственника”. Никем не апробированный, никому не известный, я являлся в журнал раз в месяц. Здесь, сидя в прихожей вместе с Шурой, уборщицей, я ожидал, когда выйдет ко мне Анатолий Васильевич. Изредка выходили ко мне также и другие сотрудники журнала. Из сотрудников журнала, кроме Павлова, очень колоритен был Иван Николаевич Хибарин, потомок старой дворянской династии. Европейец. В юности он много раз бывал в Англии, еще во времена Виктории, блестяще владел английским, гостил в замках. В советское время, чудом уцелев от ареста, он был научным сотрудником в одном из научно-исследовательских институтов (по образованию он биолог). В сороковые годы, побывав преподавателем в семинарии, он затем кинул якорь в редакцию журнала. Он был незаменим как научный консультант — это была живая энциклопедия, — однако в качестве автора статей он был очень слаб.

Уржумцев, молодой человек, окончивший Ленинградскую

Духовную Академию, но не имеющий возможности стать священником ввиду природного порока — сильного заикания. Усердный, прилежный чиновник, однако совершенно лишенный литературных способностей. И молодая тогда еще дама Наталья Ивановна — аспирантка-историк из Московского университета, выгнанная за свои религиозные убеждения и нашедшая приют в журнале, — таков был состав редакции.

Люди порядочные, абсолютно честные, не причастные ни к каким грязным делам, притом глубоко религиозные, — они, однако, не были литераторами. Приходилось иметь негласных сотрудников (я не был единственным).

Именно в это время появляется в Москве пресловутый А. Л. Казем-Бек, который также некоторое время подвизался в журнале. Биография этого, недавно умершего, но теперь уже основательно забытого человека хорошо известна старым эмигрантам. Все же напомним его жизненный путь в его основных моментах.

Его предки были туркменские ханы. Он любил рассказывать о том, что его прадед имел гарем с десятками жен. Его дед после покорения Средней Азии стал приспешником Скобелева, принял крещение и женился на графине Толстой. Дед Александра Львовича сближается (как это видно из записок известного архиепископа Никанора) с духовенством. Его отец Лев Казем-Бек, окончивший Пажеский корпус, вошел в круг русской аристократии и был близок к придворным кругам. Революция застала Александра Львовича шестнадцатилетним юношей в Петербурге. Вместе с семьей отца он через Финляндию уходит в эмиграцию.

Париж. Конец гражданской войны. Нащупывание новых путей. В начале двадцатых годов ярко сияет восходящая звезда нового вождя — дуче Муссолини. Он увлекается сильным человеком, он горит желанием стать русским Муссолини. Как неглупый человек, однако, понимает, что Россия имеет свой исторический путь и механически перенести сюда опыт фашизма невозможно. И вот в голове авантюрного и честолюбивого юноши возникает грандиозный, фантастический план: соединить две русские традиции, монархическую и советскую. И на этой базе основать русский фашизм. Так возникает партия "младороссов" — единственная партия русских эмигрантов.

Наиболее экстравагантной чертой этой партии была идея реставрации русской монархии во главе с законным претендентом на русский престол из дома Романовых — великим князем Кирил-

лом Владимировичем, при полном сохранении всех форм советской государственности (советами, исполкомами, народными комиссарами и т. д.). В то же время должна была произойти некоторая "подстановка": коммунистическую партию должна была вытеснить и заменить новорожденная партия "младороссов", ну, а место вождя — Ленина, Троцкого, тогда еще только претендовавшего на эту роль Сталина — великодушно брал на себя русский Муссолини — Казем-Бек. Этот план, конечно, представляется современному человеку как нечто совершенно нереальное и сумасбродное. Однако не совсем так он выглядел в контексте двадцатых годов. Идея монархии тогда была еще свежа в памяти народной. В крестьянских избах сплошь и рядом можно было видеть портреты Николая II и особенно часто портреты Александра II, образ которого еще сохранялся в сердцах простых людей как образ царя-освободителя. Еще на моей памяти (в 20—30-х годах) многие заупокойные поминания простых людей начинались именем Александра II. В то же время крестьяне безумно боялись возвращения помещиков. Колхозов тогда еще не было, и люди держались обеими руками за свою вожделенную землю, о которой они мечтали целые поколения. В то же время советский строй также еще не успел столь далеко отойти от семнадцатого года, как впоследствии. Это был разгар НЭПа: не только земля, но и вся торговля и значительная часть промышленности находились в частных руках. Казалось, что в этом направлении идет эволюция советской власти. Как говорил один знакомый моего отца, "каждый декрет приносит свободу".

В этой атмосфере, когда в моду входит теория проф. Устрялова о неминуемом перерождении советской власти в "нормальное" буржуазно-национальное государство, теория Казем-Бека как будто принимает реальные очертания. К тому же с семнадцатого года мир прыгнул из реальности в фантастику. Самые несбыточные мечты стали казаться возможными.

Как известно, Казем-Бек проявил в этой обстановке необыкновенную энергию и крупный организаторский талант. Он завязывает связи с Кириллом Владимировичем и добивается у него апробации. Он затем завязывает связи с Муссолини, сподобляется у него аудиенции и определенных денежных субсидий. Ему наконец удается заинтересовать своим планом советское посольство в Париже, с которым поддерживается негласная связь и от которого (как можно догадываться, это не установлено) также полу-

чаются определенные денежные средства. Неконец благодаря талантливой пропаганде ему удастся привлечь к этому делу многих русских молодых эмигрантов, которые основывают полувойскую организацию типа гитлеровских штурмовиков, носят особую форму, по-военному салютуют Казем-Беку на собраниях и встречают его криками: "Глава!" (по образцу "Heil Hitler"). В тридцатые годы это движение погасло, война заставила вообще забыть о русских эмигрантских движениях двадцатых годов. К чести Казем-Бека, он не пошел на сговор с гитлеровцами и даже как будто одно время был интернирован немцами в лагерях. Затем конец войны. Прыжок за океан. Он в Америке. По-забытый и растерявший старые связи, бывший кандидат в вожди ведет тихий и скромный образ жизни в Канзасе. Он постарел. Ему уже под пятьдесят. Но энергия еще бьет ключом. Пожилой господин с восточной внешностью, унаследованной от деда, с манерами великосветского человека, одетый с иголки, он еще бесконечно привлекателен для женщин, — он умеет импонировать, держать тон важного барина.

В 1956 году — последнее в его жизни сальто-мортале: неожиданно он возвращается в Советский Союз. Обстоятельства его возвращения свежи в памяти людей, которые жили и действовали в те времена, — он публикует ряд статей, он выступает по московскому радио, он рвется к жизни и деятельности. Поливая грязью Америку и Европу (там, видите ли, для него мало демократии), он говорит о том, что, будучи по профессии журналистом, он собирается посвятить свою деятельность разоблачению капиталистов. Здесь явный намек и заявка: он претендует не иначе, как на роль редактора крупного советского журнала. Но времена не те: старый политикан сделал неверный ход. В это время "позднего реабилитанса", когда у всех еще не угасли надежды, возбужденные "разоблачением культа личности", он заговорил языком сталинской эпохи. Это ему дорого обошлось. Резкий отпор со стороны Эренбурга, который выступил со специальным письмом в редакцию в "Литературной газете", направленным против выступлений Казем-Бека. И молчок.

Талантливый журналиста задвинули. И вот он появляется в коридорах Московской Патриархии. Он хорошо знает Ватикан. Как оказывается, он всегда глубоко интересовался Русской церковью и русской "Фиваидой" (северной монашеской волной). Застал его однажды у Анатолия Васильевича. Спрашиваю у прия-

теля, познакомившего меня с Казем-Беком, о впечатлении. Ответ: "Как тебе сказать, для пикников, для встреч Нового года, для именин — это очень приятный человек. Но для той роли, о которой он мечтал, вряд ли".

"К роли русского Муссолини не подходит?"

"По-моему, нет. Впечатления подобного не производит".

Не знаю, впрочем, производил ли бы другое впечатление и настоящий Муссолини в таких условиях (зажатый в тиски КГБ и вынужденный зарабатывать себе на хлеб, побираясь у попов). Впоследствии, когда появился Митрополит Никодим во главе Иностранного отдела и Ватикан стал главным объектом деятельности Иностранного отдела, Казем-Бек с его знанием ватиканской кухни стал незаменим. Но тогда его время еще не настало. Впрочем, с его умением завязывать связи он преуспел во многом: стал бывать у Патриарха, пробился и к Митрополиту Николаю, помощником которого он стал. Что касается Патриарха, то с ним Казем-Бек нашел общий язык: они вспоминали форму гвардейских полков, значки; Патриарх любил расспрашивать про Париж, про места, виденные им в детстве.

Однако архиепископу Мануилу, который раз застал у Патриарха Казем-Бека, после того, как Казем-Бек ушел, было сказано: "Будьте с ним осторожнее. Это очень опасный человек".

\* \* \*

Я познакомился с ним в коридорах "Журнала". Однако близкое знакомство началось позже.

Это было в 1963 году, когда моя личность уже давно стала одиозной. Я был общеизвестным "самиздатчиком" и церковным диссидентом. Однажды майским вечером, возвращаясь из Сандуновских бань, я зашел в Петровский пассаж. При входе я столкнулся с Казем-Беком. С неожиданной приветливостью он первый со мной поздоровался. И начал разговор. Мы ходили с ним потом по Петровке, по Неглинке, по Страстному бульвару. Разговор продолжался два с половиной часа. Я понял, что он, в сущности, очень одинокий человек. И ему не хочется меня отпускать. Расстались. Встретив его однажды в коридоре Иностранного отдела, я подарил ему сборник моих статей "В борьбе за свет и правду". Хвалил: "Слушайте, это гениально! В советских условиях писать такие вещи". Звал к себе.

Пошел к нему, хотя и не советовали, но меня всегда тянуло к оригинальным людям, к парадоксальным знакомствам. Он жил в самом фешенебельном месте Москвы, на Фрунзенской набережной, в доме Военного министерства, куда простым людям и показаться было нельзя. Тогда вся Москва говорила о его браке с молодой дамой, которая годилась ему во внучки. Но жил он один, в элегантной однокомнатной, холостой квартирке. Опять говорили. Разговор шел в простецкой, элегантной, светской манере. А мне так надоели к этому времени советские люди (диссиденты и недиссиденты) с их ограниченностью и хамоватостью, что мне нравилось бывать в его обществе. Говорили, впрочем, на нейтральные темы. Однажды он спросил: "Во что вы верите?" Я вытаращил глаза: "То есть как?" (Вопрос странный, будучи обращен к православному церковному писателю.) Он несколько смутился: "Видите ли, мне часто приходится говорить: верую, Господи, помоги моему неверию". Он постарел. Элегантный костюм, сшитый по последней моде, элегантная прическа, сделанная, видимо, у лучшего парикмахера, выглядели странно на старике. Порой мне казалось, что я вижу мертвеца, обряженного для положения в гроб... Наше знакомство прервалось в 1967 году, когда я узнал, что он написал статью по заказу "Журнала Московской Патриархии", направленную против моих друзей отцов Глеба Якунина и Николая Эшлимана. Со свойственной мне резкостью я сделал ряд грубых выпадов против него в одной из своих статей. И послал ему эту статью, подчеркнув строки, относящиеся к нему. Я называл его барственным авантюристом, сравнивал его с Кречинским.

Он прочел, изумился, говорил: "Подумать только! Он же так хорошо ко мне относился". Больше с А. Л. Казем-Беком я никогда не встречался и ни в какие отношения с ним не входил.

К этому же времени относится начало моего знакомства еще с одним человеком, ныне получившим широкую известность. В один прекрасный вечер говорит мне Павлов: "Ты знаешь, появился молодой еврей, приехавший из Иркутска. Типичный еврей, но симпатичнейший. (Обратите внимание на это "НО", оно очень характерно.) Весь оброс бородой. 22 года. И уже что-то такое написал. Был сегодня у Анатолия Васильевича".

Через несколько месяцев мне пришлось быть в редакции. Сажу на диване. Вдруг из кабинета редактора стремительно выходит молодой человек, жгучий брюнет. Нас знакомят. Он начинает

говорить с необыкновенной экспансивностью, с жестикующей. Припоминаю. "Скажите, — спрашиваю я со свойственной мне тактичностью, — какая ваша национальность?" — "Ну, вы же, верно, знаете, раз спрашиваете". Это оказался ныне широко известный в Русской церкви и на Западе отец Александр Мень. (Его работы по истории религии напечатаны в Брюсселе и распространяются под псевдонимами: "Андрей Боголюбов и Эммануил Светлов".) Примечательна биография этого человека и его семья.

\* \* \*

Мне часто приходят на ум слова Лескова: "Чтобы убить антисемитизм, надо, чтоб какой-нибудь писатель показал маленького, бедного, простого еврея". Я скажу иначе: чтоб убить антисемитизм, достаточно указать на Александра Меня и его семью.

Знакомы мы с ним уже 22 года. И нельзя сказать, чтоб отношения наши были всегда безоблачны: было время — и ссорились, и обижались друг на друга, и мирились, и пикировались, — но скажу: это — один из наиболее гармоничных, талантливых и сердечных людей из всех, кого я видал за свою долгую жизнь.

Его биографию надо начинать с 1936 года, когда маленькому Алику был один год. В это время в Москве, около Серпуховских ворот, жила интеллигентная еврейская семья. Владимир Мень — инженер, деловой, энергичный, талантливый человек. Он делал свое дело, часто бывал в командировках. Ни в политику, ни в какие идеологические "дебри" никогда не лез. Человек добрейшей души, прекрасный семьянин, боготворивший свою жену.

А жена того стоила. Ослепительная красавица. Харьковчанка. Из богатой еврейской интеллигентной семьи. Так же, как Елена Яковлевна, занималась живописью. По специальности — историк. У нее двоюродная сестра, с которой она была очень дружна с детства — Вера Яковлевна. Это — старая москвичка. Окончила гимназию в 1918 году. С детства была искательницей. Хорошо помнила 1917 год, интересовалась крайними партиями. Однажды задала учителю словесности вопрос: "Кто лучше — большевики или анархисты?" Получила ответ: "Оба хуже".

Окончила университет. Работала. Дружила с сестрой. Но искания философские, идейные, религиозные никогда не прекращала. Не сладилась у нее личная жизнь. Осталась старой девой. И всю

свою нежность перенесла на семью своей сестры, впоследствии на обоих своих племянников.

Она всегда увлекалась всем экзотическим, оригинальным, эксцентричным. Как-то раз ее познакомили с необыкновенным человеком, со скрывавшимся в Москве, на квартире у ее знакомых, оптинским старцем отцом Серафимом.

Шли уже тридцатые годы. Монастыри были разогнаны. Уцелевшие монахи должны были скрываться по укромным углам, чтобы избежать ареста. И вот происходит знакомство ищущей, неудовлетворенной жизнью Веры Яковлевны с монахом. После нескольких бесед она почувствовала нечто необычное, благодатное, столь непохожее на все, что она видела до сих пор. По-новому она начинает читать Евангелие, принимает к святоотеческим творениям. Вскоре принимает крещение. Это был 1936 год, начало ежовщины, когда большинство церквей было снесено или превращено в учреждения, когда последние священники подбирались "под метелку", чтоб окончить свои дни в лагерях. Когда все церковное находилось фактически под запретом и посещение храма почти приравнялось к контрреволюции.

Разумеется, крещение могло произойти лишь в домашних условиях, в глубокой тайне. Только двоюродная сестра Елена была посвящена в секрет. А через некоторое время Елена Семеновна также знакомится с оптинским старцем и, к ужасу своего мужа, принимает крещение. Она крестила также своего годовалого сынишку, родившегося в 1935 году, нынешнего отца Александра Меня, а впоследствии и второго сына Павла.

Алик был исключительно удачный ребенок. Очень красивый (лицом он удивительно похож на мать), он соединял живой сангвинический темперамент с разнородными способностями. Если меня спросят, какая именно черта у Алика наиболее поразительна, то я должен буду ответить — его исключительная гармоничность. Для меня эта черта особенно удивительна, потому что сам я страшно односторонний человек. Резко выраженный индивидуалист, человек маниакально-параноидного типа, я с детства знал "одной лишь думы власть"; церковь и литература — вот две области, в которые я уткнулся, к этому впоследствии прибавилась политическая одержимость. Во всем остальном я был всегда очень неспособен, ограничен, дефективен. Что касается Александра, то о нем можно было сказать словами Золя про Папу Льва XIII: "превосходный человеческий тип". Первый уче-

ник, любимец товарищей, физкультурник, поразительно умелый и сообразительный, он в то же время в детстве массу читал, шутя выучил иностранные языки, увлекался биологией и историей. Мать сумела передать ему свою глубокую религиозность: уже в детстве он прислуживает в алтаре, знает службу наизусть, является своим человеком в церковных кругах. В 12 лет (в 1947 году) он приходит в Богословский институт к Анатолию Васильевичу, который был тогда субинспектором (с этого времени начинается их знакомство) и заявляет о своем желании стать студентом-заочником. Анатолий Васильевич, разумеется, вынужден был отклонить это предложение (советские законы категорически воспрещают религиозное обучение несовершеннолетних), однако хорошо запомнил смышленного черномазого мальчугана (это знакомство впоследствии очень пригодилось Алику). В школе его товарищем оказался черномазый парень из интеллигентной семьи, близкий к церкви, Вахрамеев (ныне Митрополит Минский Филарет). В храме "Нечаянная Радость" Алик также знакомится с рядом представителей религиозной молодежи. Таким образом, уже в это время он не только верующий, но и церковный человек.

Тем временем жизнь идет, мальчик становится юношей. Наступает 1952 год. После окончания школы семнадцатилетний парнишка подает заявление в университет на биологический факультет. И здесь впервые в его жизни — коллизия. Последние годы жизни Сталина. Эпоха официального антисемитизма. В университет молодой еврей не допускается. Приходится искать обходные пути, чтоб получить высшее образование. Он едет в Иркутск, где находится Охотоведческий институт. Его принимают. Он живет в общежитии. Учится. Круглый отличник. Но религиозность его не уменьшается. Регулярно он посещает церковь, знакомится с местным архиереем (епископом Палладием), очень сомнительным во всех отношениях человеком, но архиерей есть архиерей.

И одновременно начинает писать. В институтском общежитии, под сильный гомон студентов, под веселый гвалт сибиряков, смешанный с непрерывной матерщиной, начинает Алик свою работу "Сын человеческий" о Христе, которую он пишет всю жизнь, оканчивая, вновь начиная, возвращаясь к ней вновь и вновь. И в эти же годы он женится на москвичке, красивой девушке, блондинке, мать которой поет в церковном хоре. Наталья Гри-

горьевна Григоренко выходит замуж совсем юной за двадцатилетнего еврея, а в 1957 году у них рождается дочь Елена, которой был, когда мы познакомились с Александром, 1 год.

В 1958 году Александр на распутье: из Охотоведческого института его исключили с последнего курса как церковника. (Здесь, как в капле воды, вся специфика советского строя: никаких отклонений от "генеральной линии" — евреем быть нельзя, церковником тоже.)

Несколько растерянный, приезжает он в Москву. Является в "Журнал Московской Патриархии", прописывается у родителей жены, которые живут по Северной железной дороге, на станции "Семхоз" около Загорска (он живет там до сей поры).

В день знакомства, поговорив в кулуарах "Журнала", мы вышли вместе. Помню, как сейчас, это было 17 мая 1958 года. Стоял хороший весенний, солнечный день. Мы шли с ним от Новодевичьего до Арбата (это примерно 5—6 километров). Говорили непрерывно. Я делился с ним воспоминаниями о прошедшем, обменивались мнениями о церковной ситуации. Прощаясь, я дал ему свой адрес.

На другой день — воскресенье, 19 мая 1958 года, — знаменательный день. В это воскресенье праздновалось сорокалетие восстановления патриаршества на Руси. Собственно говоря, его полагалось бы праздновать в ноябре 1957 года, но в этом месяце — годовщина Октябрьской революции и юбилей патриаршества, — ассоциации нельзя сказать, чтоб очень радостные для обеих сторон. Перенесли празднование церковного юбилея на май 1958 года.

19 мая в Елоховском соборе служил Антиохийский патриарх Александр III в сослужении Патриарха Алексия, двенадцати епископов и несчетного духовенства. Старый любитель церковного благолепия, я поехал в Елоховский собор, а возвратясь, нашел у себя (в Вешняках) — я жил еще тогда вместе с мачехой — моего нового друга Алика. Обедали, опять разговаривали, а через несколько месяцев узнал о его рукоположении в диакона. Так началось его служение в церкви. Служение, которое находится сейчас в зените.

\* \* \*

1956 год — год, знаменательный во всех отношениях. С этого года я становлюсь историком. Я недаром обещал Митрополиту

Николаю написать историю русской церкви XX века. Начал с 90-х годов. С эпохи Победоносцева. Целыми днями я просиживал в Библиотеке им. Ленина (в "Ленинке", как ее называли в быту) за газетами 90-х годов, за старинными книгами, за рукописями. И тут я ощутил всю прелесть, все наслаждение этого постепенного вхождения в давно ушедшую эпоху. Ощутить ее аромат, перенестись в нее, проникнуть в духовный мир давно умерших людей — я не знаю ощущения, более удивительного, наслаждения, более возвышенного, занятия, более плодотворного. Меня привлекла могучая фигура человека, мне чуждого, глубоко антипатичного, не имеющего со мной ничего общего, — фигура Константина Петровича Победоносцева. И вдруг я почувствовал, что мне открывается духовный мир этого человека. Работа эта осталась в России, но я не теряю надежды ее разыскать и отпечатать (она стоит того — в ней имеется большой исторический материал).

Работа включает 120 страниц на машинке. Давал ее на прочтение многим. Долгое время она ходила в самиздате. Ее название "Победоносцевщина и ее значение в истории русской церкви".

Читали ее люди самых разнообразных убеждений, профессий, возрастов. Читали внимательно. Но не удовлетворила она никого. Обычная судьба всех моих работ.

Церковные люди консервативного лагеря обиделись за Победоносцева. Им хотелось панегириков.

Не удовлетворила она и либеральных интеллигентов, моих друзей: "Слушайте, вы стали домашним человеком у Победоносцева. Вы его жену называете по имени-отчеству — Екатерина Александровна, — вы готовы ее в ручку чмокнуть", — говорил мне один профессор.

"Бросить какие-то светлые блики на личность Победоносцева — это некрасиво", — говорил мне мой коллега Лев Михайлович. А никаких светлых бликов я не хотел на него бросить. Я хотел нарисовать живого человека в окружении живых людей. При этом я руководствовался великим правилом К. С. Станиславского: "Когда играете плохого, ищите, в чем он хороший, когда играете хорошего, ищите, в чем он плохой".

Не понравилась эта работа церковникам всех направлений, так как основная ее цель — разоблачение идеи государственной церкви. Государственной церкви во всех ее проявлениях: старой

государственной церкви на монархически-националистической основе и государственной церкви в ее советском варианте.

Это почувствовал и Митрополит Николай, который дал работе следующую характеристику: "Оценки спорные, но интересные. Работа неактуальная, потому что уж слишком актуальна".

В этом отношении эта работа предвосхищает мою большую работу о советских "Победоносцевых"-обновленцах, стремящихся сесть на "пароход советской государственности", как любил говорить Митрополит Александр Введенский.

Так или иначе, я вступил на этот путь и опять, по воле Божией, сделал в этом направлении лишь несколько шагов. Жизнь захватила меня в свой водоворот. И вскоре стало не до Победоносцева, не до истории.

\* \* \*

Пятидесятые годы — одна из самых интересных эпох русской жизни: так же, как в шестидесятые годы XIX века, "порвалась цепь великая", все опрокинулось вверх дном; пятидесятые годы — начало нового века в России, начало новой эры всемирной истории.

В сталинское время история протекала в одной колее. Всем известны слова Ленина, произнесенные им в начале двадцатых годов: "Сейчас главный вопрос: кто кого?" Кто кого? — или уцелеет советская власть в ее сталинском варианте, или советская власть будет разбита в боях, в войне. Так стоял вопрос в 20-х, 30-х годах. Так он стоял и вплоть до смерти Сталина. Менялись лишь адресаты будущих контрагентов: кто кого? Антанта советскую власть или советская власть Антанту? Так было в двадцатые годы.

Фашистская Германия советскую власть или советская власть гитлеровскую Германию? Так было с 1933-го по 1945 год.

Америка Советский Союз или Советский Союз Америку? Этого ожидали с 1945-го по 1953 год.

И вот, оказалось — никто никого. Одинаково никчемными оказались планы советских "старообрядцев" "зажечь огонь мировой революции" и надежды оппозиционеров на мировую войну.

Никто никого, потому что с 1956 года выступил на арену некто третий. Об этом третьем, незнакомом, хорошо сказал однажды польский кардинал Вышинский: "Можно подавить всякие мятежи.

Но есть один великий мятежник, которого никто не подавит, — человеческое сердце”.

Сталин и Гитлер употребили все усилия, всю мощь своих огромных талантов, все силы миллионных армий — армий эсэсовцев и гвардейцев, гестаповцев и чекистов, хорошо оплаченных, вооруженных до зубов цитатами и идеологическими лозунгами пропагандистов, руководимых Геббельсами и Ждановыми, Гимлерами и Бериями, — порой казалось, победа достигнута, разум погашен, торжествует тьма. И вот, победа оказалась эфемерной, могучее сооружение рухнуло: в Германии — в мае 1945 года, когда войска союзников ворвались в Берлин; в Советском Союзе — для этого потребовалось лишь два часа — ровно столько, сколько занял доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда.

Больше никто ничему не верил. Больше никто не хотел жить по-старому.

Заговорил великий мятежник: человеческое сердце, которое молчало почти сорок лет.

\* \* \*

Таково было настроение в стране. Все и всюду об этом думали. Нужна была лишь капля, лишь чей-то первый голос, который прервал бы молчание. Как всегда бывает в России, первой заговорила литература. Осенью стал печататься в “Новом мире” роман Дудинцева “Не хлебом единым”. Сейчас, когда мы даем этот роман молодежи, они только раскрывают глаза: “А что здесь особенное?”

Белинский в своих известных “Литературных мечтаниях” очень проникновенно говорит о тех, кто первыми начал русскую литературу: о Тредьяковском, Сумарокове, Кантемире. Их произведения производят на нас впечатление детского лепета. Тем не менее именно они положили начало русской литературе. Не было бы их, не было бы всего последующего. Быть может, будущий историк русской литературы XX века скажет нечто подобное про Дудинцева. Роман его слабый. Впоследствии я познакомился с Дудинцевым и имел с ним разговор, который оставил у нас обоих оскомину (о том речь идет впереди). Я убедился, что и как личность он не принадлежит к выдающимся людям. Но именно он в тот момент сказал новое слово.

“Вы читали роман Дудинцева, о котором много говорят?” —

спросил я свою коллегу, молодую учительницу. "Читала. Все удивляются, почему автор не в тюрьме", — отвечала она.

Ответ, характерный для человека сталинской эпохи: при Сталине и не за такие вещи людей гноили десятки лет на Колыме.

Сюжет романа шаблонный: неудачливый изобретатель, которого затирают. Но главное — в частностях. Наиболее впечатляющий образ — образ коммуниста Дроздова: советский бюрократ здесь как живой. Я вспомнил многих из этой шати.

Он человек из народа, но уже давно забыл об этом. Надменность, полное пренебрежение ко всем, без исключения, кто чином ниже, кто не принадлежит к господствующей касте, кто не имеет "красной книжечки", орденов и медалей, служебных кабинетов и автомобилей. Для него все люди делятся на две категории: вышестоящих, которые "спускают" инструкции, и нижестоящих, которым он дает инструкции. Поверхностному читателю может показаться, что Дроздов не имеет никаких убеждений. Но это не так. У него есть убеждения, хотя свои взгляды по тем или иным вопросам он готов менять в соответствии с очередной инструкцией и с "мнением", господствующим в "руководящих сферах". Его основное убеждение — вера в государство. Государство сверхчеловеческое, всеведущее, всемогущее, и вера в тех, кто стоит во главе этого государства. У святых отцов есть великолепное выражение: "церковь лукавнующих", которая противостоит истинной церкви. Люди типа Дроздова — это приверженцы этой "церкви лукавнующих" — советского государства.

Отец Павел Флоренский в своей знаменитой книге "Столп и утверждение истины" говорит о сатане как об "обезьяне Бога". Советское государство есть "обезьяна истинной церкви". Сходство. Но сходство карикатурное.

Догматика, отступление от которой зловердная ересь, карается отлучением, и вслед за тем вмешивается немедленно инквизиция. Клир, отделенный от мирян, построенный на строгой иерархичности. И в довершение сходство Папа — Генеральный секретарь, который непогрешим, когда он говорит *ex cathedrae*.

Эта церковь есть только карикатура на подлинную церковь не только потому, что она проповедует ложное учение — учение ненависти и атеизма, но и потому, что она зиждется на грубой силе, а истинная церковь создается на вере в Спасителя и на полной свободе. Так в принципе. К сожалению, не всегда так на практике. И здесь мы подходим к самому больному вопросу

церковной истории. Были представители церкви, которые хотели поддерживать и Церковь Христову на силе государства и таким образом низводили ее до роли одного из государственных институтов. И тут неожиданная аналогия Дроздова с тем, о ком мы говорили выше, — с Константином Петровичем Победоносцевым.

Конечно, эта аналогия многим покажется кошунственной. Крупный ученый, глубоко эрудированный человек, друг Достоевского, наконец, верующий христианин и убежденный монархист — и полуграмотный советский бюрократ Дроздов. Глубокое их сходство в одном — в обоготворении государства, — для них обоих государство — нечто сверхчеловеческое, не поддающееся никаким человеческим рассуждениям, требующее неуклонного, неизменного подчинения. "Дроздовщина" — это, по существу, советский, сталинский вариант победоносцевщины.

"Дроздовщина" — это лишь псевдоним сталинщины, хотя в самом романе о Сталине не говорится. Дроздов — это самый правоверный сталинец; это тип, возросший на сталинских дрожжах; до Сталина (в 20-е годы, в эпоху дискуссий, в эпоху, когда у кормила власти стояли тонкие интеллектуалы и революционеры) такой тип был бы немыслим. Это тип, появившийся в 30-е годы, после ежовщины, выращенный и заботливо выхолонный Сталиным; таким образом, роман "Не хлебом единым" бил по сталинскому режиму и по всем сталинским последышам. В этом его главное значение.

Особенно большой шум вызвало обсуждение романа Дудинцева в Центральном Доме литератора на улице Герцена (в бывшем особняке графа Соллогуба на Большой Никитской). Крылатая молва назвала это обсуждение "литературным Будапештом". (Это было время венгерских событий.) На обсуждение модного романа собралась вся литературная Москва: либералы и сталинские лауреаты (Первенцев, Бабаевский и т. д.) — серьезные журналисты и мелкие литературные шавки. Все взоры устремились на пожилого человека среднего роста, приземистого и сумрачного, лишь недавно сменившего тогу помощника провинциального прокурора на билет члена Союза писателей. Началась речь обычного советского писателя. Для начала Дудинцев рассказал, как был на войне и как он часто наблюдал, как иногда самолет попадает сразу в фокус двух направленных на него прожекторов. И еще тогда он дал себе слово написать роман, в котором под таким ярким освещением будут показаны многие явления

нашей жизни. Этим объясняется крен в сторону показа отрицательных типов (вроде Дроздова). Потом началось обсуждение романа. Оно проходило на высоких нотах. Во всем чувствовалась новая атмосфера. С трибуны говорились такие вещи, о которых люди еще совсем недавно боялись говорить под одеялом своим женам. Вся литературная общественность находилась под впечатлением свержения сталинского идолопоклонства, которое отразилось в литературном и театральном мире самоубийством Фадеева, реабилитацией Мейерхольда, публичным чествованием памяти Таирова, режиссера, окончившего дни в официальной опале.

В разгаре прений выступил Константин Симонов, бывший тогда редактором "Нового мира" и напечатавший сенсационное произведение. Великий дипломат от литературы решил разрядить сгущающуюся атмосферу. Он говорил, что напрасно товарищи, выступающие здесь, вносят столь горячую страстность в обсуждение романа. Все мы виноваты в той ситуации, которая сложилась в стране. Все мы в той или иной степени вносили свой вклад в создание культа личности и всех, происшедших вслед за этим событий. Речь Симонова, таким образом, имела цель спустить на тормозах поезд советской литературной общественности, стремительно мчавшийся к крушению, сделать хорошую мину при плохой игре, ввести обсуждение в официальное русло. Но вслед за Симоновым на трибуну взошел один из самых честных писателей, сохранивших свою незапятнанность в сталинские времена: Константин Георгиевич Паустовский.

Паустовский начал полемикой с предшествующим оратором. Прочитав то место речи Симонова, где он говорит о виновности всех в культе личности, Паустовский бросил колкую фразу: "Говорите за себя, товарищ Симонов. Сейчас вышло полное собрание моих произведений. Укажите мне хоть одну хвалебную строчку в адрес Сталина. Я писал о простых, отважных людях..."

Затем Паустовский перешел к роману. Особенное внимание он уделил образу Дроздова. Он значительно расширил значение этого образа. Говорил не о Дроздове, а о Дроздовых. Именно они виноваты во всем происшедшем. Это они обожествили Сталина, они душили всякую живую мысль.

"Мерзавцы и антисемиты, они нас осрамили перед всем миром своим грубым юдофобством". Паустовский привел несколько фактов из своей недавней поездки за границу в составе экскур-

сии, когда советские тузы ("Дроздовы"), проявляя грубое невежество, спрашивали в Сикстинской капелле, взирая на знаменитую фреску Микеланджело: "Это, верно, суд над Муссолини?", в Афинах задавали вопрос: "Каким образом античный пролетариат допустил сооружение Акрополя?" А на пароходе, когда один из участников экскурсии восхищался чудесным видом ночью на Адриатическом море, слышались реплики Дроздовых: "Надо присмотреться к этому товарищу. Что наши черноморские виды в Крыму разве хуже?"

Наиболее серьезные обвинения в речи Паустовского относились уже непосредственно к правительственной политике: "Дроздовы нашу страну... обезлесили и обезрыбили..." — с горечью констатировал замечательный русский писатель. И предельно сильный финал: "Мы должны поклясться всю нашу жизнь положить на борьбу с Дроздовыми".

Речь Паустовского произвела впечатление разорвавшейся бомбы. За 40 лет никто еще так открыто и ярко не выступил против "Дроздовых", против правящей клики.

В зале творилось что-то невообразимое. Все вскочили с мест. Аплодисменты сотрясали зал. Люди кричали, топали ногами. Скандировали имя Паустовского. Среди толпы можно было видеть пожилого, плотного человека, который, захлебываясь от рыданий, приветствовал оратора.

Это был член Союза писателей, известный переводчик Валерий Яковлевич Тарсис, имя которого через несколько лет стало известно всему миру.

Речь Паустовского вышла за пределы особняка на ул. Герцена, обошла в отпечатанных на машинке копиях Москву, Ленинград, Киев, перешла через границу. По существу, это было первое проявление самиздата.

"Беспартийный Паустовский произнес антисоветскую речь", — констатировалось в закрытом письме ЦК по поводу "литературного Будапешта".

\* \* \*

Дело, впрочем, не ограничивалось литературным Будапештом. Кроме Будапешта литературного был Будапешт настоящий. Сразу после смерти Сталина начали появляться трещины в возведенном Сталиным здании, в блоке коммунистических государств. Всем

памятны события 17 июня 1953 года (восстание в Восточном Берлине, подавленное советскими войсками). Поворотным пунктом во внешней политике были венгерские события, получившие громкий отклик в стране. Впервые среди молодежи, среди студенчества проявилась могучая волна солидарности с восставшими.

Лозунг "Руки прочь от Венгрии" замелькал в студенческих общежитиях, в коридорах Московского и Ленинградского университетов, в студенческих речах и разговорах. Из Польши доносились вести о национальном пробуждении. И в это время начались забастовки на ряде московских заводов. Все эти события окрылили молодежь. В то же время сильно напугали правительственные круги. "Скоро начнется такой прижим, что вы все своих не узнаете", — говорила мне одна знакомая, близкая к правительственным сферам. Так, в атмосфере тревоги, надежд и смутных ожиданий оканчивался знаменательный для всех 1956 год.

\* \* \*

Эти годы у меня ассоциируются с квартирой моего друга Евгения Львовича Штейнберга. Хорошая квартира. Ему она досталась от его тестя — известного московского врача, работавшего в Кремлевской больнице, — Акима Яковлевича Шапиро, специалиста по болезням уха, горла, носа. Квартира собственная, закрепленная за его потомством. В кабинете Евгения Львовича на письменном столе всегда фотография интеллигента с усталым добродушным лицом. Это фотография Бориса Леонидовича Пастернака, страстным поклонником которого был всю жизнь Евгений Львович. Надо же было так случиться, что он умер в один день и в один час с ним — 30 мая 1960 года.

Как-то дал мне Евгений Львович листок бумаги с отпечатанным на машинке стихотворением. Это было известное стихотворение Пастернака о своих будущих похоронах.

"Как обещало, не обманывая..."

Уже тогда оно меня поразило своей чарующей прелестью и философской глубиной.

Быть может, это вообще главная специфическая черта Пастернака. В этом отношении он имеет в России лишь одного предшественника — Ф. И. Тютчева.

Тогда я услышал впервые о романе "Доктор Живаго". К Пасхе Евгений Львович подарил мне весь комплект стихов прослав-

ленного поэта, написанных в последние годы его жизни. Это было неоценимое сокровище. В поэзии у меня было четыре больших увлечения, если не считать милого всякому русскому сердцу Пушкина: в детстве я любил Лермонтова, в юности заучивал наизусть и бредил Блоком, уже будучи в лагере, я увлекся Тютчевым (его стихи, посвященные памяти Денисьевой, я до сих пор считаю лучшим, что есть в русской поэзии). Четвертая и последняя моя любовь — Пастернак.

Особенно волновали меня его стихи о Христе. Они являются откровением величайшей Тайны, чудесным проникновением в мир иной.

В 1957 году я открыл Пастернака. Через два года все газеты были переполнены статьями о нем. Паршивые шавки травили великого поэта по всем правилам сталинско-гитлеровского блядословия.

\* \* \*

В 1961 году в Москве появился один почтенный протоиерей, приехавший из провинции. У батюшки были неприятности, связанные с тем, что его физиономия не понравилась уполномоченному Совету по делам православной церкви и тот снял его с регистрации.

Много было хлопот и неприятностей в связи с этим у батюшки, и я принимал в этих хлопотах некоторое участие. Хлопоты окончились благополучно, и священник решил отпраздновать свое торжество. Он вместе с матушкой переехал из второразрядной гостиницы в "Метрополь", заказал ужин, назвал гостей. В числе приглашенных были Дудинцев и я.

Нас посадили рядом (как литераторов) — я уже тогда получил некоторую известность в церковных кругах. Зашла речь о Пастернаке, и вдруг, к моему изумлению, Дудинцев начал необыкновенно по-хамски его поносить (потом мне уже объяснили, что он Пастернаку дико завидует, потому что "Доктор Живаго" полностью убил всякий интерес к роману Дудинцева). Причем нападки Дудинцева поражали своей глупостью и вздорностью: он упрекал покойного уже тогда поэта за то, что тот опубликовал "Доктора Живаго" за границей, не посоветовавшись — с кем бы вы думали?.. — с ним, Дудинцевым. Конечно, можно было только

посмеяться. Но я уже хватил несколько рюмок, а в хмелю я очень раздражительный и злой.

Я сказал: "Понимаете ли вы, о ком говорите? Вы Нарезный..."  
"Какой Нарезный?"

"Ну, вот видите, вы даже не знаете, кто такой Нарезный. Нарезный — это маленький писатель начала XIX века. Но в учебниках его имя упоминается (в числе других) как имя одного из предшественников Гоголя. Так вот вы маленький предшественник кого-то, кто еще должен прийти. А Пастернак — Пушкин. Понимаете ли вы это?"

Дудинцев возненавидел меня после этих слов на всю жизнь и имени моего не может слышать без судорог.

Поделом. Женщине нельзя говорить, что она некрасивая, писателю — что он бездарен.

Но все же и сейчас я с чистым сердцем могу повторить эти слова и Дудинцеву, и многим, очень многим писателям. По моему глубочайшему убеждению, от всей нашей эпохи останется Пастернак. И один лишь Пастернак.

\* \* \*

То есть все, конечно, останутся.

Но останутся как школьно-музейный инвентарь.

Лагерная литература перестанет интересовать людей, когда исчезнут лагеря (как никого сейчас всерьез не интересуют ни "Путешествие из Петербурга в Москву", ни "Записки охотника", ни "Пошехонская старина", ни другие произведения, в которых рассказывается о временах крепостного права). Проблемы, связанные с Октябрьской революцией, перестанут интересовать людей, когда сама эта революция со всем из нее вытекающим станет давно прошедшим. Лишь Пастернак придет в будущее, "как живой, с живыми говоря".

Ибо всегда у людей будет потребность в творчестве, в любви, и главное — всегда люди будут тянуться к Богу, к Христу. А об этом проникновенно и глубоко сказал в нашем поколении Пастернак. И один лишь Пастернак!

## ИНТЕРМЕЦЦО

### И ТВОРЧЕСТВО, И ЧУДОТВОРСТВО

*(О Пастернаке)*

Помню. В 1943 году шли мы в Ульяновске с моим шефом Митрополитом Александром Введенским по заснеженной, в сугробах улице. Я сказал: "Язык людской слишком слаб и неуклюж. Назначение поэзии — открыть новый язык. Блок сделал в этом направлении первый шаг. Он творец нового языка".

Шеф ответил: "Приведите пример".

Сами собой подвернулись строки:

"А под маской было звездно.  
Улыбалась чья-то повесть,  
Короталась тихо ночь,  
И задумчивая совесть,  
Тихо плавая над бездной,  
Уводила время прочь".

Шеф сказал задумчиво: "Пожалуй".

Это не новость: гласолалия, заумь, символизм — отдельные попытки выразить словами, что рождается в глубине, для чего тесны рамки человеческих слов. Футуристы пытались преодолеть эту преграду какофонией, — кустарщина, наивность.

Для поэтов конца XIX — начала XX века слова — символ, намет, одежда. Они пошли в этом направлении далеко. Пастернак дальше всех.

Вторая характерная черта Пастернака: он не выносит "внешней красоты" (бальмонтовского типа). И резонерски-публицистического тона поэта-оратора Маяковского.

\* \* \*

Между тем эту линию начал как раз Маяковский:

"Я разом смазал карту будня,  
Плеснувши краску из стакана.

Я разглядел на блюде студня  
Косые скулы океана.  
На чешуе жестяной рыбы  
Прочел я зовы новых губ.  
А вы ноктюрн сыграть могли бы  
На флейте водосточных труб?”

Он не сдержал слова: водосточные трубы показались ему слишком скучными. Он ушел в “высокую поэзию”, стал говорить: “Ваших душ золотые россыпи...”, а потом из золотых россыпей дальше, в передний высокопоставленных партийных вельмож. Пастернак остался среди “водосточных труб”.

“Хотя я с барством был знаком  
И с публикой деликатной,  
Я дармоедству был врагом  
И другом голи перекатной”.

И парадокс: подлинным поэтом-демократом оказался не Маяковский, который только и делал, что кричал о народе, а Пастернак. И уж в самом начале — катарсис, стремление к очищению, к просветлению, к чистоте, То, что делает Пастернака величайшим религиозным поэтом.

Он заговорил о Христе лишь под конец, на краю могилы. Но христианином был всегда и перед концом жизни мог сказать Христу:

“Ты значил все в моей судьбе.  
Потом пришла война, разруха,  
И долго, долго о Тебе  
Ни слуху не было, ни духу”.

Но Христос всегда невидимо в его поэзии, в его стремлении к очищению, к преображению.

Порой это очищение, обновление идет от природы. И о природе он умел писать так, как не писал никто и никогда.

Без тени внешней “красивости”, с подчеркиванием прозаизмов. Но поэзия врывается в стих. И какая поэзия! Наиболее характерно в этом отношении стихотворение о зиме. Не можем его не привести:

“В занавесках кружевных  
Воронье.

Ужас стужи уж и в них  
Заронен.

Это кружится октябрь,  
Это жуть  
Подобралась на когтях  
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,  
То, кряхтя,  
Заступаются шестом  
За октябрь.

Ветер, за руки схватив  
Дерева,  
Гонит лестницей с квартир  
По дрова.

Снег валится, и с колен —  
В магазин  
С восклицанием: "Сколько лет,  
Сколько зим!"

Сколько раз он рыт и бит,  
Сколько им  
Сыпан зимами с копыт  
Кокаин!

Мокрой солью с облаков  
И с удил  
Боль, как пятна с башлыков,  
Выводил".

Как пятна с башлыков, боль, скорбь и грязь.

"Утренеет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен. Но, яко щедр, очисти мя благоутробною Твоею милостью". Очисти! — мольба об очищении в этом стихотворении о зиме. И в любовной лирике то же стремление к преобразению, к просветлению.

Его жизнь представляется ему книгой, запыленной, всеми

забытой, где-то в огромной библиотеке, затерявшейся на дальней, в паутине, заброшенной полке.

И вот пришла женщина и смело взяла с полки книгу, не жеманничая, не дожидаясь приглашений.

“Грех думать, ты не из весталок:  
Вошла со стулом  
И с полки жизнь мою достала  
И пыль обдула”.

Я помню, в юности прочел это стихотворение мачехе. Она возмутилась: “Это заумь. Почему со стулом? При чем тут стул?” А между тем именно в стуле-то все и дело. Этот стул, на который надо встать, чтобы достать запыленную книгу жизни, так она высоко и далеко, делает образ до жути близким и ощутимым. Вот пример поэзии в прозаизме. Это не то, что “душ золотые россыпи” Маяковского. И знаменитый стих, столь восхитивший в свое время Маяковского:

“В тот день всю тебя, от гребенок до ног,  
Как трагик в провинции драму Шекспирову,  
Носил я с собою и знал назубок,  
Шатался по городу и репетировал”.

Это из стихотворения “Марбург” (1915 г.). Тема стихотворения вполне обычная: поэт сделал предложение, но был отвергнут.

Почти как в знаменитом романсе Римского-Корсакова на слова Курочкина:

“Он был титулярный советник,  
Она генеральская дочь.  
Он вздумал в любви ей признаться,  
Она прогнала его прочь”.

А в конце опять катарсис. Очищение, просветление через природу. Жизнь — игра в шахматы. Нечто игрушечное, не всамделишное. А природа — настоящее.

“И тополь — король. Я играю с бессонницей.  
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.  
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,  
Я белое утро в лицо узнаю”.

И рубеж. Новый период в творчестве Пастернака. Переломный момент. Поэма "Лейтенант Шмидт".

Поэма революционная. Но лишь формально. Прежде всего, не случайно избран Шмидт. Трудно найти в истории личность, более чистую, человека, более самоотверженного, более лишенного честолюбия и каких-либо пошловатых черт, чем Петр Шмидт. Пастернак подчеркивает человеческие черты Шмидта. На первом плане любовь, любовь идеальная и возвышенная к женщине, живущей где-то далеко-далеко, в другом городе.

В центре поэмы их переписка. Поэма начинается с его письма. Кульминационный пункт — ее телеграмма с призывом, подписанная "твоя".

Его сборы, которым помешало восстание. И в заключение поэмы письмо к любимой, на этот раз прощальное, последнее письмо.

Шмидт — противник кровопролития. Он против восстания. Во главе восстания его поставили матросы. "Невольник чести" — он не мог отказаться.

И заключительные слова. И здесь — Евангелие.

"Все отшумело. Вставши поотдаль,  
Чувствую всю силу чутья:  
Жребий завиден. Я жил и отдал  
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем у цели  
И по пути в пустяках не увяз.  
Крут был подъем, и сегодня, в сочельник  
Ошеломляюсь, остановясь".

Когда-то Розанов назвал Керенского Алешей Карамазовым русской революции. Это было, когда Керенский находился у власти. И это очередной юродивый, лстивый выверт великого блудослова.

Нет, не Керенский. Лейтенант Шмидт, идущий под расстрел, человек чистый и самоотверженный, "невольник чести", — вот подлинный Алеша Карамазов русской революции. И он герой Пастернака. Таким образом, самая революционная поэма Пастернака

имеет объективную антисоветскую направленность. Протест против грязи, против жестокости и против лжи.

В революции Пастернака пленяет порыв к свету, к справедливости, к правде. Политическая фразеология его нисколько не интересует.

Таково же его впечатление о Ленине. Он искренно признается, что в тот единственный раз, когда он видел Ленина на трибуне, он не очень вслушивался в то, о чем Ленин говорил: "Слова могли быть о мазуте". Его, однако, покоряет революционный порыв, порыв к свету, к освобождению:

"Он был как выпад на рапире.  
Гонясь за высказанным вслед,  
Он гнул свое, пиджак топыря  
И пяля передки штиблет.  
Слова могли быть о мазуте,  
Но корпуса его изгиб  
Дышал полетом голой сути,  
Прорвавшей глупый слой лузги.  
И эта голая картавость  
Отчитывалась вслух во всем,  
Что кровью былей начерталось:  
Он был их звуковым лицом".

Оканчивается отрывок, посвященный изображению Ленина, довольно странным комплиментом:

"Какое крытое сцепленье  
Соединяет с годом год!  
Предвестьем льгот приходит гений  
И гнетом мстит за свой уход".

*("Высокая болезнь", цитирую по  
американскому изданию, т. 1, стр. 272)*

Еще более двусмысленны другие комплименты Пастернака советскому режиму. Он приветствует пятилетку, но говорит, что это не для его "грудной клетки". Но самое двусмысленное в его стихотворении, написанном в тридцатые годы. Стихотворение представляет собой перифраз пушкинского стиха: "Гляжу вперед я без боязни".

“Столетье с лишним — не вчера,  
А сила прежняя в соблазне,  
В надежде славы и добра  
Глядеть на вещи без боязни”.

Как известно, стихотворение Пушкина было адресовано Николаю I и написано тотчас после казни декабристов. Аналогия напрашивается сама собой. Советский строй — та же николаевщина. И поэтому только остается надеяться на то, что он сумеет работать и при этом строе, который в дальнейшем будет становиться более либеральным. Эта мысль еще более подчеркивается концовкой:

“Но лишь сейчас сказать пора,  
Величьем дня сравнение разня:  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща  
И утешаясь параллелью,  
Пока ты жив, и не моща,  
И о тебе не пожалели”.

*(Там же, стр. 360)*

Можно было заранее сказать: не поблагодарят тебя, Борис Леонидович, большевики за такую параллель.

И действительно, не поблагодарили.

\* \* \*

Нет ничего удивительного в том, что советское правительство не выносило Пастернака. Удивительно другое: что Сталин так долго его терпел. Видимо, он считал, что Пастернак может пригодиться (подобно Эренбургу и другим) для связей с либеральной интеллигенцией. Играла, очевидно, роль симпатия к Пастернаку со стороны Горького. Доклад Бухарина на I съезде писателей летом 1934 года — это высшая точка популярности Пастернака. Он был признан лучшим советским поэтом. Его стихи начали переиздаваться и стали появляться на стендах библиотек, где

они, кстати сказать, были совершенно не к месту. Ибо массовый читатель их совершенно не воспринимал.

“Непостижимо! Пастернак страдает графоманией”, — прочел я однажды читательский “отзыв” на экземпляре книги его стихов, взятом мною из Библиотеки им. Л. Н. Толстого на Васильевском Острове в Питере.

Тем большей аномалией выглядел официальный фавор Пастернака. Вскоре все стало на свое место.

Гонения на Пастернака начались тотчас после ареста Н. И. Бухарина. Газетные шавки так и накинлись на Пастернака с лаем, взвизгиваниями, кликушескими воплями. Особенно ставилось в вину Пастернаку одно его стихотворение, где говорилось о том, что “народ кладет под долото его мечты и цели”. Впрочем, Пастернаку можно было вменить в вину еще многое и, между прочим, его стихотворение “Смерть поэта”, которое больно задело официальное руководство. В противоположность официальным “соболезнователям”, качавшим головами и выражавшим неискреннее “изумление” по поводу самоубийства Маяковского, Пастернак это самоубийство оправдывал и даже восхвалял.

“Твой выстрел был подобен Этне  
В предгорье трусов и трусих”,

— восклицал поэт.

\* \* \*

Остальное известно. Презрительная снисходительность Сталина,— “это юродивый!”. Вынужденное молчание в течение 20 лет, перемежавшееся очередными ругательствами советских блюдолизов, как, например, в 1948 году во время кампании против космополитов, когда имя Пастернака появлялось во всех официальных докладах со “стойким эпитетом”: “поэт, враждебный народу”. Переводческая деятельность. И наконец, “Доктор Живаго”. И последний, наиболее яркий период его творчества.

\* \* \*

Я никогда не был поклонником пастернаковской прозы. Пастернаковская проза до 1940 года — это нечто вроде стихов Гоголя, романов Н. А. Некрасова, пьес Белинского. Нечто беспомощное

и претенциозное. “Доктор Живаго”, сделавший имя Пастернака столь широко известным во всем мире, резко отличается от всех других его прозаических произведений. Но об этом потом. Сейчас о стихах. Ибо и в “Докторе Живаго” главное стихи и только стихи.

Как известно, Пастернак отвергал все свое творчество до 1940 года. Это так же несправедливо и кощунственно, как сожжение Гоголем второго тома “Мертвых душ”. Его творчество всегда было проявлением поэтического гения. С одним можно согласиться. С тем, что стихи Пастернака последних лет превосходят все, написанное им ранее, как едва ли не всю поэзию, родившуюся после смерти Блока. Стихами последних лет Пастернак стал в уровень с русскими гениями, рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, Тютчевым, Блоком... и обчелся. Не знаю, кого еще назвать. Есенин, Маяковский, Мандельштам, Ахматова, Цветаева — пять наиболее выдающихся поэтов послереволюционных лет, как мне кажется, не дотягивают, далеко не дотягивают до уровня позднего Пастернака.

Конечно, это лишь мое личное мнение, мнение рядового читателя, ни для кого не обязательное, не авторитетное, но тем не менее твердое.

\* \* \*

Христос! Прежде всего Христос! Стихи Пастернака о Христе — событие не только в поэзии, но и в мировой религиозной и философской мысли.

Начиная с апостола Павла, христология стоит перед тем же самым вопросом. Вопросом невероятной, нечеловеческой трудности. Христос — в двух естествах: божественном и человеческом. Как известно, весь “золотой век” христианской церкви прошел в спорах и смутах, которые сотрясали церковь на протяжении столетий. Причем главным камнем преткновения был христологический вопрос. В богословском плане после шести вселенских соборов (седьмой — Никейский — этим вопросом занимался лишь косвенно, поскольку изображение неизобразимого есть также вопрос о воплощении Бога) этот вопрос получил разрешение в четких и ясных формулах. Так в плане догматическом, умозрительном.

Не то в плане психологическом. Здесь все время резкие колебания то в ту, то в другую сторону. Если в классической протестан-

стантской экзегетике (у Гарнака и у других) мы видим сильный крен в сторону арианско-несторианской христологии с рационалистическим подчеркиванием всех человеческих черт в Христе, если в критической экзегетике (типа Ренана и Штрауса) мы находим голое и даже фанатичное отрицание всего божественного и сверхчеловеческого в Христе, то в православной и католической повседневной практике мы находим иной раз другую крайность. Христос воспринимается исключительно в своей божественной сущности. Это во всем — в иконописи: младенец Христос — не младенец, а маленький старичок, в каноническом распятии, где Христос изображен с безмятежно спокойным лицом и главным образом в восприятии Христа рядовым верующим, для которого в Христе часто совершенно исчезают человеческие черты, и Христос является в образе исключительно божественного величия. Лишь в отдельные моменты отдельным великим просветленным Богом художникам удалось приблизиться к великой тайне богочеловечества. И то не в изображении Христа, а в изображении Богоматери. Таковы иконы Божией Матери Владимирская, Казанская, Скоропослушница и бессмертная Сикстинская Мадонна.

И вот Пастернак каким-то неизъяснимым чудом в конце жизни сумел выразить Христа в обоих естествах — Божеском и человеческом. Подступом к этому было все его раннее творчество, умение найти высокую поэзию в обыденном, разглядеть нечто высокое, сокровенное в обыденной жизни. Возьмем для примера три стихотворения о Христе.

“Дурные дни”. Христос перед судом. Читателя, привыкшего, чтобы о Христе говорили в выпренных выражениях, сразу поколебят прозаизмы. Натуралистичность.

“Свинцовою тяжестью всею  
Легли на дворы небеса.  
Искали улик фарисеи,  
Юля перед Ним, как лиса.

И темными силами храма  
Он отдан подонкам на суд,  
И с пылкостью тою же самой,  
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке  
Заглядывала из ворот,

Толклись в ожиданье развязки  
И тыкались взад и вперед”.

Грубые, обрисованные резкими мазками образы. Именно так воспринимал бы события посторонний наблюдатель, рядовой человек, затесавшийся в толпу около здания, где происходит следствие, предшествующее суду над Христом.

И вдруг в симфонии — новый мотив. Начинается он тихо-тихо, едва слышно:

“И полз шепоток по соседству  
И слухи со многих сторон.  
И бегство в Египет и детство  
Уже вспоминались, как сон”.

Вы как будто слышите этот шепоток, и незаметно вместе с шепотком проникает нечто неуловимое, сокровенное. Вы входите во внутренний мир Христа. Его воспоминания. Это нечто человеческое, слишком человеческое (детство — и этому соответствует замедленная, шепчущая, интимная интонация). Но затем звук крепчает и переходит в торжественную ораторскую интонацию:

“Припомнился скат величавый  
В пустыне, и та крутизна,  
С которой всемирной державой  
Его соблазнял сатана”.

И дальше, дальше — человеческое отступает...

“И брачное пиршество в Кане,  
И чуду дивящийся стол,  
И море, которым в тумане  
Он к лодке, как посуху, шел”.

И опять голос снижается, но теперь это уже не робкий шепот, это уверенная интонация, повествующая о непостижимом, непонятном, невероятном и в то же время несомненном. О том, как несколько дней назад этот беспомощный узник, такой сейчас беззащитный перед толпой фарисеев, был в другом сборище.

“И сборище бедных в лачуге,  
И спуск со свечою в подвал,

Где вдруг она гасла в испуге,  
Когда воскресенный вставал”.

В этом стихотворении, как в музыкальном произведении (как в симфонии), переплетение различных мотивов. И заключительный аккорд — явление Божества. Богочеловек открывается реально, несомненно, ощутимо.

И другое стихотворение: “Магдалина”. Женский рассказ, изобилующий бытовыми подробностями. Уборка перед праздником. Она обливает ноги Христа из ведерка. Бытовая подробность подчеркивает реальность обстановки. Не торжественное — кувшин, а кухонное “ведерко”.

Читаем стихотворение. В первых строфах типичная бабья интонация:

“У людей пред праздником уборка.  
В стороне от этой толчеи  
Обмываю миром из ведерка  
Я стопы пречистые Твои.

Шарю и не нахожу сандалий.  
Ничего не вижу из-за слез.  
На глаза мне пеленой упали  
Пряди распустившихся волос.

Ноги я Твои в подол уперла,  
Их слезами облила, Исус,  
Ниткой бус их обмотала с горла,  
В волосы зарыла, как в бурнус”.

А затем озарение. Это и предчувствие, и ясновидение, почти доходящее до галлюцинации. И в конце обобщение огромной силы:

“Будущее вижу так подробно,  
Словно Ты его остановил.  
Я сейчас предсказывать способна  
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,  
Мы в кружок собьемся в стороне.

И земля качнется под ногами,  
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,  
И начнется всадников разъезд.  
Словно в бурю смерч, над головою  
Будет к небу рваться этот крест”.

Так говорит женщина, предчувствуя смерть Учителя. А затем перерыв. Это не плачущая женщина, это провидица, сивилла. Пророчество, откровение.

”Брошусь на землю у ног распятия,  
Обомру и закушу уста.  
Слишком многим руки для объятья  
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,  
Столько муки и такая мощь?  
Есть ли столько душ и жизней в мире?  
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток  
И столкнут в такую пустоту,  
Что за этот страшный промежуток  
Я до воскресенья дорасту”.

Здесь гениальность Пастернака в зените. Эти две строфы стоят тысяч томов ученых теологов, написанных на протяжении столетий. Особой, почти сверхъестественной интуицией поэт проник в самую сущность христианства.

Прежде всего ширь. Ширь, охватывающая все и всех. Вот почему такими жалкими выглядят попытки пигмеев сузить христианство, втиснуть его в конфессиональные рамки или использовать его для узкополитических концепций. Христос — это широта непостижимая, глубина неисследованная — в ней тонут все споры богословов, все вековые конфессиональные распри между православными, католиками, протестантами, сектантами.

Это почувствовал как раз в это время в далекой Италии крестьянский сын Ронколи, вознесенный Волей Божией на Папский

престол с благословенным именем Иоанна. Одновременно в Переделкине и в Риме два гения почувствовали, что главное в Христе широта и глубина. И ныне время раскрыть и явить эту широту миру.

И последняя строка: "Я до воскресенья дорасту".

До воскресенья надо дорасти. И в этом росте человеческой души — росте через страдания, скорби, откровения — все христианство и смысл всей мировой истории.

\* \* \*

И последнее, заключительное стихотворение этого Цикла "Гефсиманский сад". Вначале топографическое описание, данное глазами постороннего наблюдателя. Тон спокойный, повествовательный. Пока ничто не обнаруживает отношения автора к описываемым событиям.

"Мерцаньем звезд далеких безразлично  
Был поворот дороги озарен.  
Дорога шла вокруг горы Масличной,  
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.  
За нею начинался Млечный Путь.  
Седые серебристые маслины  
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.  
Учеников оставив за стеной,  
Он им сказал: "Душа скорбит смертельно,  
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной".

И вдруг обобщение огромной силы, проникновение в самую суть описываемых событий.

"Он отказался без противоборства,  
Как от вещей, полученных взаймы,  
От всемогущества и чудотворства,  
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем  
Уничтоженья и небытия.  
Простор вселенной был необитаем,  
И только сад был местом для житья.

И глядя в эти черные провалы,  
Пустые, без начала и конца,  
Чтоб эта чаша смерти миновала,  
В поту кровавом Он молил Отца”.

Опять откровение. Более глубоко и ясно невозможно выразить проблему кенозиса — Божественное унижение, схождение, которое является основной проблемой христианства.

А затем автор опять переходит к бытовому тону; намеренный грубоватый прозаизм, типичный в устах простолюдина, вложенный в уста Христа, подчеркивает реализм повествования:

”Смягчив молитвой смертную истому,  
Он вышел за ограду. На земле  
Ученики, осиленные дремой,  
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: ”Вас Господь сподобил  
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт.  
Час Сына Человеческого пробил.  
Он в руки грешников Себя предаст”.

И лишь сказал, неведомо откуда  
Толпа рабов и скопище бродяг,  
Огни, мечи и впереди — Иуда  
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам  
И ухо одному из них отсек.  
Но слышит: ”Спор нельзя решать железом,  
Вложи свой меч на место, человек”.

А потом конец необыкновенной обобщающей силы, где в двух строфах раскрыт весь смысл мировой истории:

“Ты видишь, ход веков подобен притче  
И может загореться на ходу.  
Во имя страшного его величья  
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану.  
И, как сплавляют по реке плоты,  
Ко Мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты”.

Здесь конец. Никто и никогда так просто и ясно не выражал христианского понимания истории. Рядом с этими строками всякий комментарий покажется бледным. Поэтому здесь мы прерываем повествование о творчестве Пастернака, чтобы продолжить его потом, когда будем вспоминать июньские дни 1960 года.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### ПОСЛЕ СТИХОВ — ПРОЗА

А жизнь шла своим чередом. Впервые начали появляться трещины между мною и некоторыми из моих друзей.

У меня в это время было три рода деятельности. Одна — школьная, официальная. Вторая — работа в "Журнале Московской Патриархии" — полуофициальная. Уже в это время я стал заниматься деятельностью совсем неофициальной: писанием работ, как тогда называли, НДП — "не для печати". Эти работы распространялись лишь в узком кругу и представляли собой зачаток "Самиздата".

И тут начали проявляться впервые расхождения. Формулируя свои принципы, я, разумеется, не делал тайны из того, что являюсь христианским социалистом. Но мои друзья боялись этого слова так, как праведный еврей боится "хазер" — свинины. Это я в первый раз почувствовал в лагере, когда прочел одну из моих статей, написанных от руки, своему товарищу по узам — верующему старичку. Он сказал: "Это все правильно. Я сам за справедливость и против богатых. Только слово-то уже очень противное. Нельзя ли вместо него какое-нибудь другое?" Я невольно вспомнил щедринскую купчиху, которая боялась слова "жупел". Точно так же боялись этого слова многие за границей.

Но я всегда был сторонником ясности и определенности. Если бы я жил в Англии, я был бы левым лейбористом, в Германии, Италии, Франции я был бы вместе с левыми католиками (с людьми типа Генриха Бея) и был бы заодно с социалистами.

В старой России я примыкал бы (подобно епископу Михаилу Семенову и о. Григорию Петрову) к народным социалистам. Я принимаю целиком и полностью всю программу эсеровской партии (партии, немарксистской и уважающей религиозные верования). Не признаю я только террор. Народные социалисты — это та часть эсеровской партии, которая отвергла террор.

Но мой социализм заставлял морщиться моих друзей-церковников, и я мучительно сознавал свое от них отчуждение.

“Вы никогда не найдете ни с кем общего языка, потому что вам надо такой идеологии, которая была бы одновременно и красной, и белой, и зеленой, и розовой, а так не бывает”, — говорила мне очень неглупая женщина, моя приятельница. “Если вы сумеете оставить после себя какой-то след, может быть, через сто лет вами заинтересуются”.

“Ну, что же — сто лет не так уж много, — подожду”, — отвечал я. И декламировал стихи Луи Арагона, опубликованные им под псевдонимом “Дестан” в годы немецкой оккупации Франции.

“Но колебания бесполезны.

Все ясно для меня.

Я говорю из тьмы железной

Для завтрашнего дня”.

А мой ближайший друг Евгений Львович острил, вышучивал мой интерес к личности Троцкого: “Вам надо, чтобы Троцкий воскрес и принял христианство. Вот тогда вы будете довольны”.

“Ну что ж, это было бы не так уж плохо”, — отвечал я.

“Ну, уж ни за что бы не хотел, чтобы мною правил профессиональный оратор”, — сказал один из друзей, присутствовавший при этой беседе.

“Вы предпочитаете профессионального бандита или плохого агронома?” — парировал я.

В это время мы разъехались с мачехой, продав предварительно отцовский домик в Вешняках. Екатерина Андреевна переехала в Москву, а я купил себе крохотную комнатку в Ново-Кузьминках.

Знают эту комнатку все мои друзья и знакомые. Здесь прошла вся моя деятельность. Здесь я провел самые знаменательные 11 лет своей жизни. И на дружеском жаргоне моих ребят самое место стало называться “Ново-Левитинки”.

Также интересное это место. Вслед за Вешняками проходит Рязанское шоссе — дорога, ведущая из Москвы в Рязань. Тут граница владений графов Шереметьевых. За шоссе начинались владения князей Голицыных, которые оканчивались великолепным парком, окружавшим княжеский дом, сгоревший в 1917 году. Недалеко от Кузьминок (так называлось имение Голицыных) — Ново-Кузьминки, поселок, возникший уже в советское время, в тридцатые годы, состоявший из крохотных деревянных домиков, переполненных жильцами. Домик, совладельцем кото-

рого я был, — крохотный, но в нем было шесть владельцев. Самое маленькое владение — мое: 11 метров, да коридорчик — 4 метра. Комнатка отделена фанерной стенкой от соседей. Все слышно, как в одной комнате, только не видно — фактически не стенка, а занавеска. И каждый человек на виду. В домике живут простые рабочие люди.

Вся моя деятельность протекала здесь, соседи знали о ней, если не все, то, во всяком случае, многое. Милиция и "органы" их осаждали без конца, но не было случая, чтобы кто-нибудь дал этим "блюстителям порядка" какие-нибудь сведения. А с некоторыми из соседей у меня сохранилась самая теплая дружба до сей поры.

Стало быть, кое с кем общий язык я сумел найти раньше, чем через сто лет. Вообще лучше всего я нахожу общий язык с простыми русскими людьми: и в лагере меня любили, и ученики (особенно в Марьиной Роще, где только рабочие ребята) были мне свои, родные, и соседи стали мне близкими. И семинаристы (из деревенских парней) меня жаловали. Только с интеллигентами (и там, и здесь, в эмиграции) у меня отношения не ладятся. Не любят они меня. Ну, а я их. Как же не народный социалист?

\* \* \*

Между тем вскоре произошли грозные события, которые поставили всех нас перед роковым выбором и опять перевернули всю нашу жизнь наизнанку. Все наши теоретические разногласия сошли на нет. Стало не до споров.

С самого начала правления Никиты начала обозначаться четкая антирелигиозная тенденция, совершенно как будто сошедшая на нет в последние годы правления Сталина. Осенью 1954 года, однако, начавшаяся по инициативе Хрущева антирелигиозная кампания была притушена; было опубликовано Постановление ЦК КПСС "Об ошибках в научно-атеистической пропаганде" за подписью Хрущева. Это была явно победа какой-то антихрущевской группы, причем Никите (который был явным инициатором этой кампании) пришлось высечь самого себя.

После этого антирелигиозная кампания заглохла на несколько лет. Лишь в отдельные моменты появлялись антирелигиозные брошюры, составленные в довольно агрессивном тоне, напоминающая о том, что там, "наверху", о борьбе с религией не забыли

и что затишье в этом вопросе есть затишье перед бурей. Так, в 1956 году была издана в Москве брошюрка некой Киры Воронаевой (кандидата исторических наук) "Жил ли Христос?", написанная в необыкновенно агрессивном, задорном тоне и изданная огромным, сотысячным тиражом. Всякому знакомому с приемами антирелигиозной пропаганды 20-х, 30-х годов сразу бросилось в глаза, что Воронаева лишь механически повторяет штампы своих предшественников. Ни одной новой мысли, ни одного нового аргумента, причем ясно было, что Воронаева совершенно не знакома с новейшими достижениями археологии и истории. Так, ей, видимо, остались совершенно неизвестными кумранские находки, о которых тогда писали газеты всего мира и о которых ни одним словом не обмолвились советские источники.

Митрополит Николай, который тогда был ведущей фигурой в Совете Мира, поручил написать ответ моему другу, который фигурирует в настоящих воспоминаниях под условным псевдонимом Ивана Николаевича Павлова (он очень не любит шумиху вокруг своего имени). Иван Николаевич тщательно проштудировал все материалы, относящиеся к историческим свидетельствам о Христе, и написал на эту тему блестящую работу под названием "Жил ли Христос", где, полемизируя с Воронаевой, не оставил буквально камня на камне от официальной антирелигиозной аргументации.

Блестящий стиль, глубокий анализ всех дошедших до нас источников, при резкой, остроумной полемике с Воронаевой делают эту работу выдающимся произведением русской богословской мысли этого времени. Здесь в полной мере проявился великолепный талант этого человека, глубокого религиозного мыслителя, талант, к сожалению, мало проявившийся и в значительной степени оставшийся неизвестным широкой публике.

Работа была одобрена Митрополитом Николаем и подписана его именем. Все мы единодушно решили, что это будет наиболее целесообразно. Далее эта работа была распространена Митрополитом среди известных историков, членов Совета Мира и других деятелей. Ответа не последовало. Антирелигиозная кампания вновь притихла.

Летом 1957 года в Москве происходил Международный фестиваль молодежи. Со всего мира хлынула в Москву молодежь всех партий, групп, оттенков.

И очень заметную струю в этой волне составляла религиозная молодежь (католическая, протестантская, мусульманская, буддийская). Духовенство было привлечено к приему гостей и соответствующим образом инструктировано. Весной 1957 года имело место в связи с этим особое совещание представителей московского духовенства под председательством Митрополита Николая при участии сотрудников Совета по делам Православной Церкви. Но вот окончился фестиваль. Разъехались иноземные гости. И вновь поднимаются волны антирелигиозной кампании. На этот раз более решительной и воинственной, чем когда-либо.

Чувствовалось, что это уже не конъюнктурное явление. За религию принялись, как следует. Сыграло роль, конечно, укрепление позиций Хрущева. Весной 1957 года, после разгрома группы Молотова, Кагановича, Маленкова и, как тогда выражались, "прикнувшего к ним Шепилова", Хрущев становится диктатором в полном смысле этого слова. И в числе других своих забот он решил взять реванш и на "антирелигиозном фронте". Начинается долголетняя упорная борьба против религии, продолжавшаяся со все нарастающей силой на протяжении семи лет (вплоть до самого ухода Хрущева в 1964 году). Каковы были причины, побудившие Хрущева начать эту беспрецедентную после 1941 года кампанию? Их по меньшей мере три.

Начнем с самой незначительной. Уязвленное самолюбие диктатора, которого раз заставили его противники из ЦК унижительно отступить в этом вопросе. Диктаторы, какие бы то ни были и где бы то ни были, таких вещей не прощают.

Вторая черта более важная. В противоположность своим коллегам из ЦК Хрущев был человек искренний и в какой-то мере принципиальный. Более того, в нем сохранился юношеский романтизм. Он любил вспоминать молодость: он и стихи друга юности, умершего в начале двадцатых годов в полной неизвестности, цитировал, и свою учительницу, учившую его грамоте в первом классе, разыскал и возвеличил. Особым ореолом было окружено для него имя Ленина, тем романтическим ореолом, теперь уже малопонятным, каким оно было окружено в сознании полуголодных, раздетых и разутых комсомольцев и коммунистов времен революции и гражданской войны. В сознании Хрущева те дальние годы и образ Ленина ассоциировались с антирелигиозной пропагандой, со стихами Демьяна Бедного (которые он велел пере-

издать), с глумливыми антирелигиозными выходками комсомольского митингового оратора, каким он оставался до конца дней.

И наконец, третье — самое значительное. Этот митинговщик, всеми осмеянный и хулимый после своего падения, был государственным деятелем. И государственным деятелем крупного масштаба. Во всяком случае, более крупным, чем кто-либо из его преемников.

Когда-то, до революции, родилось едкое выражение по поводу тогдашних архиереев, покорных Синоду и царской власти: “чиновники в рясах”. Про правящую клику нынешнего времени можно сказать: “чиновники с красными книжечками и цекистскими значками”.

Чиновники консервативные, ограниченные и способные лишь идти по инерции. Хрущев таким не был: он был человеком дальновидным и способным на решительные действия, крутые повороты, как это показал 1956 год.

Он был по-своему глубоким, хотя и не очень умелым политиком, и он понимал, что единственная альтернатива для господствующей так называемой марксистско-ленинской идеологии в СССР может быть христианская религия. В самом деле не штаны же заграничного фасона и телевизоры иностранного образца могут зажечь молодежь.

Никита знал, что за этим “знаменем” могут пойти только всевозможные “Лимоновы”, дегенеративные, никчемные юнцы. Стоит ли их опасаться и за них бороться?

Религия, наоборот, может стать знаменем в борьбе; за заграничные штаны никто умирать не пойдет. А за Христа будут стоять насмерть и, если надо, будут за Него умирать. И в этой правильной констатации — источник хрущевской ненависти к религии.

\* \* \*

Так или иначе в 1958 году началась агрессивная, истерическая кампания против религии. Ее открыла брошюрка некоего Евграфа Дулумана — в недавнем прошлом кандидата богословия, выпускника Московской Духовной Академии, а затем преподавателя Саратовской Духовной Семинарии. Эта брошюрка как бы пунктиром намечала будущее развитие антирелигиозной пропаганды. Прежде всего, рабское следование “классическим образцам” — вся она в значительной степени списана с “классических” трудов

“патриарха антирелигиозной пропаганды” Емельяна Ярославского, к тому времени уже давно умершего и основательно забытого, творение которого “Библия для верующих и неверующих” была, однако, переиздана огромным тиражом через несколько лет.

Развязность, недобросовестность, глубокое невежество — таков стиль этого “классика” антирелигиозной пропаганды, заимствованный у него и еще более усугубленный его учеником Дулуманом. Эта брошюрка была поднята на щит антирелигиозной пропагандой. Изданная огромным тиражом, она была во всех библиотеках, красовалась на всех библиотечных стендах, на всех книжных витринах, пропагандировалась всюду и везде: в увеселительных садах, в фойе рабочих клубов и кинотеатров. Печать отмечала выход брошюры в панегирических тонах. Газеты в это время были переполнены антирелигиозными статьями.

Тысячи пропагандистов (в том числе и сам Дулуман) бросились в турне, выступали всюду и везде. Как правило, это были люди невежественные, неудачники, потерпевшие фиаско во всех амплуа, в которых они пытались сделать карьеру, и бросившие якорь в этой сфере, где можно было говорить и писать что угодно, как угодно, кому угодно.

Публика эта была на редкость невежественная и бесталанная. Но их слушатели (обычно молодежь) были еще более невежественны. Ведь в России уже в течение сорока лет не было никакого религиозного обучения — какое бы то ни было религиозное воспитание было запрещено под страхом привлечения к уголовной ответственности. Люди, изучавшие в старое время Закон Божий и что-то знавшие о религии, доживали последние дни.

А молодой человек, знавший о религии понаслышке, мог поверить чему угодно и кому угодно.

Сказали, что религиозные люди приносят человеческие жертвы, — поверили (почему бы и нет?). Сказали, что Христос велел побивать камнями женщин (об этом мне говорил мой приятель — кандидат наук), — поверили (почему бы нет?). Сказали, что наука давно-давно опровергла существование Бога, — поверили. Почему бы и нет?

Вся эта нечистоплотная, бесшабашная, паразитирующая на людском невежестве орава выливалась ушаты помоев на всех перекрестках. Основным их объектом было сектантство — баптисты, адвентисты, пятидесятники, иеговисты.

Сектантство особенно пугало вождей атеистической казенной

идеологии, так как оно являлось чем-то неконтролируемым, стихийным, уходящим в гущу народную, а этого больше всего на свете боятся "Дроздовы".

В отношении церкви употреблялись те же приемы. Здесь с особым удовольствием размазывались грязные сплетни про духовенство, про баснословные доходы священников; сообщалось о тех грехах, в которых были повинны в основном агенты КГБ в рясах, пролезшие в церковь после сталинского конкордата. Они служили двойную службу: доносили КГБ о верующих и заодно компрометировали церковь в глазах мирян, подавая повод для пропагандистской травли духовенства. Честные священники, семинаристы, академики были растеряны. Никто этого не ожидал, никто не был подготовлен ни к какому отпору. За прошедшие 17 лет усиленно внушали, что антирелигиозная политика советского правительства принадлежит прошлому и конкордат с советским правительством упрочил церковь на долгие годы. В состоянии растерянности пребывала Патриархия. Глубокий душевный кризис переживал главный вдохновитель политики конкордата Митрополит Николай.

\* \* \*

В этих условиях опять встает передо мной извечный вопрос всех честных русских людей: что делать?

Первое решение: ничего не делать — заниматься преподаванием.

"Конечно, я не думаю, что вы станете профессором университета или министром. Но вы будете преподавать в школе, читать книги, поддерживать контакт с друзьями. Это лучше, чем сидеть в тюрьме. Не мне говорить вам об этом", — сказал мне мой старый приятель коммунист, работавший директором школы.

"Пока припухни, момент не благоприятствует. А там, через несколько лет, ты сможешь стать штатным сотрудником журнала", — говорил мне мой старый друг Павлов.

"Оставайтесь учителем. Не спорьте. Начальство же ваше не спорит. Ну, и вы молчите", — говорил мне старый лагерный друг Каневский.

Я все выслушал, все учел... и в один прекрасный день принял за писание опровержения Дулумана. Это было в августе 1958 года. В моей полутемной каморке. Мне было трудно сидеть (у ме-

ня разыгралась в это время обычная болезнь людей, ведущих сидячий образ жизни). Стоя около полубуфета, оставшегося у меня от питерской отцовской квартиры, при свете настольной лампы в зеленом абажуре, я выводил свои каракули на листах школьной тетради. Так родился церковный самиздат.

Потом, правда, выяснилось, что одновременно со мной написал письмо Дороманскому (также священнику, снявшему с себя сан) от. Сергей Желудков.

\* \* \*

Я писал ответ Дулуману в течение месяца — в сентябре 1958 года. Так как это была первая проба пера в этом направлении, то я стал читать эту статью многим.

Прежде всего я пошел к покойному о. Николаю Пульхеридову, жившему по соседству со мной в Кускове.

Интересный и удивительно симпатичный это был человек. Царство ему Небесное. Уроженец Пензы, кондовый церковник. Все его предки были из духовных. Интересно происхождение его фамилии. Однажды, лет полтора-два назад, привозит в бурсу сельский священник своих сыновей-близнецов, двух очень красивых мальчиков. Посмотрел на них отец ректор и говорит: "Ну, один пусть будет Калистов (калос по-гречески — красивый), а другой — Пульхеридов (пульхус — красивый по-латыни)". Этот Пульхеридов и приходится прадедом моему знакомому. Николай Пульхеридов по традиции предков поступил в семинарию. Это были предреволюционные годы. Векания времени коснулись и семинаристов. Как-то раз Николай Михайлович показал мне групповую фотографию выпускников семинарии. Половина семинаристов была правыми или левыми эсерами, кое-кто — представителями иных партий.

Николай Михайлович, человек широкий и высококультурный, был в то же время человеком глубоко религиозным.

В 1919 году он принимает сан священника от известного иерарха, епископа Иоанна Помера, трагически погибшего от руки советских агентов в 1934 году в сане архиепископа Рижского в Латвии. Участь о. Николая также не из легких. Он был стойким священником и сохранял верность Патриарху Тихону во время сотрясавших церковь смут в двадцатые годы.

Эти смуты особенно болезненно ощущались в Пензенской епархии. Здесь приходилось защищать церковь и от сторонников

архиепископа Владимира (отщепенца, отколовшегося от Патриарха еще в 1918 году), и от живоцерковников. В то же время, как человек живого темперамента, о. Николай не мог не интересоваться проблемами церковного обновления. В связи с этим в двадцатые годы он имел продолжительную беседу с епископом Антонином Грановским. Дальнейшая судьба талантливого, горящего батюшки понятна. Многолетнее заключение в лагерях. Освобождение уже в старости. Работа сторожем в Кусковском парке и проживание вместе с женой в уютной лачужке у входа в парк. И преждевременная смерть от сердечного припадка.

Это был человек больших, многогранных талантов: прекрасный богослов, врач-гомеопат (любитель), художник, великолепный переводчик. Еще один из задавленных коммунистическим режимом. Еще один, не захотевший жить "применительно к подлости".

Он-то и был одним из первых читателей моей работы, направленной против Дулумана, под "нарочито скромным названием" (по выражению журнала "Наука и религия") — "Библиографические заметки". Потом я дал прочесть еще нескольким людям. Одобрили. И пошла работа по рукам.

Помещаю ее в приложение. Конечно, теперь, в годы расцвета всяческого самиздата, эта работа покажется многим чересчур примитивной. Многие положения покажутся недостаточно обоснованными, аргументы не очень убедительными. Но не надо забывать, что это первая ласточка — первый голос церковного человека после почти сорокалетнего молчания, раздавшийся на фоне полного затишья и трусости.

Первые слова во весь голос, без цензуры и оглядок на начальство, сказанные в церкви молчания.

"В курганах книг, похоронивших стих,  
Железки строк случайно обнаруживая,  
Вы с уважением ощупывайте их,  
Как старое, но грозное оружие".

*(Маяковский)*

Итак, написанные мною "Библиографические заметки" были пущены в плавание.

Так как это было первое произведение церковного самиздата, все приходилось начинать заново. Все было внове. Под каким именем? Вспомнил времена "туманной юности", когда в под-

полных студенческих кружках я выступал под фамилией "Краснов". Подписал и это произведение этой же фамилией.

Под этой фамилией меня узнала русская церковь. Это имя прилипло ко мне затем на всю жизнь. Вероятно, и после моей смерти меня будут вспоминать (если будут) под фамилией "Краснов".

Далее. Как быть с печатанием? Пошел на Большую Спасскую, где жил перед арестом, разыскал пожилую симпатичную даму, дочь священника. Отпечатала трижды по пять экземпляров. Потом струсила: "Это же получается типография". Пришлось искать других машинисток. Нашел. Печатал и печатал. Отпечатал и пустил около сотни экземпляров. Потратил на это все деньги, поступающие ко мне из двух источников: из школы (зарплата) и гонорар из "Журнала".

А как распространять? И здесь выходит на сцену новое лицо, с которым наши пути скрестились, по выражению журнала "Наука и религия", на долгие годы: Вадим Михайлович Шавров.

\* \* \*

О Вадиме писали много: и друзья, и недруги, и он сам в своей автобиографии, и я. Напишу еще раз.

Сын старого коммуниста, военного, дядя также старый коммунист, и ныне здравствующий, персональный пенсионер, проживающий в Москве. Дед и бабка — крестьяне из села Тридубье Тверской губернии. Мать — дворянка из старинного хорошего рода. Ее сестра замужем за Арсеньевым — потомком бабушки Лермонтова (она была также Арсеньева). Мать Вадима — внучатая племянница Тургенева. Это, впрочем, не удивительно. Дворянские старинные роды все в родстве между собой.

Остальное хорошо известно. Родился в Москве 9 сентября 1924 года; детство советского генеральского сына (его отец, Михаил Юрьевич, в эти годы занимал крупную должность в военном министерстве).

В 1941 году вместе с братом Алексеем отправляется сначала в военное училище, потом на фронт. Сражался на фронте всю войну. Весь изрешечен. Около 10 ранений. Самое страшное — в голову. Приложишь руку к виску, слышно, как мозг бьется.

После войны учился в университете и в Институте международных отношений.

В 1948 году арест отца. (Припомнили старые связи с Тухачевским.) Он устраивает при аресте отца скандал. Кричит чекистам: "Бандиты". Через несколько дней арестовывают и его. Лагерь. Сначала на Далеком Севере, потом его переводят под Куйбышев.

Становится верующим. В силу своей страстной, эмоциональной натуры весь отдается религии. Постится целыми днями. Молится все ночи напролет. Имеет видения.

Накануне его освобождения (для всех неожиданного) явилась ему Божия Матерь, сказала: "Вот ты и свободен".

После освобождения в течение года оканчивает экстерном Одесскую Духовную Семинарию. Затем работает в "Журнале Московской Патриархии" фотографом.

Религиозный экстаз продолжается. Но слабое место — женщины. Как на беду — писанный красавец. Женщины от него без ума. Человек импульсивный, порывистый. Трудно себе представить большие противоположности, чем он и я. Но противоположности сходятся.

Еще в лагере был ко мне горячо привязан. Я также его любил. Люди, не укладывающиеся в обычную колею, всегда мне были близки. После Бориса Григорьева — друга юности — это, пожалуй, мой самый близкий друг, почти брат.

Он-то и принялся с необыкновенным жаром распространять мои "Библиографические заметки".

Человек огненной энергии, он одержал на этом поприще невероятные успехи. В рекордно короткие сроки ознакомил с моим "творением" всю Москву, весь Питер; совершил несколько поездок в провинцию.

Мои "Заметки" через некоторое время стали известны всей церковной России. Впрочем, и я не дремал. Отнес их А. В. Кареву — генеральному секретарю Совета евангельских христиан-баптистов, сообщил их католикам. И даже (под большим секретом) дал их прочесть моим друзьям коммунистам (директору одной из школ и учителям).

Реакция различная. Молодые священники и семинаристы в восторге. Эти заметки подняли их дух, показали, что не так страшен нечистый, как его малюют. Показали, что возможна борьба за веру и в советских условиях. Митрополит Николай прочел внимательно, сказал сдержанно: "Это серьезно" (высшая похвала

в его устах). Патриарх также прочел, сказал Вадиму: "А я думал, что мысль уже совсем умерла".

Анатолий Васильевич дипломатично промолчал.

Мой старый друг Павлов, с которым мы к этому времени уже совершенно расплевались, встретив меня в кулуарах "Журнала" на Новодевичьем, раздраженно сказал: "Никому твои заметки не нужны. Напрасно только ты их писал. По-моему, и Анатолий Васильевич так думает". Ошибся. Анатолий Васильевич думал не совсем так.

Мой друг Евгений Львович, смеясь, сказал: "Самое смешное — это то, что ваше произведение написано совершенно в стиле полемики социал-демократов со своими противниками". Его супруга Татьяна Акимовна сказала: "Анти-Дулуман" (намекая на "Анти-Дюринг", главное произведение Энгельса). Учительница из Ленинграда, моя коллега, заметила: "Почему такой фельетонный стиль?" Жена одного из священников со вздохом констатировала: "Он все же допускает по отношению к Дулуману желчные выходки. Где же тут кротость?" В. Ф. Тендряков, прочтя, сказал: "Надеюсь, вы не думаете, что меня убедили. Но как мастер мастеру должен сказать: превосходно".

Так продолжалось месяца три. Начиналась шумиха. Назревал нарыв. В конце декабря 1958 года нарыв лопнул.

\* \* \*

У Вадима был приятель, его бывший профессор в те времена, когда он учился в Институте международных отношений, профессор философии Павел Сергеевич Попов. Личность колоритная и очень характерная для старой, приспособившейся к советским условиям интеллигенции, одним из последних представителей которой он был. Следует рассказать о нем подробнее.

Итак, старый русский интеллигент. Интеллигент бесспорный, чистых кровей. Отпрыск европеизированной купеческой династии — текстильщиков Поповых. Богачи, миллионеры, соперничали с Морозовыми. У Морозовых главная резиденция Орехово-Зуево, у Поповых — Богородск (ныне Ногинск). Павел Сергеевич родился в конце XIX века. В семье образованного заводчика увлекались искусством. И даже маленький Павел носил прозвище "Патти" (видимо, за очень громкий голос). Оканчивает в 1915 году университет. Остается при университете, пишет диссертацию.

Увлекается религиозной философией. В этом качестве застает его 1917 год. Трудно пришлось, но быстро приспособился. Продолжает преподавание в университете. Организует книжную лавку. И женится. На внучке Льва Николаевича Толстого. В двадцатые годы защищает докторскую диссертацию. И, как это ни странно, начинает заниматься антирелигиозными делами. Правда, он не занимается непосредственно антирелигиозной пропагандой. Но статьи его, написанные в академической манере, доставляли материал безбожникам, но не было ни одного антирелигиозного органа, ни одного антирелигиозного сборника, в котором бы он не участвовал.

Через некоторое время он приобретает известность как крупный антирелигиозный деятель. Правда, иногда бывают маленькие заковычки. Декан факультета ему говорит: "Говорят, вас иногда видят в церкви, Павел Сергеевич". — "Ну, конечно, я же должен знать, что там творится, мне это нужно для моих статей".

Уже в 1957 году его коллега профессор университета однажды ему сказал: "В воскресенье я вас видел в неожиданном месте — в церкви Ваганьковского кладбища. Что вы там делали, профессор?" Последовал ответ: "А вы что там делали, профессор?" В ответ коллега Павла Сергеевича глубоко поклонился.

Вадим по возвращении из лагеря встретил профессора на улице, разговорился с ним. Узнав о религиозных увлечениях Вадима, профессор пригласил его к себе.

А через некоторое время Вадим стал своим человеком у него в доме. Павел Сергеевич был одиноким человеком: жена умерла, с пасынком он сильно не ладил, а у Вадима очень сильно то, что французы называют "шармом": когда он в хорошем настроении и когда хочет, любого очарует. Попробовал Вадим раза два и меня привести к профессору, но я пришелся там не ко двору. Стал задавать бестактные вопросы, критиковать профессорские статьи (профессора этого... ах, как не любят, да, впрочем, не одни только профессора). Словом, больше я там не бывал.

Но во время моих посещений у профессора составилась любопытный квартет: Вадим, один молодой антирелигиозник (ученик Попова), сам профессор и ваш покорнейший слуга. Это дало повод старику назвать наш импровизированный кружок термином "АПО" (атеисты-православные-обновленцы). Так и осталось, впрочем, неизвестно, к какой из этих категорий причислял себя сам хозяин дома. Быть может, ко всем трем.

И вот однажды, в декабре 1958 года, говорит профессор Вадиму: "Вадим, едемте в Загорск. Говорят, там в клубе выступает Дулуман. Я хочу его послушать".

Сказано — сделано. Отправились друзья в Загорск, причем в портфеле у Вадима моя статья о Дулумане. Приехали с опозданием. Народу много. В раздевалке нашлось лишь одно свободное место. Повесили наши друзья оба пальто на один номер. Номерок взял Вадим. Далее предоставляю слово профессору.

"Входим в зал. На трибуне молодой человек. Говорит хорошо, гладко, никогда не скажешь, что это провинциал.

Рядом со мной Вадим. Сидит, листает вашу рукопись. Нервничает. Вдруг в тот момент, когда Дулуман на сцене начинает говорить о семинариях, Вадим восклицает: "Нет, этого терпеть нельзя!" Момент — и я не верю своим глазам. Вадим вскакивает — и он на трибуне. Дулуману (громко): "Вы говорите неправду. Я сам семинарист. Разрешите вам возразить". Дулуман поперхнулся на полуслове, а Вадим настаивает. Дулуман (в смущении) к президиуму: "Я не знаю. Ведь это не диспут". Председатель: "У нас не диспут. Я не даю слова". А в публике шум. Один говорит: "Пусть возразит". Другие к Вадиму: "Убирайся вон". Вадим: "А вы боитесь. Тогда я буду сейчас говорить в вестибюле. Кто меня хочет слушать, идemте".

Впоследствии выяснилось, что речь Дулумана передавалась по радио, и радиопередача была сорвана по всей линии. Пришлось радио выключить. И вот, Вадим выходит из зала, и многие идут за ним. Дулуман промямлил еще несколько слов. И председатель быстро закрывает собрание. А мое-то положение. Номерок от пальто у Вадима. Выйти без пальто я не могу: на улице мороз тридцать градусов. Поневоле иду за Вадимом. Подхожу к Вадиму: "Вадим, ну, довольно. Идемте". Куда там! Не слушает. И вдруг начинает произносить речь. Кто-то кричит: "Ты — выродок!" — "Нет, я не выродок. Я только заглянул в себя поглубже... Загляните и вы в себя, и вы увидите то же".

Ему задают вопросы, он отвечает. Новый импровизированный доклад. Наконец я подхожу к Вадиму: "Вадим, ну идemте же. Вадим!"

Вадим: "Нет, я буду ждать Дулумана. Я хочу, чтобы он меня выслушал". В это время говорят: Дулуман вышел другим ходом и

уехал на автомобиле. Наконец Вадим взял наши пальто. Мы пошли. И тут произошло самое страшное: вся толпа хлынула вслед за нами. И шла, пока мы не сели в поезд”.

На другой день А. В. Ведерников был вызван в Совет по делам Православной Церкви. Там ему сказали: “Что ж это такое? Мы же договорились, что ваш журнал не будет заниматься миссионерской деятельностью, и вот, что делает ваш работник-фотограф”.

Включают микрофон. Здесь записан на пленку весь инцидент с перепалкой Дулумана с Вадимом. Вадим тут же был уволен из редакции.

Я еще не был раскрыт. Но моя работа непрерывно перепечатывалась и распространялась. Особенно рьяно ее распространял священник Лесняк из Питера. Из-за этого многие думали, что “Краснов” — это псевдоним отца Лесняка.

Но, конечно, раскрытие моего псевдонима было лишь вопросом времени. В смутном ожидании предстоящих событий оканчивался знаменательный и тревожный 1958 год. О том, что было в дальнейшем, мы расскажем в следующих главах.

И предоставим читателю познакомиться с пресловутой работой, направленной против Дулумана, принадлежащей перу автора этих строк. Перепечатаваю эту работу с самиздатского экземпляра. Знаменательна судьба этого экземпляра. Этот экземпляр попал каким-то образом за границу. Из Европы он перекочевал в Америку, в руки Высокопреосвященного Иоанна, архиепископа Сан-Францисского. От него опять же в Европу и был перепечатан журналом “Грани” за 1967 год, а затем вернулся опять к Высокопреосвященному в Америку.

Три года назад Владыка любезно предоставил этот экземпляр автору.

С этого совершившегося кругосветного путешествия экземпляра мы и перепечатаваем эту работу, которая является первым творением церковного самиздата\*.

---

\* См. в приложении.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### НА ПОРОГЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Смутно и невесело было в ночь на 1 января в тот год.

Чувствовалось: наступают вновь тяжелые времена.

Так и оказалось. В том году начался особо свирепый нажим на церковь. Газеты пестрели фельетонами, направленными против верующих людей, раздавались каннибальские призывы к закрытию храмов и репрессиям. Весной 1959 года была закрыта (якобы на ремонт) Киево-Печерская Лавра; затем был закрыт и превращен в музей Андреевский собор в Киеве.

Из Молдавии, Северной Буковины, Западной Украины и Прикарпатья приходили ужасные сведения о массовом закрытии храмов, обитателей, часовен. Из семи духовных семинарий были закрыты (одна после другой) четыре: Киевская, Саратовская, Ставропольская, Белорусская (в Жировицком монастыре); во всех провинциальных городах (в Средней России, Сибири, Поволжье) закрыты были все те храмы, которые были открыты верующим в годы войны.

В газетах и антирелигиозных брошюрках прямо утверждалось, что религия в СССР доживает последние дни. Мне вспоминается фраза из одной рецензии об антирелигиозной литературе, напечатанная в "Советской России": "Конечно, в скором времени, — говорилось в рецензии, — все и всяческие антирелигиозные книжки, даже самые лучшие, станут ненужными, и они будут фигурировать в музеях, так как религия сейчас доживает последние дни".

Литераторы спешат, выполняя "социальный заказ" — писать антирелигиозные брошюры.

Наряду с огромным количеством литературного хлама неожиданно появляется повесть "Чудотворная", принадлежащая перу действительно талантливого писателя Владимира Федоровича Тендрякова. В этой атмосфере всеобщего хамского наступления на религию и крикливой антирелигиозной пропаганды происходит

уход из церкви проф. Осипова — крупного деятеля и образованного богослова. Этому событию придавалось большое значение.

Все газеты напечатали текст его отречения с самыми лестными комментариями.

“Советская Россия”, которая отличалась особым антирелигиозным ражем, даже посвятила новому “антирелигиозному светилу” передовую статью, в которой отчитывала тех партийных работников, которые не уделили этому “событию” должного внимания.

Начались по всей стране гастроли Осипова...

Слушатели и читатели Осипова не были, конечно, посвящены в “закулисную” сторону его отречения. А подоплека его отречения была следующая.

Осипов — выходец из Эстонии, сын русских эмигрантов; с самых ранних лет был одержим карьеристским зудом. Наряду с учением в духовной семинарии он занимался “общественной работой” — принимал активное участие, а затем был председателем Прибалтийского Христианского Студенческого Союза, который занимал отчетливо выраженную антисоветскую позицию. Осипов выступал с антисоветскими докладами и писал антисоветские статьи. Надо, однако, сказать, что литературного дара он не имел. Хороший, хлесткий оратор, митинговщик, талантливый лектор, он писал плохо, и от его статей всегда веяло бульварщиной и дурным вкусом (“бойкое перо”). Незадолго до войны он был рукоположен в священники и служил в одном из провинциальных городов Эстонии. После начала войны он был взят в армию, некоторое время был в глубоком тылу старшиной, а затем (после “конкордата” в сентябре 1943 года Сталина с Митрополитом Сергием) объявил начальству о своем сане и был (в качестве священнослужителя) освобожден от военной службы.

После этого он служит священником в городе Перми, а после открытия в Питере Духовной Академии в 1945 году он перекочевал на берега Невы и был назначен инспектором и преподавателем Ленинградской Духовной Академии. Он сразу завоевывает авторитет среди своих слушателей. Это было, впрочем, нетрудно: на сером фоне тогдашних преподавателей немудрено было блистать. Остальные преподаватели были из посредственных выпускников старых академий, которые 30 лет сидели в завхозах и счетоводах.

Александр Александрович Осипов был эпикурейцем, любил хорошо пожить, собирал ценные коллекции и был “бонвиваном”.

В его личной жизни был надлом: это сыграло впоследствии роковую роль в его судьбе. После того как он очутился в России, его жена осталась в Эстонии, в оккупации, а затем уехала в обозе отступающей немецкой армии на Запад. А. А. Осипов оказался соломенным вдовцом. Будучи православным священником, он не мог жениться вторично. В конце концов, после долгих прелиминариев, Патриарх Алексей разрешил ему второй брак, но с пожизненным запрещением в священнослужении. Этим-то и воспользовались господа из КГБ. В конце 1958 года А. А. Осипов был вызван к уполномоченному КГБ, ведающему церковными делами.

Тот сразу начал разговор напоминанием, что один из коллег Осипова проф. Иванов недавно был уволен из Академии, так как был некоторое время на оккупированной немцами территории под Ростовом.

Это — преамбула. Затем короткое упоминание о прошлом Осипова. И заявление: "Вы понимаете, Александр Александрович, что мы не можем вас оставить в Академии. Что вы думаете делать теперь? Если бы вы не были пожизненно запрещены Патриархом в священнослужении, вы могли бы идти на приход служить священником. А теперь этот путь для вас закрыт".

Профессор смущенно молчит. И тут работник КГБ приходит к нему на помощь. Осторожно он подсказывает ему мысль об отречении.

Семя пало на подготовленную почву. Через месяц Осипов отрекся от веры. Весной 1959 года во всех газетах появилась статья. Он и здесь остался верен своему обычному бульварному стилю. Статья начиналась таким образом:

"Да, да, это я, протоиерей, профессор..." — и далее перечисление всех его титулов. А затем изготовленное по шаблону отречение.

Отречение Осипова произвело впечатление на многих: прежде всего на его учеников (священников), затем на его коллег (преподавателей семинарий и академий). Митрополит Николай был поражен. "Кому можно после этого верить?!" — воскликнул он, обращаясь к одному из своих сотрудников.

Многие были ошеломлены.

Пример Осипова нашел подражателей. А в обороте у уполномоченных появилась новая фраза в разговорах со священниками: "Готовьтесь к всенародному покаянию". И все-таки отречение Осипова не привело к тем результатам, которых ожидали власти.

Отрекались от сана, каялись мелкие корыстные людишки, пришедшие в церковь из-за прибыли; слабонервные, трусливые попики становились антирелигиозными пропагандистами. Но таких было меньшинство.

У других в эти тяжелые времена проснулись духовная энергия и сила. К числу таких людей принадлежал, между прочим, Митрополит Николай.

В эти дни "бархатный" Митрополит, мягкий и склонный к соглашательству, становится неузнаваем. Он находит неожиданно яркие слова; он находит на своей палитре проповедника яркие краски. "Жалкие безбожники! — восклицает он однажды. — Они подбрасывают вверх свои спутники, которые вспыхивают и, погаснув, падают на Землю, как спички; и они бросают вызов Богу, зажегшему солнце и звезды, которые вечно горят на горизонте". (В те времена главным аргументом антирелигиозников были... спутники, о которых писали все газеты.)

Другой раз на Рождественском богослужении в ночь на Рождество в 1959 году в Преображенском храме, выступая с проповедью, он не оставил камня на камне от "мифологической теории", отрицавшей историчность Христа.

В это время начинают портиться отношения у Митрополита с представителями власти. Особенно раздражает Карпова та непреклонность, которую обнаруживал Митрополит, когда шла речь о закрытии некоторых сельских церквей в Московской епархии. Тогда была установка: закрывать храмы руками архиереев. Но на все домогательства о закрытии храмов у Митрополита был один ответ: "Нет, нет, нет".

Как рассказывал один церковный работник, который был у Карпова во время телефонного разговора председателя Совета по делам Православной церкви с Митрополитом, Карпов по окончании разговора в раздражении бросил трубку со всей силы об стол.

\* \* \*

В это время вообще в церкви происходит поляризация сил. Совершенно отходит на задний план еще недавно всемогущий Колчицкий. Он был в это время очень тяжело болен, но дело не только в болезни: почуввав опасность, поняв, что наступают новые времена, времена тяжелые, которые требуют смелости в борьбе

за церковь, старый хитрец сознательно отходит на задний план. В это время фактически его место занимает (хотя и без всякого официального акта) недавно рукоположенный епископ Пимен Извеков (нынешний Патриарх). В это время я знакомлюсь с этим епископом, о котором говорили, как о восходящей звезде на церковном горизонте.

Нет смысла останавливаться подробно на биографии этого прославленного на весь мир человека. Все же остановлюсь на основных вехах его жизненного пути, постаравшись заполнить те белые пятна, которые имеются в его официальной биографии.

Сергей Николаевич Извеков родился 23 июня 1910 года в городе Богородске Московской губернии в семье провинциального врача. Отец Сергея Николаевича был сыном священника и отпрыском старой духовной династии. Во время гражданской войны отец Сергея Николаевича переезжает в село в качестве местного врача. Связи с духовной средой у врача Извекова никогда не прерывались. В частности, его близким другом является местный священник, сын которого был другом детства будущего Патриарха. Впоследствии (не знаю, как сейчас) его ближайший друг занимал место церковного старосты московского храма Илии Обыденного, в котором часто служит Патриарх.

Сергей Извеков решает в детстве посвятить себя служению церкви. Уже юношей он переезжает в Москву и становится иподиаконом московского архиерея Преосвященного Филиппа Гумилевского, епископа Звенигородского. Особенно часто Сергей Извеков посещает храм "Старого Пимена", в котором исполняет обязанности псаломщика.

В 1931 году Преосвященный Филипп постригает молодого иподиакона в монахи с именем "Пимен" (видимо, в честь любимого им Пименовского храма) в единственном не закрытом скиту Троице-Сергиевой Лавры, в скиту "Параклет", и рукополагает в диакона. Однако он был последним постриженником этого скита. Через месяц скит закрывают, главный покровитель молодого иеродиакона архиепископ Филипп Гумилевский арестовывается. Перед арестом Преосвященный, однако, успел рукоположить молодого иеродиакона в сан иеромонаха.

Уже в то время молодой иеромонах представляет собой импозантную фигуру. Благоговейный, степенный, он кажется ожившей фигурой, сошедшей с византийской мозаики.

Недаром Павел Корин избрал его в качестве одного из персо-

нажей для своей грандиозной картины "В Успенском соборе". Сохранился в числе других эскизов эскиз "Епископ и иеромонах", где иеромонах Пимен изображен стоящим рядом с епископом Антонином Грановским.

Вот уж действительно "гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится". Трудно себе представить столь кричащие противоположности, как великий церковный бунтарь и реформатор и любитель церковного благолепия иеромонах Пимен. (Епископа Антонина, впрочем, о. Пимен лично знать не мог, так как епископ умер 14 января 1927 года. Художник сгруппировал два эскиза, сделанные в разное время.)

Далее наступают роковые тридцатые годы.

Что делал в это время иеромонах Пимен? Можно ответить одним словом: скрывался.

Он жил в Москве, изредка бывал в храме, но тщательно скрывал от всех свое духовное звание, хотя, разумеется, не снимал с себя сан и оставался верен монашеским обетам. В это время о. Пимен пробовал учиться в Архитектурном институте, менял профессии.

Этот период, когда будущий Патриарх жил в вечном страхе разоблачения и ареста, конечно, наложил определенный отпечаток на его характер.

Но вот наступает война. Сергея Извекова берут в армию. Способный, исполнительный, храбрый воин (пусть о. Пимен не боялся, он боялся начальства, — поистине извечная, — недаром же Извеков, — черта русского человека, порожденная веками угнетения), Сергей Извеков вскоре получает офицерский чин и работает в части культурного обслуживания армии.

Оканчивается военная карьера молодого иеромонаха грандиозным скандалом: выясняется, что армейский культуртрегер, дослужившийся до чина капитана, — иеромонах. За сокрытие социального положения он попадает в лагерь на шесть лет.

К счастью, времена меняются, и к моменту выхода из лагеря о. Пимен может вновь приступить к церковному служению. Он, действительно, в 1949 году возвращается к священнослужению и становится секретарем епископа Ростовского Сергия Ларина. Затем он переводится в Одессу. Здесь, в Успенском одесском монастыре, становится известным Патриарху Алексию.

Тому понравился иеромонах, благочестивый, как бы сошедший со старинной иконы, и через некоторое время о. Пимен возводит-

ся в сан архимандрита, а затем становится наместником Псково-Печерского монастыря.

Здесь о. Пимен проявил себя как деятельный и умный настоятель. Ученик архиепископа Филиппа, человек, знакомый с монашеской средой с детства, постриженник скита Параклет — одного из самых строгих скитов старой России, — о. Пимен здесь был вполне на месте. Затем перевод в Москву в качестве наместника Троице-Сергиевой Лавры и рукоположение в ноябре 1957 года в сан епископа — сначала Балтского, а через месяц Дмитровского — викария Патриарха.

Епископ Пимен был "собинным другом" Патриарха Алексия, его любимцем, и стал играть с 1959 года ведущую роль в Патриархии. О нем нам придется еще говорить много раз.

Что скажу я сейчас? У А. Ф. Кони, в его воспоминаниях "На жизненном пути", есть блестящая страница, посвященная Николаю II.

"Иногда говорят, — пишет Кони, лично хорошо знавший царя, — что Николай II был неумен и необразован. Это неверно, он был и умен, и образован ровно настолько, насколько это нужно для гвардейского полковника", но для властителя огромной страны в такое страшное время — это было недостаточно.

Это можно применить к Патриарху Пимену: он и благочестив, и умен, и талантлив ровно настолько, насколько это нужно для настоятеля провинциальной обители. Но в роли ведущего иерарха, а тем более Патриарха Московского и всея Руси, он абсолютно беспомощен и бесполезен и представляет собой чисто декоративную фигуру, красочную марионетку, которой представители власти пользуются в своих интересах.

\* \* \*

Я побывал у епископа в Чистом переулке, вручил Владыке "Библиографические заметки". Он принял меня ласково, любезно. Личное впечатление у меня осталось хорошее. У него не было тогда той нездоровой полноты, которая так мучит и уродует его в настоящее время. Он производил впечатление еще не старого (ему тогда было 49 лет) и одухотворенного монаха.

В это время Патриарх бился как рыба об лед, добиваясь встречи с Хрущевым. Он писал ему многочисленные письма; однако все они оставались без ответа. Дело доходило до комизма. Однажды Патриарх написал Хрущеву письмо в Пицунду (пригород Сочи), где, как точно было известно, находился на даче Хрущев. Заказное письмо пришло обратно с почтовой пометкой "адресат выбыл"; разыскать Хрущева для почты, видимо, было невозможно.

В этой атмосфере всеобщего страха и безнадежности мы с Вадимом продолжали свою деятельность. "Библиографическими заметками" дело не ограничивается. "Вкус приходит во время еды". Мои ответы на различные антирелигиозные статьи продолжают распространяться.

Что касается Вадима, то он в весенние дни 1959 года начинает писать свою автобиографию, которая носила название: "Весенние размышления (Исповедь человека, который верит в Бога)".

История этого произведения такова: в то время в моде были "автобиографии верующих людей, которые отреклись от Бога". Дулуман оказался родоначальником нового жанра: "Исповеди ренегата". Основной темой этой исповеди был переход якобы "глубоко верующего человека" к атеизму. Вадим Шавров решает показать, как он, сын известного коммуниста, героя гражданской войны, сам офицер, инвалид Отечественной войны, многократный орденосец, — вследствие размышлений о смысле жизни, вследствие многих переживаний, в середине многотрудного жизненного пути пришел к Богу. Исповедь Вадима имела огромный успех (пожалуй, больший, чем мои "Библиографические заметки"). В сотнях экземпляров она разошлась по всей стране: знали и читали ее от Прибалтики до Средней Азии, от Сибири до Кавказа.

Надо сказать, что церковный самиздат имел большие преимущества перед всеми другими видами самиздата. Нам не нужно было искать способов распространения, не надо было налаживать для этого никаких организационных форм. Организация уже существовала. Эта организация — Церковь.

Достаточно было отпечатать пятнадцать-двадцать экземпляров и пустить их по церквам, как сразу начинали работать пишущие

машинки. В мгновение ока по семинариям, академиям, храмам, монастырям начинал работать самиздат.

Таким образом, церковь (в лице духовенства и церковной молодежи) получила могучее орудие для борьбы с антирелигиозной пропагандой. Наша цель была тройная: 1) разоблачить имеющиеся места несправедливости; 2) поднять дух верующих — показать, что борьба за церковь возможна и что есть люди, которые не сложили оружия; 3) вооружить семинаристов, академиков, молодых священников аргументами в борьбе за веру.

Все эти три цели были достигнуты. В последующие годы антирелигиозная пропаганда должна была перейти от наступления к обороне и постепенно отказаться от особо хамских выпадов.

В это время нас было только двое: Вадим и я.

Написал письмо Дороманскому, и на время замолк отец Сергей Желудков.

Где-то, на далекой периферии, в Вятке, начинал свою деятельность Борис Владимирович Талантов, но об этом тогда еще никто не знал. Его деятельность не выходила за пределы областных масштабов, и о ней узнали лишь через 5—6 лет.

Между тем над Вадимом и надо мной стали вскоре собираться грозные тучи. Одновременно и в личной жизни у него и у меня происходили важные перемены. 1 мая после продолжительной и мучительной болезни умер отец Вадима — Михаил Юрьевич Шавров. Я же в это время получил с берегов Невы тревожные известия: в январе опасно заболела мой старый, долголетний друг Дора Григорьевна Персиц. Чем и отчего — так и осталось невыясненным. В течение полугодия у нее была высокая температура (около сорока), и никто не мог найти причину. В июне я поехал в Питер. Она была в больнице на Фонтанке. Я был у нее 9 июня 1959 года. Она лежала как пласт, не могла поднять головы от подушки. Во время разговора ей стало дурно. Я позвал врача. Он ей сделал укол. Обернувшись ко мне, она сказала: "Finita la comedia".

Это были последние слова, которые я от нее услышал. На другой день она умерла.

\* \* \*

Летом 1959 года произошло событие, которое имело для Вадима и для меня большие последствия.

В июле 1959 года мне обещали дать билет на американскую выставку, которая открылась в это время в Сокольниках и о которой в это время говорила вся Москва. Это было первое окно в Европу после десятилетней сталинской одури, когда миллионы людей, запертые от всего света, знали об остальном мире лишь по дурацким книжкам и газетным статейкам, из которых явствовало, что на Западе все умирают с голода и жаждут мировой революции, которая, однако, почему-то не происходит.

Я обещал моей соседке, очень хорошей женщине, сходить вместе с ней на выставку. Мне, однако, дали не два билета, как я ожидал, а только один. По-джентльменски я уступил этот билет даме; она, однако, его уступает мне. Происходит борьба великодуший. И в этот момент приходит Вадим. Послушав наш спор, он восклицает: "Так отдайте билет мне!" "Пожалуйста!" — и я торжественно вручаю билет Вадиму. На другой день он отправился на выставку. Далее происходит следующее.

Не обнаружив на витринах никакой религиозной литературы, Вадим обращается к администрации выставки с вопросом: "А почему нет религиозной литературы?"

Главный администратор выставки: "Да я не знаю. Мы считали, что этим в Советском Союзе не интересуются".

"Напрасно считали. Мы здесь очень всем этим интересуемся".

В толпе начинаются иронические реплики стукачей. Вадим дает резкие ответы. Тогда главный администратор подает Вадиму руку и отходит на несколько шагов, продолжая внимательно слушать. Вадим продолжает спор. Кончается дело тем, что Вадим во весь свой привыкший командовать голос произносит 20-минутную громовую речь в защиту религии. Собирается огромная толпа. В толпе много иностранцев. Но вот речь окончена. Стукачи возражать не решаются. Вадим сворачивает в одну из аллей огромного Сокольнического парка. Тут к нему подходят несколько типов, предъявляя удостоверение агентов КГБ, говорят классическую фразу: "Пройдемте". Вадим: "Никуда я не пойду!" Затем быстрым шагом на площадку выставки, где он только что выступал с речью и где публика еще не успела разойтись. Снова призыв: "Товарищи, вы слышали, что я сейчас говорил о религии, и вот они меня уже хватают, представители КГБ". Агенты от него брызнули в разные стороны, а Вадим с видом победителя следует по парку. Агенты КГБ следуют за ним поодаль, а подойти не решаются. Сделав несколько туров по парку, Вадим

входит в читальню. За ним шпик, делает вид, что смотрит газеты. Вадим к библиотекарьше, американке: "Видите этого человека. Это — шпик. Он за мной следит только потому, что я сейчас говорил о том, что я верю в Бога".

Американка (тактично): "Может быть, вы преувеличиваете?" Наконец Вадим идет в комендатуру. Ему навстречу элегантный солидный человек с наружностью дипломата. Вадим: "Я к вам с жалобой. КГБ сейчас устроил провокацию. Я сказал, что я верю в Бога, а они меня хватают на глазах иностранцев".

"Дипломат": "Вадим Михайлович Шавров? (ему уже все известно). Ну, зачем, Вадим, вы выступали? Не надо было. Ну, идите, пожалуйста, никто вас не тронет".

Однако когда Вадим вышел из парка, на него наскочило человек 10 дружинников. Вадим от них отбивается. Говорит: "Отставить или я сейчас начну действовать ногами". Наконец, после долгих разговоров, Вадима ведут в милицию. Проверяют документы. Вдруг, как из-под земли, вырастает эмгэбист-дипломат. "Зачем это? Я же говорил, что не надо его трогать. Товарищ Шавров, идите домой, а затем у меня к вам просьба: в течение недели как можно чаще приходите на выставку".

"У меня же нет больше билета".

"Ничего, спросите в кассе меня, я буду проводить".

В те времена хрущевские политики и дипломаты усиленно играли в либерализм и очень боялись неприятных откликов за границей.

Таким образом, как будто бы окончилось все благополучно.

\* \* \*

Но вот проходит два месяца. Осень. Вадим уехал в Киев. У меня начался учебный год. В один прекрасный день я получаю открытку от Павла Сергеевича Попова. "Над нашим другом нависли тучи. Прошу вас зайти ко мне". Захожу. Павел Сергеевич спрашивает:

"Вы знаете о том, что в октябре выходит по инициативе Хрущева новый журнал "Наука и религия"?"

"Еще бы! Во всех газетах его рекламируют".

"Так вот что. Там будет статья о Вадиме. Большая статья. Надо, чтобы Вадим ее не видел".

Я: "Это чепуха! Как это можно ее скрыть? А я завтра сам отправлюсь в редакцию".

"Как? Вы пойдете?"

"Пойду!"

\* \* \*

На другой день я отправляюсь к Политехническому музею, напротив ЦК. В подвальчике находится редакция. В редакции новоиспеченного журнала, первый номер которого должен выйти, люди, хорошо знакомые по фамилиям, "деятели" существовавшего до войны Союза Воинствующих Безбожников, писавшие до войны в грязных антирелигиозных листках, прикрытых Сталиным в первые дни войны: Колоницкий, Олещук и другие.

Вхожу, говорю: "Мне стало известно, что вы готовите клеветническую статью против моего друга Вадима Шаврова. Если у вас есть какие-то недоумения, все материалы о Вадиме Шаврове я вам представляю. Если же вы все-таки эту статью опубликуете, я разоблачу вас перед всем миром".

"Никаких материалов не надо. Все уже проверено. А если вы напишете обоснованные опровержения и мы найдем это нужным, мы напечатаем", — говорит старый чекист Олещук.

"Я вовсе не нуждаюсь в ваших услугах. Опубликую и без вас", — отвечаю я со свойственной мне запальчивостью.

"Ну, уж не знаю, как это вы сумеете у нас это опубликовать", — тонко замечает Олещук.

"Об этом я вовсе не собираюсь с вами советоваться", — отвечаю я и выхожу, хлопнув дверью.

\* \* \*

В октябре действительно вышел долгожданный номер. Наиболее интересной там была статья "Вадим Шавров и другие", подписанная псевдонимом "Андреев" и принадлежавшая, как потом выяснилось, старому чекисту Бартошевичу. Что это была за статья! Поток грязной лжи и клеветы. Все строилось на копании в личной жизни Вадима, хотя, собственно говоря, почему надо требовать, чтоб крепкий тридцатилетний неженатый мужчина вел обязательно монашеский образ жизни и бегал от женщин как от огня, — так и осталось неизвестным. Впрочем, все факты были извраще-

ны; ложь была буквально на каждой строчке. Чувствовалась грязная рука бывшего чекиста, который даже для хрущевских времен был слишком одиозной личностью. Вадим в это время был в Киеве. Отправил ему телеграмму: "Дружески обнимаю. Все здесь возмущены грязной клеветой. Анатолий".

А статью между тем перепечатал ряд газет. Вадима лишили пенсии. Словом, расправились с ним в лучших бериевских традициях. Только не арестовывали. Слишком он стал уже известен.

\* \* \*

Через два месяца добрались и до меня.

В один прекрасный день вызывает меня директор школы к себе в кабинет. Протягивает мне "Учительскую газету". Там статья о каком-то провинциальном учителе, который оказался верующим. Читаю. Кладу газету. Спрашиваю: "Ну, и что же?"

"Что если про вас будет такая статья?"

"Ну, будет, так будет, что я могу сделать?"

"Ну, так она будет: ко мне приходил сотрудник журнала "Наука и религия". Он собирает материал".

"Ну, и пусть себе собирает!"

"Слушайте, если про вас будет такая статья, вы сами понимаете, я вынужден буду вас уволить с формулировкой: "Уволен как незаслуживающий доверия". Ни один суд вас на работе не восстановит. Ведь на судебном столе будет лежать журнал со статьей о вас. Далее мне скажут: вас предупреждали, что это за личность. Зачем вы его взяли? Я, возможно, лишусь партбилета, а с директорства меня снимут во всяком случае. Далее: в коллективе у вас много друзей. Школу замучают комиссиями, и многие также пострадают. Не лучше ли вам уйти по собственному желанию?"

Подумав, я ответил: "Хорошо". И написал заявление об уходе. 1 декабря 1959 года — важная веха в моей жизни: 1 сентября 1935 года я первый раз переступил порог школы в качестве учителя. 1 декабря 1959 года я переступил порог школы в последний раз.

Была подведена некая черта.

\* \* \*

Далее наступают месяцы ожидания. Наступает новый, 1960 год. Я встречал его у Евгения Львовича. Нас было трое: он, его жена и я. Настроение было хорошее у всех троих. Никто не ожидал, что наступивший год будет последним годом в жизни хозяина и годом больших пертурбаций в жизни гостя.

\* \* \*

В марте почему-то меня вдруг все знакомые начинают спрашивать, читал ли я в последнем номере "Наука и религия" статью некоего Львова "Эйнштейн и мы". "Да, читал". — "Ну, и что же?" — "Да ничего особенного". "Ах, да, ничего особенного?" — и странный взгляд на меня. Я действительно просматривал эту статейку, и она меня не заинтересовала.

Как вдруг Вадим говорит: "Да неужели же ты не заметил, что эта статья про тебя?" "Как? Что?" — "Так, читай". Стал читать. Статья представляет собой действительно резкую полемику с моими "Библиографическими заметками". Моя фамилия, впрочем, не названа, а лишь говорится: "Скрываясь под чужой фамилией, наш церковник скачет и играет вокруг Эйнштейна". Далее грубая и необидительная полемика.

Наконец май 1960 года.

Номер 5 журнала "Наука и религия". Статья некоего Завелева, скрывшегося под псевдонимом Воскресенский. Статья "Духовный отец Вадима Шаврова". Статья ядовитая и грязная. О ее содержании читатель может составить себе понятие по моему опровержению, по статье "Мой ответ журналу "Наука и религия", которую печатаю в приложении.

\* \* \*

И в мае еще одно событие. Говорит мне Вадим: "Умер Пастернак. Объявление в "Литературке".

Я потрясен. Звоню к Евгению Львовичу — моему старому другу, которого видел за месяц перед этим. Уж тот наверное знает, когда похороны любимого нами обоими поэта. Подходит к телефону дочь. "Олечка, попросите к телефону папу".

"Анатолий Эммануилович, папа умер".

“Как? Когда? Я хотел узнать о похоронах Пастернака”.

“Он умер в один день с Пастернаком и в один час с ним”.

И хоронили их тоже в один день. Я пошел на похороны Евгения Львовича и стоял в толпе его знакомых, литераторов и историков. Его сожгли в крематории. Потом урну с прахом хоронили на Новодевичьем. Жаркий июньский день. Произносились официальные речи. Было тоскливо. Умер близкий друг. В жизни опять подводилась какая-то черта.

Во время похорон стоял, погруженный в тяжелую думу. Хотелось что-то обобщить, найти определение. И вдруг мелькнула в уме ассоциация студенческих лет: “Гамлет”. И я почувствовал, что в это определение укладывается все: и “Доктор Живаго”, и Пастернак, и все пережитое и пережитое в последние годы.

## ИНТЕРМЕЦЦО

### ГАМЛЕТ

“Гул затих. Я вышел на подмостки.  
Прислонясь к дверному косяку,  
Я ловлю в далеком отголоске  
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячью биноклей на оси.  
Если только можно, Авва Отче,  
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый  
И играть согласен эту роль.  
Но сейчас идет другая драма,  
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,  
И неотвратим конец пути.  
Я один, все тонет в фарисействе.  
Жизнь прожить — не поле перейти”.

И все. Ни слова о Гамлете. Но стихотворение называется “Гамлет”, и автор стихотворения Юрий Живаго, за спиной которого один из лучших в России переводчиков и знатоков Шекспира — Борис Леонидович Пастернак (“Доктор Живаго”, т. II, часть 17. Издание Societe d’Edition et d’Impression Mondiale, 1959, стр. 600).

Он прав. Нельзя более глубоко выразить сущность гамлетизма. “Он один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти”. Он один был тогда, в XVII веке, когда так странно возник в Лондоне, на шершавой бумаге, под пером странного человека,

такого простого и такого загадочного — предприимчивого антрепренера и плохого актера, удачливого дельца и глубокого провинциала, забулдыги, убитого пивной кружкой во время пьяной драки, — величайшего из драматургов, поэтов, сердеведов всех времен и народов.

Гамлет — величайшая загадка — сфинкс. О нем писали два больших человека, которым никто никогда не отказывал ни в глубине, ни в тонком понимании искусства: Гете и наш Тургенев. Они пришли к выводу, что Гамлет — тип интеллектуала, сильного в мысли и бессильного в деле, — слабовольного, мечущегося, вечно колеблющегося. Но этому совершенно противоречит конец пьесы, где Гамлет изображен решительным, смелым, действенным. Он расстраивает замысел короля Клавдия, хитрейшего, ловкого интригана, отправляет в Англию на верную смерть своих убийц, подделав приказ короля. Он принимает, не задумываясь, вызов Лаэрта, убивает Клавдия, разоблачив перед всем миром его тайну.

Человек действия. Никаких колебаний, сомнений в решительный момент. Гегель пытается в своих лекциях по эстетике найти “золотую середину”: Гамлет, дескать, не очень уверен в том, что видение отца было действительным, а не галлюцинацией. Однако и это объяснение неубедительно: после “мышеловки”, когда он имеет в руках уже совершенно бесспорное доказательство, что Клавдий — убийца, он все так же тянет, юродствует и не мстит.

Л. Н. Толстой, который очень не любил ломать себе голову над чужими замыслами, разрубил гордиев узел. “Никакой загадки нет, просто Шекспир — бездарный писатель, который сам не понимал, что писал, — никакой последовательности и смысла в его писаниях нет”.

Однако и сейчас, когда прошло уже почти сто лет со времени появления “разгромной” статьи Л. Н. Толстого о Шекспире, которая уже давно всеми забыта, Шекспир остается одним из самых любимых и популярных драматургов мира. И на наших глазах русский актер Иннокентий Смоктуновский приобрел мировую славу, сыграв в кино Гамлета.

Борис Пастернак почувствовал Гамлета на какой-то очень большой глубине, сроднился с ним и стал его побратимом. Гамлет и Пастернак — сиамские близнецы. Отныне нельзя говорить о Гамлете, не упоминая Пастернака, нельзя ничего понять в Пастернаке, не зная Гамлета. Мы будем писать о них обоих.

Гамлет — не только психологический парадокс. Это прежде всего воплощенная философия истории.

Мы сейчас несколько отойдем от принца, будем говорить о его отце, короле Гамлете. По словам сына, он идеал человека:

“Смотрите, сколько прелести в одном,  
Лоб, как у Зевса, кудри Аполлона,  
Взгляд Марса, гордый, наводящий страх,  
Величие Меркурия с посланьем,  
Слетающего наземь с облаков.  
Собранье качеств, в каждом из которых  
Печать какого-либо божества,  
Как бы во славу человека...”

*(Акт 3, сцена 4, перевод Пастернака)*

Однако из беглых намеков людей, знавших короля, вырисовывается совсем другой образ. Образ дикого самодура. Увидев его призрак, Горацио вспоминает: “И так же хмур, как в незабвенный день, когда при ссоре с выборными Польши он из саней их вывалил на лед”. (Издеваться над послами — это даже с точки зрения феодальной этики вопиющее безобразие.)

Более сообразно с правилами рыцарства завоевание Норвегии путем поединка двух королей. Но и здесь разбой.

“Король, чью тень мы с вами только что видали, — рассказывает опять Горацио, — однажды насмерть бился на мечях с былым и павшим в этом поединке властителем норвежцев Фортинбрасом.

Пред боем обусловили статью,  
Что победитель получает право  
На землю побежденного. Страну  
Убитого взял победитель Гамлет.  
Такого положенья никогда  
Не мог снести наследник Фортинбраса,  
Носящий то же имя по отцу...”.

Сам призрак короля Гамлета следующим образом характеризует свои земные дела:

“Я дух родного твоего отца,  
На некий срок скитаться осужденный  
Ночной порой, а днем гореть в огне,  
Пока мои земные окаянства  
Не выгорят дотла...”

*(Акт 1, сцена 5)*

Король Клавдий, убивший брата, является, однако, во всем остальном верным продолжателем его дела: он требует полной покорности от норвежцев и заставляет своего вассала, норвежского короля, усмирить Фортинбраса; он так же самовластно распоряжается Англией, завоеванной в свое время (в IX веке) датским оружием.

В области политики убитый им брат не мог бы сделать ему ни одного упрека.

Конечно, принц Гамлет мог бы свергнуть и убить Клавдия, заняв его престол. Это никого бы не удивило. Все исторические хроники Шекспира оканчиваются именно так:

1. “Ричард II”. Короля убивают сторонники герцога Болинброка, который начинает царствовать под именем Генриха IV.
2. “Генрих V”. Завоевание английским королем Франции и узурпация французского престола.
3. “Генрих VI”. Свержение короля герцогом Йоркским, который начинает царствовать под именем Эдуарда V.
4. “Ричард III”. Свержение и умерщвление брата и племянников герцогом Глостером — Ричардом III, который в свою очередь свергнут Тюдором, царствовавшим под именем Генриха VII.

Впрочем, только ли так в хрониках? Так и в жизни. Шекспир видел пять королей; из них трое запятнали себя чудовищными преступлениями:

1. Генрих VIII — убийца всех своих жен, тиран, не знавший ни в чем никакого удержу; этот превзошел даже нашего Грозного.
2. Мария Кровавая, покрывшая всю страну кострами инквизиции.
3. Наконец, Елизавета, казнившая Марию Стюарт, своего бывшего любовника Эссекса и еще бесконечное количество людей.

И наконец, Мария Стюарт, поэтический образ которой пленяет сердца уже почти 400 лет. При этом ее поклонники забывают, что она тоже очень неплохо умела казнить и даже жечь на кострах (причем в числе ее подвигов имеется и убийство мужа), — большой

вопрос: легче ли, чем ей, пришлось бы Елизавете, если бы та попала в плен к шотландской королеве.

Вся история, рассказанная в "Трагической истории о Гамлете, принце Датском", вполне в духе той эпохи (впрочем, и наша эпоха не очень далеко отошла от той!), и ничего удивительного в ней нет. Удивительно другое. Вот перед нами наследник датского престола, и в его устах странные слова:

"Гамлет: Чем прогневали вы, дорогие мои, эту свою Фортуна, что она шлет вас сюда в тюрьму?

Гильдестерн: В тюрьму, принц?

Гамлет: Дания — тюрьма.

Розенкранц: Тогда весь мир — тюрьма!

Гамлет: И притом образцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий, из которых Дания — наихудшее.

Розенкранц: Мы не согласны, принц.

Гамлет. Значит, для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Для меня она тюрьма". (Акт 2, сцена вторая.)

Тут черта, отдаляющая Гамлета от всех — от предков, современников, потомков. Такую фразу не мог произнести ни его отец, король Гамлет, ни Клавдий, ни Фортинбрас, ни Полоний, ни современные нам Полонии — поклонники Сталина, Гитлера, Муссолини, Черчилля, де Голля, — современные нам консерваторы, либералы, лейбористы, коммунисты.

Далее знаменитый монолог: "Быть или не быть".

"...Вот, что удлиняет  
Несчастьям нашим жизнь на столько лет,  
А то, кто снес бы униженья века,  
Позор гоненья, выходки глупца,  
Отринутую страсть, молчанье права,  
Надменность власть имущих и судьбу  
Больших заслуг перед судом ничтожеств...".

*(Акт 3, сцена первая)*

Такова характеристика Гамлетом того общества, которым ему предстоит править.

Я помню, лет тридцать назад, когда я проходил с учениками десятого класса "Гамлета" в одной из московских школ и речь зашла о Полонии, мои ученики выразили искреннее недоумение: "Он же прекрасный человек. Чем он не нравится Гамлету? Его наставления сыну Лаэрту великолепны. Это же все, что написано в уставе нашей школы и в уставе комсомола".

Так говорили школьники. Но нечто подобное говорит про Полония и столь почтенный исследователь творчества Шекспира, как всемирно-известный датский литературовед Брандес.

Действительно, и Полоний, и Лаэрт — прекрасные люди, но люди своей эпохи, живущие по канонам и правилам.

А Гамлет вне канонов и правил. Вне не только своей, но и вообще всяких эпох. Отсюда мучительный разрыв со всеми окружающими. Он ощущает неправду мира, рвется на борьбу с ложью, с философией золотой середины, правящей миром. Но даже любящие его люди его не понимают: ни его мать, ни Офелия, ни даже Горацио.

Когда-то Станиславский в своей известной книге "Работа актера над собой" определил "сквозное действие" Гамлета формулой: "Хочу спасти мир".

Но спасти нельзя, и не с кем спасать. В этом трагедия Гамлета. Заколдованный круг.

"Вечерняя черта зари,  
Как память близкого недуга,  
Есть верный знак, что мы внутри  
Неразмыкаемого круга".

*(Блок)*

Здесь разгадка его непонятного поведения.

Свергнув Клавдия, он автоматически становится королем.

Гамлет — король? Король, подобный своему отцу и дяде? Для этого он должен переродиться или погибнуть.

Переродиться он не может: он человек сильной, яркой индивидуальности. Такие не меняются. Значит, гибель. Король с таким

мировоззрением, для которого государство — тюрьма, не процарствует и двух недель.

Феодалы умеют расправляться с подобными королями.

Значит, гибель. Гибель в любом случае! От Клавдия или от будущих вассалов.

А третьего не дано. Обреченный на гибель.

Гамлет — первый и все еще самый яркий (и теперь, через 370 лет) образ одинокого человека, выпадающего из среды, переросшего свою эпоху, и не только свою эпоху: в любую эпоху он будет чужой — и мучительно ищущий выход из тупика. Когда-то, в студенческие годы, я говорил, что комплекс Гамлета — наиболее устойчивый комплекс: вся мировая литература вращается вокруг этого комплекса.

Сейчас, через сорок лет, я готов повторить то же самое. Тогда я старался проследить те линии, по которым возможно разрешение комплекса Гамлета:

1. Линия борьбы за правду, за торжество справедливости.

По этой линии идет развитие классического Гамлета в трагедии Шекспира. Гамлет находит в себе силы пойти против царства лжи, пошлости, насилия и погибнуть с честью. По этому пути пошел в конце концов и Гамлет наших дней — Борис Леонидович Пастернак.

2. Путь отчаяния, декадентства, беспросветный мрак. Им шли многие наши современники: Сергей Есенин и Юрий Олеся, еще ранее Федор Сологуб и в какой-то мере Александр Блок. В нашем демократическом движении — таковы демократы-романтики: благородные самоубийцы Илья Габай и Анатолий Якобсон, недавно наложивший на себя руки в Израиле.

3. Путь религиозного, мистического порыва к преображению мира в сюрреалистическом плане (это вся наша богоискательская русская интеллигенция, от нее же последний “есмы аз”).

4. Путь “сверхчеловека”, гордого одиночества, замыкающегося в своей индивидуальности. Байронические герои, Печорин. Трагический гений Ницше и бесконечное множество меньших братьев Ницше — ибсеновских, гамсуновских, кипплинговских героев.

Разумеется, очень редко эти типы встречаются в чистом виде. В жизни эти типы, линии, жизненные пути перекрещиваются, исчезают, переходят один в другой. Жизнь знает бесконечное множество переходных типов, полутонув, промежуточных характеров. Но все их пути намечены в образе Гамлета. Говоря о всех этих

типах, родоначальником которых является Гамлет, мы, разумеется, не имеем в виду многочисленных парнишек (хиппи и битников), у которых "гамлетизм" — возрастная болезнь и юношеское позерство. Обычно до женитьбы. А там быстро перерождаются в Полониев. Да еще хорошо, если только в Полониев. Почтенных службистов и отцов семейств. Бывает хуже! Много хуже!

И невольно вспоминается комплимент, который когда-то сделал своим студентам знаменитый русский историк Н. И. Костомаров: "Я не вижу здесь (в аудитории Петербургского университета) Робеспьеров — я вижу лишь Репетиловых, из которых завтра выйдут Расплюевы".

### **Между Клавдием и Фортинбрасом**

Гамлет между Клавдием и Фортинбрасом. Клавдия он ненавидит, Фортинбраса перед смертью благословляет на царство. Но оба они ему одинаково чужды.

Ни тот, ни другой не знают колебаний: бестрепетной рукой убивает Клавдий брата, чтобы жениться затем на его жене и занять престол. Его цель — королевство, власть. И он ее достигает. И до последних мгновений за нее цепляется.

Цель Фортинбраса как будто такая же, как у Гамлета, — отомстить за смерть отца и возвратить похищенный у него престол. Но он не знает ни колебаний, ни раздумий, ни сомнений: уверенно и твердо идет он к намеченной цели и, достигнув ее, сразу входит в роль завоевателя, властелина. Клавдий — хищник, изверг и в то же время слабый, жалкий человек. Фортинбрас — рыцарь с головы до ног. Воплощение чести, благородства, всех качеств, любезных сердцу Шекспира (его любимые герои — рыцари: герцог Перси в "Генрихе IV" и Генрих V). Но оба они одинаково далеки от Гамлета. Далеки, как небо от земли.

И так же далеки от враждующих партий родной страны Юрий Живаго и его alter ego Борис Пастернак. Рядом с Юрием — Лариса. Они сродные натуры. И она между Клавдием и Фортинбрасом.

Роль Клавдия в романе играет адвокат Комаровский. В нем наиболее ярко воплощена вся пошлость буржуазного общества. Он — "Клавдий". Эгоизм и лицемерие — сущность его характера. Даже ситуация в чем-то схожая. И там, и здесь кровосмешение. Клавдий женится на жене брата. Комаровский соблазняет дочь своей любовницы. Мягко, хитро, умно. Развратив девушку, он не говорит ей ни одного грубого слова — даже выражает раскаяние, даже выражает желание жениться (впрочем, только на словах,

не шевельнув пальцем, чтобы осуществить свое обещание) — и в то же время ведет себя так, что она каждую минуту ощущает свою от него зависимость.

После отчаянного поступка Ларисы — выстрела в него — он ведет себя, по-видимому, благородно: заминает дело, отводит от Ларисы всякую ответственность (в этом он, впрочем, заинтересован не менее ее, так как на суде могут выявиться скандальные подробности, компрометирующие Комаровского). Он играет роль патрона в ее браке с Пашей, но опять задняя мысль: он все еще хочет иметь Ларису (молодую, очаровательную), и только запрещение Ларисы приезжать к ней на время отодвигает его планы. И в то же время революция 1905 года, зверства, ограниченность революционеров Ларису отталкивают. Она ни в тех, ни в этих. В том же положении и Юрий: еще в детстве лишившийся отца и матери, круглый сирота, отпрыск разорившегося семейства, он чувствует себя чужим в том обществе, к которому мог бы принадлежать по рождению.

И его воспитатель под стать ему: Николай Иванович — расстриженный священник, тоже изгой: ни то ни се.

Комплекс Гамлета — основная черта Юрия. И рядом с ним его товарищ, друг детства Миша Гордон, так на него похожий. Все, что говорится о Мише, вполне применимо к Юрию. А о Мише говорится следующее:

“Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот...

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечною пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его...

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят?” (“Доктор Живаго”, том 1, стр. 20.)

Миша Гордон — еврей; его переживания осложнены национальным чувством. Юрий Живаго — русский, но все, что говорится о Гордоне, можно слово в слово повторить и о Юрии. Гамлет окружен людьми типа Полония и Лаэрта — людьми честными, но ограниченными. То же и Юрий. Еще в начале романа. Выволочнов — тол-

стовец. Благородный человек. Но родной брат шекспировскому Полонию:

“Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали”. (Там же, стр. 51.)

А потом пойдут Лаэрты: люди смелые, благородные, но тоже невозможно ограниченные: революционеры, комиссары, военачальники. Комиссар Гинц, затем символическая фигура Погоревших — глухонемого, выучившегося говорить, но лишенного возможности понимать чужую речь, который является кандидатом в вожди революции. И в результате:

“Он (Живаго) опять поступил на службу в свою старую больницу. Она по старой памяти называлась Крестовоздвиженской, хотя община этого имени была распущена. Но больнице еще не придумали подходящего названия.

В ней уже началось расслоение. Умеренным, тупоумие которых возмущало доктора, он казался опасным, людям, политически ушедшим далеко, недостаточно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих, от одного отстал, к другому не пристал”. (Там же, стр. 214.)

Это — лейтмотив романа; здесь как бы пунктиром намечена вся судьба доктора Живаго.

\* \* \*

Во втором томе, где герои вступают в эпоху гражданской войны, все становится еще более четким и определенным. Снова Клавдии и Фортинбрасы.

Клавдий — это наш старый знакомый адвокат Комаровский, великолепно приспособившийся к новым условиям, плавающий как рыба в воде в мутных волнах гражданской войны. Он достиг своей цели: увез с собой Ларису, испоганил ее, отнял у нее дочь и бросил где-то на перепутье.

И Лаэрты. Герой гражданской войны Ливерий. Человек убежденный, преданный идее, идущий на гибель, но узкий и ограниченный до невозможности. И он — отражение других, более высоких, направляющих революцию оттуда, из Москвы. Таких же самоуверенных, негнущихся, фанатичных и ограниченных, тех, чьи портре-

ты в каждом углу, чьим именем двигают вперед мир, о ком поют песни:

“Да здравствует Ленин,  
Вождь пролетарский,  
Да здравствует Троцкий,  
Вождь армии Красной”.

И народ движется за ними сплошным потоком. Им противостоит Белая армия.

Нет ничего удивительного в том, что русская эмиграция потопталась около Пастернака, а затем его забыла — постаралась забыть — и изданный иностранцами на русском языке трехтомник лежит мертвым грузом на складах издательств и книжных лавок. Сторонник Белого движения не найдет в “Докторе Живаго” ни одной строчки в свою пользу, как не найдет и сторонник Красной армии. И белые, и красные — Клавдии и Фортинбрасы — одинаково чужды Пастернаку.

Чужды они и трем его любимым героям: Юрию Живаго, Ларисе и Павлу.

Про Ларису пишет Юрию жена Антонина Александровна:

“Перед отъездом с этого страшного и такого рокового для нас Урала я довольно коротко узнала Ларису Федоровну. Спасибо ей, она была безотлучно при мне, когда мне было трудно, и помогала мне при родах. Должна искренне признать, она хороший человек, но не хочу кривить душой, — полная мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она — чтобы осложнять ее и сбивать с дороги”. (Том 2, гл. 13, стр. 484.)

Сбивать и сбиваться. И погибнуть где-то в лагерях, в неизвестности.

И Живаго. Вот как характеризует его соперник, все тот же адвокат Комаровский:

“Есть некоторый коммунистический стиль. Мало кто подходит под эту мерку. Но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич. Не понимаю, зачем гусей дразнить. Вы — насмешка над этим миром, его оскорбление. Добро бы это было вашею тайной. Но тут есть влиятельные люди из Москвы. Нутро ваше им известно досконально. Вы оба страшно не по вкусу здешним жрецам Фемиды. Товарищи Антипов и Тиверзин точат зубы на Ларису Федоровну и на вас”. (Там же, стр. 488.)

И рядом с ними — третий, революционер и романтик Павел Павлович Стрельников, которому душно и мутно среди Клавдиев и Фортинбрасов обеих сторон. Прототип Ильи Габая и Анатолия Якобсона.

Романтики-самоубийцы. Пленные рыцари. Гамлеты, для которых весь мир тюрьма и родная страна — наихудшее из ее отделений. И единственный выход — смерть.

“Мчись же быстрее, летучее время!  
Душно под новою броней мне стало.  
Смерть, как приедем, поддержит мне стремя,  
Слезу и сдерну с лица я забрало”.

*(Лермонтов)*

\* \* \*

“Доктор Живаго” — трагический роман. Он кончается гибелью трех главных героев: Юрия Живаго, Ларисы, Павла Стрельникова. Треугольник романа — треугольник смерти.

Борис Пастернак тоже умер одиноким и никому не понятным. Но, как Гамлет, пораженный отравленным оружием, уходя, он бросил огненное слово обличения царству зла и лжи.

И здесь катарсис. И трагический оптимизм. После трагедии, после крови и грязи — свет.

И монолог под занавес:

“Другие по живому следу  
Пройдут твой путь за пядью пядь,  
Но пораженья от победы  
Ты сам не должен отличать.  
И должен ни единой долькой  
Не отступаться от лица,  
Но быть живым, живым и только,  
Живым и только до конца”.

И все это вспомнилось в жаркий июньский день — в день похорон Бориса Пастернака и моего друга Евгения Львовича Штейнберга.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ЖИВЫМ И ТОЛЬКО ДО КОНЦА

Май-июнь 1960 года — самое тяжелое время моей жизни. Даже в тюрьме и лагере было легче. Устройство в школу когда бы то ни было в дальнейшем после опубликования обо мне статьи в журнале стало невозможным. Но в это же время я лишился работы и в журнале. Анатолий Васильевич показал мне злополучную статью (я так же, как и в первый раз, о ней узнал последним) . Со вздохом он сказал: “Вы понимаете, что после этого работа ваша в журнале невозможна”. И спросил: “Что вы думаете предпринять?” А я и сам этого не знал.

Правда, был один выход, казалось, самый простой. Мне его указали в журнале “Наука и религия”.

Надо сказать, что, прочитав злополучную статью, я тотчас написал ответ. Отчетливо помню, как писал я его в своем деревянном домике. Был жаркий июньский день. Окно было открыто в сад. Пышным цветом цвела сирень. Писал, сидя у открытого окна. И по мере написания лист за листом подавал своим соседям-друзьям (матери и сыну) , которые сидели в саду под окном и жадно читали.

Затем статью отпечатал и отнес в редакцию журнала. Я предстал перед секретарем редакции Завелевым, также бывшим чекистом, выгнанным из КГБ, как и Бартошевич, за еврейское происхождение.

Как оказалось впоследствии, он-то и был автором статьи обо мне под псевдонимом “Воскресенский”.

Представ перед ним, я сказал: “Я Левитин-Краснов. В вашем журнале появилась статья обо мне. Я принес вам ответ”.

Он: “Ну и как вы думаете реагировать на эту статью?”

Я: “Надеюсь, вы не думаете, что я с ней соглашусь”.

“А нас больше бы всего устроило, если бы вы с ней согласились. Вы же понимаете, товарищ Левитин, что мы вовсе не заинтересованы в том, чтобы выгонять людей”.

Я молча вынул из стопки лист, на котором стоял заголовок,

напечатанный крупным шрифтом: "Не купите и не запугаете. Не запугаете и не купите". Протянув этот лист Завелеву, я сказал: "Читайте!" Он ответил: "Очень жаль. Вы человек еще не старый". Молча я вышел, сказав: "Прощайте!"

Таким образом, положение казалось безвыходным. Вадим в это время лежал в больнице. Поэтому я сам стал разносить отпечатанные экземпляры по церковным адресам. Отнес многим священникам. Всем членам редакции. Не утерпел. Занес старому другу Павлову. Не заходя к нему, сунул статью в почтовый ящик, написав: "Малодушным да будет стыдно!" Словом, Левитин в своем репертуаре.

Это было начало. Начало самого фантастического периода моей жизни, который длился в течение 14 лет. До самого моего выезда из России в сентябре 1974 года.

Первая проблема — денежная. Денег нет. Нет никакого регулярного заработка. А деньги нужны. Каждое утро просыпался с мыслью: откуда достать деньги? Надо расплатиться с машинисткой, с переплетчиком. Надо пустить в самиздат статью (а для этого тоже нужны деньги). Кроме того, надо еще купить продукты, расплатиться в прачечной за белье. Принять и накормить гостей. Это, впрочем, уже потом. Первые годы их не было. Старые знакомые испарились, а новые еще не появились.

В кармане в лучшем случае 1 рубль. Вторая проблема — юридическое устройство. Я нигде не работаю. Личность неопределенных занятий. Осаждают милиция, горсовет.

Один из моих друзей, подражая Беранже, как-то раз изобразил мое положение следующим образом:

"Желтая открытка  
на диване.  
Впереди тюремная  
скамья.  
И измятый рубль  
в кармане.  
Вы уж извините мне,  
друзья.  
Мне сегодня, прости,  
не до песен,  
Не служитель муз  
сегодня я.

Тяжело, когда кругом  
лишь видишь плесень.  
Вы уж извините мне,  
друзья”.

Правда, и здесь, в эмиграции, мое положение не слишком отличается от старого. Видимо, так на роду написано: “Вы уж извините мне, друзья”.

\* \* \*

Как-то раз я услышал, что в Куйбышеве на архиерейскую кафедру назначен престарелый архиепископ Мануил. Написал Борису Михайловичу, старому лагерному другу, письмо: “Зайдите к Владыке. Может быть, у него для меня что-нибудь есть”.

Написал и забыл. Что может быть у провинциального архиерея? И вот, как-то в жаркий июньский день возвращаюсь домой совершенно измученный после путешествия по страшной жаре через весь город в Марьину Рощу — это примерно 20 километров на трех видах транспорта (поезд, метро, трамвай). В почтовом ящике телеграмма от Бориса Михайловича Горбунова из Самары: “Собирайтесь Куйбышев. Деньги высылаю. Горбунов”. А на другой день прибыли деньги.

И вот полная перемена декораций: собираюсь в Самару к Архиепископу.

Сутки в дороге. А на другой день — Самара. Город, который много раз играл роль в моей жизни. В 1943 году меня здесь обокрали, и я задержался в этом городе на неделю. В 1953–1955 годах я был около Самары в лагере. В 1956 году я останавливался здесь проездом после освобождения из лагеря, из Башкирии в Москву.

И вот опять этот город. Пыльный, грязный, наполовину деревянный, на холмах. И над всем — красавица Волга. Волга, Волга, — чудесная Волга! Я приехал сюда летом, когда она в самом разливе. При солнечной погоде.

Но любоваться на нее некогда. К Борису Михайловичу. Старый самарец. Но после лагеря потерял жилье. Снимает комнатку (крошечную, проходную) у старой самарской жительницы Таисии Николаевны Пироговой. Расцеловался, дружески обнялся со старым лагерным другом. Ему уже семьдесят пять. Но он бодр,

энергичен. Знакомит меня с хозяйкой Таисией Николаевной. Дочь офицера. Вдова. Живет одна в крошечном полуразвалившемся домике. Она находится там и сейчас. Изредка переписываемся.

Познакомились. На всем печать нужды. Но сохранила манеры светской дамы. Располагаюсь у Бориса Михайловича на матрасе, который постигается на пол (больше негде). Начинается рассказ.

Архиепископ (через два года он был возведен в сан Митрополита) очень заинтересовался моей личностью. Внимательно прочел статью обо мне. Попросил приехать. Имеет ко мне какое-то дело. Какое, не говорит. Сейчас в отъезде. Приедет недели через две.

Ожидаю. Гуляю по Самаре. Провожу время в приятнейших разговорах со старым другом Борисом Михайловичем.

Мы можем воспользоваться этим перерывом, чтоб рассказать о Митрополите (тогда еще Архиепископе) Мануиле. Я подробно рассказываю о нем в своих "Очерках по истории церковной смуты".

Митрополит Мануил (в миру Виктор Викторович Лемешевский) родился 1 мая 1884 года в городе Луга под Петербургом. В 1911 году, 27 лет от роду, он принимает монашество в захолустной Николо-Столобенской Пустыни, в Тверской губернии. Начинается крестный монашеский путь. Он не идет обычным путем ученого монаха, он ищет подвига.

Его мечта стать миссионером. Вскоре он едет в Сибирь.

6 ноября 1912 года — день его рукоположения в иеромонаха в Семипалатинске. В течение четырех лет (с 1912 по 1916 год) он занимает должность помощника начальника Киргизской Духовной Миссии Томской Епархии. Дело необыкновенной трудности. Как известно, наиболее трудным делом является миссионерская деятельность среди мусульман. Из всех религий мира мухамеданство обладает наибольшей способностью воспитывать фанатиков. Киргизы в этом отношении не являются исключением. Побудить их к перемене религии — дело, по-человечески, совершенно невозможное.

Нельзя сказать, чтоб иеромонах Мануил был в этом отношении особенно успешен; однако его простота, доброта располагали к себе людей. Его любили и уважали киргизы, он был у них желанным гостем; сердца людей растворялись перед скромным, низкорослым иеромонахом. Создавалась дружеская теплая атмосфера. А это и есть та предпосылка, которая должна предшествовать обращению людей к религии. Постепенно лед ломался. От. Мануил

привел несколько семейств к христианству; другие относились к нему дружелюбно, и, когда в 1916 году он покинул киргизские степи, чтобы вернуться в родной Питер для учебы в Духовную Академию, его проводили с чисто восточной теплотой.

Ему не удалось окончить академию. Наступила революция. Наступила пора для широкой деятельности от. Мануила среди простого питерского народа. Он священствовал в крохотной церковке около Литейного, которая считалась домовою церковью Александро-Невского Общества Трезвости. При этой церкви было сестричество, состоящее из бедных женщин — кухарок и прачек, трамвайных кондукторов и стрелочниц. Из трех братств, существовавших в Питере, это было наиболее демократическое. Его называли "черная кость" (в противоположность аристократическому сестричеству, состоявшему из княгинь и профессорских жен, возглавлявшемуся Введенским /"белая кость"/, и широкому братству, включавшему разнородные элементы /от питерских рабочих до молодых интеллигентов-правдоискателей/, возглавлявшемуся от. Александром Боярским /"желтая кость"/).

Затем наступает раскол. Твердость, проявленная иеромонахом. Он вместе со своей паствой твердо стоит на канонической основе, остается верным Патриарху Тихону и поминает его имя даже тогда, когда это грозит смертельной опасностью.

Затем — 1923 год. Освобождение из заключения Патриарха Тихона, рукоположение отца Мануила во Епископа Лужского, управляющего Питерской епархией, 23 сентября 1923 года. И легендарный период в жизни Владыки. Точнее, легендарные четыре с половиной месяца (с 29 сентября 1923 года до 2 февраля 1924 года), когда он, действуя в невероятно трудных условиях, привел почти всю епархию, считавшуюся цитаделью обновленчества, в общение с Патриархом.

Затем арест 2 февраля 1924 года. Начинается исповеднический путь Владыки. Он был в заключении трижды: с 1923 года по 1927 год. С 1933 года по 1943 год. С 1948 года по 1956 год. Всего — 23 года.

Затем во время хрущевской "оттепели" был назначен сначала Архиепископом Ижевским и Удмурдским, а в 1960 году — Архиепископом в Самаре (Куйбышев). Самарской епархией он правил до 1965 года, после чего проживал в этом же городе на покое в сане Митрополита до дня своей смерти 12 августа 1968 года.

Перед этим человеком мне надо было предстать. Шел я к нему вместе с Борисом Михайловичем не без некоторой робости. В самом деле — один из самых активных и самоотверженных борцов против обновленчества — и обновленческий диакон. Один из самых непреклонных столпов традиционного православия — и заядлый церковный модернист. Наконец, человек, пользовавшийся репутацией консерватора — и бунтарь эсеровского типа — христианский социалист. Что общего? И найду ли я с ним общий язык?

С такими чувствами я шел 10 июля 1960 года на Ульяновскую улицу, где помещалась резиденция Владыки. Он жил тогда в великолепном особняке, который вся Самара знает как дом доктора Маслаковского. Это был в дореволюционное время известный самарский врач, имевший широкую практику; он считался специалистом по легочным болезням и лечил "кумысом" — лошадиным молоком. Его слава прошла по всей России, к нему съезжались больные из окрестных губерний. И на гонорары он строил великолепный дом. Этот дом приобрели прихожане для предшественника Владыки Мануила, любившего роскошь. Владыка, приехав, ахнул от изумления: "Зачем мне это? Мне нужны две комнаты в деревянном домике: келья и кабинет для приема посетителей".

"Но что же нам делать с этим домом? Не продавать же его?" — резонно возразили руководители Епархиального Управления. Волей-неволей пришлось строгому аскету, старому лагернику поселиться в доме доктора-богача.

Выше я говорил о некоторой робости, с которой я переступил порог великолепного особняка. Нас с Борисом Михайловичем ввели в роскошный кабинет. Моя робость, однако, сразу прошла, когда из боковых дверей быстрой походкой вылетел к нам крохотный старичок с живыми глазами, в подрясничке, подпоясанном монашеским ремнем, с четками на шее, в скуфейке. Мы склонились в глубоком поклоне. Владыка быстро нас благословил и, усадив, начал разговор.

Замечательный это был человек, не похожий ни на кого из своих собратий. Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с ним, это маленький рост. Даже мне, малорослому человеку, он был по плечо. Это было всю жизнь его несчастьем. Он привык к тому, что когда ему приходилось служить где-нибудь в новом месте, то вслед за собой, когда он в архиерейской мантии проходил к алтарю, слышались голоса: "Какой маленький!"

Живой, быстрый, любивший шутить, с звучным молодым голосом — трудно было поверить, что ему 76 лет. Тон фамильярный, развязный, веселый, чему, однако, противоречил вдумчивый, серьезный, грустный взгляд.

Я рассказал Владыке вкратце свою биографию. В некоторых моментах Владыка прерывал меня поощряющими репликами. Когда я сказал, что у меня отец был еврей ("это, возможно, вас насторожит"), он быстро ответил: "Нет, нет, я выше этого".

Когда я сказал, что был диаконом и учеником человека, к которому он не может питать расположения, Владыка сказал: "Это вы ученик Введенского? Знаю, знаю. Да нет, хороший человек был. Мы были друзьями. Я его любил. А потом почему-то оказались врагами. Жаль!"

Так закончился разговор.

Владыка попросил нас зайти после Петрова дня 13 июля и вручил Борису Михайловичу деньги, чтоб "гость не голодал". А затем, окончательно расшутившись, вдруг сказал грубоватую фразу на еврейском жаргоне. Проводил нас до дверей. Реплика на прощанье (уже в дверях): "Прошу вас не забывать, что имеете дело со старейшим иерархом и большим чудаком".

Не забыли. Как тут забудешь?

\* \* \*

Запомнились мне эти две недели в Самаре. После напряженного нервного года в Москве — отдых.

Борис Михайлович — это живая летопись. Ходишь с ним по городу и слушаешь. Что ни дом — то новелла.

"Вот в этом доме жила богатейшая купчиха (следует фамилия, имя, отчество), и при доме (видите!) оранжерея. В оранжерее жил ее муж. Он болел страшной нахудоносоровой болезнью. Ползал по земле и питался листьями. Изредка приносили его к жене в ящике".

А вот теперь мы вступаем в улицу староверских молелен. Вот здесь молельня купца такого-то. Вот здесь другая молельня, где собирались хлысты. Приходим в сад. "Видите, камень. Здесь был когда-то архиерейский дом. Камень на том месте, где был престол в крестовой церкви".

А затем привел меня Борис Михайлович к горсовету. Здесь было земство. Вот эти два окна — мой кабинет. Да, вот сколько

хлопотал, открывал школы, больницы — и все пошло прахом. Обидно!”

“Ну, не все пошло прахом, — сказал я, — больницы-то да школы остались”.

Борис Михайлович в ответ вздохнул.

Самые интересные его рассказы о старине. Сын священника, семинарист, был он в отрочестве у известного своей суровостью Владыки Гурия послушником. Вот как-то едет Владыка по епархии. Приехал в храм, отслужил. Торжественный обед у старосты. И вдруг подают Владыке на серебряном блюде, на расшитом полотенце... футбольный мяч. Владыка вытаращил глаза. “Это мне?”

“Вам, Владыка”, — низко кланяясь, говорит хозяин.

Владыка взял мяч, ударил им об пол. Засмеялся. Сказал: “Спасибо! Подарок запоздал на 50 лет. Возьми его, Боря”.

Потом во время обеда Владыка спрашивает у подобострастного хозяина: “А почему все-таки вам вздумалось подарить мне мяч?”

И тут выясняется целая история. Оказывается, перед приездом Владыки в приход приехал местный благочинный, отец Павел (дядюшка Бориса Михайловича). Нашел массу непорядков, стал пробирать старосту: “Вам попадет за это от Владыки”.

“Мы, наоборот, думаем, что Владыка к нам с милостью приедет”.

“С милостью-то, с милостью. А меч вы сами ему дадите”, — сказал благочинный... “Меч” староста понял как мяч. Решил, что надо подарить мяч. Поехали в Самару. Попросили в лучшем магазине мяч с крестом. Такого не оказалось. Тогда купили лучший мяч, который нашелся в магазине, поднесли архиерею.

Владыка много смеялся. Уезжая, сказал: “Цели они все-таки достигли. Я уезжаю в хорошем настроении. Не поворачивается язык их ругать”.

Но были и более серьезные вещи, о которых рассказывал Борис Михайлович. Его дядюшка, отец Павел Введенский, однофамилец моего шефа, будучи молодым священником, страдал падучей. Это было страшно. Служить становилось невозможно. Он, по существу, лишился своего призвания, и жизнь теряла смысл (человек он был исключительно религиозный), не говоря уже о средствах к жизни. И вот поехали они с матушкой в Кронштадт, к отцу Иоанну, который тогда уже (в 90-е годы) пользовался славой всероссийского целителя. Пришли в воскресенье к обеду. Смирненно стали с матушкой в уголке. “Служит отец Иоанн...

да так служит, — рассказывал впоследствии отец Павел, — что, если не знать, что это отец Иоанн, так хоть иди и гони. Выкрики с надрывом. Кричит, а не возглашает. Совершенно не так, как по традиции, не так, как мы все служим”.

После обедни подходит отец Павел с женой к кресту. Отец Иоанн, увидев священника в рясе, спрашивает: “Вы ко мне, батюшка?” — “К вам, отец Иоанн, с женой”. — “Издалека?” — “Из Самары”.

“Ну, идите ко мне, сейчас приду. Позавтракаем”.

Пошли. Приходит отец Иоанн. Завтракают. Запомнилась отцу Павлу даже такая подробность — говорит отец Иоанн: “Дайте мне, отец Павел, молочник”. Тот вместо молочника подал кофейник.

“Что это вы какой бестолковый, отец Павел? Я ведь молочник прошу”.

Затем оставил батюшку с женой у себя гостями и поехал с отцом Павлом в Питер. Когда они остались наедине в каюте парохода, отец Иоанн сказал: “Разрешите мне двадцать минут соснуть. Устал”. Действительно, дремал 20 минут. Во время сна лицо все время менялось. Видно было, во сне его не оставляют мысли и переживания. Наконец проснулся. Начался откровенный разговор. Отец Иоанн много и долго расспрашивал про самарскую епархию. Говорил: “Наступают страшные времена (разговор происходил в 90-е годы). Я не доживу, а вы доживете. Положение нашей Церкви тяжелое. У нее антиканоническое устройство. Что-то могло бы спасти патриаршество. Но оно придет тогда, когда будет уже поздно”.

По возвращении в Кронштадт долго и много молились втроем — отец Иоанн и болящий батюшка с женой. Отец Иоанн сказал: “Больше припадков не будет”. Матушка сказала: “Еще очень его удручает, что у нас нет детей. Все рождаются мертвые”.

Отец Иоанн ответил: “Все вы хотите насиловать Бога. Не дает Бог детей — значит, не надо. Будут у вас дети, будут. Но только помните, не на радость. А припадков не будет”.

В заключение назовем имя этого священника. Впоследствии, овдовев, он стал епископом. Это — Преосвященный Павел, умерший в 1937 году в сане Архиепископа Тамбовского в городе Моршанске, где и до сих пор сохраняется его могила. Надо сказать, что предсказания отца Иоанна сбылись с буквальной точностью: припадки больше никогда не повторялись, несмотря на все испытания, которые пришлось пережить Преосвященному

Павлу: он был много раз и в тюрьме, и в ссылке. Оправдалось и предсказание отца Иоанна насчет детей. Родились у отца Павла впоследствии трое, и все не на радость. Сыновья в 20-е годы публично отреклись от отца и даже приняли другую фамилию. Дочь также, по словам Бориса Михайловича, не радовала родителей.

Отца Иоанна Борис Михайлович знал и лично. Он приезжал в Самару. И у моего друга в памяти сохранилось, как пригласили отца Иоанна к княгине Хованской в имение. Княгиня была тяжело больна какой-то странной болезнью. Целый год она не вставала с постели, чувствовала страшную слабость.

Отец Иоанн приехал, возложил на нее руки и начал молиться, как бы требуя у Бога: "Ты дал ей жизнь, Ты должен дать силы нести эту жизнь". Но вот молитва окончена. Отец Иоанн хочет снять руки с головы болящей. Но она берет его за рукав рясы: "Батюшка, продолжайте молиться. Я чувствую, как с этой молитвой силы в меня вливаются".

На другой день она встала с постели, сидела за столом, хозяйничала.

В этом же доме произошел еще один замечательный случай. Разумеется, все слуги и домочадцы подходили к отцу Иоанну под благословение. И вот, подходит к нему старая, но очень бодрая нянька. Отец Иоанн смотрит пристально ей в глаза. И говорит, как бы обращаясь к себе: "Бедная ты, моя бедная". Она замечает: "Почему? Я очень хорошо себя чувствую. Собираюсь в Иерусалим".

Отец Иоанн тихо и грустно качает головой: "Нет, о небесном Иерусалиме тебе надо думать, а не о земном. Давно причащалась?"

"В Великом Посту, батюшка". — "Причастись завтра". Причастилась. А через три дня, к всеобщему изумлению, поднимаясь по лестнице с посудой, упала. К ней подбежали. Оказался удар. Скоропостижная смерть.

Одиннадцатый год уже пошел и со дня смерти Бориса Михайловича. И никогда его не забываю. Вся старая Россия, Русь, для меня воплотилась в нем. Веселый, добродушный, с чувством юмора и сама доброта. Много было у него веселых воспоминаний, но много пришлось пережить и несчастий, и посещали его также и мистические переживания.

Расскажем обо всем по порядку. Веселые воспоминания. В столыпинские времена ездил он по помещикам, договариваться об отрезках земли "на отруб". Часто находил потом у себя в

кармане деньги (взятки), всегда **вносил** их на благотворительные дела, квитанции отсылал помещикам. Поступал по справедливости.

Однажды приезжает к одному помещику, брату княгини Хованской, не титулованному, но очень богатому, хорошего дворянского рода. Помещика нет. В отъезде. Его встречает старая знакомая, экономка, некрасивая, простая баба.

“А, Марья. Ну как, не покрасивела? Ну-ка, давай мне умыться с дороги”. Та с ужимкой: “Сейчас скажу, чтоб вам подали умыться”. — “Еще что? Сама подай. Да живо”.

Через два часа приезжает помещик, и выясняется, что он... женился на экономке. И Борис Михайлович столь непочтительно говорил с хозяйкой дома, новоиспеченной помещицей. Конфуз.

“Вы извините, что я так к вам обратился”. — “Ничего, ничего, — ответила, краснея, помещица, — мы ведь старые друзья”.

Впоследствии Борис Михайлович, будучи у княгини, сказал, что он был у ее брата и видел его жену. В ответ — холодный взгляд, молчаливое запрещение говорить на эту тему.

Переживания мистические. Они тем более интересны, что Борис Михайлович был абсолютно здоровым человеком, лишенным какой бы то ни было экзальтации, типичным сангвиником. Во время войны, в 1942 году, голод. А надо кормить семью: жену и сына. Поехал в город Ставрополь, городок Самарской губернии, где у него сохранились старые связи. Решил взять место завхоза. Должность доходная. Да уж очень не подходящая для старого интеллигента: надо воровать, давать взятки и принимать их.

Засыпает. И видит во сне покойную мать. Она говорит: “Пойди к Егорову”. — “Зачем? И куда?” — “Он работает в горсовете. А обо всем я позабочусь”. Пошел. Видит Егорова. Старого знакомого, которого давно потерял из виду. Тот к нему: “Слушайте! Вы мне всю ночь снились. Проснулся и подумал: вот человек, который мне нужен. Но где он, не знаю”.

“А что такое?” — “Да нужен мне человек, который ведал бы помощью детям фронтовиков. Некого поставить, все воры... А я дам карточку первой категории. И продуктами, пайками обеспечу. Слушайте, давайте, принимайтесь, — по рукам”. Ну, и по рукам. Стал Борис Михайлович инспектировать семьи фронтовиков. Но вот беда, надо обходить их с утра, а хлебный магазин работает только до одиннадцати. Очереди огромные. И остается мой Борис Михайлович без хлеба.

И вот как-то раз подходит он к магазину, увидела его какая-

то женщина, которая стоит у дверей (общественный контроль), и кричит ему: "Гражданин, гражданин! Подойдите сюда". Подходит к ней Борис Михайлович. Она его вводит в магазин, говорит: "Этому гражданину хлеб выдать без очереди. Он работает и остается без хлеба".

Ошеломленный Борис Михайлович: "Откуда вы меня знаете?" — "Представьте, всю ночь вы мне снились. И какая-то старушка на вас указывает: "Устрой хлеб моему сыночку. А то он работает и остается без хлеба". Вот точно такой, как вы".

В 1960 году Борис Михайлович был уже на пенсии, а до этого он работал инструктором по страхованию жизни. (О его лагерных делах я рассказывал во втором томе воспоминаний.) Несмотря на глубокую старость, не утратил ни своей веселости, ни общительности. Было у него много старинных друзей. Часто ходил на Волгу. Купался. Заплывал далеко. Увлекался рыбной ловлей. Каждый вторник заходил к нему старый приятель, и начинали готовить рыбу. Приготовят. Я гость. Выпьем все трое по маленькой. И едим чудесную волжскую рыбу (она еще тогда не перевелась, как теперь, окончательно) : осетрину и севрюгу.

Едим, непринужденная мужская компания, выпиваем, смеемся. Бедный Борис Михайлович, он и не знал, какой удар готовила ему судьба на старости лет.

Борис Михайлович после войны овдовел. Остался у него единственный сын Владимир. Высокий, статный парень. С детства доставлял своему папаше много хлопот. Помню один рассказ старика: "Пропал как-то мой Володька из дому. Иду, разыскиваю. Зашел за город, на берегу Волги. И вдруг откуда ни возьмись четверо парней разбойного вида: "Снимай пиджак". А я говорю: "Нет, у меня сын пропал, малец 12 лет. Я его ищу". И стали парни мне сочувствовать: "Ну, давай, батя, поможем тебе". И стали искать мальчишку вместе с Борисом Михайловичем. И ведь нашли. Вся Русь здесь, разбойная, пьяная и добрая.

Отрок Володя между тем возрастал, но нельзя сказать, чтоб "укреплялся духом". Из него вышел шальной "стиляга", лодырь — полная противоположность отцу. В свое время он, как и отец, побывал в лагерях. В то время, о котором я рассказываю, Володя работал завхозом в больнице. Все свое время он, однако, проводил в донжуанских похождениях на местном "Бродвее", на набережной Волги. У него был товарищ, младший возрастом, тоже донжуан.

Шутя, Володю называли "президентом Бродвея", а его товарища — "вице-президентом".

Кто мог думать, что из этого власти сделают целую историю.

В 1963 году Никита Хрущев решил вступить на путь пуританства. В этом отношении он шел по стопам своего предшественника. Как известно, при Сталине официальной доктриной была ханжеская фарисейская мораль. Вступив на стезю добродетели, Хрущев начал осуществлять "добродетель" в чисто сталинском духе; всюду начались процессы людей, виновных в "бытовом разложении". Тут были арестованы в Куйбышеве двое — сын Бориса Михайловича и его товарищ "вице-президент". В газете появилась статья, направленная против них. Правда, по советским законам нельзя судить за разврат. Но что невозможно для КГБ? Вызвали несколько девчонок, с которыми путались арестованные лоботрясы. Начался диалог:

"Они вас изнасиловали?"

"Нет".

"Значит, вы добровольно вступили с ними в связь. Тогда мы вас привлекаем за проституцию".

Настращали девчонок, и те подписали, что они были изнасилованы. Итак, наших молодцов привлекли за изнасилование. Далее — "Президент и вице-президент" — организация. Начался громкий процесс. Володе дали 13 лет лагерей, его товарищу — 10.

Этого старик не выдержал. Он плакал как ребенок. Он безумно любил своего единственного сына. И этого горя он не выдержал. Надломился. Он приезжал ко мне в гости осенью 1967 года.

В январе 1968 года я был у него в Куйбышеве. Видел его последний раз.

Летом у него обнаружилась страшная болезнь — рак прямой кишки. А в январе 1969 года его не стало. Он умер 84-х лет от роду, как истинный христианин, причастившись и простившись со всеми друзьями.

Таисия Николаевна Пирогова трогательно ухаживала за больным до последних мгновений. Я ей также обязан многими дружескими одолжениями.

Как хорошо, что сохранились еще на Руси хорошие, добрые люди.

Между тем прошли десять дней. В Петров день мы с Борисом Михайловичем были в Петропавловской церкви на престольном Празднике. Владыка служил всенощную и литургию. А 13 июля мы посетили вновь дом доктора Маслаковского. На этот раз был серьезный, деловой разговор.

Его начал Владыка. "Мы пережили большую историческую эпоху — церковный раскол и связанные с ними события. И ничего от этой эпохи не осталось. Умрем мы, несколько человек, которые помнят все эти события, — и никто уже не сможет ничего восстановить. Надо писать сейчас историю тех лет, историю церковной смуты.

Я знаю, мы во многом разойдемся в оценке тех или иных личностей и событий. Но пишите. Одно лишь условие: каждую главу посылайте мне через Бориса Михайловича. О деньгах не беспокойтесь: за каждую главу буду посылать вам деньги через Бориса Михайловича. А пока вот вам задаток". И Владыка дал мне 2 тысячи (200) рублей. На этот раз мы простились.

Устроили с Борисом Михайловичем на прощание пир горой. А 15 июля я отбыл пароходом по Волге в другой город, сыгравший в свое время большую роль в моей жизни, в Ульяновск. Прибыл туда в день своих именин, 16 июля. Остановился в гостинице. Погулял по городу. Попробовал наведаться к старым знакомым. Увы! За 17 лет уже никого не осталось.

А на другой день пришел в храм, где был диаконом. Исповедался и причастился. И 18 июля самолетом вернулся в Москву.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ЖИВЫМ И ТОЛЬКО ДО КОНЦА

Итак, 18 июля 1960 года я вернулся в Москву. А в Москве в этот год происходили знаменательные события.

Борьба против Церкви достигла апогея. Это было время, когда в международном соревновании, в гонке вооружений Советский Союз вышел на первое место — в 1957 году ему удалось поднять спутник, в 1959 году взлетел в космос советский человек, русский парень Юрий Гагарин. Советское оружие праздновало триумфальную победу, Никита в своих речах захлебывался от восторга, упиваясь на этот раз не дутыми, а действительными, хотя, как оказалось, эфемерными победами.

Эта ситуация была крайне опасна для Церкви и для всех религиозных людей в России. "Они теперь плюют на всех, — наступление на церковь по всему фронту", — говорил мне конфиденциально один крупный церковный деятель. Митрополит Николай очень тяжело переносил очевидное фиаско политики "примирения непримиримых", — но не сдавался. Уже на протяжении многих месяцев воздействовал он на Патриарха, пытаясь вывести его из состояния бездействия, побудив выступить открыто в защиту Церкви. Престарелый, больной, слабый Патриарх колебался. Данила Андреевич и иже с ним, составлявшие непосредственное окружение Патриарха, всячески тормозили, удерживали Патриарха, беспокоясь за его (и свою) безопасность, от всякого смелого шага.

Но наконец Патриарх решился. Весной 1960 года должен был состояться Московский пленум сторонников разоружения. В числе приглашенных был Патриарх, который должен был произнести ставшую уже обычной речь с призывами к разоружению от имени Православной Церкви. (Хрущев в это время вряд ли думал о разоружении.)

И вот, Митрополит Николай решил воспользоваться именно этим моментом, чтобы побудить Патриарха к открытому выступ-

лению в защиту Церкви. Им (при консультации одного из церковных работников) была написана речь. Эта речь представляла собой своеобразную декларацию: она состояла из перечисления исторических заслуг Православной Церкви перед русским народом. Уже начало было декларативным:

“Перед вами говорит представитель Церкви, той Церкви, которая...” И далее следовал краткий обзор исторических заслуг Церкви. От крещения Руси до Отечественной войны 1941—1945 годов. И предельно сильная фраза в конце: “Теперь эта Церковь подвергается нападкам, но это ее не смущает, ибо она помнит слова Своего Основателя: “Церковь Мою созижду на камне, и врата адавы не одолеют ее”.

Шок всех присутствовавших. Аплодисменты (несколько неожиданные) большей части зала. В кулуарах Митрополит Николай встречает коллегу по Совету Мира, Генерального Секретаря Союза Евангельских христиан-баптистов, А. В. Карева. “Ну как?” — “Сильно”, — отвечает Александр Васильевич Карев.

В июне же последовало демонстративное отлучение от Церкви Осипова, Черткова, Дорманского, Дулумана и всех апробированных ренегатов, выступавших с нападками на Церковь. Но и власти не дремали. Понимая, что за всеми этими актами сопротивления стоит Митрополит Николай, они прежде всего решили его отстранить. В конце июня последовала его отставка с поста заведующего Отделом Внешних Сношений при Патриархии. На его место был назначен никому тогда еще не ведомый Архимандрит Никодим Ротов. Во время моей беседы с Архиепископом Мануилом 14 июля 1960 года в Самаре он мне сообщил, что в ближайшее воскресенье предстоит хиротония Архимандрита Никодима во Епископа Подольского. А через две недели после хиротонии он уже был возведен в достоинство Архиепископа.

Патриарху было предложено удалить Митрополита Николая из Москвы. Патриарх, уступивший давлению и быстро сдавший свои позиции, обратился к Митрополиту Николаю с предложением перейти на другую кафедру: в Питер или в Новосибирск. Категорический отказ. Патриарх говорит Куроедову: “Он не хочет, что я могу сделать”. — “Тогда пусть уходит совсем”.

Между тем окружение Патриарха делало свое дело. Они влияли на Патриарха, уговаривая его согласиться на предложение Куроедова. Они решили соединить приятное с полезным: избавиться от Митрополита Николая, который давно уже стоял им поперек

горла, как единственный независимый человек, который, пользуясь своей громкой международной известностью, мог третировать свысока всемогущего "Данилу", перед которым остальные архиереи ходили на цыпочках, и новую восходящую звезду — Архиепископа Костромского Пимена.

Здесь мы перед тяжелой дилеммой. Рассказать правду или промолчать, пощадив память умерших и уважаемых людей. Покорные тяжелому долгу историка и мемуариста, мы выбираем первое.

\* \* \*

По уже установившейся традиции Митрополит Николай собирался в сентябре в двухмесячный отпуск в Сухум. Здоровье его было сильно подорвано той нервной, напряженной жизнью, которой он жил: непрестанными разъездами, треволнениями, а в последнее время противостоянием Куроедову и патриаршему окружению.

Я видел его в последний раз в воскресенье 22 мая 1960 года в Вешняках, где он служил литургию. Несметные толпы простых людей заполняли площадь перед церковью в ожидании Митрополита, — толпы занимали даже полотно железной дороги около станции Вешняки, так что пришлось остановить движение поездов.

Наконец подъехал митрополичий автомобиль. Из автомобиля вышел Владыка в белом клобуке.

Я знал его уже 33 года (с 1927 года). Он служил в своей обычной лирической манере, хотя мне тяжело его было видеть состарившимся, одряхлевшим.

После литургии, когда я в толпе народа подошел к нему под благословение, он, узнав меня, громко воскликнул: "А! Это вы! Спасибо! За все, за все, за все спасибо!"

Это были последние слова, которые я от него услышал. В этот день я увидел Митрополита, с которым было связано столько детских, отроческих, юношеских воспоминаний, последний раз.

Уход Митрополита от управления произошел в атмосфере мрачного вероломства. Во время прощального визита Митрополита к Патриарху перед уходом в отпуск говорит ему Патриарх: "Они настаивают на вашем уходе. Напишите прошение об уходе на покой. На осенней сессии Синода без вас мы его рассматривать не будем, а там это забудется".

Митрополит Николай проявил слабость (сказался старый интеллигент, не привыкший лезть на рожон), написал прошение об увольнении на покой по состоянию здоровья.

Когда Митрополит прибыл в Сухум, в отеле уже ожидала его телеграмма Патриарха о том, что его прошение об уходе на покой удовлетворено.

В 1-м томе своих воспоминаний я рассказываю об одном инциденте со смертью матери Митрополита Николая, относящемся к 1939 году, связанном также с Патриархом Алексием (тогда Митрополитом Ленинградским). В момент получения в Сухуме патриаршей телеграммы Митрополит вспомнил об этом инциденте и сказал:

“Второй раз в жизни Патриарх заставляет меня остаться без слов”.

Действительно, все слова здесь были бы излишни.

Мы и не будем делать никаких комментариев, а лишь расскажем о последних днях Митрополита.

Уход Владыки на покой произошел с полным нарушением этикета. Как известно, архиерей, уходя на покой, всегда прощается со своей паствой: в последний раз служит литургию, произносит прощальную речь, дает пастве прощальное благословение. В полное нарушение этого древнего обычая Митрополиту отказали даже в этом последнем торжестве. Митрополиту велено было оставаться в Сухуме до начала ноября.

Тем временем в Москву из Питера приехал новый Митрополит Крутицкий и Коломенский Питирим Свиридов. Кроткий, тихий и совершенно рамолизованный старичок. Бояться его ни властям, ни кому-либо еще не приходилось. В Питер на Митрополичью кафедру был назначен Пимен Извеков, нынешний Патриарх.

Лишь в начале ноября (как сказано выше) вернулся в Москву Митрополит Николай. На вокзале его встретили лишь два человека: его бывший секретарь Владимир Талызин (по должности) и Володя Рожков (ныне протоиерей), бывший иподиакон Митрополита Николая, милый, добрый мальчик, искренне привязанный к Митрополиту Николаю. Никого из близких к Митрополиту людей больше не было.

Как мало на свете добрых людей. “Придите, ублажим Иосифа приснопамятного”.

Прямо с вокзала Митрополит проехал в свою резиденцию, в деревянный дом в Бауманском переулке, где отныне предстояло

ему провести последний год его жизни. Сумрачный и одинокий это был год.

Вначале Митрополита Николая хотели услатить в один из сохранившихся монастырей. Владыка категорически отказался, заявил: "Я гражданин, прописанный в Москве в Бауманском переулке, — и буду жить здесь".

Перед таким категорическим отказом власти отступили. На скандал, связанный с применением прямого насилия, не решились. Зато отказывали Митрополиту в служении. Со времени своего ухода на покой Митрополит Николай служил лишь дважды: в рождественскую ночь с 6-го по 7 января 1961 года в Елоховском соборе, где он сослужил Патриарху и своему преемнику Митрополиту Питириму.

В Светлую ночь Митрополит Николай написал Патриарху следующее письмо: "Первый раз в жизни в Светлую ночь я не в храме, сижу один в своей комнате и плачу". После этого ему было послано приглашение отслужить литургию на Светлой неделе в четверг, в трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры. Это было его последнее служение.

С огорчением вспоминаю, что этот последний год жизни Митрополита ознаменовался инцидентом, связанным с пишущим эти строки. И опять приходится говорить о тяжелом долге историка.

Весной 1961 года, когда я заканчивал 1-й том "Обновленчества", я писал о том, как в Питере в это время развивался церковный раскол. Вынужден был рассказать и о роли Митрополита (тогда епископа) Николая в расколе в 1922 году. Говорил в связи с этим с Митрополитом по телефону. Договорились, что я пришлю написанное через Володю Рожкова. Володя выполнил мою просьбу, передал Митрополиту написанное. Митрополит сделал ряд замечаний, которые я помещаю в виде приложения к 1-му тому "Очерков по истории церковной смуты".

К Пасхе я послал Владыке по обыкновению поздравление и получил милый, любезный ответ. Хуже было осенью. По просьбе Владыки я послал ему опять через Володю главу о петроградской автокефалии (в 1923 году), в которой Митрополит играл первенствующую роль. Там были отзывы, на которые Владыка обиделся. Осенью Владыка был в Крыму, откуда написал Володе (тогда уже диакону Елоховского собора) письмо, в котором были следующие горькие строки, относящиеся ко мне: "Прочел произведение твоего друга. Что тебе сказать? Опять он увлекся и сделал ряд

выпадов, неверных и некрасивых, в адрес Епископа Петергофского (таков был титул Митрополита в 1922 г.), и так несправедливо оплеванного своими собратьями. Это еще одна (небольшая) капля горечи в чаше, которую пришлось испытать”.

Это письмо Володя дал мне прочесть в ноябре 1961 года. Я не успел объясниться с Владыкой, так как тотчас по приезде из Крыма он заболел, а вскоре последовала его смерть.

\* \* \*

Мне остается одно — самое тяжелое. Рассказать о смерти и предсмертной болезни Митрополита.

В конце октября 1961 года, вскоре после приезда Митрополита из Крыма, на квартире одной дамы, которая была домашним врачом Владыки, раздается звонок. Говорит Митрополит, по обыкновению, вежливо и мягко: “Я, кажется, плохо себя веду. У меня повышенная температура. Прошу вас ко мне приехать”. Врач поспешила к Владыке. Действительно, он болен. Температура высокая. Вызвали еще одного врача — специалиста. Диагноз: воспаление легких. Необходимо поместить в больницу. Просили у Митрополита разрешения позвонить в Патриархию, к Зернову, бывшему секретарю Митрополита, ныне рукоположенному во епископа, управляющему делами Патриархии. Владыка сначала сказал: “Не хочу!” Потом дал себя уговорить. Показал на телефонную книгу: “Посмотрите на фамилию “Зернов”, его фамилия и телефон подчеркнуты”.

Позвонили. Через 20 минут звонит епископ Киприан Зернов: “Скажите Владыке, что в Кремлевской больнице его ждут. Пусть едет”.

На другой день Владыку перевезли в больницу. Идти он не мог. Надо было нести на носилках. В дверь носилки не проходили. Пришлось выломать окно. Вынесли носилки ногами вперед. “Как покойника”, — сказал Владыка.

Он лежал в мрачных стенах Кремлевской больницы больше месяца. Никого к нему не пускали. При нем неотлучно находилась его домашний врач. Однажды Владыка сказал: “Я знаю, вы очень устали, но, если у вас осталась хоть капелька силы, поезжайте к ней, расскажите обо мне”. Речь шла о княгине Бебутовой, старом друге Митрополита, 90-летней старушке, жившей в Измайловском.

Однажды Митрополит послал к одному молодому священнику,

отцу Оресту, когда-то им рукоположенному, который служил тогда на Рогожском кладбище.

“Пойдите к Оресту. Пусть даст вам в целлюлозе запасные дары. Я хочу причаститься”. Причастился. А через несколько дней наступил Конец.

13 декабря 1961 года, в день апостола Андрея Первозванного, он сказал врачу в 4 часа утра:

“Кажется, я умираю. Обещайте мне, что, пока вы живы и жива она (княгиня Бебутова), вы ее не оставите”.

Доктор обещала.

Владыка перекрестился и закрыл глаза.

Через некоторое время последовала смерть.

\* \* \*

Похороны Владыки также имеют целый ряд характерных особенностей. Владыку решено было хоронить в Лавре, хотя Лавру он не любил и никогда не думал быть там похороненным.

14 декабря с большим трудом пробилась в покойницкую больницы. Нашли обнаженное тело Владыки. На ноге чернильным карандашом было написано: “Ярушевич” (фамилия Владыки). Надели на Владыку подрясник и монашеский параман. Присутствовали: только что рукоположенный священник от. Димитрий Дудко, от. Виктор Жуков (от Патриархии), Володя Рожков, который плакал навзрыд. Положили в гроб, повезли в Лавру.

17 декабря состоялись похороны. Отпевали в трапезном храме, где Владыка несколько месяцев назад, на Пасху, отслужил в последний раз литургию. Было много народу, но далеко не все желающие смогли попасть на похороны, так как в восемь часов утра неожиданно перестали ходить поезда. Не ходили до 3-х часов дня, до окончания похорон.

Служили литургию три апробированных архиерея: Митрополит Питирим (через 10 месяцев также умерший), Архиепископ Одесский и Херсонский Борис и Епископ Дмитровский Киприан (пресловутый Зернов).

На отпевание вышел взволнованный, с покрасневшими веками Патриарх — его долго готовили к известию о смерти его долголетнего — в течение 40 лет — сотрудника, с которым его связывали сложные отношения, и еще несколько архиереев. Народ стоял

с зажженными свечами, по церкви шныряли шпики. В притворе было много венков.

Патриарх прочел разрешительную грамоту, сказал несколько взволнованных слов. И потянулась длинная очередь к гробу, для последнего прощания.

Я также подошел к гробу, поцеловал руку Владыки, такую теперь маленькую и жалкую. И вопреки всякому этикету, повинаясь внезапному чувству, перекрестил тело Владыки, которое через несколько минут перенесли в усыпальницу, в подвале "ротонды" — круглого небольшого храма в честь Смоленской иконы Божией Матери, небольшой церковки, построенной в XVIII веке. Я вернулся домой, к себе в Ново-Кузьминки, поздно вечером и тотчас сел писать некролог памяти Владыки, который прилагаю здесь.

Так я простился с человеком, которого я знал 35 лет. Так простилась с ним русская церковь.

## ИНТЕРМЕЦЦО

### НА СМЕРТЬ ИЕРАРХА

Я не имею права причислять себя к близким людям Митрополита Николая: наши взаимоотношения были в последнее время далеко не безоблачны — в одном из последних его писем имеются горькие строки, брошенные в мой адрес. Впрочем, и раньше мы были лишь добрыми знакомыми. Но это знакомство длилось 35 лет (с того времени, когда в 11 лет я прислуживал Владыке в качестве посохоносца), и мне трудно, почти невозможно, осознать его смерть.

Любил ли его?

Да, любил.

Мне всегда нравилась его мягкость, изящная простота в обращении, одухотворенность и в то же время живой, практический ум. Пишу эти строки, и мне слышится приятный грудной напевный тембр его голоса во время богослужения. И в личной беседе его речь, утрачивая напевность, сохраняла приятные, ласкающие интонации.

“Здравствуйте, здравствуйте, землячок дорогой”, — раздаются сейчас у меня в ушах слова, с которыми он обычно встречал меня в последние годы. И его письма, телеграммы — на всем отпечаток ласковости и приветливости, элегантности и простоты...

Смотрю сейчас на его портрет, усиленно всматриваясь в его умные, пронизательные глаза, которые кажутся мне при свете настольной лампы живыми, — и пытаюсь проникнуть в сложный характер Владыки, а в уме у меня рождается следующее определение: это был прежде всего человек высокой культуры, очень типичный представитель старой — хорошей петербургской интеллигенции.

Отсюда его вежливость, обходительность в обращении. Такой была и его мать, Катерина Ивановна, — красивая и в старости, умная, прекрасно воспитанная женщина.

И интерес к общественным вопросам, к литературе, к искусству — это от русской интеллигенции, от той среды, в которой он вращался с детства.

Я помню, в тридцатых годах, когда Владыка, будучи “лишенцем”, не мог пользоваться библиотеками — с каким живым и горячим интересом он буквально набрасывался на всякую книгу, на всякую газету, которую я (студент, а потом аспирант) приносил ему из нашей институтской библиотеки. И вечные пытливые вопросы: а что говорят студенты об Андре Жиде? Много ли читают Ромена Роллана? Как воспринимают школьники древнерусскую литературу? Нравится ли мне Есенин?

В то время я часто бывал в его уютной петергофской квартире. Каких разнообразных людей можно было встретить здесь по пятницам (в приемные дни Владыки), в небольшом зале на втором этаже деревянного дома (Красный проспект, 40). Тут были и деревенские простоватые батюшки из окрестных сел, и великосветские титулованные барыни, сохранившие и в советское время былую неприступность, и рядом с ними домработницы в платочках. И все выходили из его кабинета улыбающиеся, очарованные и обвороченные любезным обращением Владыки.

Но он был поповичем, сыном священника — сурового престарелого отца Дорофея, строгого и резковатого протоиерея в дымчатых синих очках. И, быть может, от отца, который, несмотря на академический значок, прошел суровый жизненный путь, практичность, знание жизни, чувство реальности, в высочайшей степени присущие Владыке. Это типично для тех представителей старой интеллигенции, которые происходили из духовной среды. В противоположность прекраснодушным мечтателям — дворянам — поповичи — все практики: Чернышевский, Добролюбов, Остроградский, Павлов.

Соединение высокой культуры с практичностью, искренней, традиционной (всосанной с молоком матери) религиозности — со здравым смыслом, эмоциональности — с тонкой наблюдательностью — сделали из Владыки Николая одного из крупнейших деятелей, которых имела Русская Церковь XX века.

Жизненный путь Митрополита с внешней стороны — сплошной триумф.

Двадцать один год — окончание Духовной Академии.

Двадцать три года — магистр богословия.

Двадцать восемь лет — архимандрит — наместник Александроневской Лавры.

Тридцать лет — епископ.

Сорок восемь лет — Митрополит.

Затем почти два десятка лет кипучей международной деятельности.

Лондон и Париж, Берлин и Варшава, Прага и Будапешт, Нью-Йорк и Александрия, Цейлон и Стокгольм. Английский король с почетом принимает человека, который всего лишь шесть лет до этого не мог записаться ни в библиотеку, ни в амбулаторию.

Уинстон Черчилль говорит ему проникновенные слова: "Это в ваших руках будущее России".

И. А. Бунин — последний великий русский писатель — жадно слушает его рассказы о Родине. А. Н. Толстой перебивает деловой разговор с Митрополитом Николаем (как с членом чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских зверств) словами: "Я верующий человек, хотя и не признаю догматов; давайте поговорим о бессмертии души".

Его имя произносится на всех языках. Его лицо запечатлено на тысячах фотографий.

Его называют "вторым министром иностранных дел". Никто не сомневается в том, что ему предстоит быть в недалеком будущем Первосвятителем Русской Церкви.

И вдруг — крах.

Последний год его жизни: одиноко живет он в своем деревянном доме, в тихом московском переулке. Булавочные уколы, мелкие унижения: его не приглашают служить, о нем говорят с насмешкой вчерашние холопы.

А затем — одинокая смерть, в зимний холодный день — 13 декабря — в 4 часа утра в Кремлевской больнице.

И похороны в Лавре — они были позавчера — торжественные, но обычные архиерейские похороны.

Полное молчание газетчиков, вдруг позабывших, что покойный был человеком, оказавшим неоценимые услуги русскому народу и советскому государству (и во время войны своими патристическими призывами, и в послевоенные годы, как один из главных участников и организаторов движения сторонников мира).

Митрополит Николай был крупнейшим церковным деятелем. Быть может, единственным деятелем, в подлинном смысле этого слова, которого имела Русская Церковь за последнее время.

И творцом "послевоенной эпохи" (она насчитывает 15 лет — с 1943-го по 1958 г.) в истории Русской Церкви надо считать главным образом Митрополита Николая\*.

Каков облик Митрополита Николая как деятеля?

Это прежде всего последовательный и законченный сторонник компромисса. Более того, это замечательный мастер компромисса, почти не имеющий себе в этом равных.

В 1922 году, в годы церковной смуты, Митрополит (тогда епископ) Николай выступил совместно с епископом Алексием как инициатор петроградской автокефалии. В те кровавые, страшные годы, когда Русскую Церковь потрясал раскол и она распалась на две части — тихоновцев и обновленцев, — епископ Николай сумел создать нечто "третье" (не тихоновщина и не обновленчество, не церковь и не раскол). Основой автокефалии была лояльность к советской власти, отмежевание от "контрреволюционных церковных вождей" при полном соблюдении церковных канонов.

Петроградская автокефалия — это лабораторный опыт, повторенный затем дважды — во всероссийском масштабе. Первый раз в 1927 г. — в период "Декларации Митрополита Сергия" и второй раз — в 1943 году и в послевоенное время.

Сотрудничество церкви с советским государством было главным стремлением почившего Митрополита.

Он до последних своих дней оставался убежденным сторонником политики "компромисса".

"Почему надо обязательно быть фанатиком? Надо действовать всегда так, как полезно для дела", — сказал он за месяц до смерти, прочтя последнюю написанную тогда главу "Истории церковной смуты".

Следует, однако, отметить, что была черта, которой никогда

---

\* Мы не хотим умалять значение Патриарха Алексия. Оценку его деятельности мы дали в нашей статье "Первоверховный русский патриарх" ("Журнал Московской Патриархии" № 11 за 1957 год) и не собираемся от нее отказать. Все же справедливость требует признать главным деятелем послевоенной эпохи Митрополита Николая, который превосходил всех своих собратьев энергией, талантом и образованием.

не переступал Митрополит Николай. Такой чертой были этические принципы.

В 1922 году его старый товарищ по Духовной Академии — Николай Федорович Платонов — впоследствии ренегат, а тогда агент ГПУ, — многократно, с угрозами и с посулами, добивался от епископа Николая перехода в обновленческий раскол.

Епископ (несмотря на свою мягкость) остался непреклонным и предпочел зырянскую ссылку бесчестному поступку.

Интересно отметить, что там, в Коми-Зырянской АССР, он сблизился с Митрополитом Кириллом, который оказался академическим товарищем владыкиного отца. И железный Митрополит, не знавший и не понимавший никаких компромиссов, любил и уважал Митрополита бархатного, для которого компромисс был родной стихией.

В 20-х и 30-х годах, когда многие пастыри (для спасения своей жизни — в годы ежовщины) совершили грех Иуды Искаротского — епископ Николай ни разу не запятнал себя ни предательством, ни позорными связями с б. МГБ.

И в 1960 году Митрополит предпочел уйти на покой (что ему — человеку активному и энергичному — было очень тяжело), чем согласиться с закрытием храмов.

В противоположность своим не в меру робким собратьям Митрополит непрестанно проповедовал, непрестанно говорил о вере, о необходимости отстаивать Церковь и передать ее учение грядущим поколениям.

Мы привели выше слова Митрополита о том, что главным критерием является "польза дела".

Митрополит, конечно, был прав: бывают в истории эпохи, когда компромиссы неизбежны. Такой была, между прочим, сталинская эпоха.

Как это ни странно, несмотря на всю свою показную революционность — это была эпоха компромиссов.

И это, конечно, не случайно. Всегда, во все времена, властолюбцы, тираны и деспоты больше всего боялись ясности. "Пишите так, чтоб было коротко и неясно!" — воскликнул Наполеон, определяя Конституцию своей Империи. И это восклицание великого корсиканца является классическим выражением философии всякого тирана. Властолюбивые диктаторы не любят показываться при дневном свете — им больше нравится полумрак.

Но полумрак — это и есть компромисс — компромисс света с тьмой. Единоначалие (неограниченная власть) — и советская республика. Научный социализм — и идолопоклоннический культ — героя-“чудотворца”. Демократическая конституция — и всевластие МГБ — это ли не компромисс?

И взаимоотношения Церкви с государством в эту эпоху были основаны на парадоксальнейшем компромиссе: полугосударственная церковь в системе атеистического государства. Из всех компромиссов — это самый невероятный. И, однако, как оказалось, возможный.

В сталинскую эпоху Митрополит Николай и вышел на историческую авансцену именно потому, что он был неподражаемым мастером компромисса и талантливейшим дипломатом. Он добился максимума пользы для Церкви и сделал для нее все, что было в тех условиях возможно. Он пережил (хотя и ненадолго) сталинскую эпоху и поэтому пережил свою славу. Ибо теперь наступила пора ясности и дневного света, — и не верхушечные компромиссы с теми или иными государственными деятелями решат судьбу Церкви, а самоотверженная и упорная борьба за людские души.

Сомнений в конечном исходе этой борьбы быть не может. Этот исход заранее предопределен Тем, Кто сказал: “Церковь Мою созижду на камне и врата адовы не одолеют ее”.

\* \* \*

У марксистов есть красивая идея — о будущем едином общечеловеческом языке, который вберет в себя все ценное, что есть в языках современных культурных народов. И нечто подобное будет — верую! верую! — и в будущей, грядущей Вселенской Церкви, которая воплотит все наиболее ценное, что было в многовековом религиозном опыте христианского человечества. И люди будущего, быть может, с уважением остановятся около скромной могилы русского архипастыря, в подвале Смоленской Церкви в Троице-Сергиевой Лавре.

Большая культура, искренняя религиозность и жизненный реализм — вот то ценное, чему должны учиться у почившего Владыки молодые поколения русских людей.

И мы, так хорошо его знавшие, обнажая головы перед его памятью, говорим:

“Ты делал что мог — и если в чем ошибался, то не уронил и не запятнал чести архипастыря”.

Владыко, до свидания, дорогой!

*17 декабря 1961 г.*

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### НОВЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЕ ПЕСНИ

В истории есть символизм. 1961 год. В конце года — смерть Митрополита Николая, а в начале года, в первых числах января, умер другой деятель, фигура которого (увы!) — тоже символ эпохи.

Настоятель Богоявленского храма, управляющий делами Патриархии протопресвитер Николай Федорович Колчицкий.

В истории Русской Церкви наступают новые времена. Приходят в Церковь новые люди. В историю Русской Церкви 1961 год войдет как печальная дата. Летом пресловутый Собор в Троице-Сергиевой Лавре, положивший начало новому церковному устройству, совершенно антиканоническому и незаконному.

Об этом "соборе" также придется сказать несколько слов.

Этот "собор" прежде всего представляет собой совершенно невероятное и антиканоническое явление. Даже обновленческие соборы 20-х годов, не признаваемые нашей Церковью, все же имеют более каноническую видимость. Прежде всего "собор" продолжался всего один день (точнее, 2 часа). Никто из архиереев — участников этого "собора" еще накануне понятия не имел о том, что они приехали на собор. Это было в Сергиев день — 18 июля 1961 года, когда по традиции в Троице-Сергиеву Лавру съезжаются множество гостей, в том числе и много архиереев.

Все архиереи, собравшиеся на собор, были уверены, что их приглашают на праздник для участия в богослужении. Лишь 18 июля после праздничной литургии, крестного хода и торжественного обеда в патриарших покоях им объявили о том, что предстоит собор, причем тут появились Куроедов, Трушин и другие работники Совета по Делам Православной Церкви.

Весь "собор" состоял из речи Патриарха, доклада Митрополита Пимена и открытого голосования. Никаких прений не было. Лишь было сообщено собору об отрицательном отношении к новому Положению о Православной Церкви двух архиереев: Прео-

священного Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского (проф. Войно-Ясенецкого), глубокого старца, уже находящегося при смерти, и Преосвященного Павла Архиепископа Новосибирского (Голышева).

Архиепископ Ермоген, наиболее известный и серьезный противник антиканонического устройства Православной Церкви, в это время находился "на покое" (через некоторое время он опять был призван на кафедру), и поэтому он на "собор" приглашен не был, и ему проект устройства послан также не был. Его мнением никто не интересовался.

Митрополит Николай, который тогда еще был жив, также находился на покое, поэтому его на собор не позвали, и никаких консультаций с ним не было.

\* \* \*

Новое "Положение Русской Православной Церкви", принятое в пожарном порядке Собором Русской Церкви 18/7 1961 года, готовилось Советом по делам Православной Церкви исподтишка уже в течение года. Причем главным консультантом в выработке этого Положения был известный ренегат А. А. Осипов (бывший профессор Ленинградской Духовной Академии, отрекшийся в 1959 году от Бога, о чем речь была выше). Собственно говоря, новое Положение восстанавливало в своих основных чертах закон о религиозных культах 1929 года, перечеркнутый в 1943 году сталинским конкордатом с церковью. Согласно этому Положению храмы со всем их имуществом объявлялись собственностью государства, которое отдавало храмовые помещения лишь в "аренду" группе прихожан (до 1943 года эти группы назывались двадцатками). Духовные лица ("служители культа") рассматривались при этом (наряду со сторожами и дворниками) как "служащие по найму", с той лишь разницей, что трудовое законодательство на них не распространялось.

Во время сталинского конкордата этот закон, собственно говоря, отменен не был. Но Сталин его просто не "замечал", предоставив духовенству полную, ничем не ограниченную власть в приходах и, что самое главное, неограниченное и никем не контролируемое право в распоряжении церковными доходами. Ничего, впрочем, особенного в этом не было: если Сталин "не замечал"

своей собственной конституции, то что ему стоило “не заметить” и еще одно постановление, принятое в 1929 году ЦИКом?

В 1960 году перед уходом на покой Митрополита Николая началась “работа” над восстановлением прежнего положения. Власти при этом не скрывали, что их целью является создание условий для ликвидации церкви в ближайшем будущем. Непосредственная цель: подрыв экономической мощи Церкви (лишить духовенство возможности распоряжаться пожертвованиями верующих), вторая и главная цель — поставить во главе приходов “своих” людей, которые бы бесспорно согласились с закрытием храмов и отстраняли бы по указке властей неугодных священнослужителей.

Положение, однако, осложнялось тем, что в данное время русская церковь возглавлялась Патриархией, официально признанной советским правительством, и епископатом, им же апробированным.

Характерный момент: еще весной 1960 года архиепископ Пимен (тогда еще управляющий делами Патриархии в сане архиепископа Тульского) дал проект подготавливавшегося Положения на отзыв одному известному московскому протоиерею. Батюшка, прочтя Положение, дал следующий устный отзыв: “Так, теперь для меня ясно, кто я такой! Я не только не глава общины, но даже и не член общины. Я всего лишь служащий по найму. Но для меня неясно, кто вы такой? В Положении говорится о том, что я назначаюсь общиной, но при чем же здесь вы? Община же может с таким же правом вместо меня назначить дворника или обменять нас местами. При чем здесь Патриархия и епископы?” Это замечание было учтено. В текст постановления было введено несколько слов о Патриархии и о иерархии, которая должна санкционировать назначение священников.

Так или иначе, июльский собор 1961 года сделал свое дело. Противозаконное и антиканоничное Положение было принято без возражений (если не считать “особого мнения” двух епископов — Луки и Павла, которые на собор приглашены не были).

Отныне во главе приходов стояли так называемые “тройки”, состоящие из председателя, секретаря и казначея, состоящие из людей, никем не избранных, никем не уполномоченных, назначенных Райсоветом, которые были хозяевами храма. Обычно это были весьма “лояльные” граждане, близкие к властям, не-

чистые на руку, которые иногда даже не считали нужным при- творяться верующими.

После того как растерянные, утомленные епископы вернулись домой, началась энергичная подготовка к проведению нового "Положения" в жизнь. Управляющим делами Патриархии стал прот. Михаил Зернов — бывший актер, о котором подробно рассказывалось во втором томе настоящих воспоминаний. В августе состоялось экстренное пострижение его в монашество (он считался священником, рукоположенным целебатом, и официально женат не был) с именем Киприан. В сентябре он был рукоположен во епископа Дмитровского. Отныне на смену прежней руководящей "троицы" — Патриарх Алексей, Митрополит Николай, протопресвитер Колчицкий — пришла к кормилу церковного правления новая "троица": Патриарх (вместо которого фактически всем управлял его секретарь Даниил Андреевич Остапов), архиепископ Никодим (заведующий Отделом внешних сношений Патриархии) и епископ (вскоре он также был возведен в сан архиепископа) Киприан Зернов.

Митрополит Пимен, назначенный в Питер, уехал в свою новую епархию и на некоторое время был лишен непосредственного участия в центральном руководстве.

Единственным нежелательным для властей лицом в высшей иерархии в Москве оставался архиепископ Леонид Поляков, человек высокообразованный, безупречно порядочный и глубоко религиозный. Архиепископ Леонид, и ныне здравствующий (в настоящее время он является Митрополитом Рижским), — потомок известной семьи. Его прадед, известный промышленник Поляков, участвовал в основании Московского лица, который в свое время окончил Сергей Владимирович Симанский (будущий Патриарх). Основателем лица был известный консервативный публицист М. Н. Катков, а средства, необходимые для открытия лица, предоставил известный миллионер, один из трех человек, покрывших Россию сетью железных дорог, — Поляков\*.

В романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" Поляков изображен под именем промышленника Болгарина (см. часть 7, глава 17).

Потомки известного железнодорожного промышленника (крещеного еврея) получили дворянство, и отец Владыки Леонида был казачьим генералом, умершим в эмиграции.

---

\* Известные подрядчики: фон Мекк, фон Дервиз и Поляков.

Владыка Леонид, оставшийся в раннем детстве круглым сиротой в Питере, был воспитан тетушкой, к которой был искренне, глубоко всю жизнь привязан. Она была, кажется, самым его близким человеком.

С большим трудом (сыну эмигранта и потомственному дворянину это в 20-е годы было очень трудно) он окончил медицинское образование и долгое время работал врачом-хирургом. В то же время он отличался глубокой религиозностью и мечтал о монашестве (он является автором двух очень ценных работ по истории монашества). После войны, когда эту мечту оказалось возможным осуществить, он очень быстро оканчивает Духовную Академию, постригается Патриархом в монашество и становится преподавателем и инспектором сначала Ленинградской, а потом и Московской Духовной Академии.

Интеллигентный, приветливый, остроумный, обладающий чувством юмора, он пользовался любовью всех своих воспитанников и преподавателей (он никогда не мог запомнить многих имен и фамилий и всех называл "юношами", даже тех сотрудников Академии, которые годились ему в отцы). Он является одним из первых магистров богословия, а затем, кажется, — первым доктором богословия советского времени. Его магистерской диссертацией является монография о Паисии Величковском — основоположнике русского "старчества", основателе знаменитого "Нямецкого монастыря" в Молдавии, жившем в XVIII веке.

Докторская его диссертация посвящена малоизвестной теме — духовному деланию исихастов — афонских монахов, непрестанно творящих Иисусову молитву, задерживая на долгое время дыхание.

В конце пятидесятых годов отец Леонид был рукоположен во епископа Курского и Белгородского. А в 1961 году Патриарх Алексей переводит его в Москву с титулом архиепископа Можайского. Он становится вместо Митрополита Николая управляющим Московской епархией (городскими храмами Москвы управлял Киприан).

В Москве Владыка Леонид также пользовался всеобщей любовью, и после смерти Патриарха Алексея один из старейших московских протоиереев, выражая всеобщее мнение, уходя на покой, высказал публично пожелание, чтобы Патриархом был избран Владыка Леонид. Все это чувствовали люди, вновь пришедшие в начале шестидесятых годов к кормилу церковного

правления. На Патриарха оказывалось непрерывное давление с целью устранить Владыку Леонида из Москвы. Патриарх долго сопротивлялся и лишь весной 1963 года уступил и перевел Владыку на Ярославскую кафедру. Оттуда его перевели в Пермь и лишь в последние годы в Рижскую епархию, которой он правит уже в течение десяти лет в сане Митрополита.

Вторым викарием в Москве был также исключительно духовный, молитвенный человек — епископ Стефан, тоже по образованию врач (долго занимавшийся врачебной практикой в качестве психиатра), принявший по глубокой вере монашество в Глинской Пустыни.

В 1969 году Владыка был назначен на Калужскую кафедру, где умер в облачении после совершения литургии, у престола, в 1967 году. Таким образом, наряду с двумя прожженными церковными политиками (Никодимом и Киприаном) в руководстве Московской епархии были и очень достойные, глубоко религиозные люди.

Среди московского духовенства и даже среди лиц, непосредственно близких Патриархии, были также достойные люди. Среди них на первом месте следует поставить недавно (в 1977 году) скончавшегося о. Владимира Елховского. Вспоминаю его и тотчас чувствую улыбку на своих устах. Добрую и теплую улыбку, — иначе его вспомнить нельзя. Чудесный это был человек; все, что есть хорошего в русском священнике в русском человеке, все воплотилось в отце Владимире. Доброта несказанная, — сколько помогал он нам с Вадимом, да и кому только не помогал!

Добродушие неисчерпаемое, — всегда смеется, всегда шутит и никогда никого не обидит.

Последний раз видел его в 1971 году; я стоял в алтаре, и со мной все время заговаривал какой-то псаломщик и все задевал провокационные темы. Отозвал меня в сторону о. Владимир (уже у него был удар, поэтому говорил он запинаясь): "Будьте осторожнее с этим типом. Это такой фрукт южный, засахаренный, засушенный, что не приведи Бог". В этой реплике весь отец Владимир: насмешливый, веселый и добрый, добрый, добрый.

Он обладатель интересной биографии. Отпрыск старой духовной династии. Отец его был священником в городе Юрьеве-Польском (недалеко от Москвы). Он окончил духовную семинарию. Но затем пошел по светской линии. Подошла война. Он становится офицером. Необыкновенно смелый и добрый был офицер. "Слуга

царю, отец солдатам". Он оканчивает войну штабс-капитаном. Затем советская эпоха. Он остается в армии. Честно исполняет свои обязанности, хотя не скрывает своей религиозности. Во время Отечественной войны командует полком. Оканчивает войну подполковником. И здесь он находит друга — офицера и тоже поповича — Воскресенского. Оканчивается война. Выходят в отставку. Приходят к Патриарху: "Кончена военная служба. Теперь мы хотим служить церкви, ведь оба мы окончили семинарию". — "Пожалуйста!"

Воскресенский, как неженатый, принимает монашество, вскоре становится известен как преосвященный Михаил, епископ Казанский, а отец Владимир, отец многочисленной семьи, становится настоятелем популярнейшего московского храма "Воскресения Христова" в Брюсовском переулке. Своеобразный это приход. Географически это наиболее близкая к центру церковь. И наиболее посещаемая. Здесь находится известная икона Божией Матери "Взыскание погибших". Посещают этот храм простые люди, идут сюда к подножию любимой иконы, молятся: "Взыщи, помоги, сохрани". Но не только простые люди. Переулок заселен актерами и актрисами Большого, Малого, Художественного театров. И очень-очень многие посещают храм. Здесь были прихожанами знаменитая Нежданова, ее муж — знаменитый дирижер Голованов — и еще многие-многие знаменитости.

Уже сложился своеобразный этикет похорон знаменитого актера. Перед всенощной его заносят в храм в Брюсовском переулке. Здесь гроб находится во время всенощной. После всенощной в приделе отпевание, а потом гроб с телом актера уносят в театр, ставят в фойе. Завтра здесь будет гражданская панихида, а затем во главе торжественной процессии его тело проследует через всю Москву на Новодевичье кладбище. Пребывание в приходе актеров налагает своеобразный колорит на всю церковную жизнь. Не вольно вспоминается мне пасхальная заутреня в 1963 году, когда я стоял в алтаре рядом с тремя старыми актерами, и пасхальные песнопения мне приходилось слушать вперемежку с актерскими рассказами о том, как они (лет за сорок перед этим) выступали в концерте с декламацией, во фраках, вместе с Ермоловой, и как Ермолова забыла строчку из стихотворения.

А недалеко от Брюсовского переулка Обыденский переулок. Там тоже известная уцелевшая московская церковь Илии Обыденского. О ней я уже писал во втором томе.

Здесь до 1962 года настоятелем был престарелый отец Александр Толгский. Старый, высококультурный, глубоко религиозный. До сих пор звучит в ушах интонация, с которой он читал акафист иконе Божией Матери "Нечаянная Радость".

Здесь также среди прихожан превалирует интеллигенция. Много молодежи. Сюда часто ходили молодые интеллигентные ребята: и Алик Мень, и Глеб Якунин, и много-много других.

\* \* \*

Между тем в это время неподалеку от этих известных московских храмов, в Гагаринском переулке, известном старым москвичам по аристократическим особнякам, ныне переименованном в улицу имени Рылеева, кипела напряженная работа.

Вновь назначенный начальник Отдела внешних сношений архиепископ Никодим формировал учреждение.

\* \* \*

Недавно умерший Митрополит Никодим (в описываемое время архиепископ) — безусловно, наиболее крупная личность из всех архиереев, появившихся за последние 20 лет. Более того, это единственный по-настоящему талантливый человек, обладающий творческой инициативой. Биография его также необычайная.

Борис Георгиевич Ротов родился в Рязани в 1929 году в семье местного партийного "деятеля". Его отец — из крестьян, человек энергичный и практический, хорошо знающий деревню и никогда не порывавший с ней связи. Соответственно, он всегда занимался сельскими делами и в последнее время был третьим секретарем Рязанского обкома партии, ведающего колхозными делами. Мать Владыки, урожденная Сионская, дочь священника, энергичная, культурная женщина, по профессии учительница.

Борис Ротов еще на школьной скамье обнаруживал большие способности и оригинальный склад характера. Хороший ученик, увлекавшийся биологией, по натуре сангвиник, он в то же время с детства имел пристрастие к церкви. В Рязани тогда была единственная небольшая церковь на кладбище. В ней часто бывал юный Борис. После войны в Рязань был назначен новый архиерей, архиепископ Димитрий Градусов, своеобразный, интересный человек. Родом из ярославской интеллигенции, полудуховного, полукупеческого происхождения. Владыка Димитрий был высоко-

интеллектуальным и глубоко религиозным человеком. До принятия сана он был музыкантом. Будучи лично близок к Митрополиту Сергию (тогда патриаршему местоблюстителю), отец Димитрий Градусов рукополагается в 30-е годы в священники, а перед самой войной, после принятия монашества, становится епископом Можайским (викарием Московской епархии). Это было, кажется, единственное рукоположение в предвоенные годы, так как все хиротонии были запрещены властями, и только благодаря личной близости рукополагаемого к Митрополиту Сергию удалось эту хиротонию осуществить.

Во время войны, после восстановления патриаршества, Владыка Димитрий был назначен в Ульяновск. Хорошо его помню: с длинной, слегка рыжеватой бородой, со спокойными степенными манерами, с проникновенной, неспешной манерой служить, он производил впечатление глубоко религиозного, высококультурного купца (человека типа Третьякова или Рябушинского). Из Ульяновска он был переведен на Рязанскую кафедру. К нему и обратился отрок Борис Ротов.

Время это было своеобразное. Только что было восстановлено патриаршество, в Москве непрестанно рукополагались епископы и священники, всюду открывались храмы. Церковные люди переживали состояние подъема.

В Рязани было решено восстановить древний великолепный кафедральный Борисоглебский собор, стоящий на самом высоком месте города, в местном Кремле. В 1944 году открылись двери древнего, заброшенного храма, и первый, кто туда вошел, был пятнадцатилетний Борис Ротов, новый приближенный рязанского Владыки. Вскоре Владыка Димитрий решает постричьмышленного, энергичного отрока в монахи. Уже был назначен день пострижения. Уже Борис знал свое монашеское имя: его уже все звали Никодимом. Все сорвалось в последний момент. Владыка Димитрий пригласил престарелую монахиню прислуживать ему и петь во время пострижения, которое должно было быть совершено келейно в покоях Владыки.

Монахиня, однако, узнав, что речь идет о пострижении Бориса, пришла в ужас: "Как, Владыко, шестнадцатилетнего? Что вы, Владыко?" Она была права. Пострижение в монашество шестнадцатилетнего юноши было противно не только церковному уставу,

но и с точки зрения советских законов было тягчайшим преступлением\*.

Между тем Борис Ротов оканчивает школу, решает поступить в университет, на биологический факультет. Едет в Питер — так полагают его родители. Однако через некоторое время они узнают, что их парень из Ленинграда переехал в Ярославль, где в это время был правящим архиереем Владыка Димитрий, переведенный сюда из Рязани в сане архиепископа,

К этому времени юноше уже исполнилось 18 лет, поэтому ярославский Владыка рукополагает его в священника и постригает в монашество с именем Никодим. Новопостриженный отец Никодим становится секретарем Владыки; одновременно он учится на заочном отделении Ленинградской Духовной Академии. Он рад: мечта его детских, отроческих, юношеских лет осуществилась. Но не так реагируют его родители. Отца — секретаря Обкома — чуть не хватил удар, а мать поседела от горя.

Между тем идут годы. О. Никодим, разумеется, не мог остаться незамеченным властями предрежущими. Что происходит дальше, точно неизвестно. Только внезапно Владыка Димитрий несколько охладевает к своему любимцу. О. Никодим неожиданно переводится в Углич в качестве настоятеля местного храма. В чем дело? И почему? Сам Владыка впоследствии не любил говорить на эту тему, и, к его чести, он глубоко чтит память своего покровителя архиепископа Димитрия, скончавшегося в 60-х годах на покое, приняв перед смертью схиму (в схиме он был наречен архисхиископом Лазарем). В свое время Владыка Никодим отслужил в Кентерберийском соборе о нем панихиду в годовщину его смерти, прославив своего покровителя на весь мир.

Однако люди, близкие к архиепископу Димитрию, объясняют внезапный перевод о. Никодима в Углич не совсем в идиллических тонах. Они говорят: "Архиепископ Димитрий понял, что его секретарь служит не ему одному". Но кому же еще? И каким образом? На эти недоуменные вопросы отвечает дальнейший поворот в карьере отца Никодима.

В 1956 году 27-летний игумен Никодим (он был возведен в это звание) неожиданно переводится в Москву, в распоряжение Отдела внешних сношений и получает лестное назначение — в

---

\* Обо всех этих деталях мне рассказывал Митрополит Никодим во время обстоятельной и очень откровенной беседы, которую я с ним имел в октябре 1963 года в его кабинете на ул. Рылеева.

Духовную Миссию в Иерусалим. Здесь он попадает под начальство архимандрита Пимена Хмелевского, впоследствии наместника Троице-Сергиевой Лавры, ныне архиепископа Саратовского.

Нельзя сказать, что отношения игумена Никодима (при всем его умении ладить с людьми) были безоблачны в отношении его нового начальника. Впоследствии он говорил: "Тяжелый человек. Это самое трудное время моего священнослужения".

Надо, однако, сказать, что мнение Владыки Никодима здесь расходится с мнением большинства сотрудников архиепископа Пимена Хмелевского. Большинство его подчиненных и учеников (и в Лавре, и в Духовной Академии, где он преподавал логику, и в Саратовской епархии) его любят и уважают. Видимо, оказалась разница психологических типов монахов, представлявших Патриархию в Иерусалиме.

В 1958 году о. Никодим возвращается в Москву и становится заместителем Митрополита Николая по Отделу внешних сношений Патриархии. Таким образом, за 10 лет своего священнослужения молодой архимандрит проделал блестящую карьеру: из неизвестного рязанского монашка он сделался заместителем "Министра иностранных дел" Православной церкви, всемирно-известным церковным деятелем.

Что стояло за всей этой цепью перемещений, переводов, восхождений к вершинам энергичного и честолюбивого монаха? О том, что он был тесно связан с органами КГБ, в этом нет никаких сомнений, да и сам он это не очень отрицал, во всяком случае, в беседах с людьми, с которыми (как умный человек, он это понимал) отрицать это бесцельно. Обычная его фраза: если можно сотрудничать с Советом по делам Православной церкви, почему нельзя сотрудничать с ними? На возражение, что Совет по делам Православной Церкви не является карательной организацией, следовало возражение: "Так мы же и не будем никого карать". Действительно, Комитет Госбезопасности — организация весьма многообразная. Вряд ли кто-либо требовал от отца Никодима политических доносов: он шел по другой линии. По линии иностранного агента. Агента высокого класса.

Его специфика — связь с иностранцами. Подписка, которую дают подобные агенты Комитету Госбезопасности (они так не называются: это сотрудники Иностранного отдела при КГБ), содержит лишь обязательство координировать свою деятельность с органами КГБ, в противоположность обязательству рядового

агента: сообщать органам КГБ определенные сведения. Все это, впрочем, разумеется, весьма относительные и приблизительные сведения, почерпнутые нами из частных разговоров. Многие мы, конечно, не знаем.

Так или иначе, молодой архимандрит делал блестящую карьеру. Как мы говорили выше, после отставки Митрополита Николая с поста заведующего Отделом внешних сношений, на его место был назначен архимандрит Никодим, рукоположенный летом 1960 года в епископа, а через 2 недели возведенный в сан архиепископа Ярославского и Ростовского.

\* \* \*

Деятельность архиепископа (впоследствии Митрополита) Никодима многообразна: ей следует уделить особое внимание.

Прежде всего какова была деятельность Никодима — положительной или отрицательной?

Когда-то Л. Н. Толстой говорил, что одним из самых распространенных предрассудков надо считать, что люди имеют неизменные качества, поэтому неверно говорить: "Такой-то человек глупый, умный, злой, добрый, — правильнее сказать, что этот человек бывает чаще глупым, чем умным, злым, чем добрым" и т. д. Особенно это относится к историческим деятелям и историческим событиям. Положительные и отрицательные моменты были и в деятельности, и в личности Митрополита Никодима.

Что он был за человек? Прежде всего это был практический человек, реальный политик до мозга костей. Человек мужицкой, крестьянской хватки. Человек с живым умом, необыкновенно сообразительный, — обычно он отвечал собеседнику, когда собеседник еще не успел закончить фразу. Он был человеком с хитрецей, и большой хитрецей, осторожным и гибким. Но это была хитрость умного человека, а не бездарного чиновника, который лжет тогда, когда это совершенно бессмысленно, и боится сказать лишнее слово.

Это был человек быстрых решений; на месте министра иностранных дел он был бы незаменимым. Во всяком случае, в тысячу раз более на месте, чем все на свете Молотовы, Шепиловы, Громыки — пресные люди, люди без выдумки и без фантазии.

Огромное обаяние, которым он обладал от природы, делало его незаменимым дипломатом. В этом отношении он во много

раз превосходил своего предшественника Митрополита Николая. Тот умел лишь улыбаться, но улыбаться можно раз, два раза, ну три, — а дальше улыбке перестают верить. Никодим не улыбался, видимо, понимая, что улыбкам в наш век не очень верят.

Он говорил серьезно, по-деловому, конкретно, — он говорил, казалось, правду, только правду, ничего, кроме правды, но, конечно, не всю, далеко не всю правду. Он умел маневрировать, отступать, перестраиваться на ходу. Он не был теоретиком; его проповеди никогда не выходили за рамки самой заурядной посредственности. Его не интересовали ни философия, ни социология в ее глубоких аспектах, но зато он бесконечно интересовался историей. Между прочим, историей Церкви. Жаль, что постоянная занятость практическими делами помешала ему написать объемистую работу по истории церкви. Он был необыкновенным эрудитом в этой области. Мог с ходу дать подробнейшую справку о любом русском архиерее, жившем за последние 300 лет.

Его работа о Папе Иоанне XXIII, написанная Казем-Бекон, тем не менее была дополнена, проштудирована и проредактирована им самим. Казем-Бек — лишь поставщик материала, и по справедливости книга должна бы иметь двух авторов: Митрополит Никодим и А. Л. Казем-Бек.

Его личная жизнь, вероятно, далеко не безупречная, но он умел "рассудку страсти подчинять". Во всем он имел строгие границы. Характерна фраза, однажды сказанная им матери: "Я вас уважаю и вам помогаю, — не мешайте мне работать". И так во всем. Работа всюду и везде на первом плане. Все остальное уже потом, чтобы не мешало работе.

Был ли он религиозным человеком? Конечно. Когда он бывал болен и готовился к смерти (таких моментов у него в жизни было несколько: он пережил 5 инфарктов), он горячо, искренне молился, с необыкновенным благоговением причащался Святых Таин. Смерти не трусил. Оставался перед ее лицом твердым и готов был ее принять, как подобает верующего человеку.

Он не был мистиком. Христос для него (как и для многих архиереев) — лишь Высокий Иерарх. Он Его любил, Ему подчинялся, но если бы он встретил Христа, то, возможно, и Ему бы сказал: "Я Вас уважаю и Вашей Церкви служу и помогаю, — не мешайте мне работать".

Каковы были его политические взгляды? В душе он был чело-

веком порядка и традиции и, вероятно, монархистом. Мне известен случай, когда он с одним духовным лицом, которому абсолютно доверял, был в Свердловске в гостинице. Он утром постучал к тому в номер и сказал: "Слушайте, они здесь приняли смерть. Давайте отслужим панихиду". И совершил совместно с другим иерархом панихиду. Для западного читателя следует напомнить, что в Свердловске (ныне так называется Екатеринбург) в ночь на 17 июля 1918 года совершилось кошмарное убийство царской семьи.

В 1960 году, приступив к обязанностям заведующего Внешним отделом, он сразу принимается за работу. Прежде всего он желает превратить Отдел из небольшого бюро при Митрополите, как это было при его предшественнике, в настоящее министерство. Отдел должен иметь широчайшие международные связи, его агенты должны быть повсюду, где имеется христианская церковь: в Азии, в Африке, в Австралии, уж не говоря о Европе. Всюду должны завязываться связи, отовсюду должны ехать в Москву паломники, туристы, духовные лица. Он изобретает особый термин: "Религиозный туризм". Он хочет заинтересовать этим проектом Совет по делам Православной Церкви, Министерство иностранных дел и, конечно, прежде всего и больше всего высокопоставленных дяденек с Лубянки. Трудное это дело. Советский бюрократ по своей натуре неповоротлив и консервативен. Он очень тяжек на подъем. Расшевелить его трудное дело. Но сын одного из секретарей Рязанского обкома хорошо знает эту среду. Ему удастся заинтересовать, уговорить, убедить московских Талейранов. Лозунг Никодима: "Быть стопроцентным гражданином и стопроцентным христианином".

И то, и другое сомнительно; об этом я писал Митрополиту в открытом письме, с которым я к нему обратился осенью 1963 года.

"Быть стопроцентным советским бюрократом и консисторским работником", — таков настоящий (без красивых фраз) лозунг Владыки с улицы Рылеева.

Основанный им Отдел действительно является своеобразным соединением советского учреждения с консисторией. Советское учреждение. Маня к засекречиванию. На этой почве родился анекдот: "Один работник Отдела спрашивает у другого: "Сколько сейчас времени?" Ответ: "Тсс... (шепотом) сейчас три часа, только никому не говори, что это я тебе сказал".

Консистерия. Елейность, лицемерие, вечные сплетни, склоки, подсиживания. Но это учреждение международного масштаба. Оно нуждается в людях, знающих иностранные языки. В людях, знакомых с зарубежной религиозной литературой, поэтому приходится открыть особую аспирантуру при Духовной Академии, в которой изучаются общеобразовательные предметы, где изучаются иностранные языки. Приходится выписывать из-за границы иностранные источники, переводить их. Они лежат в библиотеке Отдела, никому не выдаются, они не должны попадать в руки посторонним лицам.

Но... "не говори никому, что это я тебе сказал". Они-таки попадают в руки посторонних людей и даже в руки всевозможных Левитиных и Красновых.

Левитины-Красновы умели и органы ГПУ водить за нос, и когда — в сталинское время, им ли не перехитрить работников советской консистории.

\* \* \*

И, наконец, религиозный туризм. Со всего мира съезжаются сюда религиозные люди. В сталинские времена их были десятки. Им можно было легко втереть очки или купить.

В конце пятидесятых годов их были уже тысячи. Это было для советских людей хуже, но все-таки несколько тысяч соглядатаев найти было можно. Но в шестидесятые годы (и в этом немалую роль сыграл Никодим) их были уже десятки тысяч. Агенты Иностранного отдела совались во все дыры, исходили ложью, но все-таки всем очки не вотрешь, тем более что народ стал дошлый. Сами пойдут куда надо. И сами найдут все что надо. Никодим, конечно, этому препятствовал, но недаром он "Талейран", — случалось и ему делать не совсем то, что он должен был делать. Где-то хотят закрыть монастырь, а он в этот монастырь и повезет иностранцев. Где-то хотят закрыть храм, а он туда иностранцев и повезет. Словом, гражданин и христианин.

Можно сказать иначе: полугражданин (в советском смысле), полухристианин. "Zwei See in meinem Brust, ach, wohnen, — можно сказать про него словами Гете. Впрочем, в другой книге об этом сказано иначе: "Знаю твои дела: ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл и не горяч, ни холоден, то извергну тебя из уст моих. Потому что ты гово-

ришь: я богат и разбогател и ни в чем нужды не имею, и не знаешь, что ты несчастнее всех и жалок, и нищ, и слеп, и наг, — советую тебе купить у меня золото, раскаленное в огне, чтобы тебе обогатиться; и одежды белые, чтобы тебе одеться и чтобы не открылась срамота наготы твоей (Апок. 3, 15—18).

Будем надеяться, что в последнюю минуту, когда умирал Владыка в далеком Ватикане у ног римского первосвященника, он успел покаяться и купить золото, раскаленное в огне.

Русский летописец говорит про Бориса Годунова: "Никто не знает, какие дела его перевесят на Страшном Суде Христове, добрые или злые". Этими словами и мы заканчиваем характеристику покойного Митрополита Никодима.

\* \* \*

Между тем жизнь во всем мире в это время шла своим чередом. Из далекого Ватикана приходили радостные и ошеломляющие вести. Во главе католической церкви стоял не гордый князь церкви, не хитроумный политик, а простой, глубоко религиозный пастырь, сильно напоминающий по своему духовному облику широко известного русскому читателю епископа Мириеля Бьенвеню из романа Виктора Гюго "Отверженные".

Подобно епископу Бьенвеню он был "добрым гостем" в этом холодном и опутанном хитросплетениями политиков мире. Впервые за многие столетия с высоты папского престола послышались простые, добрые слова, слова любви и сострадания.

Он сумел пробить непроницаемые стены Курии, и его слова дошли до каждого простого человека. Дошли они и до Москвы.

"Это чудо — вдруг такой Папа. Откуда это? Это может все перевернуть", — говорил мне на этот раз искренне растроганный, обыкновенно скептический и резковатый Павлов. Он правильно отразил реакцию православных христиан на появление доброго гостя ("Bienvenu") на папском престоле. С этого времени начинается целая цепь контактов Русской церкви с Ватиканом. Причем ведущая роль здесь принадлежит Митрополиту Никодиму.

Осенью 1962 года первая ласточка: приезд в Москву монсеньора Иоанна Виллебранса (ныне кардинала, архиепископа Утрехтского). Профессиональный дипломат, человек "улыбчатый" (не хуже Митрополита Николая) и реальный политик (не хуже Никодима), он производил на всех обворожительное впечатление.

Непосредственная цель — освобождение Митрополита Иосифа Слипого, главы униатской церкви, содержащегося много лет в заключении (с 1946 года).

Однако помимо этой прямой цели (чему, конечно, предшествовал ряд предварительный переговоров, в которых не последнюю роль играл Никодим) целью Виллебрамса было установление определенных контактов с церковными кругами в Москве и зондирование почвы для будущих соглашений. С этого времени начинается личное знакомство Никодима с деятелями Ватикана. Вскоре Русской церкви предстояло вступить в еще более интимные отношения с Ватиканом.

\* \* \*

Как известно, вскоре после своего вступления на папский престол (в 1958 году) Папа Иоанн XXIII провозгласил своей ближайшей задачей созыв Вселенского Собора. Вскоре после этого началась подготовка к Собору: стало известно, что Папа считает одной из главных целей Собора широкие контакты с христианами всех исповеданий и в том числе с Православной Церковью. Контакты с православными христианами — это одна из главных забот этого благодатного Папы, столь кроткого в обращении и столь решительного и смелого в своих действиях. Как известно, Папа долгие годы своей жизни и своего архипастырского служения посвятил контактам с православной церковью: и в Болгарии, и на посту нунция в Турции. А во время войны он имел многочисленные контакты и с греческим духовенством.

Момент для установления самого широкого общения между церквями-сестрами был особенно благоприятен, так как в это время Константинопольский Вселенский Патриарший престол занимал приснопамятный Патриарх Афеоногор — человек широкий, лишенный предрассудков и убежденный сторонник экуменической идеи.

Он действительно, как и другие восточные патриархи, отнесся с полным сочувствием к высоким стремлениям Папы-“добротного гостя”. Однако для всех было ясно, что Русская церковь, покорная советскому правительству, питавшему всегда фанатичную ненависть к Ватикану, жестоко подавлявшему католическую церковь, где и как только это было возможно, — займет резко негативную позицию по отношению к инициативе Ватикана.

Действительность как будто полностью оправдывала самые худшие опасения. В декабре 1960 года Патриарх Алексий в сопровождении блестящей свиты, среди которой был и новый заведующий Отделом внешних сношений Митрополит Никодим, нанес визит Константинопольскому Патриарху, затем посетил Иерусалим.

Митрополит Николай, живший на покое, кратко резюмировал цель поездки: "Поехал срывать Вселенский Собор". Потом на протяжении двух лет кампания против Ватиканского Собора становится главной целью русской церковной политики, которая вдохновлялась из Кремля. Своего зенита эта политика достигла осенью 1962 года перед самым открытием Вселенского Собора.

В это время представители Московской Патриархии носятся как угорелые по столицам православия с целью сорвать участие православных церквей в Соборе. Два журнала в Москве с рвением, заслуживающим лучшего применения, истощно агитируют против Собора. Эти два журнала: антирелигиозный журнал "Наука и религия" и... "Журнал Московской Патриархии".

Декабрьский номер журнала "Наука и религия" выходит с особым приложением — маленькой книжечкой нашего старого знакомого Андреева-Бартошевича. На этот раз незадачливый чекист, недавно обливавший грязью Вадима Шаврова, с такими же приемами ополчается на... римских пап.

Чего здесь только ни было: идиотских сплетен, анекдотов вековой давности, беспардонной лжи.

И весь этот дурно пахнущий, тухлый винегрет подносился под хлестким названием: "Тайны Ватикана". (Поистине своеобразные тайны, если они известны даже задрипанному чекисту, подвизающемуся в никчемном журнальчике.)

И одновременно в "Журнале Московской Патриархии" появляется редакционная статья без подписи под названием "Non possumus".

В этой очень резкой статье автор обрушивается на Ватикан и заявляет, что участие православной церкви в каком бы то ни было соборе, созываемом Ватиканом, немыслимо и невозможно. Статья оканчивается весьма красноречиво: "Католическому "Non possumus" мы противопоставляем наше православное "Non possumus". ("Non possumus" — не можем.)

Помню, как осенью, сидя за гостеприимным столом в Баковке, мы (несколько церковных людей) возмущались этой статьей,

хозяин дома молча улыбался и, как нам казалось, нам сочувствовал. Каково же было наше удивление, когда буквально через 2 недели мы узнали, что он-то и был автором злополучной статьи.

Между тем в ноябре что-то произошло. Как говорят, на имя Хрущева поступило послание из Ватикана... и вдруг сенсация.

Вдруг было объявлено, что Русская церковь будет участвовать в Соборе. На этой почве происходили странные вещи: кардинал Август Беа, ведавший подготовкой к Собору, получает от Патриарха Афеоногора письмо, в котором Константинопольский Патриарх с сожалением заявляет, что он хотел бы послать своих представителей на Собор, но лишен возможности это сделать ввиду крайне отрицательного отношения к Собору со стороны Московской Патриархии и Болгарского Синода, которые грозят расколом, а через 15 минут на столе у Беа лежала телеграмма за подписью Патриарха Алексия с просьбой принять его делегацию на Собор. После этого начался конфликт между Константинопольской и Московской патриархиями. И Митрополиту Никодиму пришлось приложить все свои дипломатические способности, чтобы этот конфликт уладить. Между тем в Москве началось форменное "избиение младенцев". Прежде всего с позором был изгнан из журнала "Наука и религия" Бартошевич-Андреев. Он увлек своим падением за собой также главного редактора Колоницкого, секретаря редакции моего "приятеля" Завелева-Воскресенского и старого оболтуса Олещука. Состав редакции переменялся полностью. Мало этого. Редакция была вызвана к Ильичеву, заведующему Отделом агитации и пропаганды при ЦК КПСС, который выступил с разгромной речью. Брошюрка Андреева была спешно изъята из продажи, а подписчикам журнала, которые ее получили в качестве приложения к журналу, было предложено немедленно ее вернуть!

Нечто подобное, хотя и не в столь резкой форме, происходило и в церковных кругах.

Иностранные журналисты пожелали получить интервью у Митрополита Никодима, который сделал ряд комплиментов в адрес Ватикана. В ответ на недоуменные вопросы по поводу редакционной статьи "Non possumus" Владыка ответил, что это лишь частное мнение... Ведерникова. После этого последовала отставка Анатолия Васильевича, многолетнего сотрудника и фактического редактора журнала. Никодим, таким образом, сразу попал в двойную цель: вышел из затруднительного положения и избавился от Ведерникова, человека близкого покойному уже тогда Митрополиту Нико-

лаю. Никодим вряд ли мог считать Ведерникова в числе своих поклонников.

Так протекала внешняя церковная политика, бурная и извилистая, как всякая политика, в начале шестидесятых годов.

Основная деятельность Никодима была, однако, не в Москве. Центр тяжести его деятельности лежал за границей. Никодиму поэтому часто приходилось гастролировать в зарубежных странах, и здесь ему приходилось иногда выслушивать не очень приятные вещи. Он выслушивал их с самообладанием. Вот, например, он в Вашингтоне. Там проводится пресс-конференция. Первым выступает представитель агентства Херст.

Вопрос: "Скажите, Ваше Преосвященство (далее подчеркнуто деловым тоном), с какого времени вы являетесь агентом КГБ и как это удастся вам совмещать с священнослужением?"

Делегация Русской Церкви, состоящая из 20 человек, усталилась на Никодима. У всех мелькнула мысль: "Сейчас встанет и уйдет, уйдем и мы все".

Все юпитеры и фотоаппараты были направлены на Митрополита. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. Спокойно он ответил:

"Я не служу в этой организации. Следующий вопрос".

Вздых облегчения у членов делегации. Далее пошли рядовые вопросы.

Другой раз в Упсала (Швеция), где происходила очередная сессия Всемирного Совета Церквей, когда Митрополит шел вместе со своим помощником из собора, перед ним несли плакат: "Никодим и его помощник — агенты КГБ".

Другой деятель, принимавший некоторое участие в организации Отдела, Владыка Киприан, не отличался подобным самообладанием. Наоборот, он славился своими бесцеремонными и бестактными выходками. Так, еще будучи протоиереем, он был послан в Софию для контактов с местным духовенством. Он начал свою речь, к всеобщему удивлению, следующим образом:

"Вы считаете меня агентом КГБ и не верите ни одному моему слову". Далее пошла речь о преимуществах положения церкви в Советском Союзе. После речи Владыка Киприан (тогда еще отец Михаил Зернов) обращается к одному из протоиереев с победоносным видом, видимо, ожидая комплиментов: "Ну, как?"

Ответ: "Вы же, отец Михаил, не опровергли заявления, сделанного вами в начале речи". Действительно, не опроверг.

Вскоре, однако, отец Михаил, преобразившийся в архиепископа Киприана, оставляет на время дипломатическое поприще и становится "министром внутренних дел". Здесь он также не стяжал особых лавров. Нельзя сказать, что его не любили: он был человеком незлым и никому особого зла не делал. Однако отношение к нему было ироническое. За ним прочно укрепились кличка "Мишель с Ордынки".

Однажды он сильно повздорил с одной из машинисток и громко закричал: "Вы что не видите, что разговариваете с архиереем?" И вдруг оглушительный ответ: "Какой вы архиерей, вы — Мишель с Ордынки".

"Я вас выгоню!" — бешено заорал Киприан и ушел к себе в кабинет, хлопнув дверь. И никого не выгнал. Все кончилось мирно и тихо.

Другой раз, когда он стоял в коридоре, мимо него продефилировал какой-то человек.

Вопрос: "Откуда вы?"

"Из Рязани, приехал за свечами".

"Вы что не видите, что стоит архиерей? Почему не подходите под благословение?"

И опять оглушительный ответ: "Архиерейского поведения не вижу".

"Я вам покажу!" — и ушел к себе в кабинет звонить по телефону в Рязань. Сидел у телефона полдня. Не дозвонился. Затем ему это надоело. Он остыл. И бросил звонить. Дерзкий рязанец остался безнаказанным.

Точно так же он испортил отношения с Митрополитом Пименом. Опять-таки ничего плохого он ему не сделал, но однажды, когда речь зашла о закрытии одного храма, он имел в присутствии Патриарха бурный разговор с Митрополитом, во время которого в очень грубой форме выразил невысокое мнение об умственных способностях своего собрата и сослужителя. Этого тот ему не простил, и долгое время после этого, когда Киприан звонил по телефону к Владыке Пимену, тот, слышав его голос, молча бросал трубку.

Тем не менее человек он все-таки неплохой. Добрый и щедрый. Всякому поможет. Когда видит человека в горе, утешит. Когда ему в его приходе на Ордынке некоторые почитатели и почитательницы совали деньги, он всегда отвечал: "Я богаче тебя. Лучше купи на эти деньги то-то и то-то" (смотря по нуждам дарителя).

Управляющий делами Патриархии — это высшая точка (во всяком случае, покамест) карьеры Преосвященного. Потом начался спад. В августе 1962 года умер Митрополит Крутицкий Питирим. Святейший в этот жаркий месяц находился в своей летней резиденции в Одессе. Отпевание в Успенском храме бывшего Новодевичьего монастыря совершали епископы, присутствовавшие в Москве, во главе с Митрополитом Ленинградским Пименом. Во время заупокойной литургии, на запричастном стихе, выступил с поминальной речью архиепископ Киприан.

Он говорил о покойном Святителе и, между прочим, сообщил, что Святейший в телеграмме, **полученной им из Одессы**, выражал соболезнование по поводу смерти Владыки.

Затем литургия была окончена, и началось торжественное архиерейское отпевание. Перед разрешительной молитвой Митрополит Пимен также сказал слово. Он начал: "Прежде всего разрешите огласить текст телеграммы Святейшего: "Москва, Чистый переулок, 5. Патриархия. **Митрополиту Ленинградскому Пимену.** (Здесь переглядывание и перешептывание многих.) Выражаю соболезнование по поводу смерти возлюбленного Митрополита Питирима. Да упокоит Господь его душу в Небесном Царстве. Патриарх Алексий".

А через месяц Митрополит Пимен был переведен из Ленинграда в Москву на кафедру Митрополита Крутицкого и Коломенского, т. е. официально стал первым лицом после Патриарха. Это назначение произошло по настойчивой инициативе Патриарха Алексия, вопреки желанию Совета по делам религии, где хотели видеть на этой кафедре Митрополита Никодима. Никодим был назначен на Ленинградскую кафедру, которую занимал вплоть до дня своей смерти в сентябре 1978 года. После этого отставка Киприана была предreshена. Однако за месяц до его отставки я вступил с Владыкой в общение. Я написал статью, в которой упоминалось его имя, и, как всегда, послал статью заинтересованному лицу. В ответ я получил престранное послание. Стремясь к наибольшей объективности, привожу это письмо.

"Анатолий Эммануилович!

Послание Ваше получено. Всякий разговор имеет смысл, если он искренен. Цель Вашего послания ко мне вовсе не та, о которой Вы говорите. Если бы Вас действительно интересовало мое мнение, Вы бы сначала послали мне статью, а потом уже распространили бы ее среди Ваших почитателей.

Ваша цель — во что бы то ни стало обратить на себя внимание, пусть, в крайнем случае, негативное внимание. Это предположение будет, конечно, Вами “с негодованием” отвергнуто, но я достаточно стар, чтобы понимать такие простые вещи. Но все, что Вы пишете, настолько несерьезно, что Церковь просто пройдет мимо Вас, не заметив Вашей деятельности.

В чем-то Вы переключаетесь с представителями старой интеллигенции, которая судила о жизни по книжкам, но у Вас нет их безукоризненного чувства вкуса.

В чем-то Вы переключаетесь с Вашим учителем Введенским, имевшим “легкость мысли необычайную”, но у Вас нет его искрящегося таланта и незаурядной эрудиции.

“При всем при том” человек Вы очень неглупый, и в душе у Вас есть (очень бы не хотелось ошибиться), мне кажется, что-то очень хорошее. Так в чем же дело?

Похвалы Ваших почитателей... вскружили Вам голову.

Рекомендую Вам обратиться с простым (без вычур) письмом к Святейшему Патриарху, к Митрополиту Никодиму или ко мне с просьбой использовать Ваши несомненные способности. Я бы на Вашем месте начал с самых скромных должностей. Понятно, не спешите. Обдумайте все как следует. Если вы пожелаете поговорить со мной, я всегда рад с Вами обстоятельно побеседовать. Поступите так, и Вы сразу почувствуете такое облегчение и такую легкость, что перед ними покажутся бледными и отвратительными все похвалы Ваших почитателей. Откровенно говоря, я мало надеюсь, что Вы “вонмите моему гласу”.

Но не в моих правилах проходить мимо находящегося в прелести. Сохрани Вас Бог. Архиепископ Киприан”.

Я ответил кратко:

“Ваше Высокопреосвященство!

Моя статья была Вам послана своевременно, но Вы ее получили с опозданием, так как отсутствовали в это время из Москвы. На остальное Ваше письмо не отвечаю. Ваше неоспоримое право быть обо мне такого мнения, какое Вам угодно было составить, и оценивать мою деятельность, как это Вам нравится. За совет благодарю, но принять его не могу.

Со своей стороны, желаю Вам здоровья. Левитин (Краснов) ”.

На этом наша переписка с Владыкой оканчивается.

Я продолжаю идти своим путем, а путь Владыки также сложился весьма своеобразно. Вскоре он был переведен на Воронежскую

кафедру. Он, однако, отказался ехать и подал в отставку. К всеобщему изумлению, его отставка была принята Синодом единогласно (его друг Митрополит Никодим его не поддержал). Владыка стал, по ироническому выражению его недоброжелателей, "Архиепископом всея Ордынки", т. е. архиепископом при Храме Скорбящей Божией Матери на Ордынке.

Затем на какой-то срок он выплывает в качестве экзарха Патриархии в Германии для того, чтобы через три года вновь возвратиться в свою вотчину на Большую Ордынку.

Пользуюсь случаем, чтобы вновь пожелать ему здоровья. И прилагаю запоздалый ответ на его письмо в нижеследующем интермеццо.

## ИНТЕРМЕЦЦО

### ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ

Когда я получил в конце 1963 года письмо от архиепископа Киприана, я решил ограничиться лишь кратким и холодным ответом. Иначе поступить я не мог, ибо всякое расширенное прокламирование своих взглядов было бы воспринято как желание открыть дискуссию или вступить на путь к примирению с официальными властями Патриархии, за спиной которых стояли Совет по делам Православной Церкви и в конечном итоге КГБ.

Другое дело сейчас, когда я нахожусь в далекой Швейцарии и когда я лишен возможности участвовать в непосредственной борьбе за обновление Церкви, в борьбе, продолжающейся в России.

Сейчас я могу объективно и спокойно разобрать основные положения письма Киприана Зернова и подробно разъяснить свою позицию.

Итак, архиепископ Киприан упрекает меня в том, что мои статьи в защиту Церкви и с полемикой против политики Патриархии несерьезны.

Оставляя в стороне вопрос о достоинствах моих тогдашних статей (оценить которые я предоставляю читателю, печатая их в приложении), я должен прежде всего выявить их сущность. "Блажен незлобивый поэт!" — восклицает Некрасов. Перефразируя эти слова, можно сказать: блажен незлобивый кабинетный мыслитель, который, сидя за своим письменным столом, спокойно наблюдая за событиями, удаляется в высшие сферы и разрешает мировые проблемы. Человечество знает таких мыслителей, воздает им честь и помещает их изображения в своем Пантеоне.

Таковы великие немецкие философы: Лейбниц, Кант, Шеллинг, Гегель. Таковые Бекон, Декарт и многие-многие другие.

Я хотел поставить рядом с этими прославленными именами какое-либо русское имя. И не нашел. Несвойственно русским

взбираться на башню из слоновой кости, и даже те, кто пытался это делать, оставались в этой башне недолго. Очень недолго.

“В башне с окнами цветными  
Я замкнулся не всегда”,

написал в начале века Бальмонт. Написал и ошибся. Не только не остался в ней навсегда, но тотчас вылетел из нее стремглав. Вылетел кубарем. С такими вот стихами:

“Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,  
Наш царь — кровавое пятно,  
Зловонье пороха и дыма,  
В котором разуму темно”.

И так и не вошел больше в башню с цветными стеклами. До самой голодной смерти в эмиграции.

Вот, например, не угодно ли?

“Люба мне буква “Ка”,  
Вокруг нее сияет бисер.  
Пусть вечно светит свет венца  
Бойцам Каплан и Кеннегисер.  
И да запомнят все, в ком есть  
Любовь к родимой, честь во взгляде,  
Отмстили поправленную честь  
Борцы Коверда и Конради”.

Фаня Каплан и убийца Урицкого Кеннегисер, как бы ни оценивать их деятельность, — во всяком случае странные компаньоны для мыслителя, удалившегося в “башню с окнами цветными”. Они туда не пойдут. Из цветных окон, пожалуй, не разглядишь, в кого и как стрелять (они, впрочем, и так не очень хорошо разглядели).

Принимаясь за писание своих статей и став, таким образом (наряду с некоторыми из своих друзей), основателем нового жанра, “религиозного самиздата”, я прежде всего вовсе не ставил себе целью разрешать мировые проблемы. Непосредственная цель — защитить беззащитную. Броситься на помощь той, которую бьют, оскорбляют, плюют в лицо. Матери. Матери Церкви.

Это был прежде всего эмоциональный порыв. Заступиться!

Я писал потому, что не мог молчать. И руки сами хватались за перо!

Но, конечно, не только эмоциональный порыв. Была и осмысленная цель.

Я, конечно, понимал, что от чиновников из Патриархии (рясофорных и нерясофорных), о которых речь шла выше, нельзя было Церкви ожидать какой-либо защиты.

Малодушные и неумелые, они были заняты в это время другими делами. Я обращался к молодежи. К русской молодежи, среди которой я прожил жизнь.

Я видел в них порыв к свету, стремление к поискам смысла жизни, порыв к Христу, искренний и бескорыстный, но они были безоружны против потока лжи, который обрушивался на них со столбцов официальной прессы, с трибун официальных ораторов. И я хотел им дать оружие против этой лжи. Я шел к ним, понимая, что в них будущее Церкви, будущее России.

В это время я имел разговор на даче в Баковке со своим старым патроном Анатолием Васильевичем. Он, конечно, не одобрял мою деятельность. Советовал мне придерживаться официальной позиции Патриархии.

Я ответил: "Вы, представители официального православия, Россию потеряли, вы церковь привели на грань пропасти. Теперь, когда пришли новые люди, так хоть не мешайте! Не мешайте им действовать".

То же я говорю и теперь всем "староверам" — церковным, нецерковным, политическим, неполитическим, литературным, — одновременно тем, кто хочет "отсидеться в кустах" или восстановить старую Россию.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### В ЕДИНОБОРСТВЕ

С 1959 года по 1964-й — самое страшное время. Советское государство со всем своим могучим аппаратом, со всей армией чекистов и сексотов, со всем неисчислимым штатом пропагандистов, журналистов, корреспондентов — ударило по Церкви. Мы были при этом изолированы от всех. Казалось, Церковь в России обречена. Патриархия занимала явно коллаборационистскую позицию и срывала попытки организовать какое-либо сопротивление или предать гласности факты вопиющих безобразий. Причем фигура престарелого Патриарха, который в это время уже приближался к половине девятого десятка, конечно, перевешивала в глазах мирового общественного мнения голоса отдельных лиц.

В то же время Церковь была совершенно изолирована и от нарождающейся оппозиции.

Бунтующая молодежь, которая в это время устраивала демонстрации, митинги, чтения стихов на площади Маяковского, просто не замечала Церкви, и Церковь не имела с ней решительно никаких связей.

“Христианнейшие писатели”, которые теперь, особенно находясь за границей, непрерывно говорят о своем “православии”, делали вид, что не замечают гонений на Церковь, и прятали свои религиозные убеждения так, как прячут неприличную болезнь.

Между тем борьба с Церковью нарастала. Каждый день в Патриархию приходили сведения о закрытии 5, 6, а то и десятка храмов.

Обители в Молдавии, Западной Украине были закрыты. Тишком была закрыта Киево-Печерская Лавра. Причем очень некрасивую роль сыграл наместник Лавры епископ Нестор, который вывесил на воротах объявление, что Лавра закрыта на ремонт, а потихоньку разогнал монахов.

Характерно, что сам Патриарх узнал о закрытии Лавры лишь через год и то случайно.

Одновременно с древней Лаврой была закрыта Киевская Духовная Семинария и второй по значению Киевский Андреевский собор (Софийский собор уже давно был превращен в музей).

В это время был принят следующий порядок закрытия храмов: церкви закрывались руками архиереев. От архиерея, инспирированного соответствующим образом Уполномоченным Совета по делам Православной Церкви, приходил приказ местному священнику сдать все церковное имущество представителю Горсовета, а самому переходить на новое место служения (по указанию епископа). Там, где сопротивление народа закрытию храма было особенно яростным, архиерей лично являлся в храм, забирал антиминс, и богослужение автоматически прекращалось.

Подобный случай имел место, в частности, около Днепропетровска, когда архиепископ Иосаф, придя в женский монастырь во время проскомидии, войдя в алтарь, положил Агнца в карман рясы и объявил, что литургии не будет.

Заслуживает внимания, что этот сговорчивый Владыка через год был назначен на Киевскую митрополичью кафедру.

Как уже было сказано, в Патриархии после устранения Митрополита Николая не было ни одного человека, который был способен хотя бы шевельнуть пальцем в защиту Церкви. Дело здесь было не столько в невозможности, сколько в нежелании.

Наиболее инертным и беспомощным был Пимен Извеков (нынешний Патриарх). Человек запуганный и по натуре пассивный, он буквально боялся слово сказать не по нраву представителей власти.

“Что же лезть на рожон!” “Лбом стену не прошибить!” Таковы были обычные афоризмы в устах “Управляющего делами Патриархии”, а потом и нового Митрополита Крутицкого.

Несколько лучше обстояло дело на периферии. В епархиях были отдельные архиереи, которые не боялись противостоять власти. В первую очередь здесь надо назвать недавно почившего архиепископа Ермогена Голубева.

Кондовый церковник, сын профессора Киевского университета. По окончании гимназии в родном Киеве юноша Голубев поступает в Московскую Духовную Академию.

В 1920 году, будучи пострижен в монашество и рукоположен в священный сан лично Патриархом Тихоном, иеромонах Ермоген

отправляется в родной Киев. Здесь он вскоре становится наместником Киево-Печерской Лавры. Киев переживал в это время период церковной смуты. Помимо обновленческого раскола здесь имело широкое распространение украинское автокефальное движение (национальное движение, стоявшее за полный отрыв от Русской Церкви), представители которого совершали богослужение на украинском языке и возглавлялись неканоническими, рукоположенными без соблюдения иерархического преемства епископами, почему в народе они назывались "самосвятами". В Киево-Печерской Лавре часть братии была обновленческой. Обновленческим был и знаменитый, взорванный впоследствии во время войны Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Оставшаяся верной Патриарху часть братии совершала богослужения в церкви св. Блаженной Княгини Ольги. Здесь и водворился иеромонах Ермоген, вскоре занявший место наместника Киево-Печерской Лавры в сане архимандрита. Положение наместника осложнялось еще тем, что Митрополит Киевский Михаил непрестанно арестовывался и бывал на воле лишь в краткие промежутки между пребыванием в киевских тюрьмах и ссылках. Молодой архимандрит становится фактически главой Киевской епархии, что литургически подчеркивалось тем, что он во время богослужения имел облаченный архиерейский посох.

Арестованный в 1931 году, он пребывает 10 лет в лагерях в Мордовии, в бывшей Саровской Пустыни, причем клуб лагеря, где устраивались часто лагерные суды, находился в соборе Пустыни, где когда-то покоились мощи преподобного Серафима. Здесь отец Ермоген провел страшные 10 лет (включая ежовщину и военные годы). Освобожденный по отбытии десятилетнего срока, он поселяется в Средней Азии; после войны он здесь служит на приходе. Лишь в 1956 году, во время "оттепели", Патриарх Алексий, его старый знакомый, рукополагает его в епископа Ташкентского и Среднеазиатского.

Во время антирелигиозной кампании сразу происходит коллизия. Епископ категорически выступает против закрытия храмов. В его епархии не удалось закрыть ни одного храма. Мало того, Владыка сумел, по существу, построить новый храм, расширив очень скромный кафедральный собор Ташкента. Местные власти ополчились на него по всем правилам хрущевского искусства. В местных газетах появились разгромные статьи, направленные против Владыки, где обычная ругань соединялась с беспардонной

клеветой. Однако запугать епископа не удалось. Он направил в газету опровержение, а когда его не напечатали, подал на редакцию в суд за клевету (единственный случай в те годы). Дело замяли, причем местные власти порядком струхнули, и редактор газеты явился лично к Преосвященному (случай небывалый) с объяснением. Объяснение тоже характерное: "Что вы хотите, Владыко, наша задача сейчас во что бы то ни стало отвлечь народ от религии".

Мало того, дело дошло до Хрущева, который изрек: "Не трогайте его. Он колючий старик".

Владыку, однако, отправили на покой, но вскоре назначили его на Омскую кафедру, а в 1969 году оттуда на кафедру Калужскую. Деятельность архиепископа Ермогена показывает, что при наличии смелости возможно было противостояние власти и в те времена.

В народе же личность архиепископа завоевала всеобщее уважение. По общему мнению, его поведение является образцом для будущего Патриарха. Это мнение проникло даже в непосредственное окружение Святейшего. Одна престарелая монахиня, которая прислуживала Патриарху, неоднократно ему говорила: "Ваше Святейшество, будете писать завещание, завещайте избрать после вас Владыку Ермогена". Святейший отмалчивался. И лишь раз сказал: "Отстань от меня со своим Ермогеном". Но Владыку Ермогена любил и уважал. И будь его воля, вероятно, последовал бы совету монахини.

Другие архиереи, которые проявляли относительную независимость по отношению к власти, были бывшие эмигранты.

Среди них на первом месте следует поставить Высокопреосвященного Митрополита Нестора (Анисимова). Это был архиерей с очень своеобразной биографией. Он родился в 1883 году в городе Вятке в семье небольшого военного чиновника. Затем Николай Александрович Анисимов (мирское имя Владыки) переезжает с семьей отца в Казань, и здесь происходит его знакомство с архимандритом Андреем Ухтомским (впоследствии архиепископом Уфимским), с одним из интереснейших и талантливейших иерархов, каких имела Русская церковь. Архимандрит Андрей тогда заведовал Духовной миссией среди инородцев. Сам человек не кастовый, не из духовного звания (в миру князь Ухтомский), он охотно сближался с религиозными людьми из мирян. Его сразу

заинтересовал интеллигентный юноша из дворян. И он стал готовить его к монашеству и к миссионерской деятельности.

Далее произошел случай, о котором очень красочно рассказывает Владыка в своих, к сожалению, неопубликованных, ходящих в самиздате, воспоминаниях.

Однажды архимандрит получает огромный пакет, запечатанный сургучной печатью. Обратный адрес: Камчатка. Коля заинтересован: "Смотрите, отец архимандрит, откуда пакет — с Камчатки".

Отец Андрей вскрывает пакет. И вдруг неожиданность. "Да, с Камчатки. Просят туда миссионера. Знаешь что, ты туда поедешь". Так оказалось, что в этом пакете была судьба будущего Митрополита.

Отец Андрей вскоре постригает Николая Анисимова в монахи с именем Нестора. А затем рукоположенный в священный сан молодой иеромонах Нестор едет на далекий, полужанровый полуостров.

Многообразная, долгодетельная деятельность среди камчадалов, тогда совершенных дикарей. Потом приезд в Петербург. Доклад в Обществе духовного просвещения в духе православной церкви на Стремянной улице. Приходят слушать его рассказ о далеком, почти сказочном полуострове Митрополит Петербургский Антоний, многие архиереи, представители общественности. Широкие отклики в прессе. Высочайшая аудиенция у царя и царицы в Царскосельском дворце. Отец Нестор представляет проект организации Общества помощи Камчатке под покровительством малолетнего Наследника Цесаревича. В течение двух часов обсуждаются устав общества и значок общества. Но дело проваливается в Синоде. Обер-прокурор Лукьянов. Дело спасла Императрица Мария Федоровна, которая приняла иеромонаха в Аничковом дворце. Выслушала его рассказ о том, как его проект, уже утвержденный государем, был провален в Синоде и государь согласился с этим. Покачала головой, продекларировала своим низким контральто лермонтовский стих: "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно".

Тут же позвонила в Царское государю. Проект был спасен.

Далее Владивосток. Непосредственный начальник отца Нестора преосвященный Евсевий, архиепископ Дальневосточный, умерший в 1919 году в Москве в сане Митрополита Крутицкого.

Отец Нестор сделал очень многое не только для духовного просвещения, но и для гражданского устройства края. И, как

всегда бывает, рядом с серьезным комическое. Наряду с делами анекдот. Обладающий чувством юмора Владыка в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды, когда он ехал на извозчике по Владивостоку, к нему в фэтон вскочила весьма легкомысленная красотка, которых во Владивостоке (приморском городе) была тьма-тьмущая. Но иеромонах не растерялся. Он шепнул ей на ухо фразу, после которой красотка всплеснула руками, воскликнула: "Несчастный! Такой молодой!" И стремглав соскочила с извозчика. Оказывается, отец Нестор ей сказал: "Разве вы не знаете, что нас оскопляют?"

Далее. 1914 год. Начало войны. Отец Нестор организует санитарный поезд. Он на фронте. В зоне обстрела. Получает за храбрость орден Владимира с мечами. Потом возвращение во Владивосток. Рукоположение в сан епископа Камчатского в 1916 году.

Наконец, 1917 год. Революция. Владыку Октябрьские дни застают в Москве, где он участвует в Соборе. После Октября он участвует в похоронах юнкеров. Организует фотоальбом: "Расстрел Московского Кремля". В декабре арест. Он первый епископ, арестованный советской властью. Это, однако, пока еще домашний арест. Он заключен в келье Ново-Спасского монастыря. Однажды его вызывают к коменданту, старому служаке, старорежимному человеку. Тот говорит: "Слушайте". И передает ему телефонную трубку. В телефоне голос Святейшего Патриарха Тихона: "Прислушайтесь и ничего мне не отвечайте. Мы о вас заботимся. Скоро будете на свободе".

Через некоторое время Преосвященного освобождают. Когда он появляется на Соборе (в Лиховом переулке), Собор поднимается с мест, отцы Собора поют: "Заступнице усердная, Мати Господа Вышнего..." — тропарь Казанской Божией Матери, покровительнице города Москвы.

Через некоторое время Владыка едет к себе на Камчатку. Попадает в самый разгар гражданской войны. По своему деятельному характеру Владыка не может оставаться не у дел. И вот он в правительстве Колчака. Занимает пост начальника информации. Организует из духовных лиц "Полки Иисуса". Приезжает первый в занятый Белой армией город Нижний Тагил. Первым подходит к телу убиенной Великой княгини Елизаветы Федоровны. Потом везет ее тело через всю Сибирь, через Дальний Восток, через Японию в Святую Землю, в Иерусалим. Затем возвращается в Россию — в Крым, занятый войсками Врангеля.

Здесь встречается со своей старой знакомой, Императрицей Марией Федоровной.

В последние дни белых в Крыму, во время совершения литургии, его торопят: "Поспешите, Владыко, сейчас эвакуация, а Императрица без вас не едет". Он был эвакуирован из Крыма одним из последних вместе с Императрицей Марией Федоровной.

В эмиграции столь же бурная деятельность. Он близкий человек Митрополиту Антонию Храповицкому. Он член зарубежного Синода (в Карловцах Сраматских), он ездит по всему миру: он побывал и в Европе, и в Азии, и в Африке, он проникает в самые отдаленные уголки, всюду и везде выступает с докладами, собирает средства на церковное дело. Но главное его место: Маньчжурия. Он имеет пребывание в Харбине. Во время войны он остается со своей паствой. Там застает его советская армия.

На первых порах все было хорошо. Патриарх Алексий вступает с ним в общение. Возводит его в сан Митрополита и назначает Дальневосточным экзархом. Он получает аудиенцию у маршала Малиновского. Наконец в 1948 году его вызывают на совещание по случаю празднования автокефалии Русской православной церкви. Однако в Москве на вокзале его встречают отнюдь не духовные лица и везут его также отнюдь не в духовное учреждение — на Лубянку. Ему объявляют, что он арестован. Он в камере. Следствие. Суд Особого совещания. Десять лет лагерей. Его отправляют в Потьму. В места, где была Саровская Пустынь. Здесь он встречается с архиепископом Мануилом; на ежедневной лагерной проверке они стоят рядом. В лагере Владыка пробыл 8 лет. О лагерной жизни он рассказывал следующее. Когда-то, в незапамятные времена, он бывал здесь в Дивеевском монастыре у известной старицы юродивой Паши. Когда он пришел к ней молодым архимандритом, Паша его встретила довольно своеобразно. Она лежала на своей койке. Архимандрита она приветствовала отборной матерной руганью. Совершенно оторопев, отец Нестор стоял молча у дверей. Закончив эту тираду, Паша сказала: "Вот, батюшка, через сорок лет ты здесь, в этих местах, другого слова не услышишь". Когда Владыка попал в советский лагерь, его более всего удручал вечный, непрестанный лагерный мат, как со стороны начальников, так и со стороны товарищей по заключению. И вот однажды, когда он с другими лагерниками шел на работу, кто-то показал на небольшой домик, стоящий около лагеря (бывшего Дивеевского монастыря), и сказал: "Это домик дивеевской Па-

ши". И тогда Владыка, вспомнив свое посещение Дивеева и встречу с Пашей, сообразил, что с тех пор прошло ровно 40 лет (в 1951 году).

Но вот наступил 1956 год. Владыка вместе с архиепископом Мануилом и большинством своих товарищей освобожден. Патриарх встречает его с необыкновенным радушием. Он получает назначение на Новосибирскую кафедру, стоит во главе огромной епархии, территория которой в два раза превосходит Европу. И тут же начинаются тяжелые испытания. Владыка твердо стоит на страже храмов. Он не ладит с протоиереями из эмгэбистских стукачей. После грандиозного скандала, явно подстроенного агентами КГБ, его удаляют с кафедры. Однако Патриарх, настроенный к Митрополиту дружески, переводит его на юг, в Кировоградскую (бывшую Елизаветградскую) епархию. Епархия крошечная, никогда не видевшая митрополитов, но спокойная. Однако и здесь начинается травля. В газетах грозные статьи. Вспоминают его прошлое. Ночью к нему в дом ломится какой-то пьяный майор, науськанный пропагандистами; его келейника арестовывают. Ошарашенный Владыка приезжает в Москву. Здесь начинается наше близкое знакомство. Еще за два года до этого познакомил меня с ним вездесущий Вадим, который еще в 1956 году, учась в Одесской Семинарии, близко сошелся с Владыкой и стал его духовным сыном.

В одно из посещений Москвы он был у Вадима, и здесь произошло мое знакомство с Митрополитом. Он на меня произвел чарующее впечатление. Во всем чувствовался аристократ — человек большой культуры. Когда вы говорили с ним, ни на одну минуту не чувствовалось, что с вами говорит человек, вышедший по сану и старший по летам. Он был великолепным, талантливым рассказчиком; охотно рассказывал об эпизодах своей бурной и много-страдальной жизни. Потом, когда мы встретились с ним через два года в гостинице "Украина" (у Киевского вокзала), Владыка ясно и четко рассказал мне о своих злоключениях, показал мне газету с отвратительной статьей и поручил мне написать опровержение для Патриарха. Я выполнил это задание.

Написано и принесено через два дня утром. Владыка тут произвел на меня совсем другое впечатление.

Сверкала люстра в роскошном номере, на письменном столе лежал белый клубок, но измученным выглядело старческое лицо,

окаймленное седыми бакенбардами, по-старчески дрожали руки; во всем чувствовался старый, одинокий, заброшенный человек. Владыка прочел мое опровержение, остался доволен, предложил мне деньги. По-джентльменски я отказался (хотя беден был тогда, как церковная мышь). Владыка, подойдя ко мне, неожиданно запел:

“Тра-та-та,  
Тра-та-та,  
Вышла кошка за кота”.

И при последнем слове сунул мне в карман тысячу рублей. Увы, это был последний раз, когда я видел Владыку на ногах. Через несколько дней он заболел. Страшная болезнь почек. Он лежал в Переделкино, в Патриаршей резиденции, в маленьком домике. Я навещал его там несколько раз. Сидел в полутьме около его постели, слушал его рассказы. Однажды привел к нему моего друга, молодого тогда священника отца Димитрия Дудко. Потом больной Владыка переехал в Лавру; навещал его и там. Однажды катал его в кресле по Лавре, завез его в древний Троицкий собор, где Владыка приложился к мощам. Вскоре Митрополит, уже поправившийся, уехал в свою епархию. Затем приехал в Москву опять. И здесь с ним произошел инсульт. Его разбил паралич. Он лежал в Первой городской больнице среди простых людей, отделенный лишь ширмочкой. За ним ухаживали его выпущенный из заключения келейник и пожилая женщина, жена художника, отца которого Владыка за 45 лет до этого рукополагал в диакона.

Он был, как ребенок, жалобно стонал, показывал на отнявшуюся руку. А через несколько дней, 4 ноября 1962 года, в день Казанской Божией Матери, я узнал о том, что в 4 часа утра он умер.

Я был на его похоронах в Переделкино. Служил Владыка Леонид. На отпевание вышел Патриарх. Его похоронили за алтарем. Надпись на кресте согласно его завещанию: “Митрополит Нестор. Камчатский миссионер”. И образок Казанской Божией Матери — покровительницы Москвы, в день которой он умер.

“Заступнице усердная, Мати Господа Вышнего...”.

\* \* \*

Из других эмигрантских архиереев, проявивших стойкость в отстаивании храмов и в защите прав верующих, следует назвать

преосвященного Вениамина (Новицкого), архиепископа Иркутского, и недавно скончавшегося в эмиграции архиепископа Павла Голышева, сменившего Митрополита Нестора на Новосибирской кафедре.

Из архиереев "новой школы" наибольшей известностью пользовались Борис Вик, занимавший долгое время Одесскую кафедру (умер в 1965 году), Сергей Ларин, занимавший последовательно Одесскую, Ростовскую, Пермскую и Ярославскую кафедры (умер в 1967 году), и Митрополит Иоанн Разумов, ныне здравствующий, занимающий с 1955 года Псковскую кафедру.

Хозяйственные и энергичные, они умели себя поставить в сношениях с официальными властями, с духовенством и с мирянами.

Однако, к сожалению, их отношения с властями отнюдь не ограничивались официальными контактами. Они были (это ни для кого не являлось секретом) в весьма близких отношениях с работниками КГБ, что давало им возможность пренебрежительно относиться к уполномоченным Совета по делам Православной церкви. (Было неизвестно, кто кого должен был опасаться.)

В то же время это делало их весьма одиозными фигурами в глазах русской и иностранной религиозной общественности, хотя факты прямого предательства с их стороны кого-либо известны не были.

\* \* \*

Но независимо от личных качеств того или другого архиерея ни в чем существенном положение не менялось. Это объяснялось тем, что даже самые стойкие архиереи действовали исключительно кабинетными методами. Путем заявлений, жалоб, которые дальше официальных канцелярий не шли. Особенно много соответствующих документов подавал архиепископ Ермоген. Сын старого киевского юриста полагал, что можно подействовать на власть имущих юридическими аргументами.

Как-то раз, встретив Владыку в Москве у метро Кропоткинская, я разговорился с ним на эту тему. Преосвященный мне сказал, что он идет из Библиотеки им. Ленина, где просматривал юридические источники для составления очередного меморандума, который должен был быть подан в официальную инстанцию (без всякой огласки).

Я сказал: "Владыко, у моего отца был приятель, который так же, как отец, учился в одно время с вашим папой. Он часто говорил отцу в таких случаях: "Послушай, к кому ты пишешь? Там же сидят не старые сенаторы".

Владыка Ермоген, как и другие его собратья, кажется, этого не понимал. Смертельно они боялись скандала, не думая о том, что наверху этого только и боятся. И что только крупный скандал с международными откликами и может спасти положение.

\* \* \*

Вопреки осторожности владык скандал все-таки произошел. Началом скандала были наши с Вадимом статьи, которые положили начало церковному самиздату.

Наверху на это просто вылупляли глаза, не понимая, что это такое.

"Откуда это вдруг?" — сказал уполномоченный Совета по делам Православной церкви по городу Рига, когда покойный протоиерей Трубецкой показал ему машинописный сборник моих статей.

Мы с Вадимом действительно резко отличались от обычной церковной публики. Мы были, если можно так выразиться, скандалистами по натуре, экстравагантными, несколько чудаковатыми и отнюдь не пугливыми людьми. Только такие люди и могли положить начало скандалу.

С 1959 года после несколько неожиданного успеха автобиографии Вадима и моих "Библиографических заметок" писание статей в защиту религии приняло систематический характер.

С 1960-го по 1962 год не было буквально ни одной крупной антирелигиозной статьи, которая осталась бы без ответа. Часть этих статей впоследствии была издана Высокопреосвященным Иоанном, архиепископом Сан-Францисским в 1967 году в Париже (см. "Диалог с церковной Россией", "Ихфис", Париж, 1967 год). Другая часть была собрана мною в самиздатском сборнике (см. А. Краснов, "В борьбе за свет и правду", Москва, 1962 год), до сих пор имеющем хождение в самиздате в России.

В то же время мы усиленно работали над "Очерками по истории церковной смуты". Писал я. Что касается Вадима, то он, во-первых, доставал редчайшие рукописные документы, которые использовались в работе; затем находил живых свидетелей, кото-

рые дышали на ладан и из которых теперь уже никого не осталось в живых; они были живой летописью, и с их смертью должна была исчезнуть история тех роковых времен, большинство участников которой уже тогда перемерли в тюрьмах и лагерях. Мало кто из них пережил ежовщину. Уцелевшие большей частью были разбитыми и физически, и морально людьми, доживали последние годы и, что еще хуже, были запуганы до последней степени и боялись слово сказать.

Надо было все обаяние Вадима, все его умение располагать к себе людей, чтобы добывать у них сведения. И все это делалось легко и просто. Сила Вадима в его непосредственности и в его уверенности, что с ним все должны быть откровенны. С самовлюбленным, самоуверенным интеллигентом с еврейской наружностью, как бы соскочившим со страниц истории эсеровской или меньшевистской партии, церковные люди были далеко не столь откровенны. Тем более что я пользовался репутацией "церковного бунтаря", недавнего обновленца, да еще полуеврея.

С Вадимом у нас также иногда происходили стычки, так как он всегда был необыкновенно ортодоксально верующим человеком. Но над всем довлело глубокое чувство дружбы. Ну, вот, например, были мы совместно с ним в Питере. Останавливались обычно у моей няни на Васильевском. Как-то отправился я на могилу бабушки, которая похоронена на самом краю города, на еврейском кладбище. Приезжаю под вечер и застаю Вадима, который разговаривает с двумя старушками: моей няней и ее сестрой. Не помню, по какому поводу Вадим провозглашает: "Только христиане спасутся. И никто больше".

Я: "Ну, Дима, бестактно же это говорить сейчас, когда ты знаешь, что я только что вернулся с могилы бабушки-еврейки".

Вадим минуту колебался, но любовь ко мне победила. "Ну, для тебя ее Бог помилует. Ты же у Бога кое-что значишь".

Хорошо, если бы было так.

Но не всегда обходилось так мирно. Оба вспыльчивые, экстравагантные, мы часто ожесточенно спорили, доходили до крика; кричал, впрочем, обыкновенно я и уходил, хлопнув дверью, но, дойдя до метро, остывал, возвращался, говорил, смотря по обстоятельствам: "Прости меня, Вадим" или "Ну, давай помиримся". И начинался деловой дружеский разговор, как ни в чем не бывало.

Другая проблема: машинистки. Это были только первые лас-

точки самиздата, **поэтому машинистки** страшно боялись всякой "нелегалщины". Смелая машинистка — это была величайшая редкость.

Много на этой почве было анекдотов. Вот знакомит меня мой старый товарищ учитель со своей тетушкой, очень симпатичной, приветливой еврейкой. Я ей диктовал первый том нашей "Истории церковной смуты". Она печатала с интересом, видимо, заинтригованная необычностью темы. Как-то продиктовал я ей печальную повесть о процессе Митрополита Вениамина, расстрелянного в 1922 году. Прихожу в следующий раз. Моя приятельница мрачнее тучи: "Вот вы все пишете об этих расстрелянных митрополитах. Я печатаю. А что мне скажут на это?" Надо было успокоить, но Толька-озорник, который тогда еще жил во мне, взял верх. "Я вам могу сказать, Ревекка Яковлевна, что вам скажут, вам скажут: если вы так любите этих расстрелянных митрополитов, то мы можем вас к ним отправить".

Дикий испуг в глазах. "Что вы говорите? Вы, наверно, шутите?"

Все это хорошо, но постоянную машинистку искать надо. Дело еще осложнялось моим ужасным почерком. Те машинистки, которые не боялись, не понимали моего почерка, те, кто понимал (высококвалифицированные московские машинистки), смертельно боялись. Все-таки нашел машинистку, которая понимала почерк и не боялась. Печатала мне до самого моего отъезда из России и была моим другом до самой своей смерти, сорок дней со времени которой исполнилось только позавчера, 31 мая 1979 года. Своеобразная личность — Нина Леонидовна Монахова. Дочь старого московского суфлера, который хорошо помнил и Ермолову, и Федотову, и весь Малый театр. Высокообразованная, умница, с сангвиническим темпераментом. Была не только моей машинисткой, но и редактором. Вот, например, печатает мою статью о только что умершем Митрополите Николае. Там была фраза по поводу Сталина о диктаторах, которые, подобно старым кокеткам, всегда держат лицо в тени.

"Вы с ума сошли! Что за легкомыслие! Какие кокетки в некрологе?" И тут же "кокетки" вычеркиваются. Писала обо всем с участием. Мне говорила: "Вы пишете легкомысленно, и вообще вы нелепый человек". (Может быть, она была не так уж неправа.) Когда уезжал, просила меня отыскать в Париже могилу Шалыпина и возложить на могилу от нее цветы.

Эту просьбу я исполнил.

Разумеется, наша с Вадимом деятельность не могла бесконечно проходить в безвоздушном пространстве. Вскоре появляются вокруг нас люди. Первым, кто появился, был молодой парень из "Журнала Московской Патриархии" Володя Рожков (позднее почтенный московский протоиерей, хорошо известный за границей — отец Владимир Степанович Рожков). Его личность необыкновенно типична для нового духовенства, родившегося при советской власти и воспитанного уже в советское время. Он родился на московской окраине, в крохотной каморке, в семье кондового пролетария, московского вагоновожатого. Он четвертый, самый младший. Кроме него два брата и сестра. И все в комнате, где вряд ли бы уместился настоящий концертный рояль.

Он родился 5 января 1934 года, и, когда ему было 7 лет, разразилась война. Отца тут же взяли на фронт, откуда он так и не вернулся. Во время войны Володя болеет костным туберкулезом. Приходится поместить его в детскую больницу, где он долгое время лежит в лубке, а в ноябре, во время наступления немцев на Москву, его эвакуируют за Урал. Голод, ребенок не имеет около себя ни одного близкого человека. Но здоровый "мужичкий" организм одерживает верх над болезнью. Он начинает ходить. Дело идет к выздоровлению. А через два года двенадцатилетний парнишка бежит и как снег на голову является к матери (добрался до Москвы зайцем). Мать в ужасе. Но ужас смешан с радостью. Младший и самый любимый сын, которого она уже не думала видеть в живых. Но надо содержать всех четверых. Она работает стрелочницей и чистильщицей трамвайных путей. Встает ежедневно в 3 часа ночи, в лютый мороз отправляется чистить пути, а возвращается домой к вечеру, падая от усталости. А надо накормить, помыть, обстирать всех четверых.

Однажды сказала: "Всю жизнь я мечтала об одном: выспаться. А теперь можно спать, и не хочется".

С детства у Володи появляются две особенности: тяга к церкви и меломания (страсть к пению). Он обладает великолепным голосом и, если бы пошел в консерваторию, как ему многие советовали, верно, был бы великолепным певцом. И религиозность пламенная, глубокая, я бы сказал, не совсем русская (хотя ничего более русского, чем Владимир Степанович Рожков, нельзя себе и представить). Нерусское — это порывистость, страстность. Совершая

литургию, он может вдруг начать плакать навзрыд, каяться. На похоронах Митрополита Николая он был единственным человеком, который плакал.

С Митрополитом Николаем он был близок с детства. Сначала был его посошником, потом иподиаконом. Окончил с блеском Духовную семинарию. Мечтал о монашестве, но, к счастью, своей мечты не осуществил. Темперамент у него уж больно не монашеский. Когда был студентом Академии, познакомился с одной девушкой. Кажется, итальянкой или англичанкой — религиозной туристкой. Вступает с ней в переписку. Ректор Академии в ужасе. В порядке перестраховки немедленно исключает его с третьего курса Академии.

И вот Володя не у дел. Как быть? Просит у Митрополита Николая принять его в садовники, и он будет в качестве садовника жить в его доме. Ответ в стиле иерарха-дипломата: "Почему в качестве садовника? В качестве брата, в качестве друга?" Помню, как Володя меня спросил: "Как вы думаете, что это значит?" — "Это значит, что он тебя не берет в садовники". Но Митрополит все-таки его устроил в "Журнал Московской Патриархии". В качестве иподиакона он мог продолжать учебу на заочном секторе Духовной Академии.

Познакомились с ним в кулуарах журнала. Но знакомство было шапочное. В 1960 году привел ко мне его Вадим, который давно был с ним знаком. И началась наша дружба. Человек с живым умом, с хорошим, добрым сердцем, он запоем читал мои статьи, распространял их.

Вскоре он женился на дочери священника и был рукоположен в диакона. Затем 1962 год. Его вызывает тогдашний Управляющий делами Патриархии архиепископ Киприан. Беседа более многообещающая, чем приятная.

Вскоре он рукоположен в священника. Становится настоятелем большого подмосковного храма. На меня стал дуться. Как будто поссорились. Но разве могут долго сердиться друг на друга два человека с такими характерами, как мы с о. Владимиром? Встретились, и сразу стало ясно, что друзьями мы останемся навсегда, какие бы изменения в наших жизненных путях ни происходили. Он стал вскоре крупным работником Отдела Внешних сношений Патриархии. Бывает за границей. Мой же путь известен. Однако по-прежнему друзья.

В частности, это единственный человек из младших по возрасту,

с которым я на "ты". То есть я со свойственной мне бесцеремонностью и всем, без исключения (кто хоть на год моложе), говорю "ты", но здесь обоюдное "ты". Уже давно, когда я был в его храме, где он совершал литургию. И он мне сказал: "Я хочу, чтобы ты сегодня причастился вместе со мной. Пусть это будет наше братское причащение".

Он действительно относился ко мне всегда по-братски. И в тяжелые минуты всегда меня выручал: и деньгами, и моральной поддержкой, и многим другим. Могут удивиться, почему я пишу о человеке, деятельность которого никак не связана с моей, но что бы мы все стали делать без таких людей, как Владимир Рожков?

В людях из народа, в людях с добрым сердцем, с горячей, хотя пусть и порывистой религиозностью, вся наша сила и вся наша надежда.

Впрочем, не только это. Он человек со здоровым и широким умом. По убеждениям он экуменист. И будучи в Риме, учась в "Collegium Russicum", очень многое сделал для того, чтобы разрушить роковую стену непонимания и недоверия, стоящую средоточением между двумя братскими церквями.

И тут же еще одно знакомство: однажды вечером ко мне в Ново-Кузьминки заходит какой-то человек с ярко выраженной наружностью сельского священника. Борода, отросшие волосы, полушубок, старые сапоги. Входит порывисто, здоровается, начинает говорить прямо с порога.

"Вы хотели меня видеть. Мне говорили. Я Желудков". Тогда действительно в церковных кругах много говорили о священнике о. Сергии Желудкове. По рукам, вместе с моими "Библиографическими заметками", направленными против Дулумана, ходило его письмо бывшему питерскому священнику (со Смоленского кладбища) Дороманскому, также снявшему с себя сан. Мне ставили тогда Желудкова в пример. "Вот, посмотрите, — говорила мне одна дама, — как пишет Желудков. Ни одного личного выпада. С любовью. А вы точно с цепи сорвались."

Трудно сказать, у кого выходит грубее и злее — у антирелигиозников или у вас".

Однажды мне сказал Володя Рожков, что сейчас в Москву приехал отец Сергей Желудков. Я сказал: "Передай ему, что я хотел бы с ним познакомиться". И вот, он пришел ко мне. Ночевал у меня. Я по-джентльменски уступил ему свое ложе, сам лег на

полу (знаменитых двух раскладушек, на которых впоследствии переночевали целые две духовные академии — Московская и Питерская, — тогда еще не было).

И сразу, с порога, начали спорить. Но прежде чем излагать сущность нашего спора, который продолжается с той поры уже 19 лет, расскажу биографию моего гостя.

Сергей Алексеевич Желудков, известный многим за границей по своей книжке, переведенной на немецкий язык (см.: о. Сергей Желудков, "Почему и я христианин", "Посев", Франкфурт-на-Майне, 1973, а также на немецком языке: Sergei Scheludkow, "Ist Gott in Russland tot?", Kreuz-Verlag, 1971), и по многим статьям, напечатанным в журнале "Вестник Р.С.Х.Д.", родился в Москве на Софийской набережной, в семье небольшого торговца, бывшего церковным старостой в Софийской церкви в Замоскворечье.

Год его рождения 1910-й. Следовательно, ко времени нашего знакомства ему исполнилось 50 лет (сейчас ему уже 69 лет).

Выходец из патриархальной московской семьи, он был глубоко верующим, церковным человеком. Однако пытливый, живой ум очень рано толкает его на путь религиозных исканий. Уже в детстве он усиленно посещает Заиконоспасский храм, в котором тогда служил прославленный церковный искатель правды, иерарх, епископ Антонин Грановский. Когда он стал юношей, началось его личное знакомство со знаменитым иерархом и реформатором. Сейчас он иногда скептически отзываясь о своем былом наставнике, и напрасно: тот заслуживает глубокого уважения, как один из самых светлых и могучих умов, каких имела когда-либо русская церковь.

Общение со знаменитым реформатором оказало неизгладимое влияние на весь его духовный склад.

После смерти епископа Антонина, последовавшей 14 января 1927 года, Сергей Алексеевич становится приверженцем другого епископа, который является продолжателем дела Антонина, епископа Константина Смирнова, и даже переезжает в Питер, чтобы быть ближе к своему новому учителю, который тогда в качестве обновленческого епископа служил в храме Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Стекланном заводе.

Затем тридцатые годы. Все епископы и проповедники (и консерваторы и реформаторы) исчезают в тюрьмах и лагерях. Наступает период скитаний и в жизни молодого Сергея Желудкова. Тридцатые годы — таинственный период в его жизни. Никому точно

не известно, что он делал в это время. Одно несомненно — скитался, разъезжая по городам, быть может, и побывал в заключении. Во всяком случае, систематического образования получить не смог. Но читал, но размышлял непрестанно, но сформировался как личность, как оригинальная, многогранная личность. Своеобразие отца Сергия в том, что он представляет собой симбиоз типа религиозного народного искателя (исконный русский тип), сектантского вожака, странника, самоучки с европейски образованным (хотя и не систематически), начитанным интеллектуалом. В нем есть что-то от так называемого “*диакона*” (из “*Жизни Климса Самгина*” Максима Горького), от героя “*Исповеди*” того же автора. Неизбалованный, удивительно непритязательный в жизни, человек не от мира сего, умница, остроумнейший собеседник, человек раздражающий, человек неожиданных поворотов, удивительно добрый, мягкий и в то же время упорный, он является одним из самых своеобразных людей, встреченных мною в жизни. Один из работников “*Журнала Московской Патриархии*”, который видел его мельком, мне как-то сказал: “В нем есть что-то от апостола Павла”. Действительно, есть в нем то, что было в Павле: “Павел, апостол не от людей и не через человека, но через Иисуса Христа и Бога Отца, воскресившего Его из мертвых (Гал. 1, 1 — научный перевод с греческого) .

Так и Сергей Желудков — “не от людей и не через человека” — у него все свое, личное, освещенное таинственным светом, прошедшее через горнило страданий, через горнило его личности. В тот момент, когда я с ним свел знакомство, он был на перепутье, — предпоследнее место его служения храм св. Николая в Люботове, на окраине Пскова, одна из стариннейших псковских церквей; во времена Грозного здесь была обитель, и здесь остановился у входа в город царь Иоанн, когда ехал после новгородского разгрома, чтобы подавить и залить кровью также и Псков. Предание говорит, что Грозный ранним утром услышал церковный звон, умилился и сказал Малюте: “Притупи меч”, — и таким образом якобы Псков был спасен. Настоятелем этого храма был отец Сергей. Здесь, недалеко, он бросил якорь в небольшом деревянном доме, рядом с храмом, где обретается он до сей поры. Потом его переводят в Великие Луки. Здесь в разгар хрущевских гонений его столкновение с властями. Он заступает за одну женщину, преследуемую за то, что она получила исцеление у могилы Блаженной Ксении. Отец Сергей пишет жалобу Хрущеву. В лучших совет-

ских традициях эту жалобу отсылают тем, на кого он жаловался, — великолукским властям. И те его привлекают к суду за клевету. Прокурор подбирает "свидетелей". Но в последний момент, видимо, испугались скандала (все-таки же у власти "либерал" — борец против "культа личности") и "притупили меч", решили расправиться со священником "келейно". Дело прекратили. Однако отца Сергия сняли с регистрации. И негласный приказ: нигде, ни под каким видом его не регистрировать.

Он едет по всей России. Всюду, куда бы он ни приехал, одно и то же: Преосвященный его принимает, созванивается с Уполномоченным, тот звонит по телефону в Псков к своему коллеге, тот отвечает: "Снят с регистрации по приказу КГБ". Все. На этом разговор о регистрации отца Сергия в новом месте окончен.

Он едет в другое место с тем же самым результатом. В этот момент, когда он был у меня, все старания в этом направлении окончены. Со свойственным ему юмором отец Сергей говорил: "Меня начинает интересовать, что я теперь буду делать?" Если бы речь шла не о священнике, я бы сказал: "Юмор висельника".

\* \* \*

Мы долго и много говорили, засиделись далеко за полночь и сразу же крепко поспали.

Соседка меня потом спрашивала: "Кто это у вас был?"

"Один священник".

"Как священник, но он же вам кричал: какой у вас Бог? У вас божок, боженька".

А наутро опять своеобразный разговор. Мы начинаем его, лежа каждый на своем ложе.

Он: "Какие глупые статьи пишут в "Журнале Московской Патриархии". Статья Попова о Георгии Победоносце — позор, мракобесие".

"Вы знаете, это статья не Попова".

"Так, чья же?"

"Это я писал".

Неловкое молчание. Отец Сергей (заминяя неловкость): "Но вот статья об Алексии Человеке Божием Уржумцева — это же уж совершенный кликушеский бред. Это писала кликуша. Как не стыдно Уржумцеву!"

Я (опять так же скромно): "Это статья не Уржумцева".

“А чья же?”

“Это моя статья”.

Потом разговор за чаем. “Ну, хорошо, но что пишут наши богословы в Академии? Вот актовая речь архимандрита N. Это же верх мракобесия. Какое безобразие!”

“Вы знаете, эту речь тоже я писал”.

После этого на всем протяжении нашей дружбы отец Сергей, прежде чем говорить о чьей-нибудь статье, диссертации, лекции, вежливо осведомлялся: “Надеюсь, это не вы писали?”

\* \* \*

От меня он поехал в Псков. И тут начинается совершенно новый, своеобразнейший период его жизни. Он живет в Люботове, на псковской окраине, все в том же деревянном домике. Приезжаем туда. Большие сени. Затем просторная изба. Одна большая комната. Холод полярный. Печь всегда холодная. Постель. Пишущая машинка. На стене портрет епископа Антонина Грановского (в клобуке), учителя юных лет. Пишущая машинка. За ней сидит хозяин, всегда в полушубке (чтобы раздеться в таком холоде, надо быть очень героическим человеком). В сенях собака, хорошая, ласковая, но всегда голодная, как и хозяин.

И вот, будучи в таком положении, отец Сергей начинает... что бы вы думали?.. Сколько ни думайте, не угадаете... издавать журнал. Да, да, не удивляйтесь, журнал. Единственный в России религиозный журнал под названием “В пути — Переписка ряда лиц по вопросам религии”. Журнал выходил в течение 4-х лет. Все сотрудники были обозначены инициалами: А, Б, В, Г, Д. Я шел под инициалом К (кажется, так). Журнал выходил раз в два месяца, печатался на машинке, все статьи в форме писем начинались обращением: “Дорогой отец С.”. Ответ начинался также обращением: “Дорогой А, Б, К” или как-нибудь иначе. Все “номера” журнала рассылались по почте примерно 20—30 лицам.

И право, журнал был интересный, много интереснее эмигрантских журналов, а уж во всяком случае, интереснее пресловутого “Континента”. Прелесть журнала была в том, что здесь была полная свобода.

Вы писали письмо по религиозному вопросу. Оно печаталось. И тут же ответ. Так было на протяжении нескольких лет.

На обложке после названия журнала место издания: Советская Россия (иногда Псков), месяц и год.

Власти, конечно, о журнале знали, но смотрели сквозь пальцы, — видимо, примиряло их с журналом то, что он издается столь малым тиражом и посвящен исключительно религиозным вопросам.

Тут я познакомился с отцом Сергием как с автором. Он пишет изумительным, каким-то благоуханным слогом. У меня почему-то всегда была ассоциация с Тургеневым. Удивительно, откуда у человека из простой семьи, всю жизнь вращавшегося среди самых простых людей, столько внутренней культуры, такое чувство стиля, такой художественный вкус.

Так и в жизни. Однажды я, рассердившись на отца Сергия за одно из его писем, написал ему (по своему обыкновению) грубое письмо. Потом, заехав в Псков, попробовал об этом письме заговорить, объясниться. Ответ: "Я этого письма не получил. Почта не сработала". И никогда больше об этом моем письме между нами разговора не было.

Что касается содержания статей отца Сергия, то приходится констатировать, что чем дальше, тем больше он отходил от церковного русла, от православной богословской традиции.

Собственно говоря, он находился под влиянием Гарнака, Дю Барта, М. М. Тареева; его мысль шла в направлении протестантского богословия.

Так же, как и мысль его корреспондентов.

Я занял в этом журнале привычное мне положение "enfant terrible". Но самое интересное, что я ("левейший из левых") играл в этом журнале роль "оппозиции справа", блюстителя церковных традиций. Полемизируя со мной, корреспонденты журнала (особенно А и Б) меня обычно называли "наш семинарский богослов", "наш ортодокс" и т. д.

Собственно говоря, предметом споров были личность Христа и достоверность Евангелия.

Про себя я могу сказать словами де Гаспери: "Мы согласны на самые смелые реформы, на самые решительные изменения; одного мы не можем позволить, чтобы скорбный лик Христа, сияющий над миром, поблек в сердцах". Поэтому я с негодованием отвергал те выпады (очень необоснованные) против достоверности Евангелий, которые иной раз можно было встретить в журнале.

Впоследствии в обобщенном виде отец Сергей изложил свои взгляды на христианство в книге "Почему и я христианин?".

Ответить на эту замечательную книгу я позволю себе по обыкновению в особом "интермеццо", а сейчас закончу повествование о том, как складывались мои отношения с отцом Сергием.

В 1968 году в жизни отца Сергия начинается новый период. Я думаю, я не совершу никакой особой нескромности, если расскажу о том, с чем был связан этот новый период. В январе 1968 года в Москве имел место громкий политический процесс. Суд над Гинзбургом, Галансковым, Лашковой и Добровольским. Суд вызвал целый ряд откликов и в международной прессе, и в самиздате.

С этим процессом, между прочим, связано первое появление на арене самиздата Павла Литвинова, внука знаменитого советского дипломата, который совместно с Ларисой Богораз написал письмо в защиту осужденных. Впечатлительный и импульсивный, отец Сергей прочел это письмо, и оно его поразило. Ночью он увидел странный сон: покойный Папа Иоанн XXIII, память которого он, как и все мы, глубоко чтит, явился ему и изрек: "Они хорошие люди, но с ними нет священника".

Утром отец Сергей написал Литвинову приветственное письмо. И после этого он становится участником так называемого правозащитного движения.

После этого мы встречались с ним уже в новом качестве, в качестве соратников в русском демократическом движении.

Когда я был в заключении в 1971—1972 годах, отец Сергей писал мне в лагерь прекрасные, глубокие по содержанию письма. Причем наши богословские братские споры продолжались и здесь.

Однако одно обстоятельство омрачило наши отношения.

В 1970—1971 годах, когда между двумя заключениями я жил в Ново-Кузьминках в новой хорошей квартире (в доме-новостройке), я объявил, если память мне не изменяет, "вторники", приемные дни, на которые мог явиться всякий, кто пожелает. Как-то раз ко мне пришел некто Шиманов (автор, занимающий весьма правые позиции в современном самиздате).

Почему-то в его присутствии зашла речь об отце Сергии Желудкове, а я (не предполагая, что в своем доме, при своих гостях должен взвешивать каждое слово) неосторожно сказал, что, если бы наши антирелигиозники были бы умнее, они могли бы использовать некоторые критические замечания отца Сергия по

поводу Священного Писания (в духе Тареева, Гарнака и Дю Барта).

Каково же было мое изумление, когда оказалось, что мой непрошенный гость (вот и открывай после этого двери перед кем попало) это мое случайное высказывание полностью воспроизвел в одной статье, которую напечатал за границей в "Вестнике Р.С.Х.Д.". Я же в это время находился в заключении и отреагировать соответствующим образом на этот хамский поступок не мог, но отношения с отцом Сергием после этого случая омрачились; наружно они остались как будто те же, но внутренне они стали другими. Во всем, что пишет и говорит обо мне отец Сергей после этого, я чувствую внутреннюю глубокую обиду. Рад сейчас, хотя и с опозданием, принести ему извинения. Надеюсь, что эти строки появятся в печати и дойдут до него еще тогда, когда мы оба будем живы. А затем попрошу разрешения продолжить наш спор с отцом Сергием после этой главы в особом "интермеццо".

\* \* \*

Итак, вокруг меня появлялись все новые и новые люди, и, что самое главное, потекла ко мне молодежь.

Кого только не было! И сыновья коммунистов, находящиеся в конфликте с отцами, и ребята, только что соскочившие со школьной скамьи, — семинаристы сплошным потоком потекли ко мне позже, но отдельные ребята шли ко мне уже в это время.

Я, впрочем, тогда проводил большую часть времени в библиотеках, у Вадима, в метаньях по Москве в поисках денег, чтобы рассчитываться с машинистками, периодически ездил в Самару. Власти пока меня не трогали. Видимо, бюрократы, тяжкие на подъем, не могли сразу сообразить, что со мной делать. Посадить — сажать как будто не велено; выгнать отовсюду — это уже было сделано; лишить заработка (это новая хрущевская установка) — "сам взвояет". Тоже ничего не вышло из этого. Значит, выжидали. Между тем медленно, но верно скандал разгорался. Иностранцы начинали гоняться за моими статьями. Имя мое становилось известно за пределами церковных кругов и за границей.

И в это же время еще больший и грандиозный скандал разгорался на западной окраине СССР, в далеком Почаеве. Об этом уже много писали. Подробностей повторять не буду. Интересующихся отсылаю к моей книге "Защита веры в СССР", изданной

также в издательстве "Ихфис" в Париже в 1966 году Высокопреосвященным архиепископом Иоанном Сан-Францисским.

Там документально изложена вся почаяевская эпопея с диким издевательством властей над монахами. По этим документам также можно судить о героическом, длившемся в течение трех лет сопротивлении беззащитных монахов и верующих людей разбойнической клике эмгебистов. Все эти документы мне были сообщены одним из иноков и переправлены мною особыми путями за рубеж, где произвели сенсацию. В защиту почаяевских иноков поднялась кампания, возглавляемая Преосвященным Антонием, архиепископом Женевским. Об иноках заговорило радио.

Стали по радио упоминать и о пишущем эти строки. Причем не обошлось без курьезов. Одним из таких курьезов было сенсационное сообщение женевского радио: "Учитель, уволенный из школы и вынужденный работать шофером, поднимает кампанию в защиту церкви".

По этому поводу Екатерина Димитриевна, мать Вадима, состригла: "Ну, знаете, в автомобиль, которым вы будете править, я не сяду". Действительно, странно было представить себе такого неумелого человека, как я, за рулем автомобиля. Править автомобилем я бы не сумел, но поднять кампанию в защиту церкви мне удалось.

Каждому свое!

## ИНТЕРМЕЦЦО

### АПОСТОЛ ФОМА

Отец Сергей имеет одно качество, которое вызывает уважение и даже зависть. Он имеет мужество быть абсолютно искренним. А это так редко встречается между людьми.

В религиозном отношении это встречается реже, чем где бы то ни было. Обыкновенно верующие люди (особенно священники) в своих сомнениях признаваться боятся даже самим себе. В результате получается ущербная, неполноценная психика.

Неискренние, замкнутые характеры.

Между тем я в этом случае сторонник Фрейда. Сомнения надо не загонять внутрь, а откровенно о них поведать и постараться в них разобраться.

Итак, разберемся в сомнениях отца Сергея, а также попытаемся определить, в чем он прав и в чем он не прав.

В начале своей книги отец Сергей приводит примеры школьного плоского богословия (в том числе приводит цитату из одной моей статьи, в свое время помещенной в его журнале) .

Прав он в этом или не прав?

Очень во многом прав. Более того, я могу увеличить число примеров вульгарного плоского богословия. Как это ни неприятно, приходится при этом сослаться и на такого замечательного, одаренного человека, каким являлся покойный о. Сергей Булгаков. В своей книге "Неопалимая купина" он утверждает, что "Богоматерь пребыла безгрешна, ни одно приражение греха не приблизилось к Ее пречистой душе, носителнице совершенного девства" (см. прот. Сергей Булгаков, "Неопалимая купина", ИМКА-Пресс, Париж, 1927 г., стр 18) .

Спрашивается, откуда он это может знать? Неизвестно. Доказательства? Никаких, кроме церковных песнопений (и то притянутых за волосы) .

Далее следует уже прямо монофизитское утверждение, что Христос не мог умереть естественной смертью.

“Как Адам до грехопадения не был доступен естественной смерти (тоже, кстати, надуманное утверждение богословов, ибо из Библии это совершенно не видно), ...так и новый Адам не подлежал естественному закону смерти, но добровольно подчинился лишь смерти насильственной...” (там же, стр. 19) .

Утверждение нелогично, ибо если бы не подлежал закону естественной смерти, то каким же образом Он мог все-таки быть убит? Если Он добровольно подчинился насильственной смерти, то тогда становится совершенно непонятной вся трагедия Гефсиманского сада (насколько Пастернак здесь ближе к Христу, чем знаменитый богослов!).

И наконец, утверждение монофизитское или даже докетическое, ибо если Он не подлежал закону смерти, то как же Он был ребенком, отроком, мужем; как мог Он тогда алкать, жаждать, страдать от усталости? Тогда остается только утверждать вместе с евтихианами, что это было притворство из смирения, что это был лишь Бог, разыгрывающий роль человека.

Вся страшная и таинственная история Агнца Божия, таким образом, принимает характер какого-то травести, водевиля с переодеванием.

Отец Желудков, конечно, прав, когда ополчается против этих надуманных утверждений богословов, которые лишь затмевают чистое, прозрачное, как стекло, учение Евангелия.

Но отец Сергей, к сожалению, вместе с водой выплескивает и ребенка. Вместе с вульгарными утверждениями богословов отвергает все догматы и все богословие, вслед за надуманными толкованиями отдельных экзегетов он отвергает и само Евангелие. И сам не замечает, что он впадает в такую же вульгарность и плоскость, в какой он обвиняет других.

Прежде всего спор с Богом. Он не может принять учение о гармоничности мира, о совершенстве Божьего творения, когда в мире, в самой органической природе, столько жестокости, безобразия, уродства. Сочувственно он цитирует Марка Твена, который в своих “Размышлениях о религии” говорил, что... “можно только поражаться всеобъемлющей и всепроницающей злобе, которая терпеливо снизошла до того, чтобы изобрести сложнейшие пытки для самых жалких и крохотных существ, населивших землю” (С. Желудков, “Почему и я христианин”, стр 27) .

Далее он цитирует известные слова одного из героев романа Ремарка “Три товарища”, который говорит: “Невидящими гла-

зами я смотрел в небо, в это серое, бесконечное небо сумасшедшего Бога, который придумал жизнь и смерть, чтобы развлекаться” (стр. 29) .

Когда-то в своем письме, написанном ко мне в лагерь, отец Сергей призывал меня дать ответ на проклятый вопрос Ивана Карамазова. Но здесь он сам в роли Ивана Карамазова. Он задает Богу вопросы — и сам отвечает на них.

Я, конечно, не настолько самоуверен, чтобы претендовать на совершенно исчерпывающий ответ. Должен, однако, сказать: величайшая ошибка богословов в том, что они считают седьмой день — днем конца творения. Между тем это не конец творения — это только новая фаза творения: “Почил” — это значит перестал творить и производить “из небытия бытие”, — говорит Златоуст.

В католическом издании русской Библии, в комментариях, правильно рассматривается мысль св. Иоанна Златоуста: “Теперь дело человека творить историю, но все будет зависеть от того, сохранит ли он связь с Богом, так как и теперь каждый атом продолжает существовать лишь по воле Творца”. (“Библия — Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета”. В русском переводе с приложениями, 1973 год, изд. “Жизнь с Богом”, Брюссель, стр. 1858.)

Творение Божие продолжается в сотрудничестве с человеком. В этом действие Абсолютного Духа (по Гегелю), Творческого импульса (по Бергсону), Предвечного Слова Божия, Сына Божия Единородного, — по всеобъемлющей истине Пресвятой Троицы открытой нам в догмате. Человеку надлежит осуществить Божий завет в мире. Мы видим это на примере преподобного Герасима, который приручил льва и был его другом, на примере преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, которые кормили медведей и были их друзьями, на примере святого Франциска Ассизского, который проповедовал птицам, рыбам, имел глубочайшее родство с природой.

“С природой одною он жизнью дышал,  
Ручья разумел лепетанье.  
Была ему звездная книга ясна,  
И с ним говорила морская волна”.

*(Баратынский)*

Здесь я назову имя, которое странно (и даже, как покажется многим, кощунственно) прозвучит рядом с именами святых людей. Имя великого русского дрессировщика зверей Анатолия Дурова, который умирлял самых диких зверей исключительно ласковым словом, никому не позволял ни малейшего насилия над зверями; он входил к ним без всякого оружия, и они его слушали, к нему ласкались, его любили.

Таким образом, Господь продолжает одухотворение природы, ее — преобразование, ее творение. Мир все еще в состоянии творчества, и Рука Божия неустанно творит.

Мне приходилось видеть, как скульптор лепит статую. Он преодолевает сопротивление материала, дробит его, крошит, и в результате появляется образ одухотворенной материи, живой, ожившей глины, мрамора, гранита.

“Это так просто лепить статую. Берешь кусок мрамора и устраняешь все лишнее”, — говорил великий французский скульптор Давид.

“Беру кусок жизни грубой и грязной и творю из него легенду, ибо я поэт!” — восклицал наш русский поэт и прозаик Федор Сологуб (см. роман “Творимая легенда”, 1909 год, том 1, Введение). А знаменитый мыслитель XVI века Яков Беме говорит о “мучении материи”.

Таким образом, мир все еще в состоянии творения, а материя в состоянии мучения.

Природа — это женщина во время родов.

“Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, когда же родит, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир” (Иоанн, 16, 21).

Рождающая женщина — это символ, символ природы, символ человечества, символ церкви. “И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения” (Апокалипсис, 12, 1—2). В греческом подлиннике еще более выразительно: “И она имеет во чреве и кричит, страдая и мучаясь, чтобы родить”. (Научный перевод с греческого, Лондон, 1970 год.)

Это не надуманный образ — это сама истина, сама жизнь, ибо все в мире рождается в муках, и сам мир рождается в муках. И Бог творит мир в муках, — а человек, как говорил епископ Антонин, учитель юношеских лет отца Сергия, его труженик. (См. Божест-

венную литургию, рецензированную епископом Антонином. А. Левитин, В. Шавров, "Очерки истории церковной смуты", т. 3, стр. 314, изд. "Institut "Glaube in der 2 Welt" CH. 8700 Kusnacht. 1978 j.)

И лишь в конце времени, в Апостазисе, все примирятся и откроется мир во всей своей дивной красоте. Ныне же, изучая природу, мы видим телеологическую цепь творения — непрерывный переход от низшего к высшему, от хаоса к порядку, от зверства к очеловечению, от жестокости к любви. От антитезиса к синтезу. И наблюдая этот великий "путь всея земли", мы любовно и смиренно взываем Начальнику жизни, великому Архитектору и Творцу:

"Чудны дела Твои, Господи, и ни единое слово достойно есть к пению чудес Твоих" (молитва на Великое освящение воды св. Василия Великого).

\* \* \*

Отец Сергей очень правильно формулирует три возможных ответа на вопрос о происхождении вселенной: ответ атеистический (материя и ничего больше), ответ "интеллигентного пессимизма" (Бог — дух, сила где-то в отвлеченности и вне всякой связи с нашей жизнью) и ответ верующих христиан — вера в Бога живого.

О. Сергей чересчур переоценивает И. А. Бердяева как мыслителя и богослова и целыми страницами цитирует его произведения. Он, однако, не замечает ошибок этого блестящего мыслителя. Для Бердяева главный атрибут Божества — свобода. Как Творец, Промыслитель — Бог, по существу, отсутствует. И эта мысль выражена Бердяевым в блестящем парадоксе: "Бог имеет меньше власти, чем полицейский".

Нет ничего более неверного. "Бог есть любовь", по словам любимого ученика Христа. А любовь бездеятельная, безучастная, теплостудная — это все что угодно, но только не любовь.

На стр. 46 о. Сергей приводит мой рассказ, не называя моего имени, хотя и награждая меня лестным эпитетом, о том, как, когда я находился в тюрьме, "был одинок, очень угнетен, — и тут его посетило такое живое чувство присутствия Божия, и это было такое блаженство, что он стал молиться. "О, пусть продолжатся эти тюремные дни, только Ты не отойди от меня". Реаль-

ность интуиции хорошо передается здесь этим контрастом видимого несчастья и внутренней радости” (стр. 46) .

Это все так. Но отец Сергей здесь упускает один момент: когда я так молился в тюрьме и в лагере, я ощущал Бога не по Бердяеву, не как отвлеченное существо, главным атрибутом которого является свобода, а как живое, реальное, всемогущее Существо. Если нужны литературные аналогии, то я Его в те моменты ощущал по отцу Иоанну Кронштадтскому, который говорил: “Когда я произношу слово “Бог”, я твердо уверен, что называю имя Того, Кто здесь рядом”. Господь исполнял тогда меня внутренним светом, внутренней радостью, но Он действовал и вовне и спас меня от неотвратимой гибели, от тяжких работ, был со мной всегда и везде. Ибо моя лагерная жизнь — это сплошное чудо, чудо Божией любви. Такова и вся моя последующая жизнь.

Всегда и везде я слышал голос Божий: “Воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби; изму его и прославлю его; долготю дней исполню его и явлю ему спасение Мое” (Псалом 90) .

Если так близок был Господь к человеку грешному, глубоко недостойному, вечно отступавшему от Него, вечно забывавшему Его, то как же близок Господь к истинным христианам!

Здесь мы видим нарушение обычного порядка: христианин как бы вырывается из цепи бытия, он приближается непосредственно к Богу, и тут совершаются чудеса.

“Имейте веру Божию, аминь бо глаголю вам, аще кто скажет горе сей: “Двинься и ввержися в море” — и не поразмыслит в сердце своем, но веру имеет, — будет, еще аще речет” (Марк. 11, 23) .

И в этом прообраз будущего человека, будущего мира, преобразенного, каким он явится в апостазисе, в конце времен.

\* \* \*

Значительный раздел книги о. Сергия посвящен Христу. К сожалению, это самое слабое и самое спорное, что есть не только в книге, но и в мировоззрении отца Желудкова. Открываем книгу на странице 64. Автор цитирует апостола Павла: “Христос — икона Бога невидимого” (Послание к коринфянам 2, гл. 4 и к колоссянам, гл. 1) .

Эта цитата понадобилась автору, чтобы обосновать свое утверж-

дение о том, что Евангелие — икона Иисуса Христа и все Священное Писание — иконопись, т. е. нечто условное и нереалистическое. К сожалению, однако, уже с самого начала о. Сергей позволяет себе грубую передержку.

В русском переводе (в том числе и в научном, наиболее точном переводе с греческого) термина "икона" нет. Есть другой термин: "образ". Открываем научный перевод с греческого: "У них, неверующих, бог века сего ослепил мысли, чтобы не увидеть им света Евангелия славы Христа, который есть образ Бога" (Второе послание к коринфянам 4, 1).

"Он есть образ Бога невидимого, Первородный всей твари" (колосьянам 1, 15).

Так в научном переводе с греческого, так в вульгате, так в русском синодальном переводе. Правда, по-гречески...слово "eika-nen" означает слово "образ", но понятие это вовсе не однозначно русскому пониманию слова "икона". По-гречески это слово означает портрет, точное изображение, сходство сына с отцом (см. Бензенер "Grichischedeutsche Worterbuch", 1933 j., Leipzig—Berlin).

"Образ" по-русски и на всех современных европейских языках — это нечто идентичное первообразу, подлиннику, тогда как "икона" — предмет культа, нечто условное, полусимволическое. Невольно возникает вопрос: для чего отцу Сергию понадобилась эта подмена понятий? Да именно для обоснования его основного тезиса, что Евангелие есть лишь иконопись и по ней об историческом образе Христа можно судить столь же мало, сколько по иконе о подлинном Христе. Это есть основной тезис о. Сергия, который он отстаивает с необыкновенным упорством, я бы сказал даже с фанатическим упорством.

Правда, цитированная мною ссылка о. Сергия Желудкова помещается в начале главы "Христос", прекрасной главы, где о. Сергей с присущим его талантом говорит о глубоком влиянии образа Христа на умы даже неверующих людей.

Но затем идет глава "Евангелия — иконы Христа", в которой автор усиленно отстаивает свой основной тезис о том, что Евангелие есть лишь икона, т. е. нечто условное, символическое. Отсюда только один шаг до признания мифичности Христа.

Ведь бывают же иконы и абсолютно фантастические: например, изображение святого с собачьей головой (святой Христофор в православной иконописи). Отец Сергей стоит на точке зрения сомнительности Евангелий. "Что благочестивое усердие способно "ис-

правлять" документы — это мы уже видели и здесь на примерах с текстами Флавия и Эйнштейна" (стр. 101). Здесь о. Сергей кидает камешек в мой огород. Еще раньше, на стр. 31, о. Сергей приводил цитату из Эйнштейна со следующим комментарием: "Я верю в Бога Спинозы, проявляющегося в упорядоченности мира, но не в Бога, занимающегося судьбами и делами людей", — пишет Альберт Эйнштейн.

С печалью должен заметить, что в некоторых рукописных апологиях вторая отрицательная половина этого изречения попросту опускается, то есть скрывается тот факт, что "великий физик не верил в Бога живаго".

Что можно сказать об этом? Можно сказать лишь одно: очень жаль, что отнюдь не благочестивое усердие (личное раздражение или неприязнь) заставляют отца Сергея так же "исправлять тексты". Я действительно, полемизируя с антирелигиозниками, ссылаясь на то, что Эйнштейн являлся в философии идеалистом и своеобразно религиозным человеком. Когда некий Львов пытался поймать меня на слове в своей статейке "Эйнштейн и мы", напечатанной в журнале "Наука и религия", я ответил на это журналу следующее:

"Прочитал в журнале "Наука и религия" № 2, 1966 год, статью некоего Львова "Эйнштейн и мы". Автор ее полемизирует с моей работой "Библиографические заметки" и ругает меня за то, что я причисляю Эйнштейна к верующим людям, а сам все-таки признает, что великий ученый был проповедником особой "космической религии". Чудак! Как будто ему, материалисту, легче от того, что Эйнштейн не исполнял при этом религиозных обрядов.

...Ведь вы восстаете не против церковной догматики, а против вообще всякой религии, и это снова подтверждается как раз в том номере журнала, в котором напечатана статья Воскресенского; "Следует бороться против всякой религиозности, — говорится на стр. 85 в ответах на вопросы читателей (и с космической религией Эйнштейна в том числе). ...Точно так же и то обстоятельство, что Джордано Бруно был сожжен инквизицией, нисколько не меняет того факта, что он был носителем религиозной пантеистической философии, — и, если я начну ее сейчас проповедовать в своих "трактатах", инквизиторы из журнала "Наука и религия" будут разжигать костры клеветы и злобы точно так же, как они делают сейчас, когда я являюсь православным". (Мой ответ жур-

налу "Наука и религия". В рукописном сборнике: А. Краснов, "В борьбе за свет и правду", М., 1962, стр. 174—175, 176.)

\* \* \*

Печальное явление представляют страницы 101—104 в книге о. Сергия. Они поражают своей странной двусмысленностью. Они написаны как бы специально для того, чтобы подтвердить мое случайное замечание, переданное пресловутым Шимановым. О том, что безбожники могли бы использовать произведения о. Желудкова, если бы были умнее.

Собственно говоря, об этом говорит и сам отец Сергий: "Вообще "противоречия" Евангелий, о которых твердит вульгарная пропаганда, вроде расхождений в родословных Христа и тому подобное — сущие пустяки в сравнении с действительной противоречивостью евангельских сообщений. Непримиримые разноречия Евангелий в описаниях призвания апостолов, последней вечери, Гефсиманской ночи, Голгофы, первых явлений воскресения" (стр. 102).

Действительно ли так? Разберем по порядку.

Призвание апостолов. Что касается Евангелий Матфея и Марка, то здесь о призвании первых апостолов Андрея, Петра и сыновей Заведеевых рассказывается почти в совершенно одинаковых выражениях, и никаких противоречий здесь нет. "Проходя же по берегу моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей. И они тотчас оставили лодку и последовали за Ним. И прийдя оттуда дальше, увидел Он других двух братьев — Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, чинящих сети свои, и призвал их. Они тотчас же оставили лодку и последовали за ним" (Мф. 18—22). Точно так же и у Марка (гл. 1, 16—20).

Несколько подробнее рассказывается об этом у Луки. Там прибавляется к повествованию Матфея и Марка о том, что Христос вошел в лодку Симона, стал оттуда проповедовать и предложил Симону закинуть мрежи в море. Просто несколько детализированный рассказ. И все. Из Евангелия Иоанна, однако, следует, что Христос и ранее был знаком с Андреем, Иаковом, Иоанном и Петром. Он видел их еще в то время, когда сыновья Заведеевы

(апостол Иоанн Богослов из скромности опускает свое имя и имя брата) и Андрей слушали проповедь Иоанна Крестителя. Тогда же Он познакомился с Симоном и предсказал ему, что он будет называться "камень". Вполне естественно, что всех их Христос как-то знал раньше: не мог же Он вдруг войти в лодку к незнакомым людям и пригласить их ни с того ни с сего за Ним следовать, все оставив. Совершенно же неправдоподобно было бы, если бы они вдруг откликнулись на подобное приглашение. Очевидно, они Его знали, с Ним разговаривали, Он произвел на них сильное впечатление, и достаточно было незначительного толчка, чтобы они за Ним последовали.

Какое же тут нашел отец Сергей "непримиримое противоречие"?

Дальше отец Сергия считает, что "непримиримое противоречие" есть в описании "Последней вечери" (обыкновенно говорят "Тайной вечери"). У синоптиков все обстоятельства, связанные с Тайной вечерей, передаются совершенно одинаково. Очевидно, о. Сергей имеет в виду то обстоятельство, что евангелист Иоанн упускает здесь момент преломления хлеба, но зато очень подробно говорит о предсмертной беседе Спасителя. Опять-таки никакого "непримиримого противоречия" здесь нет. Просто в предсмертной беседе Спасителя (по Иоанну) самая идея "Евхаристии" выражена так полно и глубоко (сравнение с лозой и ветвями), что евангелист упустил самый момент преломления хлеба и вкушения чаши, тем более что ко времени написания четвертого Евангелия этот момент уже был достаточно описан тремя другими евангелистами.

И еще одно соображение: преломление хлеба (мацы) и благословение вина хозяином стола является необходимым моментом, входящим в церемонию "сейдера" (еврейской пасхальной трапезы). Если это была пасхальная трапеза — "сейдер", — так ясно было и то, и другое: и преломление хлеба, и благословение вина; можно специально об этом евреям и не рассказывать.

Далее отец Сергей увидел какие-то "непримиримые противоречия" в описании Гефсиманской ночи. Какие? Совершенно непонятно. Все обстоятельства, связанные с Гефсиманией: моление о Чаше, разговор с учениками, взятие Иисуса Христа, — все совершенно тождественно, кроме нескольких совершенно уже несущественных деталей, — абсолютно никакой разницы в описании этих событий четырьмя евангелистами нет.

Далее какие-то "непримиримые противоречия" о. Сергей нашел в описании Голгофы. Какие? Все обстоятельства, описанные во всех четырех Евангелиях, относящиеся к крестной смерти Спасителя, во всем основном идентичны.

Можно указать лишь следующие различия: покаяние благоразумного разбойника у евангелиста Луки, — о нем не говорится в других Евангелиях, — и подробный рассказ евангелиста Иоанна о Матери Иисуса Христа, которая стояла у креста (и слова Христовы, обращенные к Матери и к нему), а также рассказ о том, как воин пронзил копием ребра уже умершего Спасителя. По-разному также излагают они предсмертные слова Спасителя, но как же могло быть иначе? Они стояли в толпе, скрываясь, боясь даже издали (все, кроме Иоанна) подойти к кресту, а подойдя к кресту, задержаться хоть на минуту лишнюю. Вполне естественно, что одни уловили одни слова, другие — другие. Даже то, что они по-разному передают свое впечатление о разбойниках, — это тоже вполне естественно: весьма вероятно, что благоразумный разбойник вместе со своим товарищем сначала хулил Иисуса Христа, а потом перед самой смертью спохватился, — и здесь произошло мгновенное озарение.

Кстати сказать, находясь в лагере, я часто замечал у "блатных" (а ведь это те же "разбойники") такие переходы.

И наконец, никаких противоречий нет в повествовании о воскресении. Иисус Христос являлся ученикам в разное время, при разных обстоятельствах; они и описали каждый свои видения. Если бы они хотели что-то сочинять, то все было бы совсем не так: они описали бы явление Христа перед толпами народа, покаяние судей, ужас палачей и так далее. Но, как известно, ничего этого в Евангелии нет. Почему это? Да потому что евангелисты писали то, что видели, и во время, близкое ко Христу.

Здесь, прося извинения у читателя, я позволю себе опять почти кощунственную параллель: между смертью, погребением и воскресением Христа и написанием Евангелий прошло примерно столько же времени, сколько между смертью моего учителя обновленческого Митрополита Александра Введенского и тем моментом, когда я писал о нем. А писал я о нем в последний раз в прошлом году, т. е. 32 года спустя после его смерти. Я тем не менее абсолютно точно изложил все что я знаю. Но ведь многого я не знаю, и, если о нем будет писать кто-нибудь другой, может быть, он вспом-

нит такие события, которые мне неизвестны (а мне очень многое неизвестно), и внесет исправления в мой рассказ.

Разумеется, нет никакого сходства, и даже помыслить невозможно сравнение между Александром Введенским и Тем, Чьего имени мы даже назвать недостойны, но свойства памяти у всех людей во все времена примерно одинаковы.

Так что ни о каких "непримиримых противоречиях" нет речи, и, только подходя с предвзятой мыслью, будучи ослеплен предвзятой идеей, человек может их увидеть.

Далее идут уже совсем странные придирки: почему Христос дал ученикам совет: "Продай одежду твою и купи меч". Об этом я уже говорил в своей работе о Л. Н. Толстом, которая является приложением к первому тому моих воспоминаний "Лихие годы". Да потому, что Христос сам идет на страдания, а не посылает на страдания своих учеников. О них Он говорит: "Из тех, кого Ты мне дал, Я не погубил никого". Ученикам Он дает указание бежать, а если нужно, то и защищаться.

Ничего противоречащего принципу: "Поднявшие меч от меча погибнут" — здесь нет: само собой разумеется, что речь идет о тех, кто "первый поднимет меч".

Ничего "недоброго" и странного нет и в чуде со смоковницей. Это лишь то, о чем говорит Христос в Своей прощальной беседе с учениками: "Кто не пребудет во Мне, извержется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают" (Иоанн, 15, 6).

Вообще, когда говорят о любви Божией, о любви Христовой, пламенной и могучей, нельзя сравнивать эту любовь со стародевической сентиментальностью. Любовь, пламенная и могучая, всегда связана с гневом. Это хорошо заметил знаменитый русский поэт:

"Господь, меня готовя к бою,  
Любовь и гнев вложил мне в грудь,  
И Он Десницею святою  
Мне указал правдивый путь".

*(А. К. Толстой)*

Примеры священного гнева мы видим у Христа часто: и в Его обличениях фарисеев, и в Его горьких словах, обращенных к неверующим иудеям, — Христос сам иудей, — и восточный горячий

темперамент свойствен и Ему, как очевидно свойственны и еврейские черты лица, и еврейский язык, и еврейский склад мышления — и все национальные черты, кроме греховных. Отца Сергия смущает “это странное множество бесноватых в Евангелиях (почему их нет теперь?) (стр. 103).

Может быть, отец Сергей слышал когда-нибудь о существовании таких учреждений, как “сумасшедшие дома”? Туда их теперь и сажают. Но в Иудее их не было, и сумасшедшие разгуливали на свободе, а о том, что именно у душевнобольных бывают моменты сверхъестественных тайных откровений и особых мистических переживаний, свидетельствует такой компетентный специалист, как профессор Ясперс, замечательный немецкий философ-экзистенциалист, по специальности психиатр, прошедший большую часть своей жизни в лечении психически больных (в берлинских психиатрических клиниках). Да впрочем, и не только в психиатрических больницах можно и теперь наблюдать явления, аналогичные “беснованию”.

Как православный священник, верно, отец Сергей, служа на приходе, сталкивался с таким явлением, как кликушество, называемое в народе “порчей”.

И наконец, разбор нравственных предписаний Спасителя.

“Дивное учение об Отце Небесном, Который бесконечно милосерд и о всем промышляет. Но Учитель не сказал: почему же Отец Небесный попускает такое зло, такие страдания в своем мире” (стр. 103).

Сказал.

“А это есть суд, что Свет пришел в мир, но возлюбил люди больше тьму, чем свет; ибо были лукавы дела их” (Иоанн, 3, 19). Это греческий подлинник, в русском переводе выражение еще более рельефное: “потому что дела их были злы”. Конечно, Бог мог бы насильно спасти людей от них самих. Гм! Гм! Мы с отцом Сергием видели, что получается из того, когда некоторые “благодетели” насильно спасают людей. Насильно спасать людей нельзя: надо, чтобы сами они внутренне переродились, стали бы новыми, а тогда исчезнут и “зло и страдания”.

“Учитель призывает нас к личному совершенству — богоподобному, доступному разве только редчайшим избранникам ценою безграничного самоотречения; но мы не слышали ничего в поучение нам, обыкновенным, средним людям, для которых невозможна такая личная святость, но которые хотели бы все-таки прожить

людьми хотя бы просто "порядочными", "исполнить долг, завещанный от Бога", нам грешным — в семье, в труде, во всем нашем малом призвании" (стр. 103—104, 118) .

Опять ляпсус. Открываем Евангелие.

"И вот некто подошел к Нему и сказал: "Учитель, что мне сделать благого, чтобы получить жизнь вечную?" Он же сказал ему: что ты Меня спрашиваешь о благом? Есть один только Благой. Если же хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди. Говорит Ему: "какие?" Иисус же сказал: вот какие: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и возлюби ближнего, как самого себя" (Мф. 19, 16—19, перевод с греческого) . Кажется, ясно.

Вот и другая заповедь. "И спросил один из них законник, искушая Его: "Учитель, какая заповедь большая в законе?" Он же сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумом твоим. Это большая и первая заповедь. Вторая, подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22, 35—40) .

Эти заповеди может исполнить буквально всякий.

Но отец Сергей все еще в недоумении. Он все еще не понял, что надо делать, чтобы быть порядочным человеком. Евангелие и здесь ему дает на это четкий и ясный ответ: "Итак, во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте, ибо в этом закон и пророки" (Мф. 7, 12) .

Но и этого мало отцу Сергию; вот еще одна заповедь: "Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся" (Мф. 5, 42) .

Вот вам и "поучение нам, обыкновенным, средним людям, для которых невозможна такая личная святость, но которые хотели бы все-таки прожить людьми хотя бы просто порядочными".

Но юноша в Евангелии этим не удовлетворен, как и обычно не удовлетворены этим и все другие юноши: юноше надо подвига, он ищет подвига.

И в ответ слова:

"Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и отдай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мной" (Мф. 19, 21) .

Каждому свое. Если хочешь быть порядочным человеком, ограничься соблюдением заповедей, если хочешь быть совершен-

ным, откажись от богатства, от погони за благами мира сего и следуй за Христом.

Вот и все!

Далее наш иерей бросает Христу обвинение в том, что "нам предлагается ужасная заповедь — возненавидеть родных". Однако прежде, чем ужасаться, следует уяснить, что именно предлагает Христос. Прежде всего, разумеется, эта заповедь не носит безусловного характера. Как мы видим, юноше, который хочет следовать за Христом, предлагается исполнять заповеди и в том числе чтить отца и мать.

В другом месте мы находим у Христа гневное обличение фарисеев, которые хотят заменить почитание родителей жертвой на храм. "Сказал же Бог: "Почитай отца и мать" и "злословящий отца или мать смертью умрет". А вы говорите: кто скажет отцу или матери: Дар то, чем бы ты от меня ни пользовался, — тот да не почит отца своего или мать свою; и отменили вы Слово Божие ради предания вашего. Лицемеры!" (Мф. 15, 4—7) .

Евангелие, однако, не просто свод нравственных предписаний. Евангелие, как хорошо говорил об этом Митрополит Александр Введенский, — это жизнь. И Христос знает, что практически, когда человек хочет подвига, у него на дороге стоят родители, стоит жена, стоят дети.

В своей книге "Строматы" я говорил об этом. В этой книге я приводил примеры протоиереев и иереев, которые, ссылаясь на своих жен, на семью, шли на ужасные сделки с совестью, предавали людей, — и все мотивировалось одним: "Мы любим и жалеем наших жен, наших детей!"

И вот, как бы полемизируя с ними, Христос восклицает: "Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а также и души своей, не может быть Моим учеником" (Лук. 14, 26) .

"Возненавидит" в том смысле, что Бога, что Истину, что Евангелие надо любить больше всего. И для Истины не щадить ни жизни, ни родных.

Древние греки эту мысль облекли в следующий афоризм: "Платона мы любим, но Истину мы любим еще больше".

Это жизнь. Ибо если бы все люди любили своих родителей, жен, детей больше Христа, больше Истины, то христианство иссякло бы уже в конце первого века, после первых же гонений на христиан. Мало того. Невозможны бы были вообще никакие

революции, никакая борьба за правду нигде и никогда. И даже столь любимый отцом Сергием Эйнштейн должен был бы сидеть в Германии и славословить Гитлера (ради своей жены и детей).

Дальше возражения отца Сергия становятся еще более странными. Чем дальше в лес, тем больше дров. "Учитель проповедовал близость конца мира — и ничего, ничего не сказал о задачах культурного и социального творчества, "строительства" человека на этой земле" (стр. 104).

Если бы я не знал, что отец Сергей священник, если бы я не знал и его лично, то, прочтя эти строки, я мог бы предположить только одно: что он просто никогда не читал Евангелия.

Не желая повторять то, что говорилось нами по этому поводу уже много раз, мы приведем здесь отрывок из нашей книги "Строматы", изданной издательством "Посев" во Франкфурте-на-Майне в 1972 году.

"...Господь называет свое учение Евангелием Царствия. Следовательно, идея Царствия Божия — это центральная идея в Евангелии и во всем христианстве. Царствие Божие вовне мира, в неземных условиях, в Церкви, торжествующей на небесах, — которого достигнут христиане после окончания этой жизни. Но Царствие Божие не только там, — оно здесь, оно должно прийти на землю, — и христиане ежедневно молятся: "Да придет Царствие Твое". Царствие Божие в душах людей — внутри нас. Оно, однако, и вне людей, оно создается и во внешних условиях, в социальной жизни, в обществе; в этом смысл притч Спасителя, в которых Царствие Божие сравнивается с семенем, из него вырастает дерево; с закваской, которая квасит тесто; с неводом, который закидывает рыбак в море. Ибо Царствие Божие — семена его всюду — в искусстве, в науке, в политике, в самой гуще жизни, и от людей зависит приблизить его торжество на земле" (А. Краснов, "Строматы". Изд. "Посев", Франкфурт-на-Майне, 1972, стр. 61—62).

Далее: "Личное богатство осуждено, но как же было не осудить рабство? Но в Евангелиях оно упоминается как явление нормальное, едва ли не должное" (стр. 109).

Что здесь сказать? Скажу следующее: "Помните, отец Сергей, как вы ко мне пришли в мою уютную лачужку в Ново-Кузьминках, в которой было всего 11 метров, и как мы с вами топили печь, которая через 2 часа остывала, и мы с вами набрасывали на себя все что только могли, чтобы согреться? Помните, конечно.

Ведь в таком же точно положении были и вы в вашем утлом домишке в Люботове, на окраине Пскова.

Как вы думаете, очень было бы уместно, если бы в это время мы стали уговаривать друг друга, что не надо иметь дворцов, банков и что следует миллионы рублей раздать нищим? Вероятно, если бы кто-то нас подслушал, решил бы, что мы сумасшедшие; у людей дров нет, а они говорят о дворцах и о миллионах. Но ведь точно в таком же положении был и Христос. Начать с того, что после Вавилонского пленения у евреев вообще не было рабства (рабом мог быть только иноплеменник), а после того, как сами евреи превратились в покоренный народ, у них не могло быть завоеванных иноплеменников.

Исключения, разумеется, представляли лишь особо богатые и знатные евреи (первосвященник или придворные), но и у них количество рабов могло исчисляться лишь единицами (где же они их взяли бы во множестве?). Но этих богачей Христос и в глаза не видел. Он проповедовал среди бедных евреев, рыбаков, обездоленных, несчастных обитателей лачуг и лачужек; разве что мытарь (сборщик податей) мог ему попасться на пути. Но и он (мелкий чиновник, фининспектор, сбиравший подати с бедноты) никаких рабов, конечно, иметь не мог. Вполне естественно, что говорить о греховности рабства здесь не имело никакого смысла. В своих притчах Христос часто пользуется примерами, взятыми из рабовладельческого быта, точно так же, как мы часто пользуемся примерами, взятыми из быта дворцов, аристократических особняков, приводим примеры из романов И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и т. д. Из этого же не следует, что мы имеем ко всему этому хоть малейшее отношение. Эти примеры носят чисто литературный характер. А о богатстве и его греховности говорить имело смысл, ибо именно в это время евреи превращаются в народ купцов и торговцев. Фарисеи и саддукеи рабовладельцами не были, но были торгашами, причем страсть к наживе, к торговле все более и более овладевала народом; она гнала евреев прочь от родины, в чужие, далекие страны, — и это было причиной того бедственного положения, в котором очутился впоследствии еврейский народ, окруженный ненавистью остальных народов. Поэтому Христос и ополчился против богатства, против всякого богатства, — а рабовладение, разумеется, является одним из главных признаков богатства.

“У нищих прислуг не бывает”, — гласит русская поговорка.

Тем более рабов. Какие уж рабы у человека, у которого только одна одежда (та, что на нем) и кусок хлеба — и только на сегоднешний день. А таковы были истинные христиане.

Но будем следовать дальше за отцом Сергием. “Странные заповеди — подражать беззаботности птиц небесных (хотя они вовсе не беззаботны)” (стр. 104).

А что, собственно, тут странного? Христос вовсе не говорит о беспечности или о лени; Он говорит об отсутствии среди птиц накопительства, страсти к наживе. Прочтем эту заповедь полностью, от начала до конца: “Не можете Богу служить и богатству (маммоне). Поэтому говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Посмотрите на птиц небесных: они не сеют и не жнут и не собирают в житницы...” (Мф. 6, 24–26).

“Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе; довольно для каждого дня беды его (в русском переводе — “заботы его”) (Мф. 6, 26).

Именно так мы и жили с отцом Сергием. Что-то, а уж эту заповедь мы с ним соблюдали с буквальной точностью. Никогда у нас за душой не было ни гроша, и никогда мы с ним не думали о завтрашнем дне и не копили деньги, — и ничего, прожили жизнь. Да и мы ли только? И все наши друзья и близкие люди. Этой заповедью Христос преграждает путь к обогащению, к неравенству, к рабовладению, феодализму, капитализму, господству советских нуворишей, ибо стремление к накоплению и есть главная причина всех бед, всех зол — ненависти, звериной злобы, так называемой классовой борьбы. Эта заповедь не нравится отцу Сергию? Он предпочитает погоню за богатством? Невольно возникает вопрос: зачем же он ее соблюдал всю жизнь и, дожив до старости, так ничего и не накопил?

О себе он может сказать словами Некрасова:

“Есть и овощ в огороде —  
Хрен да луковица.  
Есть и медная посуда —  
Крест да пуговица”.

А почему так? Да потому, что он не стремился к богатству (хотя, как священник, мог бы его, если бы хотел, накопить), а всю жизнь искал Царствия Божия и Правды Его. Так отец Сергей

своей жизнью сам опроверг свои рассуждения о "странности" этой заповеди.

Такой же странной кажется отцу Сергию и заповедь о "непротивлении злу насилием". В своей работе о Л. Н. Толстом я пытался разобрать эту заповедь (см. "Граф и пахарь" в книге "Лихие годы"). Не желая сейчас повторять то, о чем много и подробно говорилось, укажу, что отец Сергей всю жизнь также исполнял эту заповедь: он никогда ни с кем не дрался (уверен в этом), никогда никому не мстил, и даже, получив от меня ругательное письмо, не ответил тем же и сделал вид, что это письмо до него не дошло, — и ничего, живет и прожил жизнь хорошо и радостно, не имеет никаких врагов и со всеми находится в дружеских отношениях (не считая, конечно, идейных противников). Лучше ли было бы, если бы вместо этого он занимался ссорами и склокой? Думаю, что не лучше.

Так, отец Сергей своей жизнью сам опроверг свои рассуждения о "странности" этой заповеди.

Странной кажется отцу Сергию "похвала оскотившим себя ради Царствия Небесного". Пусть, приехав к себе в Псков (отец Сергей больше живет теперь в Москве и в Питере у друзей и родственников, но в Пскове, конечно, бывает), пусть он взглянет на портрет своего учителя епископа Антонина и вспомнит следующие его слова: "Живую церковь признаю Антихристовым, Иудино-торгашеским порождением. Отвержение ею аскетизма и поношение самой аскетической идеи считаю подрывом самого главного нерва христианства, отрицанием главной силы его и поношением Божией Матери, Святого Иоанна Предтечи и великих героев христианского духа" ("Труды первого Всероссийского съезда или Собора Союза Церковного Возрождения", Торопец, 1925 г., стр. 31).

Был ли, однако, прав епископ Антонин, когда в столь резких выражениях выступал в защиту монашества? Да, он был совершенно прав. Весь смысл, вся цель христианства в том, чтобы сделать человека существом духовным, чтобы усилить в нем духовные потенции, чтобы преодолеть в нем все животное, земное, низменное. Поэтому Христос и одобряет тех "героев христианского духа", кто находит в себе силы сублимировать всю свою энергию, все свои силы и всего себя отдать на служение Богу, разумеется, ничего никому не навязывая и ни к чему никого не принуждая, по принципу: "Могий вместить, да вместит".

“А в некоторых местах, — пишет далее отец Желудков, — проглядывает национальная ограниченность, иудейская провинциальность Учителя. Или это Ему приписано евангелистами?” (стр. 104) .

Нет, никто никому ничего не приписывал. Отец Сергей, видимо, имеет в виду то место из Евангелия от Матфея, где рассказывается о том, как жена Хананеянка с криком требовала исцеления дочери и первоначальный жестокий ответ Спасителя: “Я послан только к погибшим овцам дома Израилева” (Мф. 16, 24) .

Что здесь можно сказать? Мне вспоминается рассказ из жизни отца Амвросия, знаменитого Оптинского старца. Однажды пришла к нему цыганка и стала кричать: “Погадай мне, батюшка!” Но ведь всякое чудо имеет, как это говорит сам отец Сергей, нравственный характер, — чудо же без веры в Бога есть кощунственное волхование, фокус-покус.

Но нечто подобное было и у хананеев: приверженцы экзотических, а иногда и отвратительных, зверских культов, они были особенно привержены всевозможным гаданиям, ворожбам и т. д. Хананеянка и к Христу пришла как к чародею. Отсюда ответ Христа: “Я послан только к погибшим овцам дома Израилева” (подтекст такой: хотя и к погибшим, но все-таки верующим в Единого Бога и от Него ожидающим исцеления) .

И отсюда дальнейшие суровые слова: “Нехорошо взять у детей хлеб и бросить собакам” (Мф. 15, 26) .

Это невежливо, нелюбезно, — но Христос — это Учитель, говорящий, как власть имеющий, “жгущий глаголом сердца людей”. И это почувствовала и поняла жена-хананея. И проникновенный ответ: “Да, Господи, ведь и собаки едят от крошек, падающих со стола господ их” (Им. 15, 27) . В этом ответе признание превосходства веры в Единого Бога, смирение и любовь к Христу.

И ответ: “О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе, как ты хочешь”. И была исцелена дочь ее в час тот” (Мф. 15, 28) .

Нет, не национальная ограниченность в этом прекрасном месте, а непримиримое отношение к неправде, суровая требовательность и великая любовь. Мы бы с отцом Сергием не сказали женщине суровых слов, но ведь и не помогли бы ничем ее дочери. Но у Христа в руках сверхъестественная власть — власть вязать и решить, власть обличать и спасать, власть Божественной любви и Божественного гнева.

И наконец, заключительные сомнения отца Сергия: “Да и кто это мог “подслушать” искушения в пустыне, Гефсиманскую мо-

литву? Не являются ли Евангелия в этих местах произведениями религиозно-творческого воображения?" (стр. 105).

Опять ляпсус на ляпсусе. Сначала о Гефсиманской молитве. Слышали ее, по крайней мере, трое: апостолы Петр, Иоанн и Иаков, слышали ее и все другие ученики, стоявшие немного поодаль. Христос и просил их участвовать вместе с Ним в молитве. Правда, они потом задремали, и Христос будил их с упреком. Но ведь не все время же они дремали: что-то (то есть основное — "да мимо Мя идет чаша сия") они все-таки слышали. И видели они, как Учитель молился, и видели пот, как капли крови, у Него на лице. Поэтому рассказ об этом не внушает ни малейшего сомнения.

Что касается искушения в пустыне, то знать это они могли от самого Христа, Который вовсе не делал тайны из своих сверхъестественных видений. Сравним слова Спасителя в другом месте: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".

На этом, кажется, и кончаются основные сомнения отца Сергия в истинности Евангелия.

Заканчивает отец Сергей этот раздел словами Лафатера: "Бесчисленны и страшные сомнения верующего христианина". Мы бы хотели к этому прибавить, что и весьма неубедительны.

\* \* \*

Столь же неубедительны и сомнения отца Сергия в догматических истинах и его сомнения в божественных знамениях, в воскресении и в Вознесении Христа. Но мы скажем об этом в заключительной главе этой книги, а сейчас нам хочется поделиться с отцом Сергием и с другими нашими читателями одним нашим юношеским стихотворением:

"Их было двенадцать смелых,  
Рвущихся в небеса,  
Но ужас в глазах осовелых,  
И вихорь порвал паруса.

"На злую, страшную гибель  
В волнах у морского рифа  
Обрек нас всех Учитель", —  
Сказал обомлевший Кифа.

“Хуже, чем царь-гонитель,  
Хуже книжника, фарисея,  
Послал нас на смерть Учитель”, —  
Прошептали уста Андрея.

“На скале, просветленный зраком,  
В ожиданье великого чуда,  
Он забыл о покрытых мраком”, —  
Злобно сказал Иуда.

И тучи нависли черно,  
И чаек морских караван,  
И вдаль все глядит упорно  
Молодой ученик Иоанн.

И Христос, просветленный зраком,  
Весь обрызган соленой волною,  
К позабытым, покрытым мраком,  
Буревою идет стезею”.

Мы с отцом Сергием никогда не были с Иудой. Мы иногда задавали Христу вопросы вместе с Фомой и всегда, в бурю и вихрь, которые свирепствовали над родной страной, всматривались вместе с Иоанном, желая различить сквозь вздымающиеся волны и крошечную тьму Христа-Жизнодавца! И слушали слова Его свидетельства. (И тот, кто был с Фомой, и тот, кто без конца грешил, но был при ногах Иоанна.)

“Свидетельствующий говорит: Да, гряди скоро.  
Аминь, гряди, Господи Иисусе” (Апок. 22, 20) .

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### В ЗЕНИТЕ

1962 год. Опять переломный год в моей судьбе. Закончил "Очерки истории церковной смуты". Прекратилась регулярная помощь Владыки Мануила.

Этой же весной поехали мы с Вадимом на Кавказ. Дело было так. После многих заявлений Вадима послали на медицинскую комиссию для подтверждения инвалидности. Комиссия, разумеется, полностью подтвердила, что он инвалид второй группы. Одиннадцать ранений, полученных на фронте, и страшная рана в голову — перед этим даже КГБ бессилён. Пришлось восстановить ему инвалидность. И даже чекисты после этого сбавили тон. Стали говорить: "Конечно, он заслуженный человек, он кровь проливал, но..." Все было в этом "но": его не жаловали, но, кажется, от него отстали. Вадим получил всю пенсию, которую ему не давали 2 года, со времени знаменитой статьи, и предоставили ему путевку в санаторий в Железноводске. У меня в это время в моем богатырском здоровье также стали появляться трещины (первые трещины!). Я стал побаливать. Болезнь печени. Болезнь, о которой мой старый лагерный друг Кривой (мы еще тогда с ним переписывались!) говорил: "Это болезнь, от которой не умирают, хотя и не живут!"

И вдруг я решил: "Дима! Я еду с тобой на Кавказ". Достал 2 тысячи (200 рублей). Взял вперед у Архиепископа авансом. И поехали на Кавказ. Я жил в Пятигорске, обитал в доме крестьянина (по дешевке), — 15 человек в комнате, гулял по Пятигорску, пил нарзан (болезнь печени после этого на долгие годы прошла бесследно) и писал свои воспоминания о Введенском ("Закат обновленчества"), а Вадим по соседству в Железноводске отдыхал, лечился. Там он встретил девушку, о которой однажды сказал, приехав в гости ко мне в Пятигорск: "Если представить себе невозможный случай, что я увлекусь Тоней, то ездить в Пятигорск уже так часто не буду".

Через два дня произошел "невозможный случай". И с этого времени начинается тяжелый крестный путь личной жизни Вадима: неудачный брак, отчаяние, затем опять воскресение — все то, о чем я по понятным причинам рассказывать здесь не буду. После этого Вадим перестал заниматься активной церковной деятельностью, а от политики, которой я вскоре увлекся, он всегда был далек. Однако дружбе со мной он остался верен до сегодняшнего дня: это самый верный и преданный друг, которого я имел в жизни. Брат. Родной брат! И больше, чем брат!

Не было случая, когда мне грозила бы какая-либо опасность — арест, суд, лагерь, — чтобы он не бросился мне на помощь. И когда меня судили, на вопрос судьи, обращенный к нему как к свидетелю, он ответил: "Я имею счастье быть другом и братом Анатолия Эммануиловича". Надо знать подлые нравы советских людей, чтобы оценить этот ответ. Другие так не отвечали.

\* \* \*

В это время появляются новые люди в церкви, новые люди у меня на горизонте.

Однажды, когда я был в гостях у Александра Меня за городом (он тогда был еще диаконом и служил по Белорусской железной дороге), к нему перед обедом приехал рыжеватый молодой человек, который привез из города ящик с провизией. (В том месте, где служил Меня, ничего нельзя было достать.) Оживленный, быстрый, но скромный. Увидев меня, поздоровался и назвал свое имя — "Глеб". Это был ныне широко известный во всем мире и тогда еще никому не ведомый Глеб Павлович Якунин. Мог ли я думать, что это эпизодическое знакомство сыграет столь большую роль в моей судьбе. Потом, впрочем, выяснилось, что мы с ним были знакомы уже раньше, но я этого совершенно не помню.

Глеб об этом раннем знакомстве рассказывал так: "Захожу я раз в ЖМП (обычное сокращение "Журнала Московской Патриархии"), вижу в коридоре какой-то еврейчик (что ты скажешь, — опять еврейчик!) кричит, шумит. Я спрашиваю: кто это? Мне говорят — Краснов".

Так или иначе, знакомство состоялось. Мой новый знакомый был тогда еще молод: ему было 25 лет. Прежде всего о его родословной. Где-то в Одесской области есть крохотный городок

Ананьев. В этом городке с незапамятных времен проживала мещанская семья Здановских. Выходцы из поляков, но уже давно принявшие православие. Хорошие, простые, добрые люди. И глубоко религиозные. Религиозность у них у всех была необычная, преданность Богу особая. У бабушки Глеба было очень много детей; многие выжили, но многие умерли. Умерла у нее однажды дочь 16 лет, красавица. Мать не скорбела, говорила: "Я отдала ее Богу". Однако во время похорон проговорила. Спрашивает у нее старшая дочь Клавдия (мать Глеба): "Мама, неужели тебе нисколько не жаль?" Ответила: "Вот, когда будут у тебя дети и будешь ты их хоронить, увидишь, жаль или не жаль".

Рядом с их домиком и огородом жило знатное дворянское семейство, заброшенное сюда революцией. Якунины. Глава семьи, добродушный русский человек, был военным, затем перешел на гражданскую службу: был сначала самарским вице-губернатором, потом губернатором в Новгороде. Славился своим добродушием, был любим подчиненными. После революции, однако, пришлось быстро погрузиться в неизвестность ("стушеваться", как говорит в таких случаях Достоевский). Он уезжает в глухой южный городишко, покупает тут домик. У него много детей. И старший сын — талантливый молодой человек. Окончил университет, затем консерваторию по классу скрипки. И ему приглянулась молодая соседская девушка, живая, веселая, чернобровая. Типичная украинка. Клавдия Здановская. И он женился. Шокинг всей дворянской семьи, сохранившей еще в те времена родовую спесь. Но Павел Иванович Якунин не ошибся (это поняла еще тогда его мать, которая горой стояла за свою невестку): лучшего выбора сделать действительно было нельзя.

Малообразованная, но с умом живым, скептическим, быстро все схватывающая, все понимающая с полуслова, много читавшая, религиозная, она имела большое сердце: идеальная жена, исключительно любящая мать, общительная, сердечная, она очень интересовалась людьми, любила людей. Кому только она ни помогала в жизни, кого только ни принимала, кому только ни делала добро. В то же время с темпераментом живым, горячим, — могла и вспыхнуть, могла быть и колкой, но все сразу проходило, как рукой снимет. У нас с ней были сходные характеры, поэтому впоследствии мы стали с ней закадычными друзьями. Вспоминаются многие характерные эпизоды из нашей дружбы.

Захожу я к ней как-то под вечер вместе с молоденькой дамой,

женой одного из моих "подшефных", студента-выпускника Московской Духовной Академии. Она нас встречает восклицанием: "Вот хорошо, что вы пришли!" "А что так вы нам рады?" — говорю я. "Да нет, я вам нисколько не рада, но для ровного счета: сегодня с вами ровно 25 человек гостей". И для каждого найдется тарелка супа, краюшка хлеба и умное, веселое слово.

Вся церковная Москва (и не только церковная). Кому негде ночевать, негде пообедать, чужие люди, которых она в глаза не видела, — все к Клавдии Иосифовне.

Любила людей и хорошо их знала. Помню, уже незадолго до смерти, когда она лежала в больнице и надо было около нее дежурить ночами (дежурили сестры), я предложил: "Давайте сегодня я у вас подежурю, пусть они отдохнут". И уже полуживая Клавдия Иосифовна заметила: "Вам самому нужна нянька". Что правда, то правда. Проницательность и остроумие не покинули ее и в эти последние дни ее жизни.

В тридцатые годы переехала она со своим мужем в Москву. Поселились на Арбате; муж работал скрипачом. А 4 марта 1934 года родился у нее сын, названный Глебом. Единственный сын, в котором она души не чаяла. Видал я много любящих матерей, но таких, как Клавдия Иосифовна, пожалуй, только одну — мою бабушку.

Помню однажды (она уже тогда была больна) лежит Клавдия Иосифовна на постели, я сижу на диване поодаль, разговариваю с ней. Вдруг лицо у нее светлеет, преображается, становится радостным. Что такое? Оказывается, в комнату (мне на диване не видно) вошел Глеб.

И так всегда. Еще когда Глеб был мал, имел место случай, за который она себя впоследствии упрекала: однажды шестилетний ребенок заболел дифтеритом. Родители дежурили у его постельки, ожидая кризиса. Спрашивает у нее муж, Павел Иванович: "Если бы ты могла выбирать, что бы ты предпочла: чтобы умер он или я?" И вдруг вырвалась у молодой матери жестокая фраза: "Ты, конечно, ты". "Какая дура, — ругала себя потом Клавдия Иосифовна, — он даже побледнел".

Но вот наступает война. Осенью Якунины эвакуируются из Москвы куда-то на Волгу, в маленький городишко. Живется плохо. Тоска зеленая. Музыканты здесь никому не нужны. И решает Павел Иванович один вернуться в Москву, с тем чтобы потом перетащить туда семейство. С большим трудом возвращается.

Но оказывается, и в Москве в это время музыканты никому не нужны. Устраивается кочегаром. Карточки первой категории. Но плохо идет работа у дворянского сына, уже немолодого человека, не привыкшего к физическому труду. Напрягается из последних сил. И в 1944 году внезапный инфаркт. За год до окончания войны подстерегла его смерть.

Клавдия Иосифовна очень долго скрывала от десятилетнего мальчика смерть его отца. Плохо было в эвакуации: тяжело было одинокой женщине, не имеющей специальности, прожить, имея на руках ребенка.

Но вот война окончена. Возвращение в Москву. Но и здесь не легче. Клавдия Иосифовна работает на почте. А иной раз приходится ходить на вокзал подносить вещи богатеям и за это получать на чай. Хрупкая, худенькая и уже тогда больная женщина носит тяжелые чемоданы здоровым, крепким офицерам и генералам, которые идут налегке со своими дамами. На выговоры старых знакомых отвечает: "Ну, и что ж такое: корона у меня с головы от этого не свалится".

Не свалилась, и мальчик не знал никаких забот. Воспитывался, как принц. Вот в Москве осенью очередной спортивный праздник — футбольный матч. Билеты стоят дорого. С большим трудом достает Клавдия Иосифовна мальчику билет. Один билет. Провожает его в Лужники, на окраину города, к стадиону. Дает Глебу билет. А сама не идет: на второй билет денег нет. Говорит мальцу, что она пойдет гулять, потому что не любит футбол. А сама четыре часа топчется у выхода, ожидая ребенка. Может быть, читателям покажется странным, что я после патриархов, митрополитов, поэтов так много места уделяю простой женщине. Но как ужасен был бы мир, если бы не было таких женщин!

"Все мы вышли из "Шинели", — говорил Достоевский про повесть Гоголя, героем которой был маленький, незаметный человек.

"Все мы вышли из маминого салоп", — скажу я. Из рук любящих, простых женщин, которые с детства нас учили своим примером, своей самоотверженностью, что такое добро, человеческая ласка, самоотверженность.

Таких женщин, как моя бабушка, няня Поля и Клавдия Иосифовна. Насколько ближе они к Божией Матери, чем ученые богословы со своими холодными рассуждениями о Неопалимой Купине.

Уже в детстве Глебу пришлось познакомиться с двумя своими тетушками. Агафья и Лидия, — обе они были в армии, все четыре года на фронте в качестве зенитчиц. Молодые, красивые и такие же, как вся их семья, глубоко верующие, добрые, кристально честные.

Тяжела была их участь. В Москве их не прописывали. Во время ночных проверок приходилось им идти через черный ход на лестницу и там скрываться, пока не пройдет обход. Но Глеб получил в придачу к любящей маме еще двух мам, таких же заботливых, любящих и добрых. Вскоре, впрочем, все стало на свои места: Агафья Иосифовна тоже стала работать на почте, а через некоторое время поступила к одной старой даме, жене известного профессора, которая также была доктором филологических наук, автором популярного учебника французского языка и профессором одного из институтов. Она уже давно потеряла мужа, сама сильно болела, не имела ни одного родного, близкого человека. Она взяла к себе Агафью Иосифовну, официально оформила ее как свою опекуншу. И Агафья Иосифовна поселилась с ней, жила около нее до самой ее смерти. Ухаживала за ней как за родной матерью и похоронила ее через 20 лет совместной жизни.

Что касается Лидии Иосифовны, то она имела профессию корректора и была непревзойденным мастером своего дела. Она быстро нашла себе работу по специальности.

Между тем Глеб рос мальчиком живым, с пытливым умом, в меру озорным и добрым. Вместе со всей семьей он исполнял все религиозные обряды, так как семья была не только религиозная, но и глубоко церковная. Иконы с зажженными лампадами во всех комнатах, постоянные посещения храмов, знакомство со священниками, тщательное соблюдение постов — таков был стиль семьи.

Но вот, когда Глебу было 14 лет, в 1948 году, у него происходит неожиданный поворот: он охладевает к церкви. И однажды в Великом посту, когда три сестры говели, собирались причащаться, они разбудили рано утром Глеба, и он ответил: "Делайте со мной что хотите, но я не пойду". И с этого времени Глеб становится атеистом.

После окончания школы он избирает себе своеобразную профессию — профессию охотоведа. Его привлекает романтика, ро-

мантика природы, лесов, зверей. Перед ним носится образ лейтенанта Глана и других героев Гамсуна. Он поступает в один из подмосковных институтов, а вскоре его институт переводят в Иркутск. Здесь он встречается с молодым евреем-богоискателем, только что приехавшим из Москвы, с Александром Менем. Это знакомство имело большое значение в жизни Глеба: он до сего времени видел только верующих женщин — маму и тетюшек. Чудесных, любящих, но не ученых. И вот теперь он сталкивается с мыслящим, образованным, превосходящим его по культуре человеком. Под его влиянием Глеб углубляется в богословскую литературу: читает запоем В. С. Соловьева, Бердяева, Булгакова — и в конце концов становится глубоко верующим христианином.

Безграничная радость его родных. Глебушка возвращается в Москву, заявляет, что он хочет поступить в Академию. Но Клавдия Иосифовна (несмотря на свою доброту и любовь к сыну) умела быть и строгой. Ее ответ: "Сначала принеси мне диплом, а там делай что хочешь". Глеб действительно окончил институт. В момент моего с ним знакомства он находился на распутье. Он уже порвал с прошлым — вошел в церковь, служил псаломщиком в одном из московских храмов. Когда вскоре после моего с ним знакомства мы ехали вместе в пригородном поезде, все к тому же Меню, который стал в это время уже священником в Алабыне, под Наро-Фоминском, я спросил у Глеба словами из гоголевской комедии: "А не собирается ли барин жениться?" Оказалось, попал в точку. В Иркутске у него была невеста — Ираида (Ира), девушка-сибирячка, по-русски красивая.

Именно по-русски. Ибо русская красота особая, как и русская природа. Русские женщины отличаются от женщин южных, восточных — евреек, итальянок, французенок и даже украинок. Их красота неяркая, мягкая, лирическая.

Глеб сказал: "Сейчас решается вопрос: я женюсь на ней или не женюсь вовсе". Вскоре, действительно, Глеб стал женатым человеком. А 10 августа 1962 года он был рукоположен Преосвященным Леонидом, архиепископом Можайским, в священника. (Накануне он был рукоположен им же в диакона.) Рукоположение происходило в Новодевичьем монастыре, в Успенском храме.

Выше я говорил, что знакомство с Глебом сыграло решающую роль в моей жизни. Действительно, в день его рукоположения я был в Новодевичьем храме. Когда я вышел из храма через боко-

вые двери, приложившись к кресту и поцеловав руку только что рукоположенного священника (отец Глеб давал крест), я увидел группу родных Глеба. Мама его была в это время в Ананьеве, с Агафьей Иосифовной я был знаком. Здесь меня познакомили с какой-то красивой, одетой с большим вкусом интеллигентной дамой. Она мне сказала: "А я вас знаю давно". Здесь меня что-то осенило. Я вскрикнул: "Лидия Иосифовна!" Она сказала: "Да".

\* \* \*

В 1955 году, когда я находился в лагере под Куйбышевом, там был священник отец Иоанн Крестьянкин. После его освобождения я стал получать посылки от какой-то неизвестной мне дамы, которая подписывалась "Лидия Иосифовна". После смерти отца она была у моей мачехи. Это была духовная дочь о. Иоанна. Я чувствовал себя глубоко ей обязанным. После освобождения стал ее разыскивать. Тщетно. Никто ничего не мог мне о ней сказать. И вот встретил ее через 6 лет после освобождения, когда уже давно потерял надежду ее разыскать. Ныне это моя жена.

## МОЛЧАЛИВОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

О самой любимой и близкой, которая категорически запретила мне что-либо о ней писать.



Примерно в это время я познакомился и с другим священником, которому предстояло сыграть роль в церкви. С отцом Николаем Эшлиманом. Это была полная противоположность Глебу.

Человек барственно-эпикурейского типа. Из хорошей семьи. Сейчас, живя в Швейцарии, я часто его вспоминаю. Эшлиман — здесь очень распространенная фамилия. Его предок действительно был швейцарцем, и до 1937 года его родители считались швейцарскими подданными.

Его пращуру в России повезло. Приехав в качестве скромного учителя музыки, он женился на дочери знаменитого композитора и аристократа Верстовского. Его семья, несмотря на все потрясения тридцатых годов, сохранила барственный уклад жизни. Характерный момент: в их семье жила до самого последнего времени (не знаю, как сейчас) старая нянюшка, отец которой был крепостным деда отца Николая.

Николай Николаевич — по специальности художник, однако его тянуло к служению церкви. Благоволивший к нему Владыка Пимен рукоположил его в диакона и в священника. Однако отец Николай по своему *habitus'у* резко отличался от тогдашнего архиепископа (нынешнего Патриарха) Пимена. Он впитал крепкую традицию старой дворянской семьи. Разумный консерватор (чуждый каких-либо одиозных моментов), он питал глубокое отвращение к промозглому, гнилому духу сикофанства и прислужничества, который царил в Патриархии.

В ближайшем окружении отца Николая появляется в это время человек, о котором я много писал во втором томе моих воспоминаний. Некий Феликс Карелин. Так как ему пришлось сыграть некоторую роль в последующих событиях, скажу несколько слов о нем и теперь.

Человек смешанной национальности: отец у него еврей, мать — немка. Сам ярый русский патриот (как все обрусевшие). Еще более экзотично его (выражаясь советским языком) "социальное происхождение". Дед — фанатичный еврей. Отец, порвавший с семьей, становится эсером, примыкает к левому крылу этой партии и даже принимает фамилию одного из лидеров левых эсеров, известного Карелина. После Октября идет работать в "органы ЧК" вместе с левым эсером Блюмкиным. Затем вместе с ним переходит в коммунистическую партию.

Но наступает 1937 год. Вспоминается господину Карелину его левоэсеровское прошлое. Он был арестован и расстрелян.

Сын его Феликс, названный так в честь Дзержинского, рос без отца. Сиротство. В ранней юности попадает в руки МГБ. Его, однако, не арестовывают. Одинокое детство, нужда, полная перспективность в будущем, так как он сын врага народа, — все это такой материал, который можно легко использовать. Будучи юношей, Феликс становится агентом КГБ (выражаясь официальным языком, "сексотом" — секретным сотрудником). Его направляют в молодежную подпольную организацию так называемых "йогов", руководимую Федоровым, Красиным и другими. Однако дух этой организации, дух бурлящей, ищущей, хотя и неустойчивой молодежи на него действует.

Вскоре (как я уже рассказывал) он признается в своей подлой роли своим товарищам и пишет в МГБ заявление с отказом работать в качестве агента. На другой день всех членов организации арестовывают, а через неделю арестовывают и Феликса. Его осуждают к десяти годам лагерей, посылают в знаменитый Тайшет (за Иркутском). Там он, чтобы полностью размежеваться с прошлым, убивает стукача. За лагерный бандитизм ему дают еще десять лет.

Затем, попав под влияние одного заключенного священника, он принимает от него крещение и становится ярым проповедником религии среди заключенных. К моменту моего с ним знакомства он находился на перепутье. Много раз он пытался стать священником, но всякий раз наталкивался на железное вето КГБ, который действовал через уполномоченных по делам Православной церкви. Он был полон эсхатологическими чаяниями, толковал Апокалипсис, имел приверженцев. Со мной, впрочем, на эти темы он никогда не говорил, видимо, понимая, что "не в коня корм". Однако однажды я имел с ним спор по церковным вопросам и убедился, что это типичный митинговщик.

Отсутствие прочных знаний и серьезной аргументации заменяется у него эмоциональными выкриками и довольно дешевым пафосом. Но на неустойчивых юнцов он, конечно, может оказывать влияние. Тем не менее человек искренний и убежденный, он, конечно, не мог быть поклонником Патриархии и довольно прочно вошел в наш круг религиозной интеллигенции.

Одним из самых близких друзей Глеба и моим является также человек, ныне приобретший всеобщую известность. Молодой,

только что тогда рукоположенный священник отец Димитрий Дудко. О нем я также уже писал много. Придется кое-что повторить и кое-что дополнить.

Димитрий Сергеевич (Митя, как его тогда еще называли старые друзья) был человеком из народа. В нашей среде отец Димитрий занимал особое положение: это священник *par excellence*, священник с головы до ног; он упивался своим пастырством, жил своим пастырством, дышал своим пастырством. И в то же время это человек из народа.

Важно здесь не его происхождение; и Анатолий Васильевич был выходцем из крестьянской семьи, и Владимир Рожков — сын рабочего, и у Вадима Шаврова дед и бабка по отцу были крестьянами.

Важно другое: у отца Димитрия сохранилось чувство кровной связи с народом. Иногда, в веселую минуту, он любил цитировать Есенина: "Отец мой был крестьянин, ну, а я — крестьянский сын".

Он действительно крестьянский сын. С живым умом, с практическим смыслом, с большим добрым сердцем. Сын русской деревни, давшей миру Ломоносова, вдохновлявшей Пушкина, Кольцова, Некрасова, Льва Толстого, Достоевского. Деревня, на которую возлагали свои надежды русские народники: Чернышевский и Добролюбов, Лавров и Михайловский. Деревня и сейчас является основой России. Поруганная, полуупустошенная деревня. И возрождение России я представляю себе прежде всего как возрождение русской деревни.

Отец Димитрий — человек, сохранивший, несмотря на широкую образованность, крестьянский склад мышления, доброе крестьянское сердце, крестьянский ум, — залог того, что не иссякли еще в народе неисчерпаемые духовные силы.

И наконец, самое главное. Димитрий — духовник, сердцевед. Ему всегда был свойствен необыкновенный интерес к людям, интерес пристальный и любовный. Отсюда его любовь к литературе. И его художественные произведения (к сожалению, не опубликованные).

Отец Димитрий — духовник, психолог прежде всего и больше всего. И этим объясняется специфическая особенность его как проповедника. Его проповедь — это не ораторская речь, не изыскания глубокого богослова, это прежде всего ответы на недоуменные вопросы его духовных детей.

Таковы его беседы в Никольском храме в 1973—1974 гг., из-

данные за границей, переведенные на многие языки, создавшие ему мировую славу. Таково и большинство его проповедей. Это всегда одно из двух: или прямые ответы на вопросы, которые задаются ему в письменном виде, или ответы на подразумеваемые вопросы — на вопросы, которые задавались ему шепотом, под епатрахилью, когда он стоял во время исповеди перед аналоем с крестом и Евангелием.

В этом его сила как проповедника: его беседы производят впечатление искренности, задушевности, дружеской интимности.

\* \* \*

Отец Димитрий всю жизнь занимался самообразованием, всюду и везде. У себя в деревне, совсем еще не оперившимся юнцом, в Семинарии, в Академии (характерно, что и в тюрьму он попал за стихи), и в лагере, и после лагеря, уже будучи священником, и вплоть до сегодняшнего дня. Он является широко и всесторонне развитым человеком. И вполне стоит на уровне культурных людей, интеллигенции наших дней.

Но было трудно. Очень трудно. Это не то, что мы с Менем, которые с детства были окружены книгами и которых пичкали знанием со всех сторон: и родители, и учителя, и учительницы, и дядюшки, и тетюшки. И о себе он может сказать с еще большим правом, чем Брюсов:

“Мне Гете близкий,  
Друг Вергилий,  
Верхарну вся моя любовь,  
Но ввысь всходил не без усилий  
Тот, в жилах чьих мужичья кровь”.

\* \* \*

Итак, напомним еще раз его биографию. Он родился 24 февраля 1922 года (значит, в описываемое время ему было 38 лет); однако за спиной у него было бурное и мучительное прошлое.

Его родина — село Забруда, Брянской области. Брянская область — преддверие Белоруссии — это всегда была одна из самых нищих и горемычных областей России. Сплошные болота. Период коллективизации (тридцатые годы) там переживался особенно

болезненно. И одно из первых воспоминаний Мити Дудкова (буква "в" потом случайно выпала из его фамилии при получении паспорта) — это момент, когда в избу ворвались местные власти и стали утаскивать мешок с мукой, а старик отец (глава горемычной семьи) повалился на мешок и стал кричать: "Не отдам, не отдам! У меня дети умрут с голоду!"

Но старика, разумеется, оттолкнули и мешок забрали.

Затем учеба в школе. Митя идет одним из первых, считается хорошим, способным, прилежным мальчиком. Но уже с раннего детства религиозность. Религиозность стихийная, ибо церкви в селе не было, священников уже давно здесь никто и в глаза не видел. Он любит читать Евангелие, ходит по избам и читает Евангелие вслух односельчанам. Отец удивлен и смущен; иногда он говорит: "Ты, верно, больной". Но в быту он веселый, в меру баловной, обыкновенный крестьянский парень. Только матом ругаться никогда не мог, — среди современных деревенских парней (и не только деревенских) это большая редкость.

Затем война. Немецкая оккупация. Освобождение Брянской области от немцев. Армия. После окончания войны поступает во вновь открытый Богословский институт.

Смутно его помню: маленький, щупленький, белобрысый деревенский парнишка в ситцевой чистенькой рубашке и в деревенском пиджачке. Он поступает в Богословский институт. Учится хорошо и прилежно. Поведение образцовое. Но слишком пытлив, любопытен.

Однажды на этой почве у него столкновение с одним преподавателем, который делает ему резкое замечание: "Вы говорите контрреволюционные вещи". Из-за этого бурное объяснение с одним из руководителей института. Тот делает ему выговор, а потом неожиданно роняет (как бы про себя): "Контрреволюцией занимаются в подполье, а не в аудитории". А никакой решительно контрреволюцией Митя Дудко никогда не занимался и даже, верно, хорошо не понимал, что это такое. Он просто задавал преподавателю правдивые вопросы, наивно желая узнать правду. Ничего контрреволюционного не было и в его юношеских деревенских стихах.

Но тут наступает 1948 год. Сверху сигнал — проявлять бдительность, снова приниматься за искоренение крамолы (более мнимой, чем действительной). И в 1948 году арест. Лубянка. Приговор Особого совещания — 5 лет (такой малый, "детский" срок давался

в тех случаях, когда не было даже тени основания, чтобы осудить человека). Лагерь. Где-то за Уралом. Потом второй срок. Уже лагерный. Снова 5 лет. Но испытания его не сломили. Он здесь остается таким же жаждущим правды, глубоко религиозным. Дружит с интеллигентами. Жадно впитывает знания из разговоров, из тех книг, которые удается достать.

Затем хрущевская "оттепель". Освобождение. О его первых шагах на воле я уже писал в первых главах. Снова учеба в Академии. Окончание. Лагерь его не сломил и даже не сокрушил его постоянной жизнерадостности. Он по-прежнему веселый, общительный, шутливый. Товарищи его обожают.

После окончания Академии сразу две проблемы: жениться и хлопотать о рукоположении. С женитьбой дело уладилось благодаря Анатолию Васильевичу и его супруге.

Кстати, характерный случай для церковного быта. Как-то раз разговаривает Митрополит Николай с Анатолием Васильевичем Ведерниковым. И в разговоре случайно упоминается имя Мити Дудко — семинариста, который ищет невесту.

Митрополит: "Так, что же вы молчите? У меня весь левый клирос невест". И дает телефон, по которому можно договориться с хорошей, религиозной девочкой Ниной. Анатолий Васильевич сразу принимается за дело. Звонит Нине Ивановне, приглашает ее, ссылаясь на Митрополита Николая, к себе на дачу. Она принимает приглашение, узнав, что ее хочет видеть столь известный в церковных кругах пожилой, солидный, семейный человек. Приезжает. Митя знакомится со своей будущей невестой. Дело идет на лад. Через несколько месяцев молодые стоят под венцом.

Он прописывается у жены в Марьиной Роще. В деревянном доме. В одной большой комнате живут четверо: старуха бабушка, старшая дочь — коммунистка, общественница, и молодожены.

Сложнее дело с рукоположением. Начинается томительная процедура обивания порогов в Патриархии, в Епархиальном управлении в Новодевичьем, у архиереев. Всюду проволочка, всюду неопределенные обещания, везде томительные ожидания. Как-то раз был Димитрий в гостях у Глеба, с которым крепко подружился. Разговор с Клавдией Иосифовной, матерью Глеба. Отзывчивая, добрая и экспансивная, она очень близко приняла к сердцу беду Мити. Когда он ушел, подумала: "Вот был бы жив Владыка

Парфений, я бы его попросила, и он рукоположил бы Митю в диакона и в священника”.

Владыка Парфений — уже давно к тому времени умерший епископ, которого Клавдия Иосифовна знала в ранней молодости, посещала его, когда он сидел в тюрьме, прислуживала ему, когда он вышел на волю, оборванный, больной, жалкий. И вот засыпает и видит сон: она стоит в алтаре. У жертвенника давно умерший Владыка в полном облачении. Говорит: “Вот я вынимаю малую просфору — будет твой Митя в воскресенье диаконом, а теперь большую просфору — в Михайлов день будет он священником”.

А наутро ничего не знающий об этом Димитрий получает телеграфный вызов в Патриархию. Приходит. Ему говорит Епископ Дмитровский Пимен (нынешний Патриарх): “Исповедуйся и причащайся завтра. В воскресенье я рукополагаю тебя в диакона, а в Михайлов день в священника. В храме Преображения экстренно требуется священник”.

Совершенно ошеломленный идет Димитрий к Клавдии Иосифовне. Начинает говорить еще с порога: “Вы знаете, какая новость?”

“Знаю”.

“Что знаете?”

“В воскресенье ты будешь диаконом, а в Михайлов день священником, — и она рассказала ему свой вещий сон.

С тех пор отец Димитрий, совершая литургию, каждый раз вынимает просфору за упокой епископа Парфения Брянских (даже и фамилия Преосвященного созвучна родине отца Димитрия).

Знакомство наше с отцом Димитрием началось летом 1961 года на квартире Вадима. Привел его туда Глеб специально, чтобы познакомить со мной. Так началась наша крепкая дружба с отцом Димитрием. Мы беседовали с ним часами, разговорам не было конца и края. На этой почве много было курьезов.

Как-то едем мы с ним в метро. Ожидаем поезда. Сидим на скамейке, целиком погруженные в беседу. Вдруг я поднимаю голову и ахаю: вокруг нас толпа, которая смотрит на нас с диким любопытством. Когда мы с отцом Димитрием подняли головы, все (человек двадцать, тридцать) как по команде повернулись к полотну подземной дороги. Отец Димитрий сначала не понял, первым догадался я: “Что ты не понимаешь? Священник в интимной беседе с евреем!” Действительно, отец Димитрий имеет

типичную наружность русского священника (блондинистая бородка, белокурые длинные волосы), а у меня тогда еще не было сплошной седины, и я, очевидно, производит впечатление типичного еврея.

Вскоре отец Димитрий стал моим духовным отцом. Я у него исповедовался до самого моего отъезда из России. И сейчас нам обоим очень друг друга недостает.

Было у нас и еще несколько священников, диаконов, молодых мирян, — и все мы составляли довольно сплоченную компанию церковных интеллигентов. Собирались обычно *in согоре* на именинах, на днях рождения, — и в обычное время встречались друг у друга, поддерживали друг с другом связь. Все здесь были моложе меня. Я — Мафусаил. Но чувствовал себя среди них полностью в своей среде. Но были и более старшие, которые каким-то боком к нам примыкали. Это, во-первых, Анатолий Васильевич, о котором я уже много писал. Мы все у него бывали, все с ним были знакомы и даже дружны (я, впрочем, больше дружил с Еленой Яковлевной).

Другой солидный человек, с которым мы имели постоянный контакт, почтенный московский протоиерей отец Всеволод Дмитриевич Шпилер. Человек сложной и своеобразной биографии. О нем интересно рассказать подробнее.

Выходец из старой московской интеллигенции, родной брат известной русской певицы, он проделал в свое время весь путь эмигранта. Кадетский корпус. Крым. Эвакуация. Он бросил якорь на Балканах, в Болгарии. Затем увлечение богословием. Он оканчивает теологический факультет Софийского университета в Болгарии, затем едет в Европу, учится у крупнейших богословов мира. Затем женится на одной из самых знатных девушек русской эмиграции, на светлейшей княжне Радзивил, фрейлине обеих русских императриц, и, к всеобщему изумлению, принимает сан священника. Он был священником в Болгарии, примыкал к Русской зарубежной церкви, был близок к Митрополиту Антонию Храповицкому.

Но вот наступает война. Живя в Болгарии, он занимает патриотическую позицию, что очень близко подходит к дружеским чувствам по отношению к русскому народу болгарского духовенства. Он был близок к болгарскому экзарху Стефану, а будущий болгарский экзарх Кирилл был его товарищем по теологическому факультету.

Вскоре после окончания войны он возвращается в Россию. Одно время он был инспектором Московской Духовной Академии, а затем он становится настоятелем одного из самых посещаемых московских храмов — церкви Николы-в-Кузнецях, на Новокузнецкой улице (недалеко от Павелецкого вокзала).

Отец Всеволод является одним из зачинателей экуменического движения во всемирном масштабе. Поэтому первое время он присутствует в качестве гостя на всех международных религиозных форумах. Однако с Митрополитом Никодимом он не сработался. Как человек независимый, превосходящий во много раз Никодима по знаниям как в области богословия, так и в общей культуре, отец Шпилер позволял себе иметь собственное мнение и не соглашаться по ряду вопросов с Никодимом (а Никодиму, разумеется, это, ах, как не нравилось! — впрочем, только ли Никодиму?). На этой почве начали происходить инциденты. И дело окончилось грандиозным скандалом, когда Никодим (в присутствии отца Виталия Борового) повысил голос в разговоре с отцом Всеволодом.

Тот сказал: “Кричите здесь с Боровым, а мне здесь делать нечего”. И вышел, хлопнув дверью. После этого отец Всеволод был отстранен от работы в Отделе. Однако многие иностранцы, знавшие его еще во времена его пребывания в эмиграции, бывая в Москве, всегда к нему заходили.

Поэтому он мог позволить себе относительно независимую позицию. Отец Всеволод охотно поддерживал контакт с пишущим эти строки и с другими представителями церковной интеллигенции.

\* \* \*

В этом кружке церковной интеллигенции, где я был постоянным гостем, я, однако, все-таки, как везде и всюду, ощущался как некое инородное тело. Меня любил и был моим безоговорочным другом отец Димитрий Дудко, Глеб был моим другом поневоле, так как я вскоре стал его дядюшкой и был близким другом его мамы и его другой тетки. Старые приятельские отношения меня связывали с отцом Александром Менем и с Владимиром Рожковым. Однако остальные относились ко мне по-приятельски, но холодно. Близко я ни с кем не сходилась. Причин было много: и мои модернистские симпатии, и мой социализм (Фе-

ликс и Эшлиман прямо называли меня эсером и в этом не ошибались), и мой характер.

Однако в это время у меня в Ново-Кузьминках (в "Ново-Левитинках") формируется и мой собственный кружок. В него входили в основном московские и питерские бурсаки (ученики Семинарий и студенты Академий). В это время у меня завязывается среди них широкий круг знакомств. Началось с того, что я стал многим помогать в учебе, в писании диссертаций. Потом пробудилось во мне чувство учителя, привыкшего всю жизнь (с самых юных лет) возиться с ребятами, учить их, опекать. Сейчас я опять увидел перед собой учеников — простых крестьянских (большей частью) и рабочих ребят; изредка появлялись среди них поповичи (сыновья сельских священников). Все они пришли в Семинарию по глубокой вере, преодолевая противодействие школы, комсомола, всей окружающей среды. Они пришли в Семинарию с жадной жаждой знания, с жадной жаждой хлеба жизни. И получили камень.

В моей статье "Болезнь церкви", написанной в эти годы, я подробно излагаю свои впечатления от Духовной Академии.

Учеба в те времена в духовной семинарии и Академии находилась на самом низком уровне: это была какая-то причудливая смесь старой бурсы и совпартшколы. Прежде всего о бурсе.

Святейший Патриарх Алексий уже в самом начале своего понтификата, когда он уделял довольно большое внимание духовным учебным заведениям, в одной из своих речей поставил перед ними ясную и четкую цель: восстановление старой духовной школы.

Характерны его слова: "Старая духовная школа была строгой, подчас суровой школой. Хорошая ей память".

Сейчас, через 35 лет, позволюсь спросить, о какой старой школе идет речь? Конечно, не о духовных семинариях XX века, когда половина семинаристов была эсерами, а преподаватели боялись им слово сказать во избежание скандала, а то и террористического акта. Сам Патриарх был в то время ректором Духовной семинарии в Туле и, к чести его сказать, был очень либеральным, мягким начальником. Однако внутренне он был страшным консерватором, глубоким почитателем Митрополита Филарета (Дроздова). Поэтому после своего прихода к кормилу церковного правления он культивирует в церкви своеобразный стиль — сикофанство и коллаборационизм в политике (расшаркивание

перед Сталиным) и крайний консерватизм во внутрицерковной жизни (в "церковном зодчестве", как любили высокопарно выражаться представители официальной церкви).

Особенно это проявлялось в Московской Духовной Академии и в Семинарии. В начале ее деятельности во главе стояли довольно либеральные люди: магистры дореволюционных времен, затем примкнувшие к обновленцам, а после конкордата вновь вернувшиеся в лоно традиционного православия: отец Тихон Попов (бывший обновленческий Митрополит Воронежский), епископ Ермоген (бывший обновленческий Северо-Кавказский Митрополит Василий Кожин), затем во главе Академии стоял некоторое время протоиерей о. Александр Смирнов, довольно скользкий, интеллигентный и очень неглупый человек. В Питерской Академии неизменным ректором был старый петербургский протоиерей о. Сперанский.

Очень благотворное влияние на жизнь академий и семинарий оказывало то, что во главе Учебного комитета при Синоде стоял Митрополит Ленинградский Григорий (в миру Николай Чуков), один из самых культурных людей в русской церкви, уцелевший чудом от разгромов 30-х годов. Человек глубоких знаний, умный, тактичный администратор, джентльмен в обращении, он внедрял в жизнь семинарий и академий культуру, насколько это было возможно, и питал органическое отвращение к доносчикам и прислужникам КГБ. Но весной 1956 года приснопамятный Владыка Григорий скончался, и на его место ("по совместительству") был назначен пресловутый Николай Колчицкий. Это был период его наибольшего могущества: он соединял в своих руках сразу три должности: управляющего делами Патриархии, настоятеля Кафедрального собора, заведующего Учебным отделом Патриархии. Он начал с того, что сразу подобрал сотрудников себе под стать. Ректором Московской академии стал Киевский протоиерей о. Константин Ружицкий. Человек больших компромиссов, скользкий, увертливый, умеющий приспособливаться и держаться в тени.

В это же время в жизни Московской академии и семинарии начинает играть роль некий А. П. Горбачев. Личность в достаточной степени характерная для этого времени. О нем стоит сказать несколько подробнее.

В дореволюционные годы была широко известна крылатая фраза П. Н. Милюкова, характеризующая дореволюционное офи-

церство: "Вахмистры по воспитанию, фельфебели по изящным манерам".

Если говорить о старом офицерстве, из среды которого выходили и Лермонтовы, и Гумилевы, то, очевидно, эта характеристика относится далеко не ко всем его представителям. Но для господина Горбачева это изречение как будто специально придумано: человек грубый, откровенно хамоватый и абсолютно безграмотный; только Колчицкий и мог додуматься такому человеку поручить дело воспитания кого-либо. Он буквально как будто соскочил со страниц Помяловского. В дореформенной бурсе он был бы вполне на месте: сек бы розгами, раздавал бы оплеухи, ругал бы, унижая бурсаков.

Это последнее он, впрочем, делал и в советское время. В Академии и в Семинарии в это время вводится термин: "Уволен как не соответствующий духу учебного заведения". Это была формулировка достаточно широкая, и под нее можно было подвести все что угодно. Не так взглянул на Горбачева, сказал ему дерзость, ответил недостаточно почтительно, — и все, через несколько дней студент вылетает с этой формулировкой.

В это время студентам усиленно внедряли дух низкопоклонства, подбострастия, раболепства. Каждый раз перед посещением Академии Колчицким студентов предупреждали: "Если о. Протопресвитер сделает кому-либо замечание в резкой форме, ни в коем случае не отвечайте, только поклонитесь".

Такого же низкопоклонства требовал и Горбачев. Отец ректор, лично вежливый и культурный, держался в стороне. Надо сказать, что грубость нравов прививалась и студентам. Выходцы из малокультурных семей, люди обычно малограмотные, они очень легко и быстро усваивали хамский тон, отсутствие элементарной вежливости, — и наряду с этим раболепство по отношению к высшим. Разумеется, речь идет далеко не о всех студентах Академии и учениках Семинарии, но о средних людях, для которых начальники типа Горбачева являлись авторитетом. Те, кто поумнее, разумеется, его быстро раскусили. К чести большинства семинаристов, уважением он ни у кого и никогда не пользовался.

Такова была атмосфера в семинарии и в Академии. Что касается учебного процесса, то оставалось желать, мягко выражаясь, лучшего. Учение проводилось по учебникам старых семинарий 80-х, 90-х годов ("Учебник догматического богословия" ректора Вологодской семинарии прот. Малиновского, изданный в 1911

году и уже тогда подвергавшийся нареканиям за свою архаичность и схоластичность, был самой последней новинкой в Семинарии). Методика учебного процесса также поражала своей архаичностью: здесь преобладала зубрежка текстов. Говоря все это, я вовсе не хочу огульно очернить всех преподавателей и даже административных лиц. Многие из них даже и в этих условиях делали все что могли. Развивали учащихся, давали им знания, прививали дух истинного благочестия. И в это время академии и семинарии выпускали многих достойных пастырей и архипастырей. Но общая установка семинарий и академий, инспирировавшаяся свыше, состояла в том, чтобы выпускать "служителей культа", требоисправителей. Здесь совпадали цели представителей КГБ и крайних консерваторов. И именно крайние консерваторы и были обычно наиболее рьяными агентами КГБ.

Заканчивая этот раздел, мне хочется, однако, повторить слова моего старого лагерного друга доктора Павла Макаровича Гладких, который любил говорить про лагерную медицину: "Конечно, хуже было бы, если бы и ее не было".

"Конечно, хуже было бы, если бы семинарий и академий, даже такого типа, не было". Все-таки они выпускали пастырей и были единственным оазисом религиозного воспитания в стране всеобщего атеизма и глубокого религиозного невежества.

При этом надо отметить и светлые стороны, и светлые личности, которые были в семинарии и в академии. Прекрасным человеком, вдумчивым и тонким интеллигентом, в меру строгим, был прот. Сергей Васильевич Саввинский, который был инспектором в период с 1945-го по момент смерти в 1955 году (в "догорбачевский период"). Великолепным преподавателем и хорошим администратором был Анатолий Васильевич Ведерников, промелькнувший, как метеор, в Академии (в период с 1945-го по 1947 год), снятый по проискам Колчицкого, читавший одно время своеобразный предмет "История русской религиозной мысли", причем в 1947 году уволен был не только преподаватель, но и сам предмет. Он, однако, оставил светлую память у своих учеников. Хорошим преподавателем был недавно умерший протоиерей о. Александр Ветелев, читавший много лет пастырское богословие, о. Иоанн Козлов, блестящий эрудит, хорошо знавший историю старообрядческого раскола. Его предшественник о. Димитрий Боголюбов и другие. К сожалению, не они определяли стиль работы Академии и Семинарии. Сжатые со всех сторон, боязливые,

запуганные, они делали свое дело и боялись сказать слово вопреки господствующей шатии.

Несколько лучше обстояло дело в Питере. Здесь инспектором был в течение долгого времени Лев Николаевич Парийский. Тоже весьма апробированный человек. Но это все-таки не Горбачев. Выпускник еще дореволюционной Петербургской академии, брат известного математика, академика, он был кондовым церковником. В первые революционные годы работал в Петроградском Епархиальном управлении. Был под судом вместе с Митрополитом Вениамином. Затем был в течение десятков лет регентом, а одно время секретарем Митрополита Алексия, затем был его секретарем в Патриархии и, наконец, попал в Академию на должность инспектора, которую занимал 20 лет, до самой смерти. Студенты его не любили, но все-таки с ним как-то договориться было можно (культурный человек!).

Вообще в Питере был дух несколько иной, чем в Загорске. Близость Невского, более интеллигентная публика.

Выпускник Ленинградской Академии (по заочному факультету) Митрополит Никодим очень скептически отзывался о студентах Московской Академии: "Они только и умеют, что подходить десять раз в день под благословение", — и, передразнивая их, сложил руки ладошками вверх.

Питерские студенты больше интересовались, больше читали, умели и возмущаться, и критиковать начальство, и проявлять свою независимость. И даже "сам" Л. Н. Парайский иногда сталкивался с весьма бурными студенческими обструкциями. Невский вольный дух, подавленный в течение полустолетия, все-таки окончательно вытравить не удалось никому. Недаром наш город так не любил Сталин. Не любят его и сейчас. Нигде КГБ так не свиристует, как в Питере. И все-таки и сейчас Питер — главный очаг русского возрождения.

Как писал один из наших питерских поэтов — поэтов официальных, но в котором еще оставались старые питерские искорки:

"Это имя, как гром и как град.  
Петербург, Петроград, Ленинград".

*(Ал. Прокофьев)*

С 1962 года мой крохотный домишко является постоянным прибежищем академиков и семинаристов.

Когда я уезжал, мои мальцы были опечалены. Я их успокаивал: "Не все же уезжают. Вот Андрей Дмитриевич Сахаров остается". "К нему же так просто не придешь", — отвечали ребята.

Со мной действительно не церемонились: приходили в любое время дня и ночи. Если находили дверь запертой на замок, это никого не смущало: отрывали замок и располагались у меня как у себя дома. Много было комических эпизодов на этой почве.

Вот прихожу я как-то к себе в 12-м часу ночи. Замок оторван. Пытаюсь отворить дверь — дверь заперта изнутри. Стучусь. Не открывают. Наконец минут через пять голос: "Кто там?" — "Я хозяин сего дома. А вы кто?" Дверь отворяется. Парень в одном белье. Из семинарии. "Чего ты так долго не отворял?" — "Тсс! Манечка отдыхает".

Вхожу. На раскладушке лежит знакомая девушка (тоже из церковных) и делает вид, что спит. На моей широкой оттоманке лежит парень. Делать нечего. Раздеваюсь, ложусь рядом с ним. Замечаю: "Ты не находишь, что Манечка нашла странное место для отдыха?" Ответ: "Мы пришли, вас не было. Мы стали читать ваши статьи. И так увлеклись, что не заметили, как время прошло". Эта наивная попытка меня задобрить рассмешила. Я фыркнул и сказал: "Поумнее ты ничего не мог придумать?"

Мой приятель, которому я рассказывал об этом случае, мне сказал: "Такую вещь можно проделать только с одним человеком в мире — с вами".

Другой раз у меня в гостях был один серьезный, солидный человек, также церковный писатель. Разговаривали. Я оставил его ночевать. Он улегся на знаменитой раскладушке. Чтобы были понятны западному читателю эти вечные ночлеги, поясню: в Москве достать гостиницу обыкновенному человеку практически невозможно. Для того чтобы достать гостиницу, надо иметь командировочное удостоверение, — и то не так просто. Впрочем, это не только в Москве — так и во всех больших городах Советского Союза.

Итак, мой коллега церковный писатель улегся на раскладушке, я — на своей тахте. Через пятнадцать минут стук в дверь. Па-

рень из семинарии. Ну, пришел — делать нечего. Ложись на другой раскладушке (небольшой). Благо он мал ростом.

Только улеглись — опять стук. Входит другой парень из Академии. Высоченный, верзила. "Ну, ложись ко мне. Больше места нет". — "Да нет, я лучше лягу на полу". (Пол засыпной, дует.) — "Да нет, ты простудишься". — "Да нет, не простужусь!"

Я другому парню: "Костя! Видишь, какой он настырный. Ложись ты ко мне, пусть он ложится на раскладушке". Так, кое-как переночевали. Тем, кому приходилось спать вместе со мной на оттоманке, можно не завидовать. Сплю я беспокойно, во сне мечусь. "Только начнешь засыпать, вдруг как толкнете!"

Но вот наступает утро. Пьем чай. Приходят двое соседских парней и две девушки. Разговариваем. Наконец выпроваживаю всех. Приходят еще два семинариста. Им нужно писать сочинение. Спрашиваю своего коллегу-писателя: "Ну, как, вы устали?" Он (с жалобным видом): "У меня поднялось давление, я боюсь, что будет кровоизлияние в мозг".

Мачеха мне говорила: "Как ты только выдержишь?" Отец Димитрий как-то заметил: "У тебя проходной двор". Другой священник сказал: "У вас целый детский сад. Я не различаю вашу молодежь".

Это смешное. Но было и серьезное. Серьезного больше, чем смешного.

Молодежь пытливая, всем интересующаяся. Вопросам не было конца. Казенная жвачка всем лезла из горла. Тысяча вопросов о богословии. О философии. О политике. Я на все вопросы отвечал как мог. Это, конечно, было не сухое объяснение фактов. Я старался передать им мое мировоззрение.

Основой христианства является искание правды, борьба за правду. Я обращал внимание ребят на заповедь Христа, которую обычно не замечают церковники, опутанные традиционными формулами: "Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и все приложится вам" (Мф. 6, 33). Поиски правды есть основа христианства.

Когда-то Михайловский заметил, что по-русски слово "правда" означает одновременно два понятия: "Истина" и "Справедливость". И в этом глубокий философский смысл: эти два понятия действительно тесно связаны: истина приводит к справедливости, справедливость — к истине. Поэтому слово "искать" означает не кабинетные поиски истины, а активную и напряженную борьбу за

торжество правды в мире. Правды — справедливости, которая тождественна с Истиной.

Многие ребята проникались моими идеями. Однако, конечно, пылкая молодежь не всегда оставалась верной однажды принятой доктрине. Посторонние были недовольны. “Вы из них делаете каких-то революционеров, тогда как они должны быть священниками”, — говорила одна дама. “Не довели его до добра “левитинские” университеты”, — язвительно замечалось в одной антирелигиозной брошюрке по адресу одного из моих ребят, который действительно потом вступил на плохой путь, попавшись в уголовном деле. Наконец мой старый оппонент отец Сергей Желудков с не меньшим ехидством мне писал в одном из писем: “Из большинства “ребятенок” ничего не вышло”. Я ответил: “Гении не нуждаются в учителях. Ко мне шли обыкновенные простые ребята из рабочих и мужичков, которых не могли удовлетворить ни учеба в семинарии и Академии, ни официальная жвачка советских газет. Они искали знаний и Истины. Я им давал что мог. А что касается результатов, то прошу вас прочесть притчу о сеятеле”.

“Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, некоторые семена упали при дороге, и прилетели птицы и поклевали их. Другие же упали на камень, где у них немного было земли, и тотчас взошли, ибо земля у них была неглубока. Когда же солнце взошло, они были опалены и, не имея корня, засохли. Другие же упали в терние, и поднялось терние и заглушило их. Другие же упали на землю добрую и давали плод: какие сто, какие шестьдесят, какие тридцать. Имеющий уши, да услышит” (Мф. 13, 3—9. Научный перевод).

Пусть услышат голос мой из далекого Люцерна и мои друзья — ученики. “Имеющий уши, да слышит!”

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### КОНТРАПУНКТ

Исторический контрапункт русской жизни послесталинского периода — 1964 год.

В этом году с особой силой стали ощущаться все противоречия Хрущевской эпохи. Оттепель. "Диктатура сердца". Продолжающаяся борьба против мертвеца, вынесенного с позором из мавзолея.

И в то же время аресты, непрекращающиеся процессы, расстрелы проворовавшихся хозяйственников, фарцовщиков, вивновников фашистских зверств.

Когда-то Суворов говорил, что, если человек проработал в интендантах 10 лет, его можно вешать без всяких разговоров. Говорил. Но ведь не вешал же.

При Хрущеве "интендантов", то бишь советских хозяйственников, стали расстреливать. Первых попавшихся. Советская система построена так, что хозяйственник не может не быть вором.

С этим, собственно говоря, все согласны. И недаром повара, заведующие ресторанами, официанты получают такую зарплату, что прожить на нее совершенно невозможно. Те, кто попался, ничем не отличаются от непопавшихся: воруют и берут взятки все, без исключения. Хозяйственник который решит вести хозяйство по закону, через две недели окажется без работников, без материалов — и будет с треском снят с должности и исключен из партии за развал работы, а то и привлечен к ответственности за преступную халатность. Еще более курьезны процессы "фарцовщиков". Здесь, за границей, фарцовщики все — без исключения. Привожу в пример себя. В году 5—6 раз (как минимум) я пересекаю границы различных государств. При этом каждый раз я меняю деньги. Я "фарцовщик". По советским законам я подлежу самым суровым наказаниям (вплоть до расстрела). Обмен советских денег на иностранную валюту категорически воспрещен. Но обмен все-таки производится (или, точнее гово-

ря, покупка иностранной валюты). Цель иностранцев — купить какие-то товары в СССР (меха, золото). Цель фарцовщиков — купить в закрытых распределителях, где имеются особые товары, которых нет нигде в советских магазинах, особо “качественные” товары, которые затем продаются за бешеные деньги на “черном” рынке. При Хрущеве за это был установлен расстрел.

Столь же странными были процессы лиц, виновных в зверствах во время войны. Когда-то, при Ленине, было принято говорить, что советский закон не мстит за прошлое; его цель — ограждение общества от тех, кто в данный момент опасен советскому строю. Но, собственно, чем могли быть опасны советскому строю старики, провинившиеся за 20 лет до этого, во время фашистской оккупации, и с тех пор уже сидевшие по тюрьмам, по лагерям, сломленные, боявшиеся как огня любого советского офицера, потому их надо было снова судить, устраивать показательные процессы и вешать — этого никто и никогда из советских юристов не объяснял и объяснить не мог.

В то же время страшно ухудшилось положение колхозников, рабочих в связи со странными экспериментами, производившимися по воле дилетантствующего агронома, приобретшего среди населения всеобщую кличку “кукурузник”. Впрочем, кукурузник не только насаждал свой излюбленный злак, но и отбирал приусадебные участки (желая, видимо, показать, что он “отчаянный р-р-революционер”).

В 1964 году все эти чудачества привели к кризису. Не было хлеба. Страна глухо, но грозно бурлила. В это время усиливается идеологический нажим. Антирелигиозная истерия достигает апогея. Летом 1964 года она доходит до Москвы. Впервые за 25 лет имеет место наглое разрушение одного из самых популярных московских храмов — храма “Малое Преображение”. Разрушение сопровождалось варварским насилием над верующими, которые в течение двух дней отказывались покидать храм. Несмотря на бездейственность Патриархии, на этот раз гнусный произвол не мог укрыться от международного общественного мнения. В Париже был создан Комитет по защите прав верующих в СССР. Причем председатель Комитета, известный французский писатель Мориак, обратился к Хрущеву с официальным протестом, а также с большим закрытым письмом, в котором излагал ту программу политических мер, которые должны быть приняты, если гонения на религию в СССР не прекратятся. Сенса-

цией дня было выступление по этому поводу известного английского философа и математика лорда Рассела. Лорд Рассел был известен как убежденный, воинствующий атеист. Когда в 1959 году в Москве был открыт антирелигиозный журнал "Наука и религия", лорд Рассел прислал журналу приветствие. И вот теперь 90-летний старик, который всегда имел славу великого гуманиста, выступает в защиту гонимых религиозных людей в СССР и с протестом против смертных казней.

В этих условиях церковный писатель, который в единственном числе (тогда никого больше не было) выступает в защиту церкви, не мог оставаться невредимым. В жаркое лето 1964 года мною была получена зловещая повестка из милиции с предложением явиться в определенный день и час, имея на руках паспорт.

Все было ясно: меня должны были привлечь к ответственности за тунеядство. Действительно, все было разыграно как по нотам. В милиции меня встретил молодой парень подозрительного вида с красной повязкой и несколько безобидных старичков пенсионеров, которые здесь находились для декорации (официально со мной говорила общественность). Переодетый чекист начал разговор напряженно вежливым тоном: "Анатолий Эммануилович! К нам поступил сигнал, что вы нигде не работаете. Просим вас дать нам объяснение по этому вопросу".

После моего краткого объяснения, что меня вынудили уйти из школы как верующего, мне был вручен документ, согласно которому в течение 10 дней я обязан устроиться на работу. В противном случае дело будет передано в суд. (Суд разбирал дела о тунеядстве обычно в течение трех дней, причем приговор был 4 года ссылки в Красноярскую или Иркутскую область.) Что делать?

Устройство по специальности было, разумеется, абсолютно невозможным. Прежде всего странная трудовая книжка. Почему вы в течение четырех лет нигде не работали? Наконец, звонок по телефону по последнему месту работы. Директор (в порядке перестраховки) вынужден был бы сказать правду: не мог же он покрывать такую одиозную личность, о которой турчит иностранное радио.

Мой приятель, ныне имеющий высокий духовный сан (не буду поэтому называть его по имени), пошел к Наместнику Лавры, просил его оформить меня на какую-либо работу, — отказал.

Наконец, когда все возможности были исчерпаны, все протек-

ции оказались тщетными, вдруг все устроилось легко и просто. Я проходил мимо аптеки, смотрю — объявление: требуются фасовщики. Захожу, прошу провести меня к заведующей. Симпатичная, интеллигентная еврейка. Объясняю ей все вполне откровенно (кроме, конечно, самых одиозных вещей). Кивает головой, говорит: "Знаю, в таком же положении моя мать. Сняли по четвертому пункту (это значит — по национальному признаку). Дайте паспорт. Выходите завтра на работу". А на другой день я получил справку, что работаю в аптеке фасовщиком. Отнес справку в милицию. Все в порядке.

Через три дня, когда я уже работал в аптеке, телефонный звонок: "Попросите такого-то". Подхожу. "Что вам угодно?" Вешают трубку. Это проверка из милиции.

На этот раз я мог сказать КГБ словами, обращенными к Герману из пушкинской "Пиковой дамы": "Ваша дама бита".

И я попал в общество мелких служащих, работников аптеки — прекрасных культурных женщин. Они нуждались еще больше, чем учителя, жили на гроши и все-таки прилично (из последних сил) одевались, держались хорошо. В летнее время иногда устраивали пикники. Атмосфера была чистая, хорошая. Ко мне относились доброжелательно, дружелюбно, понимали, что человек попал в беду.

Правда, у продавщиц бывали и не совсем законные заработки. Как оказалось, Москва полна наркоманов. Как говорила мне потом одна крупная работница из Аптекоуправления, Москва даже превзошла в этом отношении Париж. Наркоманам наши девушки иногда за соответствующую цену выдавали "порошочки". Причем, как это ни печально, наркоманы — сплошь молодежь: хорошие на вид, приличные ребята из студентов, рабочих и приличные молодые девушки. (По виду никогда не подумаешь!)

Моя работа не отличалась сложностью: сидеть за перегородочной и наклеивать этикетки на бутылочки (с обозначением лекарств). Но я оказался непригодным даже для этой несложной работы (как говорил покойный отец: "Ты ни на что не пригоден, кроме болтовни"). Через неделю выяснилось, что я однажды перепутал этикетки, и только благодаря вниманию аптекаря не произошло ошибки. Заведующая после этого мне деликатно сказала: "Неважно идет дело у вас, Анатолий Эммануилович. Мне нужна эта должность для других". На этом мой аптекарский дебют был окончен, но мы договорились с заведующей, что я буду чис-

литься на работе (в отпуску без сохранения жалования) до конца года.

Таким образом, милиция меня должна была оставить в покое.

\* \* \*

“На что вы живете?” — таков был традиционный вопрос милиции, обращенный к “тунеядцу”. С некоторым недоумением спрашивали меня об этом знакомые (не близкие знакомые — друзьям было известно). После того как в 1962 году (с окончанием “Очерков по истории церковной смуты”) прекратилась помощь Владыки Мануила, у меня появились другие “патроны”. Тут начинается некоторая “сделка с совестью”. Я начинаю писать магистерские и кандидатские диссертации для архиереев и некоторых священников ... за свою жизнь я написал две магистерские и около 30 кандидатских диссертаций. Так что я дважды магистр богословия и 30 раз кандидат. На этой почве начинается мое близкое знакомство со многими архиереями, в том числе и с Митрополитом Никодимом.

Одно время он проектировал меня в качестве сотрудника “для написания диссертации”, но потом решил, что это слишком рискованная авантюра — связываться с таким одиозным человеком. Но несколько очень продолжительных и довольно откровенных бесед я с ним все-таки имел. Мы, разумеется, всегда стояли на совершенно противоположных позициях. Однако между нами существовала личная симпатия. Я любил беседовать с ним: мне нравились его простой и ясный ум, его быстрая сообразительность, живость, пристальный интерес к общественным вопросам. Он также (как это я могу судить по его отзывам, о которых мне говорили) питал ко мне некоторую симпатию и даже говорил: “Как жаль, что такой (пропускаю лестный для меня эпитет) не с нами”.

Как ужасны перегородки и глухие стены, которые придумали люди!

\* \* \*

Осень 1963-го и 1964 годов очень плодотворное время в моей жизни. Между писаниями диссертаций и жизнью в “проходном дворе” я написал в это время “Письмо Митрополиту Никодиму

о социализме”, большую теоретическую статью “Топот медный” и “Монашество и современность”, о которой я уже упоминал выше, изданную Преосвященным Иоанном Шаховским в Париже под названием “Защита веры в СССР”, которая вскоре стала передаваться по радиостанциям Би-Би-Си.

Я как-то спросил у мачехи Екатерины Андреевны: “Как вы думаете, что сказал бы обо всем этом отец?” Она мне ответила дипломатично: “Трудно сказать”.

\* \* \*

15 октября 1964 года — знаменательная дата. В этот день юбилей. 150 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.

Я был в этот день в небольшом Никольском храме. После литургии отец Димитрий отслужил панихиду. Так хорошо молилось за панихидой, и так ясно чувствовался в это время дух Лермонтова.

После панихиды отец Димитрий, поминавший убиенного раба Божия Михаила, сказал старушкам, которые нам подпевали: “Мы сейчас молились за человека, который умер более ста лет назад”. Недоумение старушек: “А разве тогда убивали?” Я сказал: “На дуэли”. Старушки закивали головами.

Мы вышли вместе с отцом Димитрием. По дороге он мне сказал: “Во время панихиды я так ясно себе представил, как лежит он под дождем убитый, после дуэли”. Дошли до угла. Купили газету. И здесь узнали о снятии Хрущева, которое произошло накануне. Знаменательная дата. Опять новая эра.

\* \* \*

“В боренье падший невредим,  
Врагов мы в прахе не топтали,  
Мы не напомним ныне им,  
Что знают древние скрижали.  
Они не узрят Немезиды  
Народной гневного лица  
И не услышат песнь обиды  
От лиры русского певца”.

Этими пушкинскими стихами я начал статью о Хрущеве после его отставки; я озаглавил ее “Святая Русь в эти дни”. Желая быть

вполне объективным, я подчеркнул его великие исторические заслуги перед Россией. Смелое выступление против культа Сталина и разоблачение его злодеяний. Дело, за которое Хрущев заслужил вечную благодарность потомков и которое положило начало движению мировой политической мысли, которое продолжается по нынешний день. Затем освобождение из лагерей миллионов людей, чему я сам был свидетелем.

Затем элементы заботы о народе, установление пенсий престарелым, начало большого жилищного строительства. За все это русский человек может сказать Никите русское спасибо.

Конечно, наряду с этим самодурство, начальственные окрики, попытки командовать в литературе. Но теперь этого уже никто не боялся. С падением культа Сталина пал страх. Выше мы говорили о карах, обрушившихся на растратчиков, фарцовщиков и виновников фашистских зверств. Это, конечно, было дико, непродуманно и очень жестоко. Но ведь все-таки нельзя сказать, что необоснованно. С любой точки зрения расхитители казенного добра, взяточники и палачи, даже с учетом всех смягчающих вину обстоятельств, о которых я говорил выше, — грязная публика, и какие-то меры против них предпринимать было нужно.

И наконец, борьба против религии, — это, пожалуй, самое темное, что принес Хрущев.

Мы, люди церкви, после отставки Никиты воскресли духом, и недаром его отставка произошла в столь чтимый русским православным народом праздник — в праздник Покрова Божией Матери.

Для меня отставка Никиты была спасением: несмотря на "трудоустройство в аптеке", мой арест при продолжающейся антирелигиозной кампании был неминуем. Речь могла идти лишь о некоторой отсрочке, вызванной боязнью иностранного общественного мнения, с чем при Никите (да и потом) очень считались.

Сразу почувствовалась новая "оттепель". Еще больше развязались языки. Один мой приятель, вообще говоря, очень боязливый человек, сказал: "С 58-й—10 статьей кончено. Сталина ругать можно сколько влезет, Хрущева тоже, а этих никто не знает, кто они такие". Из уст в уста передавалась острота Черчилля, брошенная им в одном интервью: "Самый болтливый в мире диктатор ушел, не сказав ни одного слова". Впрочем, и преемники его притаились. В течение года о них не было ни слуху ни духу. Как сказал мне один шофер: "Эти спрятались куда-то. Кто их знает".

Интересна одна из легенд, сложенная в это время в народе,

Вообще в этом политическом фольклоре иной раз раскрывается христианская, не угасшая и сейчас, сущность народной души.

О Ленине была сложена легенда, что якобы он велел не расстреливать Каплан, а в дни отставки Хрущева носителем христианского духа по воле народа стал... кто бы вы думали? ... Молотов. Народное сказание гласило, что якобы Никита лежит в больнице, а к нему ходит и его успокаивает выгнанный им отовсюду за несколько лет перед этим Молотов. Молотов — один из самых жестоких и коварных деятелей сталинской поры как носитель христианского милосердия. Как тут не повторить вместе с Гусом: "Sancta simplicitas".

Бедный, бедный, вечно обманываемый и добрый, добрый русский народ!

\* \* \*

В это время в среде церковной интеллигенции возникает проект петиции, обращенной к Патриарху и в правительственные инстанции, с изложением всех фактов произвола и несправедливостей по отношению к церкви. Первоначально предполагалось, что этот проект будет подписан архиепископом Ермогеном и группой духовенства. Более того, существовал даже план, по которому архиепископ Ермоген должен был объявить об имеющихся претензиях к Патриархии *ex cathedra* в храме. С этой целью было проведено совещание с участием многих представителей духовенства на даче у отца Николая Эшлимана. На совещании присутствовал архиепископ Ермоген. Вскоре, однако, стало ясно, что Владыка Ермоген участвовать ни в каких акциях рядового духовенства не будет. Кроме того, верный своему принципу чисто "кабинетной" оппозиции, Владыка был противником какой-либо огласки.

Вместо этого он выдвинул проект "архиерейской петиции" и вскоре принялся за его осуществление. От имени группы архиереев был составлен документ, который должен был быть направлен Патриарху и Совету по делам Православной церкви. Цель проекта — спустить на тормозах все меры, вытекавшие из постановлений архиерейского Собора 1961 года.

По мнению архиепископа Ермогена, все постановления Собора о сосредоточении управления в руках приходского совета должны были оставаться в силе. Однако прихожанам должно быть предоставлено право избирать председателем приходского

совета настоятеля храма. Само собой подразумевалось, что народ выберет председателем приходского совета своего духовного отца, а не подозрительных бабенок, командированных оперуполномоченным КГБ. Проект петиции был составлен очень умно и тонко. В нем содержалась критика постановлений Собора, однако составленная в очень осторожных выражениях. К проекту петиции была приложена обширная объяснительная записка архиепископа Ермогена, в которой делалась попытка объяснить власти необходимость умеренной политики со стороны церкви с "их позиций". Констатировалось, что верующие христиане составляют меньшинство, но довольно крупное меньшинство в стране. Даже делалась ссылка на то, что политика умеренного ограничения язычества во времена императора Константина при предоставлении язычникам полной свободы отправления религиозного культа дала гораздо лучшие результаты, чем политика подавления язычества при помощи силы (аналогия, которая вызывала неприятные ассоциации). После составления этой петиции Владыка предпринял довольно продолжительное турне по ряду епархий, и ему удалось добиться довольно хороших результатов. Петицию согласились подписать 7 архиереев: архиепископ Новосибирский Павел Голышев, архиепископ Иркутский Вениамин Новицкий, епископ Корсуно-Шевченковский Григорий, архиепископ Пермский Леонид Поляков, епископ Рижский Никон Фомичев, архиепископ Казанский Михаил Воскресенский, епископ Тамбовский Михаил Чуб и, конечно, сам составитель петиции архиепископ Ермоген, тогда занимавший Калужскую кафедру. Затем эта петиция была представлена Патриарху и председателю Совета по делам Православной церкви Куроедову. Как рассказывал Владыка нам с отцом Глебом Якуниным, во время нашей с Якуниным совместной поездки в Калугу, Куроедов принял его любезно. Даже сообщил ему, что недавно читал Ренана "Жизнь Иисуса" и не понимает, почему надо придерживаться мифологической теории и отрицать историчность Иисуса Христа. Через некоторое время действительно последовало официальное дезавуирование "мифологической теории". По существу представленной петиции Куроедов сказал: "Я удивляюсь, Владыко, вы столько лет архиереем и думаете, что русский архиерей на что-нибудь способен".

Таким образом, мнение Куроедова неожиданно совпало с мне-

нием многих из нас, которые сомневались в том, что из "архиерейской петиции" что-нибудь может выйти.

Наряду с этой попыткой архиерейской петиции продолжались аналогичные попытки со стороны рядового духовенства. Главным деятелем в этом направлении был Глеб Якунин. Весной 1965 года имело место совещание с участием нескольких священников: оо. Глеба Якунина, Николая Эшлимана, Александра Меня, Дмитрия Дудко и других. Из мирян присутствовали Феликс Карелин и я.

Во время этого совещания выявились различные позиции: о. Дмитрий Дудко вообще отказался подписывать какие-либо петиции; о. Александр Мень обещал представить свой проект петиции, я — свой.

Когда соответствующие проекты были представлены, проект о. Александра Меня был признан слишком умеренным: действительно, в этом проекте были ссылки лишь на отдельные эксцессы, причем эти упоминания об эксцессах перемежались комплиментами в адрес советской "свободы религиозных культов", и в целом этот проект мало отличался от официальных документов Московской Патриархии.

Мой проект также не понравился, очевидно, своим "эсерством". Таким образом, путем исключения остались лишь два священника: о. Николай Эшлиман и о. Глеб Якунин. Мирян решили не привлекать. Пытались привлечь еще нескольких человек к написанию петиции. Тщетно. Помню, как мы с Глебом посетили одного из батюшек, и в ответ на наше предложение подписать петицию получили отказ. Когда мы вышли от него, помню, Глеб сказал: "Если и Николай откажется, придется просить вас. Будут говорить: одного (Вадима) уже с ума свел, теперь свел с ума другого".

Обошлось, однако, без меня: с весны 1965 года началось составление петиции или, точнее, двух петиций: Патриарху и в Совет по делам Православной церкви при Совете Министров. Петиция писалась долго. Писали ее трое: о. Николай Эшлиман, о. Глеб Якунин и Феликс Карелин. Круг вопросов был очень широк: и каждое слово согласовывалось всеми тремя. Так как все трое работали — батюшки на приходах, а Феликс в это время алтарником, — то происходили перерывы. Иной раз выпадали целые недели. Все это я, впрочем, знаю только по рассказам, так как сам никакого участия в составлении петиции не принимал.

Я был занят своими делами.

А дела были хлопотливые. Во-первых, продолжал писать: в 1965 году осенью написал большую статью "Болезная церковь", идеи которой предвосхищали идеи петиции. Здесь, однако, вопрос ставился шире: говоря о "болезнях церкви", я, между прочим, много писал о недочетах в преподавании в Семинарии и в Академии. Это больно задело преподавателей Академии, а также многих работников Патриархии. По моему адресу стали раздаваться в кругах академистов заочные оскорбления и обвинения в том, что я выношу сор из избы. Впрочем, все это было заочно. В глаза мне грубить никто не осмеливался. Не оставил меня в покое и КГБ. Самое неприятное время — конец года. В декабре 1964 года меня снова вызвали в Райсовет. На этот раз со мной беседовала довольно симпатичная дамочка: секретарь Райисполкома. По ее тону сразу почувствовалось, что наступают новые времена. Перед этим вышли новые, несколько смягченные законы о тунеядстве, нажим на церковь был значительно ослаблен. А мое положение было неважное. Все сроки для моих отношений с аптекой истекли. Мне была выдана на руки трудовая книжка с пометкой, что я работал до декабря и уволен по собственному желанию.

С секретарем я говорил откровенно. И она так же.

Я сказал: "Я учитель. Я должен работать по специальности".

Она: "Вы будете агитировать".

Я: "А ходить по улицам и агитировать разве я не могу?"

Она: "Да, но почему же мы еще должны вам создавать для этого условия?"

Я не нашелся что-либо на это ответить. Что правда, то правда.

Затем пришла другая дама — депутат Верховного Совета по Ждановскому району. Опять тот же разговор. По их тону я видел, что вся эта история надоела им хуже горькой редьки и они не знают, как отделаться от меня. Окончилось обещанием, что я устроюсь на работу до конца года.

На этот раз пришел на помощь отец Эшлиман. Меня устроили на работу истопником в его храм, в село Куркино (под Москвой). Тоже, конечно, топил я не очень много. Как говорится у Некрасова:

"Не очень много шили там,  
И не в шитье была их сила".

Наконец меня в мае вызвали опять в Исполком. Здесь меня ожидал торжественный синклит. Помимо секретаря Райисполкома тут присутствовал и представитель журнала "Наука и религия" Григорян, представители политического издательства и Трушин (уполномоченный Совета по делам Православной церкви по Московской области). И самое главное — майор Шилкин (уполномоченный КГБ, занимающийся церковными делами).

Здесь произошел тот разговор, который был мною на другой день по свежей памяти почти дословно записан и тут же начал распространяться по Москве, по другим городам, пересек границы и был напечатан сначала в эмигрантских газетах, а затем в книге "Защита веры в СССР" (Париж, 1966 г., стр. 88—101). Перепечатаю эту беседу в приложенном интермеццо. Потом меня еще много, много раз тягали. Вызывали по моему заявлению и в Горком, и опять в Райсовет, и опять в милицию. Много раз я был на краю ареста. Каждый раз выручали друзья. После того, как меня уволили из Куркина (приказал уполномоченный), я устроился счетоводом в отдаленный храм, в село под Серпуховом. Когда выгнали и оттуда, устроился ночным сторожем в наш Вешняковский храм. Здесь работал как надо. Добросовестно дежурил по ночам, подметал дорожки вокруг храма — и мне это нравилось. Потом выгнали и отсюда. Наконец огласка получилась очень большая. Сообщение о моей новой должности появилось в иностранных газетах. Меня на время оставили в покое. Как мне говорили, Трушин в беседе с одним из священников, ныне покойным, которому доверял, сказал следующую фразу: "Неудобно его арестовывать после того, как он записал беседу в Райсовете. А жаль!"

Я остался в своем репертуаре. Большей частью был в хорошем настроении. Лишь изредка бывали темные минуты. Однажды, после очередного приключения, я первый раз в жизни закурил. В этот момент зашел один молодой священник из моих питомцев, который жил с женой рядом. Он неплохо писал стихи. И через некоторое время принес мне следующее стихотворение:

"Под потолком лениво плавал дым,  
Курчавый дым от папирос.  
Знать, волосам твоим седым  
Плохое время привелось.  
И вспомнил ты в момент, за миг,  
Всю жизнь с людьми, как твердый камень,

Ты слышал свой предсмертный крик  
Под темным дулом, за штыками.  
Ты выжил, сам себе не веря.  
Ты пережил свой смертный год.  
Ты вновь стучишь в чужие двери,  
Ты ищешь правды, а не льгот.  
Под потолком лениво плавал дым,  
Курчавый дым от папирос,  
Знать, волосам твоим седым  
Плохое время привелось”.

## ИНТЕРМЕЦЦО

### ЛИЦОМ К ЛИЦУ

*Беседа А. Э. Левитина в Москве о свободе веры и атеизма*

21 мая 1965 года, в Москве, в помещении Ждановского райисполкома (на Таганке), я имел встречу с представителями антирелигиозной общественности. На этой встрече присутствовали сотрудники самых различных организаций: два крупных сотрудника КГБ, начальник Государственного политического издательства, зам. редактора журнала "Наука и религия", зам. директора Дома научного атеизма, представители обкома, уполномоченный Совета по делам Православной церкви и секретарь Ждановского райисполкома.

Беседа касалась моей литературной деятельности; в ходе этого разговора был затронут и ряд общих вопросов. Так как, по своему содержанию, беседа представляла определенный интерес для наших читателей, публикуем ее содержание, с нашими краткими комментариями.

*Майор Шилкин (представитель КГБ).* Анатолий Эммануилович! Мы хотели с вами по-товарищески побеседовать и задать вам ряд вопросов. Здесь находятся представители общественности. Между прочим, рядом с вами сидит Алексей Алексеевич Трушин, имя которого вам, должно быть, известно.

*Левитин.* Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

*Шилкин.* Нам хорошо известно, что вы, Анатолий Эммануилович, распространяете свои статьи всеми способами с необыкновенной настойчивостью. Если нужны доказательства, то вот они: хорошо вам известный Якунин Глеб Павлович показывает...

*Левитин.* Не надо. Я знаю.

*Шилкин.* А, он вам рассказывал. В будке телефона-автомата один гражданин забывает портфель; его приносят в милицию, — там оказывается ваша статья.

*Левитин.* Кто это?

*Шилкин.* А вам любопытно? Недошивин Иван Петрович, проживающий в Измайловском.

*Левитин.* Понятия не имею.

*Шилкин.* Вы вводите в заблуждение машинисток; говорите, что ваши статьи очень хорошие...

*Левитин.* Я знаю, что вы бегаєте по моим машинисткам.

*Шилкин.* У вас есть приятель — больной человек. И вы используете больного человека. Хорошо ли это? Анатолий Эммануилович! Вы гражданин, и вы житель Москвы — города-героя. Вы же должны знать законы и их выполнять. Между тем ваши действия противоречат всем общепринятым нормам.

*Левитин.* Мне уже 50 лет (голоса: Вам еще только будет 50 лет). Все равно, округляя цифры. За 50 лет у меня сложились твердые и ясные убеждения; их я и выражаю в своих статьях. Я пишу там правду. И вы же сами не говорите, что там есть какая-либо неправда. Я протестую против варварского гонения на религию, выражающегося в разрушении церквей и издевательствах над верующими людьми. Я протестую против того положения, когда Церковь превращена в ошметок от сапогов, а присутствующий здесь тов. Трушин является диктатором московской Церкви; он, неверующий человек и коммунист, назначает и смещает священников по своей прихоти. (Дело, разумеется, тут не в нем, а в существующем порядке.) Все это противоречит всем нормам и даже Сталинской конституции. Против всего этого я протестую в своих статьях, которые я распространял, распространяю и распространять буду, используя свое право на свободу слова. Кстати, слово "гражданин" русская литература всегда понимала как слово, означающее человека, борющегося за правду и ее отстаивающего, а не ползающего на брюхе перед начальством. И пугать меня нечего. Я никогда не был пугливым. А особенно теперь, в 50 лет, когда я приближаюсь к тому пределу, за которым уже недействительны какие бы то ни было угрозы.

*Майор Шилкин.* Никто вас не пугает. Мы хотим с вами по-товарищески побеседовать.

*Гражданин (мне неизвестный, сидящий у края стола, — кажется, представитель обкома).* Анатолий Эммануилович! У вас очень располагающая внешность.

*Левитин.* Спасибо.

*Неизвестный гражданин.* Вы производите симпатичное впечатление. Но это для меня неожиданность. Ваши статьи производят

совершенно другое впечатление. Они пропитаны злобой и ненавистью. Вы берете отдельные факты и их обобщаете. Говорите, что это есть политика партии и правительства, что будто есть какие-то установки о насильственной борьбе с религией. И если ваши статьи попадутся нашим врагам, то они, конечно, их могут использовать. Между тем все это неверно. Вы же знаете, что партия всегда боролась с этими искривлениями, и Хрущев неоднократно выступал против них.

*Левитин.* Это мне напоминает поклонников Сталина, которые всегда, когда говорят о насилиях, ссылаются на Берия; Сталин, дескать, тут ни при чем. Я считаю, что отвечает тот, кто стоит во главе. Если же этот руководитель ничего не знает, так тем хуже. Значит, он очень плохой руководитель, и его надо гнать. (Голоса: Что и было сделано.) Кстати, Сталин тоже никогда не говорил, что надо истреблять людей; он даже говорил нечто совершенно противоположное. Теперь насчет того, что мои статьи могут быть кем-то использованы. Вот передо мной висит портрет Ленина. Смешно, конечно, было бы, если бы я, верующий человек, выдавал себя за ленинца. Однако вы ведь знаете, что Ленин не раз писал о том, что его статьи о партийных разногласиях могут быть использованы врагами, — он это знает, но все-таки пишет. Знал он, конечно, что его речи на X и XI партийных съездах, в которых он говорит о бюрократических извращениях, могут быть использованы врагами. И все-таки их произнес.

*Романов (зам. директора Дома атеистов).* Анатолий Эммуилович! Ваши произведения вряд ли могут быть названы произведениями. Они пропитаны самой черной злобой. В своем письме Никодиму вы, например, пишете: "Я думаю о том, как бы я построил свою жизнь, если бы я был атеистом..." И дальше вы пишете, что были бы приспособленцем. Вы говорите, что последовательные атеисты — это блатные с их философией: "Умри ты сегодня, а я — завтра". Дальше вы говорите, что от распространения атеизма такая же польза, как от сифилиса. Это же неприлично. Вы ненавидите атеистов. Вы их черните, вы вырываете пропасть между атеистами и верующими людьми. Вы оскорбляете всех нас. Судя по вашим статьям, вы ненавидите фашизм. Но ведь фашизм разбили в основном неверующие люди и сейчас отпраздновали двадцатилетие своей победы. Вы не можете это отрицать.

*Левитин.* Я никого не хотел оскорбить лично. Если кто-нибудь обижен, я прошу извинения. Я писал о последовательном атеизме.

К счастью, не все атеисты последовательны. Там, дальше, в письме к Никодиму я привожу примеры людей, которые, будучи атеистами, являлись хорошими, честными людьми (таков, в частности, Михаил Юрьевич Шавров — отец моего друга Вадима). В целом же, действительно, последовательный атеизм есть ницшеанство, а не коммунизм. Для чего морочить себе голову какими-то поколениями, которые будут жить через сотни лет, когда из нас лопух вырастет. Не надо также забывать, в какой обстановке писались мои статьи: они писались в то время, когда верующих людей обливали грязью, а они сидели с кляпом во рту и не могли сказать ни одного слова; когда их травили и преследовали.

*Романов.* Вы, однако, сейчас нашли нужным извиниться перед нами.

*Левитин.* Я извинился в форме, а не в существе, в том, что называется непарламентским выражением.

*Григорян (зам. редактора журнала "Наука и религия").* Анатолий Эммануилович! Мне ваши работы нравятся. Нравятся они мне широтой взглядов. Почему я был удивлен вашим сегодняшним выступлением насчет атеизма. Вы же знаете, что атеизм бывает разный. Атеизм, как вам известно, развивался в течение столетий, причем сначала он развивался в недрах Церкви, в виде ересей. И сейчас атеизм имеет разные формы. Вот, к примеру, по некоторым вопросам я ваш союзник. Вы очень много писали о почаевских монахах. Разрешите вам сказать, что я узнал о тех безобразиях, которые творились в Почаеве, раньше вас и сделал для их прекращения больше, чем вы. Я в свое время звонил об этом в ЦК и говорил об этом в ЦК. Вы, очевидно, знаете, что наш журнал выступил недавно против такой одиозной личности, как Алла Трубникова. У меня самого очень много друзей среди верующих. Надо же быть беспристрастным к атеизму.

*Левитин.* Я знаю, вы придерживаетесь достойной линии в борьбе против религии и в свое время предлагали мне через Шамаро встречу. Я с удовольствием с вами встречусь. Что касается беспристрастия, то разрешите вас спросить: вы читали мою статью о Хрущеве?

*Григорян.* Читал.

*Левитин.* Разве вы считаете, что я отнесся к Хрущеву пристрастно?

*Григорян.* Кстати, об этой статье. Вы говорите там о честной, правдивой Руси. Со всем этим я, конечно, согласен. Я тоже за

такую Русь. Но почему вы ее отождествляете с Церковью? Мы все хорошо знаем, что такое Православная Церковь.

*Левитин.* Я ее не отождествляю с Церковью.

*Романов.* Нет, отождествляете: там прямо говорится о том, что святая Русь сохранилась лишь в Церкви.

*Левитин.* Даже о вашем соотруднике я там говорю.

*Григорян.* Да, вы его посадили одним боком в святую Русь. Об этом мы потом с вами поговорим.

*Чертыхин (зав. Политиздатом).* Анатолий Эммануилович! Я заведу Политиздатом. Вы никогда не разбираете брошюр, вышедших в нашем издательстве. Почему это? Вы их не читали? Зная вас, мне трудно в это поверить. Видимо, вы предпочитаете спорить с вашим воспитанником Дулуманом.

*Левитин.* И с Ильичевым.

*Чертыхин.* Анатолий Эммануилович! Я хочу обратиться к вам не по-товарищески; конечно, мы с вами не товарищи.

*Левитин.* Безусловно.

*Чертыхин.* Я хочу обратиться к вам как к своему бывшему коллеге. Я кандидат наук; вы тоже готовились стать кандидатом. Научный работник должен писать о своей области, о том, что является его специальностью. Вы же с необыкновенным апломбом лезете в совершенно несвойственные вам области. И вот, вы оперируете термином "философская материя", между тем как такого термина нет. Вы пишете, что современная наука может давать гениальные открытия, но не может дать законченной картины мира. Вы пишете, что Декларация прав, принятая посланцами Эйзенхауэра и Черчилля, является основой социализма.

*Левитин.* Я это не писал.

*Романов.* Вот цитата из письма к Никодиму: "Необходимо широко опубликовать Декларацию, привести в соответствие с ней все законодательство и строить в соответствии с ней всю повседневную деятельность. Это основа социалистической демократии".

*Левитин.* Это совершенно другое дело: речь идет о социалистической демократии. О какой, действительно, демократии может идти речь, если важнейший, принципиальный документ, подписанный и ратифицированный, не только не проведен в жизнь, но даже не опубликован?

*Чертихин.* Вы сбиваете людей с толку, Анатолий Эммануилович, их одурачиваете. Мы не можем с этим мириться.

*Левитин.* Уважаемый коллега! Прежде всего не стройте из себя сироту казанскую и не разыгрывайте роль обиженного. Можно подумать, что вы сидите в Ново-Кузьминках и печатаете свои статьи в двадцати экземплярах, а я их печатаю миллионными тиражами. В письме к Никодиму я привожу свой ответ лагерному оперуполномоченному, предложившему мне стать стукачом: "Если эти люди говорят неправду, их надо опровергать, а если говорят правду, с ними надо согласиться".

*Голоса.* Знаем, читали.

*Левитин.* Если я пишу неправду, так вам, заведующему Политиздатом, ее опровергнуть легче, чем кому бы то ни было. Вас же читают десятки тысяч человек.

*Романов.* Десятки миллионов.

*Левитин.* Тем более. Что же вы не опровергаете?

*Чертихин.* Нам не до этого.

*Левитин.* А теперь чего вы всполошились? И чего вы сюда пришли?

*Чертихин.* Пришелся случай. Вот и сказали.

*Трушин.* (читает по бумажке). Когда он услышал, что здесь находится уполномоченный Совета по делам Православной Церкви, он сразу сделал против меня выпад, назвав меня диктатором московской Церкви. (Смешки. Чей-то голос: "Как же обер-прокурор"). На самом деле все это неверно. Все знают, что мы действуем в строгом соответствии с законом. И на последнем совещании уполномоченных это было специально указано. Все дело в том, что Анатолий Эммануилович оторвался от жизни. К нему ходят священники, которых мы снимаем с регистрации. Есть священники, которые нарушают законы, и их мы снимаем. Не можем же мы их не снимать, потому что Левитину это не нравится. И Анатолий Эммануилович им верит. Почему ему не обратиться к нам за разъяснениями. Я получаю много писем и на них всегда отвечаю.

*Романов.* К вам Анатолий Эммануилович обращался когда-нибудь?

*Трушин.* Никогда. Между тем для него открыты все двери: и Дом научного атеизма, и все редакции, и все инстанции. Для чего же вы избираете путь такого закрытого распространения ваших произведений?

*Левитин.* К сожалению, не очень закрытого. Вы их все знаете. Кстати, откуда вы их знаете?

*Майор Шилкин.* Это мы вам все объясним. Анатолий Эммануилович.

*Трушин.* Или вот вы работаете истопником. Это же одно лишь прикрытие. На 35 рублей нельзя жить.

*Майор Шилкин.* Да еще оплачивать машинисток.

*Григорян.* Анатолий Эммануилович! Разрешите вам сказать, как журналист журналисту. Ведь прежде всего, когда к вам поступает материал, вы его должны проверить, потом дать сигнал в ту или иную инстанцию, а потом уже публиковать. Вы же часто публикуете материал шестимесячной давности, факты, уже давно исправленные.

*Левитин.* Все это одни разговоры. Укажите такие факты.

*Романов.* Вы касаетесь в ваших статьях буквально всех сторон общественной жизни. И буквально в каждой статье — о культе личности. Все уж о нем забыли. Надо ли писать об этом?

*Григорян.* Нет, писать о культе личности надо, когда имеются его остатки.

*Майор Шилкин.* Анатолий Эммануилович! Вы сказали, что свои статьи вы распространяли, распространяете и распространять будете. Вы назвали также нашу конституцию сталинской. Она, может быть, и сталинская, но она действующая. Вы хорошо знаете статью, согласно которой антирелигиозная пропаганда допускается всем гражданам, а проповедь религии допускается лишь в особых помещениях, особыми людьми. Кроме конституции имеется еще законодательство, которое тоже надо уважать. Конечно, никто не может вам запретить писать то, что вы хотите; однако если вы будете распространять ваши произведения тем же путем, что и раньше, то вы можете встретиться уже не с нами, а с другой общественностью, которая предъявит вам обвинение по ст. 162 — в незаконном промысле.

*Левитин.* Это все ваше дело. Мое дело — писать. Ваше — реагировать на это.

*Майор Шилкин.* Теперь второй вопрос — о вашей работе. Вы настаиваете на том, что должны работать непременно учителем. Но ведь это противоречит вашим убеждениям. Школа же у нас отделена от Церкви, и все воспитание строится на антирелигиозной основе.

*Левитин.* При чем здесь мои убеждения? Конечно, я не буду никогда говорить ничего антирелигиозного. Но я люблю учить людей грамоте и русской литературе. За двадцать с лишним лет своей педагогической деятельности я переучил несчетное количество людей. Все они литературу знают. А о религии я с ними не говорил.

*Романов.* Однако в вашем "Вырождении антирелигиозной мысли" вы рассказываете о том, как однажды у вас не налаживался контакт с классом. И наладился он лишь тогда, когда ученики узнали, что вы верующий.

*Левитин.* Ну и что же такое? Я не делал никогда из этого тайны.

*Григорян.* Вам, Анатолий Эммануилович, надо заниматься научной работой. Пока же лучшая работа для вас — это быть библиографом.

*Чертыхин.* Анатолий Эммануилович! Вы же лучше, чем кто-либо, знаете атеизм. У нас есть место библиографа по атеизму. Зарплата — 150 рублей.

*Левитин.* Я вынужден напомнить фразу из одной моей статьи: "Не купите и не запугаете, не запугаете и не купите. (Голоса: "Никто вас не собирается ни запугивать, ни покупать"). А 150 рублей — слишком маленькая цена.

*Чертыхин.* Но если вы соглашаетесь быть учителем, то это почти то же самое.

*Левитин.* Нет, это не то же самое: одно дело учить людей грамоте, а другое — помогать атеистам.

*Григорян.* Нет, работа для Анатолия Эммануиловича должна быть подобрана, конечно, с учетом его убеждений.

*Секретарь райисполкома.* Анатолий Эммануилович! Когда мы с вами встретились несколько месяцев назад, шла речь о вашем устройстве на работу. Мы рады, что вы сразу же устроились на работу. С тех пор я прочла примерно 40 процентов всего, что вы написали. И мы озабочены вашим устройством на работу, более соответствующую вашему образованию. Разрешите говорить мне и от вашего имени и защищать ваши интересы. Надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся.

*Левитин.* Спасибо.

Левитин обменивается рукопожатием с секретарем райисполкома и с Григоряном. Остальным делает общий поклон.

*Майор Шилкин.* Да, мы не ответили еще на один ваш вопрос,

Анатолий Эммануилович, — откуда мы знаем ваши произведения. От ваших читателей: они их нам приносят.

*Левитин.* Тем хуже для моих читателей.

\* \* \*

В 1949 году, в камере 33, на Лубянке, со мной сидел старый московский врач С. В. Грузинов. Однажды он начал читать мне длиннейшее, сентиментальнейшее стихотворение. В этом стихотворении (не помню автора) рассказывалось о девушке, которую сжигают на костре, и в тот момент, когда она сожжена, вдруг неожиданно вновь возникает ее силуэт. "Это — свободное слово" — морализует автор. Прочтя это стихотворение, доктор засмеялся; засмеялся и я. Уж очень смешно звучала эта высокопарная либеральная рацея о "всемогуществе свободного слова" в темной, вонючей камере, в которой сидели 8 человек, боявшихся говорить откровенно о чем-либо даже между собой (я, со свойственной мне болтливостью, в этом смысле составлял исключение).

И вот, свободное слово все-таки воскресло и еще раз доказало свое могущество.

О могуществе свободного слова свидетельствует и приведенная выше беседа.

В самом деле какое могут иметь значение писания бывшего школьного учителя, не занимающего никакого официального положения, распространяющиеся среди его друзей? Ведь все эти писания — это всего лишь слова — "слова-скорлупки", как говорил Маяковский. Но все дело в том, что это свободные слова свободного человека, чуждого страха и корысти. И вот, девять солидных дядей занимаются этими словами, заучивают чуть ли не наизусть мои статьи, знают их чуть ли не лучше, чем я сам, собираются, совещаются по этому поводу.

Так велика сила свободного слова.

В богослужебном обиходе Православной Церкви имеется термин "Солнце Правды", а свободное, правдивое слово — это луч солнца.

Во время беседы Б. Т. Григорян говорил о необходимости различать разные виды атеизма. В этом отношении я полностью с ним согласен. В то время, когда атеисты выступали в качестве инквизиторов (1957—1964 гг.), я обращал к ним гневное слово. Если кто-нибудь из них (как, например, Дулуман) на меня был за это

обижен, то я могу им напомнить древнюю русскую поговорку: "Розга — не мука, а вперед — наука". Другое дело, когда речь идет о честных атеистах, желающих искренне разобраться в религиозных вопросах и предлагающих верующим людям диалог на равных началах.

Такие атеисты сейчас имеются: и они в дальнейшем будут, видимо, играть все большую роль. С ними можно говорить серьезно и сердечно, уважая их как честных людей и товарищей, в то же время, разумеется, не отступая ни на йоту от своих убеждений. В этом меня, между прочим, убедила беседа с Б. Т. Григоряном, которая состоялась на другой день и длилась около пяти часов.

Это не были дипломатические переговоры — это был самый обыкновенный человеческий разговор двух литературщиков, свободно и непринужденно высказывающих свое мнение, живо напомнивший мне студенческие времена, когда, шатаюсь по городу, я точно так же вел умные (часто, впрочем, и заумные) разговоры с товарищами.

Установление полной, а не мнимой свободы религии в нашей стране уничтожит искусственные перегородки между атеистами и верующими, и тогда возникнет та атмосфера дружбы и сотрудничества, в которой возможно будет совместно искать истину.

Борьба за свободу религии, за свободу атеизма, за полную свободу совести — вот та миртовая ветвь, которую я протягиваю своим друзьям — верующим и атеистам.

Этим я хотел кончить. И подумал: многих удивит мое предложение бороться за свободу атеизма. Иные увидят в этом демагогию.

Нет, это не демагогия — это правда жизни. Ибо и атеизм у нас несвободен, как несвободна религия. Положение атеизма у нас сейчас сильно напоминает положение Православной Церкви в дореволюционной России.

Православие, как известно, было тогда официальной идеологией; всякие споры с ним категорически воспрещались. "Священник у нас — это несчастный человек: с ним нельзя спорить", — писал В. С. Соловьев. Церковь была несвободна, потому что она была принудительна.

Атеизм у нас несвободен именно потому, что он принудителен, общеобязателен, бесспорен. (Даже из материалов этой беседы это видно, — ведь убеждены же все присутствующие, что верующий человек не может быть учителем.)

Борьба за свободу религии есть поэтому борьба и за свободу атеизма, ибо методы принуждения (прямые или косвенные) компрометируют атеизм, лишают его всякой идейной значимости, всякого духовного обаяния.

Итак, да здравствует свободная религия и свободный атеизм!

*30 мая 1965 года.*

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### ПЕТИЦИЯ

Конец 1965 года. 21 ноября. Ночь. На Большой Дмитровке — ныне Пушкинская улица. В Москве. Большой шестиэтажный дом. Старинные барские квартиры, потолки с лепными украшениями. В одной из квартир большая комната с внутренней лестницей, с мезонином. Ночью здесь два человека: двое мужчин — красивые, зрелые. Один с боярской внешностью, с выхоленной бородой, Николай Эшлиман; другой также со старомодной бородкой, имеет наружность провинциального помещика. Я как-то ему сказал: "Вы, Феликс, похожи на картежника XIX века, азартного игрока". В ответ он засмеялся и сказал: "От вас дожدهмся комплимента!"

Оба взволнованы. Они только что закончили 8-месячную работу: обе петиции — Патриарху и в Совет по делам Православной церкви. Они твердо уверены, что это харизматический момент, что работа закончена благодаря действию Благодати Святого Духа, всегда "неможные врачующей, оскудевающих восполняющей". И, встав перед иконами, они поют пасхальные гимны.

Наутро приходит Глеб Якунин — человек одного с ними духа, но так на них непохожий. Быстрый, суетливый, с блондинистой, рыжеватой бородкой, типичный советский научный работник, аспирант, — мой лагерный дружок Кривой нашел в нем сходство с молодым Бухариным.

13 декабря 1965 года оба священника в рясах отправляются в Чистый переулок в Патриархию. А в Патриархии после отставки Киприана опять перемены. Теперь правит четверка. Патриарх Алексей (в лице своего alter ego — Даниила Андреевича Остапова), Митрополит Никодим ("министр иностранных дел"), Митрополит Пимен (управляющий Московской епархией), как всем понятно, будущий Патриарх, и новая фигура — управляющий делами Патриархии Митрополит Таллинский Алексей. Именно перед ним предстали два священника со своей петицией. Надо сказать о нем

также несколько слов, тем более что и сейчас он занимает ту же самую должность.

Его фамилия Редигер. Собственно говоря, барон фон Редигер. Дед его, из остзейских баронов, занимал высокое положение, ходил в генералах. Жил в Ревеле. После революции отец его принял сан священника и служил в одной из церквей Ревеля, переименованного эстонцами в Таллин. Его собратом, который служил с ним в одном храме, был пресловутый А. А. Осипов.

Затем мировая война, бесконечные перетасовки: советские войска, немцы, опять Советы. Молодой Редигер поступает в Ленинградскую Духовную Академию, попадает под крыло к старому сослуживцу отца А. А. Осипову, тогда занимавшему пост инспектора Академии. В Академии он пришелся ко двору: на третьем курсе принимает монашество; затем обычная карьера ученого монаха: в 30 лет он уже епископ Таллинский, а затем вскоре управляющий делами Московской Патриархии в сане архиепископа. Вскоре он стал Митрополитом.

Он устраивает всех: прекрасно воспитанный, с изящными, аристократическими манерами, он нравится Патриарху; мягкий по характеру, уступчивый, он умеет ладить с собратьями, тактично руководить подчиненными (это не крикливый, неотесанный, театральный администратор Киприан Зернов), наконец, уступчивый, всегда готовый к компромиссам, он очень устраивает деятелей Совета по делам Православной церкви. К тому же и иностранцам его показать не стыдно: человек голубой крови, с манерами дипломата.

Перед ним предстали два взволнованных священника в морозный день 13 декабря 1965 года. "Мы принесли вам, Владыко, — сказал отец Николай Эшлиман, — документ, адресованный Патриарху, в котором изобличаются вины Патриархии". Архиепископ Алексей тактично спросил: "В чем вы видите ее вины?" В ответ последовала бурная тирада. В заключение реплика иерарха-дипломата: "Ваша петиция будет передана Святейшему Патриарху".

Свое слово он сдержал (к негодованию Даниила Андреевича, который вообще ничего не передавал Патриарху, кроме юбилейных адресов).

Патриарх внимательно прочел. Сказал: "Все правильно. Возражать тут нечего".

В Совете по делам Православной церкви петиция также про-

извела впечатление. Один из крупных работников сказал: "Да что там. Выгнать их надо!"

На это последовал ответ: "Если это попадет за границу, могут быть неприятности". Он не ошибся: документ действительно вскоре попал за границу.

Авторы петиции постарались ознакомить с ней и всю Русскую церковь: размноженная в нескольких стах экземплярах (до чего трудно было сделать это на машинках, — московские машинистки разбогатели) петиция была разослана всем архиереям Русской церкви.

\* \* \*

Французская поговорка гласит, что "кошку надо назвать по имени". Собственно говоря, в петиции не было ничего такого, что не было бы известно решительно всем, кто жил в Советском Союзе.

Патриарх был вполне прав, когда говорил, что в петиции "все правильно". Не только возражать, но даже и сомневаться в чем-либо не приходилось.

Ново было то, что нашлись двое священников, которые, не боясь, во весь голос, перед лицом всего мира сказали правду. Что было до этого? Были простые женщины в платочках, которые не хотели выходить из храмов, когда их закрывали. Но ведь кто обращал на неграмотных старух внимание? Связно изложить то, что происходит, они не могли и не умели. Были почаевские монахи, которые не хотели уходить из монастыря. Но ведь они тоже ничего толком сформулировать не могли и не умели.

Был Левитин-Краснов, основатель религиозного самиздата, религиозный интеллигент эсеровского типа, этот как будто умел и говорить, и формулировать. Но ведь он один. И человек-то не церковный или полцерковный, бывший обновленец, полуеврей. А остальные молчат и всем довольны.

И вот два священника теперь провозглашают на весь мир, что церковь в России гонимая, — и Церковь живая, благодатная, истекающая кровью.

И вспомнились мне тут слова Павла Антокольского, поэта, потерявшего на войне сына:

"Сын Человеческий встает,  
Как Он вставал когда-то.

**Кровь человеческая льет  
Из черных ран солдата”.**

Кровь человеческая из ран солдата, борца за Правду, верующего, священника, воина Христового!

И атмосфера после этого изменилась. Не только в русской церкви. В какой-то мере и во всем мире. Русская церковь перестала быть церковью молчания. Она заговорила. Но это только один из аспектов петиции. И притом не самый главный. Выяснилось, что 48 лет гонений не могли ни уничтожить, ни обескровить Христову Церковь. Голос Церкви раздался, и откуда же — из столицы, из самых недр, из которых исходит наступление на религию, — из самой Мекки мирового атеизма, — из Москвы, из квартиры на Пушкинской улице, от которой всего лишь пять минут ходьбы до Красной площади, мавзолея Ленина и Кремля. Это показывало огромное, не умирающее и не ослабевающее значение христианства. Если так можно выразиться, удельный вес христианства во всем мире повысился, — это показывало, что правы те наиболее дальновидные социалисты и коммунисты всего мира, которые примерно в эти годы прекратили свои наскоки на церковь; более того, стали перед ней расшаркиваться, звать ее себе в союзники. Если уж Ленину, Троцкому, Сталину не удалось ее ни уничтожить, ни подавить, так где уж тут это сделать Торезам да Дюкло, Тольятти да Луиджи Лонго, Хрущевым да Булганиным, Брежневым да Сусловым. “Сила Божия в немощи совершается”. Устами двух скромных, и нельзя сказать, чтобы особенно выдающихся людей, заговорил Христос.

Петиция, направленная Патриарху, написана неумело, довольно коряво — сразу видно, что писали ее не литераторы. Но, быть может, именно в этом отсутствии профессиональной приглженности ее сила.

Петиция начинается с самого простого, с того, что знают все верующие, что испытали на себе все те, кому приходилось окрестить в церкви ребенка: то, что для крещения ребенка у родителей требуется предъявление паспортов и письменного удостоверения, заверенного домоуправляющим, в результате чего на родителей сыплются всевозможные кары: от исключения из партии, увольнения со службы до издевательских карикатур в стенных газетах с объявлением антиобщественным элементом (пункт 1 петиции).

Во втором пункте излагается печальная история массового закрытия храмов, православных обителей, духовных семинарий.

В третьем пункте дается оценка государственным узаконениям, согласно которым воспрещается совершение в домах верующих каких-либо религиозных действий.

В четвертом пункте дается оценка совершенно антиканонического порядка, когда под видом якобы "Регистрации" совершается фактически назначение заведомыми атеистами, чиновниками из Совета по делам Православной Церкви, всех православных священнослужителей. Это является не только нарушением всех церковных канонов, но и Советской Конституции, гарантирующей якобы отделение церкви от государства.

В заключительной части петиции в очень почтительной форме показывается, однако, вся лживость представителей Патриархии, которые своими лицемерными заявлениями сбивают с толку мировое общественное мнение и лишают церковь всякой защиты.

Как я сказал, впечатление, произведенное петицией, было огромное. Уже в начале 1966 года она была полностью напечатана на всех европейских языках. Она передавалась полностью и целиком на русском языке радиостанциями Би-Би-Си, "Голосом Америки" и "Свободой". Таким образом, о ней узнала вся русская церковь, о ней заговорили все церковные люди, все священники, монахи, простые миряне.

В эти дни как-то раз на квартире у Клавдии Иосифовны мне сказал Феликс: "Анатолий Эммануилович! Нужен отклик". Отклик действительно не заставил себя долго ждать. В начале 1966 года появляется в самиздате моя статья "Час суда Божия". Я излагал в ней содержание петиции и оценивал ее как час суда Божия — суда над всей накоплавшейся десятки лет неправдой, гнусным издевательством над религиозными чувствами людей и трусливым пособничеством Патриархии.

Затем последовали отклики по радио. Как видно из радиопередач, о петиции писала вся мировая пресса: от "Таймс" и до католических провинциальных газет. Не будет преувеличением сказать, что не было ни одной сколько-нибудь серьезной газеты, которая бы не писала о петиции, о русской Православной церкви, о сложившейся ситуации.

В это время Митрополит Пимен вызвал к себе в Новодевичий двух священников. Первым вошел в кабинет Митрополита Крутицкого отец Николай Эшлиман.

Митрополит, стоя посреди кабинета, приветствовал его ироническим поясным поклоном: "Ну, спасибо, Николай Николаевич, оказали услугу. Теперь мне проходу нет. Меня упрекают: вот ваш ставленник, ваш протеже! Спасибо!" Отец Николай отвечал также довольно резко. Разговор принимал все более и более напряженный характер.

И тут из уст разгоряченного Митрополита вырвалась фраза: "Да что вы лбом стену хотите прошибить? Ну, передаст вашу петицию два раза Би-Би-Си. И на этом конец". Когда вслед за Эшлиманом в кабинет вошел Глеб, Митрополит, все еще красный, разгоряченный, разговаривал и с другим священником все тем же порывистым, взволнованным тоном.

Между тем сенсация, вызванная петицией, не успокаивалась. На протяжении трех месяцев по радио шли все новые и новые сообщения об откликах прессы. Отклики были двух типов: восторженные, приветствовавшие смелость двух героических священников, — таких было большинство — и умеренные, которые осуждали священников за излишнюю резкость. В частности, английская католическая газета "Католик Геральд" приводила мнение одного католического монаха, который, прочтя петицию, вздохнув, сказал: "Я все-таки за стариков. Не годится молодым священникам так осуждать епископов, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть ежовщины".

Отец Владимир Родзянко, приобретший широкую известность своими высокоталантливыми лекциями на религиозно-философские темы по Би-Би-Си, призывал молиться об успокоении Русской церкви, стараться договориться с Патриархией.

Все это побудило меня весной 1966 года выступить с новой статьей "Слушая радио". Я приводил в ней много новых фактов из русской провинциальной жизни, в частности из жизни Смоленской епархии, которые свидетельствовали о невероятном падении нравов епископов, о падении нравов рядового духовенства, буквального пронизанного агентами КГБ.

Я указывал на то, что уговорами здесь не поможешь, как не смогли помочь уговорами в начале века русские либералы в главе с дядюшкой отца Владимира (оказалось, что Председатель Государственной Думы приходится ему дедом).

Я говорил необыкновенно резким тоном — и не мог говорить иначе, ибо тема была животрепещущая, близкая сердцу, больная, кровная.

В церкви была накаленная атмосфера. Все ожидали, что будет дальше. Епископы, получившие петицию, по сигналу сверху давали отзывы в Патриархию, причем большинство отзывов, разумеется, были составлены в духе, удобном светскому и духовному начальству. 24 декабря 1965 года последовала резолюция Патриарха:

“Священники Московской епархии Николай Эшлиман и Глеб Якунин обратились к нам с так называемым “Открытым письмом”, в котором предприняли попытку осуждения деяний Архиерейского собора 1961 года, а также действий и распоряжений церковной власти.

Не дождавшись какого-либо ответа на свое письмо, они самовольно разослали его копию всем епархиальным архиереям, пытаясь нарушить церковный мир и произвести соблазн в церкви.

Тем самым составители письма не выполнили данное ими перед рукоположением обещание (присягу) “проходить служение согласно с правилами церковными и указаниями начальства”.

Получившие копию письма архиереи присылают в Патриархию свои отзывы, в которых выражают свое несогласие с содержанием письма и возмущаются действиями двух священников, посягающих на церковный мир.

Ввиду изложенного поручить Преосвященному Митрополиту Крутицкому Пимену указать составителям письма на незаконность и порочность их действий, направленных на соблазн Церкви, и на соответствующем докладе Преосвященного иметь о священниках Н. Эшлимане и Г. Якунине особое суждение.

Резолюцию сообщить циркулярно всем Преосвященным\*\*.

Тем не менее священников пока не трогали. Косная и тяжкая на подъем бюрократия, видимо, была озадачена и никак не могла сообразить, что надо делать и что следует предпринять. Наконец в мае оба священника опять были вызваны к Митрополиту Крутицкому. На этот раз в кабинете присутствовал при беседе его секретарь. В этом отчасти виноват был я, так как в своей статье “Час суда Божия” я привел слова Митрополита: “Что вы стену лбом прошибить хотите, что ли?”. В связи с этим Митрополиту в Совете было сказано: “Неужели вы действительно могли это сказать?”

А один из архиереев говорил по моему адресу: “Он пишет статейки, а из-за него летят архиереи”. Впрочем, у страха глаза

---

\* Цитирую по Апелляции на имя Патриарха Алексия отцов Эшлимана и Якунина.

велики. Никто из-за моих статей не полетел, а улетел лишь я сам: сначала в тюрьму, потом в лагерь, потом в вынужденную эмиграцию. А архиереи остались на месте.

\* \* \*

Майский разговор с Митрополитом Пименом носил совсем не тот характер, что в декабре. На этот раз спокойный, учтивый (что, вообще говоря, ему свойственно не было), Митрополит сказал: "До сих пор Церковь матерински ожидала вашего покаяния. Сейчас я призвал вас, чтобы спросить: не произошло ли каких-либо изменений в вашей позиции?" После отрицательного ответа Митрополит благословил священников и учтиво с ними простился. Через несколько дней оба священника получили Указ Патриарха о запрещении в священнослужении, под которым они состоят вплоть до настоящего времени.

Приводим документы, относящиеся к этому печальному делу.

Тотчас после беседы с Митрополитом Пименом оба священника подали на имя Патриарха заявления следующего содержания:

"Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

от священника Покровской церкви,  
что на Лыщиковой горе г. Москвы,  
Эшлимана Николая

### Объяснение

12 мая 1966 года я был вызван Высокопреосвященнейшим Пименом, Митрополитом Крутицким и Коломенским, который предложил мне от имени Вашего Святейшества вопрос о моем нынешнем отношении к содержанию "Открытого письма", адресованного Вам нами 13 декабря 1965 года.

Его Высокопреосвященство спрашивал меня, во-первых, не раскаиваемся ли мы и не сожалеем ли о написании письма и, во-вторых, намерены ли мы предпринимать какие-либо дальнейшие шаги, аналогичные вышепоименованному письму.

Позвольте сказать Вашему Святейшеству, что лично я, да, как мне известно, и отец Глеб Якунин, считаю милостью Божией авторское участие в создании этого письма, и ни о какой перемене в отношении мыслей, нашедших в нем выражение, не может быть и речи. Что же касается раскаяния, то в отношении содержания и формы распространения письма ни я, ни отец Глеб не считаем

себя совершившими проступок, ежели только верность Апостольскому преданию и повелениям Святой Церкви Христовой не являются в современном "каноническом мышлении" преступлением.

По поводу осуждения, выраженного нам в Вашей резолюции от 24 декабря 1965 года, я посмею почтительнейше адресовать Ваше внимание к VI Правилу II Вселенского Собора.

Относительно второго вопроса, предложенного нам Его Высокопреосвященством, то я считаю, что содержание нашего письма достаточно определенно отвечает на него.

В заключение еще раз смею перед Господом и Вами, Ваше Святейшество, свидетельствовать об истинности наших обвинений в адрес высшего церковного управления.

Вашего Святейшества недостойный богомолец

священник Н. Эшлиман

12 мая 1966 г."

"Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

от Якунина Глеба, священника  
храма Казанской Божией Матери  
гор. Дмитрова.

### **Объяснение**

Ваше Святейшество!

12 мая 1966 года я был вызван к Высокопреосвященнейшему Митрополиту Коломенскому Пимену и имел с Его Высокопреосвященством вторичную беседу по поводу "Открытого письма" от 13 декабря 1965 года и резолюции Вашего Святейшества.

Во время беседы Преосвященнейший Владыка предложил мне ответить на следующие вопросы:

1. Продолжаю ли я придерживаться тех же взглядов, которые были выражены о. Н. Эшлиманом и мною в "Открытом письме"?
2. Как я отношусь к резолюции Его Святейшества от 24 декабря 1965 года?
3. Намерен ли я предпринимать какие-либо действия, подобные "Открытому письму"?

Отвечая на эти вопросы, я считаю своим долгом еще раз засвидетельствовать перед Вашим Святейшеством свою готовность принести церковную присягу на Кресте и Евангелии в знак удосто-

верения того, что было изложено в "Открытом письме". В отношении резолюции Вашего Святейшества от 24 декабря 1965 года я не могу не выразить своего удивления по поводу того, что она впадает в прямое противоречие с каноническим правом и практикой Святой Церкви (VI Правило II Вселенского Собора). Кроме того, резолюция Вашего Святейшества совершенно неосновательно ставит под сомнение нравственные побуждения, которыми мы руководствовались при составлении и распространении письма.

Я продолжаю быть глубоко уверенным в необходимости отмены антиканонических постановлений Архиерейского Собора 1961 года и готов участвовать в любом правильном церковном действии, направленном на осуществление этого благого дела.

Вашего Святейшества недостойный богомолец

священник Г. Якунин

12 мая 1966 г."

Текст документа о запрещении обоих священников гласит следующее:

"Как видно из объяснений священников Н. Эшлимана и Гл. Якунина, соблазнительное упорство в их вредной для церкви деятельности продолжается.

В целях ограждения Матери-Церкви от нарушения мира церковного считаем необходимым освободить их от занимаемых ими должностей с наложением запрещения в священнослужении до полного из раскаяния, причем с предупреждением, что в случае продолжения ими их порочной деятельности возникнет необходимость прибегнуть в отношении них к более суровым мерам, согласно с требованием правил церковных.

Патриарх Алексий

13 мая 1966 г."

(Цитирую по тексту Апелляции священников Н. Эшлимана и Г. Якунина от 23 мая 1966 года.)

\* \* \*

Мне врезался в память теплый майский день, когда отец Глеб праздновал свое новоселье. Он сумел приобрести квартиру в жилищном кооперативе, во вновь отстроенном многоэтажном доме. Были все свои, а также староста из храма, где служил Глеб. Хорошая квартира, все было новое, стол, накрытый белой ска-

тертью, на столе много яств, традиционное шампанское. Но было грустно. Только что хозяину дома был вручен документ с резолюцией Патриарха. Отныне он был под запретом.

В его жизни, да и в жизни всех начиналась новая эра. Эра открытой оппозиции Патриархии.

\* \* \*

В эти майские дни под свежим впечатлением совершившейся несправедливости я пишу свою статью "Любовью и гневом", неслыханную по резкости, направленную Патриарху. Перечитал ее сейчас (через 13 лет), и многое покорило. Многое показалось излишне резким. Очень шероховатым. Сейчас я ее написал бы совсем не так. Многие были также шокированы этой статьей, беспримерно резкими выпадами в адрес 89-летнего старика. Но писал я ее в порыве крайнего раздражения, раздражения, вполне обоснованного и справедливого. Форма была слишком резкая, исходящая от человека страстного, порывистого, эмоционального, но по существу я был прав, и вся дальнейшая жизнь лишь подтвердила правильность статьи, в чем читатель может убедиться, так как я печатаю ее в приложении к этой главе.

Статья называется "Любовью и гневом". Мною действительно владели два эти мощные стимула: любовь к Правде и к обиженным друзьям и гнев против тех, кто их гонит.

Эта статья была межой. С этого времени все представители официальной церкви видят во мне врага. Но имею я и многих друзей.

Ребята из Семинарии, из Академии по-прежнему днюют и ночуют в домике в Ново-Кузьминках. С женой мы все еще по ряду причин жили раздельно. Причем с бурсаками я и сам становился бурсаком. Во мне пробуждался мальчишка. Помню, раз в Исторической библиотеке я встретил одного знакомого журналиста из журнала "Наука и религия". Сказал ему: "Я хочу дать вам про себя материал. Знаете ли, что я делал вчера весь день? Играл с бурсаками по-солдатски в дурака на щелбаны (щелчки)".

Он ответил: "Тоже одолжили. Подумаешь! Уж на старости лет вы могли бы хотя бы стать морфинистом".

Морфинистом я не стал, но мальчишества и безалаберности у меня было хоть отбавляй. И в это же время в церкви появляются новые люди. Расскажу о них.

“Иных уж нет, а те далече,  
Как Сади некогда сказал”.

\* \* \*

Это прежде всего отец Павел Максимов, новый настоятель нашего Вешняковского храма. Старый, бывалый человек. Сын известного в дореволюционные времена московского протоиерея.

Как-то я заметил на нем своеобразный крест с украшениями. Он меня заинтересовал. С приятельской фамильярностью я его взял в руки, стал рассматривать. На оборотной стороне было написано “I.B.” (И — десятиричное). Он сказал: “Ну-ка, угадайте, чьи инициалы?” Подумав, я сказал: “Иоанн Восторгов”. (Это был очень известный в дореволюционные времена человек — один из основателей Союза Русского Народа, настоятель храма Василия Блаженного, расстрелянный летом 1918 года.) Он сказал: “Правильно. В 18-м году мой отец сидел с ним вместе в Бутырках. Перед тем как его вызвали на расстрел, он подарил отцу наперсный крест”. Его отец был настоятелем храма Рождества Богородицы на Бутырском хуторе. Мальчиком он прислуживал отцу. Окончил Московскую Духовную Семинарию. Но тут подошла революция. Много мытарствовал. Служил и в поварах, и счетоводом, и бухгалтером. Имел семью. Хорошая, веселая жена (церковная певчая) и двое сыновей — хорошие, рослые мужчины, инженеры, глубоко верующие, всегда бывали в алтаре, когда служил их папа. Внук также в алтаре прислуживал деду.

Служил истово, с большим чувством. Проповедовал хорошо, с жаром, приводил примеры из жизни. Был любим прихожанами. Мы с ним были очень дружны. Беседовали часто часами. Вполне откровенно.

Добрый, умный человек. Умер от страшной болезни — от рака печени. О своей болезни знал, но служил до самой последней минуты. Говорил: “Я, когда служу, забываю, что болен”. Умер, когда я был в тюрьме. Обо мне беспокоился, как о родном, много молился.

Недавно я беседовал с одним приехавшим сюда представителем катакомбной церкви, который с фанатичной ненавистью говорил о Русской Православной церкви; отрицал он в ней благодать. И я вспомнил слова преп. Макария Великого. На вопрос о том, сходит ли благодать на дары, если совершает службу неверующий

священник, он ответил: "Сходит для тех, кто верующий". — "А если половина неверующих?" — "Тоже сходит для тех, кто верует. И если есть хоть один верующий, то для него и сходит благодать".

Пока есть в Русской церкви такие люди, как отец Павел Максимов, как отец Димитрий Дудко, как отец Александр Мень, как сотни других достойных пастырей, имена которых я не называю по понятным причинам, — в Русской церкви не оскудеет Благодать, она будет изливаться широким потоком и питать всех алчущих и жаждущих правды.

И о другом Павле мне хочется здесь вспомнить. Об иеромонахе Павле Максименко. Своеобразна судьба этого человека.

В миру Федор — из терских казаков, уроженец города Георгиевска (на Кавказе). Был в армии, служил в танкистах. Офицер, капитан танковых войск. Жена — коммунистка, заведующая местным Районным отделом Народного образования. Был и сынишка, которого он безмерно любил. И было вдруг ему "видение, непостижимое уму, — и глубоко впечатление в сердце врезалось ему".

Раз утром сидит он в своей комнате. Жена ушла на работу. Он задремал и вдруг видит что-то белое, что пронеслось мимо него. И слышит голос: "Федя, я твой ангел. Федя, будь верующим. Федя, проснись, а то забудешь!" Он проснулся и, как был, в мундире, в погонах, бросился на колени перед иконами. Иконы хозяйки этого дома. В этот момент вошла и сама хозяйка дома и увидела своего жильца-офицера, в погонах, молящегося со слезами на коленях перед иконами. Она потом сказала жене: "С Федей что-то неладное: я застала его на коленях перед иконами". Он действительно начал после этого долго и много молиться. И решил поступить в Духовную семинарию в Ставрополе. Но тут семейная драма. Жена — коммунистка, администратор, заведующая роно, глава всех учителей района. Перед ней дилемма: уйти из партии, лишиться профессии или развестись с мужем. С душевной болью, после долгой внутренней борьбы, она избрала второе. Совершился развод, и Федя поступил в Духовную семинарию, окончил ее блестяще, одним из первых. И получил направление в Московскую Духовную Академию.

Но дальше опять коллизия: "Что делать дальше?" С женой сойтись невозможно. Жениться второй раз — это значит лишиться возможности принять священство. (Согласно канонам, второбрачный не может быть рукоположен в священный сан.) После долгих раздумий Федор избрал монашество. На 3-м курсе Ака-

демии он был пострижен в монахи в Троице-Сергиевой Лавре с именем "Павел" и вскоре рукоположен в иеромонахи. Он блестяще кончает Духовную Академию. Его кандидатская диссертация — о значительном русском богослове-догматисте проф. Ф. Голубинском — одна из лучших за время существования Академии. Он живет в монастыре, исполняет монастырские послушания. Однажды он чистит снег, скалывает лед. В это время двое молодых людей, видимо приезжих из Москвы, останавливаются поодаль, о чем-то перешептываются, потом подходят к нему. Спрашивают: "Скажите, вы носите брюки?" Павел откидывает полы рясы, показывает синие домотканые брюки, которые носили тогда все монахи Троице-Сергиевой Лавры, говорит: "А как же, — монах в синих штанах. Все как полагается".

Через некоторое время он получает новое послушание — становится "Гостиником", заведует привилегированной монастырской гостиницей, в которой останавливаются архиереи. В это время происходит мое с ним знакомство. Я приехал к одному высокому лицу. В Лаврском дворе нас с ним познакомили. Впоследствии, когда мы с ним крепко подружились, он показывал мне запись в своем дневнике, одновременно лестную и обидную для меня:

"Познакомился с Красновым. Боже, какой же немощный сосуд Ты избрал!" Впрочем, еще раньше один из его друзей-монахов говорил ему про меня: "Он маленький, невзрачный..." В вечер нашего знакомства он сказал своему собрату: "Познакомился с Красновым". — "Ну, и что?" — "Да то, что ты говорил".

Все шло хорошо. Отец Павел считался одним из лучших иноков. Интеллигентный, начитанный, он в то же время много работал, собирался защищать магистерскую диссертацию. Но тоска по сыну его мучила. Он, конечно, ему помогал. Как-то поехал в Чистополь, городок Казанской области, куда перебралась в это время его бывшая жена, к своим родителям. Жена категорически запрещала ему видаться с сыном. Он обычно приходил к родителям жены, которые жили отдельно от дочери. Они предварительно брали к себе ребенка, чтобы он мог увидеться с ним украдкой. Как-то раз, когда он сидел у родителей жены, держа на руках сынишку, пришла жена. Произошла встреча бывших супругов, впервые за много лет. Было бурное объяснение. Жена сказала: "Я ничего не знаю о Боге. Я знаю только, что у меня нет мужа, а у моего ребенка нет отца". Это были ее последние слова. Больше

он ее не видел. Он рассказывал мне об этом волнуясь. А я вспомнил при этом слова из воспоминаний когда-то популярного, а теперь забытого русского писателя XIX века Н. И. Греча, писавшего по поводу изгнанного декабриста, которого развели с женой потому, что кто-то донес, что они когда-то вместе крестили ребенка, а следовательно, являются кумовьями. "Да будут прокляты те, кто из-за предрассудков портят людям жизнь!" В данном случае из-за антирелигиозных, коммунистических предрассудков.

\* \* \*

Печальна была судьба моего друга иеромонаха Павла. Пока он жил в монастыре, все было хорошо. Но вот один из иноков Лавры, достигший архиерейства, был назначен управляющим Смоленской епархией. И возымел он на беду мысль взять к себе из монастыря Павла. Отец Павел стал служить в соборе в Смоленске. Жил он в келье, в помещении древнего собора. Приезжал я к нему туда раз в ноябре 1965 года вместе с ребятами. Гостил у него. Смотрели Смоленск, древний город, отмеченный рядом исторических событий.

Тяжело Павлу тут было. Уж очень неприятный причт: все, почти без исключения, стукачи. Предложили заняться этим делом и Павлу. Категорический отказ. Любили и уважали его в народе. Но здесь случилось одно обстоятельство, которое оказалось роковым для о. Павла. Он, как бывший танкист, хорошо знал автомобиль. И сам был великолепным шофером и знал механизм автомобиля, как настоящий специалист. И вот, Преосвященный поручил ему связаться с местными шоферами, чтобы договориться о ремонте архиерейской легковой машины. И тут началось знакомство о. Павла с шоферами. А шоферы, как известно, любители выпить. И проснулся тут у Павла старинный русский недуг, который был у него наследственный: и отец его, и дед — оба были алкоголики. К тому же в Смоленске, среди шумного города, стала одолевать его с особой силой тоска по жене и сыну, чего в стенах монастыря, при размеренной монастырской жизни, не было. Несколько раз о. Павел крепко выпил. Этим воспользовались агенты КГБ; отца Павла отстранили от священнослужения. То был предлог: настоящая причина — отказ работать в КГБ и крепкая дружба со мной.

Отец Павел на некоторое время возвращается в Лавру. Ко мне не идет. Я передаю ему через знакомого диакона: "Моряки своих друзей не забывают. Пусть приходит ко мне, если не боится". На другой день пришел ко мне. Сказал: "Я думал, что вас не застану. Написал записку: "Моряки своих друзей на замки не приглашают. Зачумленные зачумленных не боятся. Если не боитесь, приезжайте ко мне в Лавру. Я живу в корпусе для приезжих".

Вскоре получил назначение в Иркутск, а через некоторое время в Псково-Печерский монастырь. Как-то раз, в 1968 году, собрался ехать из монастыря в Псков. Увидел автомобиль. Подошел ближе (роковую роль играли в его жизни автомобили). В этот момент грузовик неожиданно дал задний ход, сбил отца Павла с ног, затем проехал по нему. Через два дня он был похоронен в пещерах Псково-Печерской обители.

Царство Небесное и мир твоему праху, отец Павел, хороший русский человек, с чистым сердцем и с чуткой совестью! Молюсь за него ежедневно. Иерейство и иночество и добрую твою душу да помянет Господь Бог во Царствии Своем.

\* \* \*

И еще об одном человеке с трагической судьбой хочется вспомнить, хоть и очень тяжело вспоминать. О Марке Васильевиче Доброхове.

Примечательна судьба этого человека. Его дед — соборный протоиерей из Рязани. Его отец агроном, сельскохозяйственник, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной Академии. Человек серьезный, стойкий, глубоких знаний. В 40-е годы, после войны не ладил с Лысенко, утверждал с фактами в руках то, что теперь каждый знает и всякому понятно, что знаменитый и даже, как тогда говорили придворные льстецы, великий агроном — обыкновенный шарлатан.

Как известно, в 1948 году, после печально знаменитой "дискуссии" в Сельскохозяйственной Академии, "великий агроном" бросил на весы самый веский из всех научных аргументов: "Тут была записка: как относится ЦК к моему докладу. Отвечаю: ЦК (т. е. тов. Сталин) рассмотрел и одобрил мой доклад". Против такого аргумента оказались бессильны все научные доводы. А после закрытия сессии противники Лысенко были немедленно сняты со своих должностей и многие из них арестованы. В том числе

и проф. Доброхотов. Через несколько дней его жена с юношей-сыном были выброшены из казенной квартиры в Петровском-Разумовском. Жена профессора вскоре вышла замуж за другого, а юноша Марк (так звали профессорского сына) остался фактически беспризорным. Он пробовал многие профессии, одно время был музыкантом в красноармейском ансамбле. И много читал. Любил книги. Потом женитьба на женщине старше него, медицинской сестре из больницы им. Склифосовского. Он пытается поступить в Духовную семинарию. Его не приняли, так как оказалось, что он освобожден от службы в армии как шизофреник. Он поселяется в женином доме, деревянном домишке на Новослободской улице, против Пименовского храма. У него рождается сын. В это время начинается "эпоха позднего реабилитанса" — хрущевских амнистий. Возвращается из лагеря его отец, постаревший, физически немощный, но не сломленный. Он поселяется в родной Рязани. Там работает в Институте. Как бывший работник Сельскохозяйственной Академии, доктор наук, получает довольно большую зарплату. Начинает помогать сыну. Между тем сын все свои деньги тратит на книги. Собирает ценнейшую богословскую библиотеку. Этим он приобретает известность в церковных кругах. Когда в Духовной Академии отсутствует какая-либо книга, посылают к Марку. У него она почти всегда оказывается.

Далее. Начинаются его знакомства с букинистами. Он широко занимается обменом книг. Любовь к книгам сочетается у него с коммерческими способностями.

Он постепенно становится профессиональным книжным торговцем. Профессия, существующая во всех странах и всюду считающаяся полезной и почетной. Но по диким советским понятиям и это преступление. Книги ведь не апробированные. Вдруг проскочит какая-либо крамола.

Я познакомился с ним в 1964 году, в самый разгар преследования меня как тунеядца. Мы с ним стали приятелями.

Что нас связывало? У проф. Б. М. Эйхенбаума в его книге о Л. Н. Толстом есть интересное рассуждения — об архаистах и архаизаторах. Архаист — это человек крайне консервативных убеждений. Архаизатор может быть человеком самых прогрессивных и даже революционных воззрений, но по своим вкусам, по своей психологии он тянется к старине.

Марк был архаист, я (несмотря на свои социалистические убеж-

дения) глубокий архаизатор. Я влюблен в Россию XIX века, как социалист Анатолий Франс был влюблен (по его же словам) в средневековую Францию. Меня очень часто называли человеком XIX века; и действительно, по своей психологии я ничем не отличаюсь от русских интеллигентов 80-х, 90-х годов прошлого столетия.

Это меня и сблизило с Марком. Я любил зайти к нему вечером, побеседовать с ним. Мы говорили о том, о чем говорить уже не с кем или почти не с кем ни там, в России, ни здесь, в эмиграции. О старой России. Когда мы беседовали с ним, казалось, оживала Россия XIX века; мы погружались в старину. Он был поклонником Константина Леонтьева, я любил Владимира Соловьева и увлекался народниками. И мы с ним говорили о произведениях этих писателей, как о новинках, и спорили о них так, как будто они появились только вчера. Мы оба любили гулять. И в хорошую погоду, весной и летом, много и долго гуляли, делали по московским улицам турне по 10–12 километров.

Потом пришло в его жизнь то, с чего, по французской поговорке, начинается преступление, — женщина. Неожиданно Марк страстно, до одури, влюбился в женщину, которая много старше его, чужую жену, жену священника. Развод с женой. Семейная драма. Как раз в это время сносят их чудом оставшийся от старой Москвы утлый домишко. Марк получает квартиру в новом доме, в районе-новостройке. Мы попрощались с Марком в августе 1966 года. Он не приглашал меня к себе в новое жилище. Я понимал почему. Там я мог встретиться с моей старой знакомой, женой священника, встреча с которой у Марка была бы неприятной, неудобной и нежелательной.

И вот однажды (это было 28 ноября 1966 года, как теперь помню) я звоню к Вадиму. Его мама Екатерина Дмитриевна мне говорит: "Звонил некто Марк Доброхотов, он просит вас быть дома 29 ноября. Он будет у вас по делу". У меня телефона не было, и многие из церковных людей, которым надо было меня видеть, звонили к Вадиму, зная, что мы с ним очень часто видимся.

Я добросовестно ждал Марка до 2-х часов дня. Была не по-московски теплая погода. Солнце и желтые листья на деревьях. Золотая осень. Марк не пришел. А через несколько дней я узнал, что он зверски убит в Ново-Кузьминках (видимо, по дороге ко мне) в пустующем, предназначенном к сносу доме по Рязанскому проспекту.

Было долгое следствие. Вызывали по этому делу многих, в

том числе и меня. Ничего выяснить не удалось. Известно лишь следующее. В 12 часов к милиционеру, стоящему на посту, подошли дети и сказали: "Какой-то дяденька лежит в пустующем доме и стонет". Это был двухэтажный небольшой дом, принадлежавший Министерству путей сообщения, из которого теперь выехали жильцы, так как дом был предназначен к сносу. На втором этаже нашли Марка Доброхотова, лежащего на полу без сознания. Его погрузили на автомобиль, повезли в больницу. По дороге, не приходя в сознание, он умер. Первое вскрытие показало, что смерть могла последовать от удара чем-то тяжелым, обернутым в мягкое, по голове. Ноги были также в ссадинах. Видимо, его с первого этажа втаскивали по лестнице на 2-й этаж.

Я был на отпевании в Пименовском храме. Марк лежал в гробу как живой, красивый, помолодевший. У гроба плакала жена. Было тяжело и как-то жутко.

Через два года эта история всплыла снова. Началось новое следствие. Дело в том, что многие из тех, кого вызвали в КГБ в качестве свидетелей, а также многие арестованные, когда надо было что-то сказать о месте, где произошла та или иная встреча или где происходило то или иное совещание, или надо было объяснить, от кого был получен тот или иной документ, — показывали на Марка. Есть такой прием — валить на покойника, пойдика, проверь! В результате Марк вырос в глазах КГБ в какую-то огромную демоническую фигуру. Между тем Марк, будучи человеком весьма консервативных воззрений, никогда никакой нелегалщины не занимался и всякой конспирации боялся как огня.

Началось новое следствие. На этот раз его вела не милиция, а прокуратура. Было извлечено из могилы несчастное тело Марка (уже истлевшее). Исследование вновь показало, что череп Марка был пробит чем-то тяжелым. Однако, как и в первый раз, ничего толком установить не удалось. Как предполагалось, Марк имел свидание в пустующем доме (по дороге ко мне) с кем-то из книжных жучков, среди них были грязные и часто уголовные типы. И те на почве коммерческих разногласий убили несчастного Марка.

Сейчас жена его также умерла. Дом, в котором был убит он, снесен, а на его месте высится каменная громада. Снесен и другой дом, деревянный, в котором я бывал в течение двух лет частым гостем.

Сын его, эмигрировавший в прошлом году из СССР, находится сейчас в Вене в психиатрической больнице. И уже мало кто помнит

о Марке и о таинственной драме, происшедшей на Рязанском шоссе, по дороге в Ново-Кузьминки. Но да помянет и его, и его страдания, и его стремление к истине, и его религиозность Тот, у Кого в Его Царстве вечный покой.

“Ангельские лики, вечное хваленье,  
Дым благоуханий  
У Творца-Владыки вечное забвенье  
Всех земных страданий”.

*(Ф. Сологуб)*

\* \* \*

Мы говорили о покойниках. Труднее говорить о живых. Когда говоришь о них (да еще тех, кто живет в Москве), вновь оживают перед тобой следовательские кабинеты, столы под зелеными лампами, аккуратно разложенные на столе папки дел. Ты чувствуешь себя снова свидетелем, и приходится взвешивать каждое слово.

Скажу поэтому лишь о двух, которые и так широко известны и повредить им нельзя. (Да и о них я уже писал.)

Расскажу о Евгении Барабанове и о Льве Регельсоне. И промолчу о всех остальных.

У Вадима был близкий друг — очень своеобразная дама, жена коммуниста, ответственного работника, обратившаяся к религии. Натура экспансивная, увлекающаяся, она была “экстазеркой”, молилась дни и ночи, была уверена в том, что существуют одержимые бесами, что бесов можно изгонять людям, обладающим на это особой силой. К таким людям она причисляла и себя. Однажды она мне сказала, что в Лосиноостровском есть юноша, также сын ответственного работника, директора военного завода, который обратился к религии и хотел бы со мной познакомиться. Было решено, что она придет ко мне вместе с ним в ближайшее воскресенье. Это было летом 1963 года, в жаркий воскресный день. В час дня в моем деревянном домишке появляется молодой человек, очень молодой, почти мальчик, белобрысый, долговязый. Входит, знакомимся. Это Евгений Барабанов, из Лосиноостровского. Говорит: “Я с товарищем”. Любезно отвечаю: “Пожалуйста, позовите и товарища. Очень рад”. Вводит и товарища — молодого парня. Помню, меня удивило

анекдотическое созвучие фамилий: он Барабанов, его товарищ — Барабанщиков. Знакомимся, садимся. Начинается разговор. Вижу, мои гости чем-то смущены. Далее выясняется целая история. Оказывается, оба парня только что убежали из дома.

Дело было так: Барабанщиков приехал к Евгению из Питера в гости, от чего отец Евгения в восторг не пришел. Барабанщиков был также религиозным молодым человеком. Накануне отец Евгения Барабанова имел с ним серьезный разговор. Позвав сына, он в ультимативном тоне изложил ему следующий "меморандум":

"Вот деньги. Купи билет своему товарищу в Ленинград, и чтоб этого юродивого в моем доме завтра не было".

(В характеристике молодого человека папаша, кажется, не очень ошибся.)

Далее: Завтра принеси мне все имеющиеся у тебя иконы и книги религиозного содержания. Я все это сожгу на твоих глазах. И чтоб больше обо всех этих глупостях я не слышал. Тебе надо поступить в институт и заниматься делом".

Ночью оба молодых человека убежали из дома, причем Евгений оставил перед уходом родителям мелодраматическое письмо. Они переночевали у местного церковного сторожа. А днем направились ко мне.

Через некоторое время после этого разговора пришла дама из Лосиноостровского. Пообедали. Я оставил обоих переночевать. Под утро стал думать, что делать мне с ними дальше. Нашел выход. Я в то время был в связи со Псковом. По поручению псковского Владыки (бывшего келейника Патриарха Сергия) писал большую монографию о покойном Патриархе. Кстати сказать, она пропала в бумагах Владыки. А жаль! Там собран большой и малоизвестный исторический материал. Косвенно был я также связан и с Псково-Печерским монастырем. Туда я и решил отправить юношей.

Задумано — сделано. Дал я им письмо к Наместнику отцу Алипию с просьбой приютить на несколько дней молодых богомольцев и сказал, что через несколько дней сам буду в монастыре. Я должен был быть в Пскове у Владыки. Так и сделали.

Ребята, однако, задержались на несколько дней в Москве, так как предстоял праздник в Троице-Сергиевой Лавре. 18 июля они были в Лавре. Когда Женя возвращался из Лавры в поезде, он неожиданно увидел свою мать, которая, как оказалось, выследила

его в Лавре. Видимо, хорошая женщина, безумно любящая сына; недавно она умерла от рака. Царство ей Небесное!

Она стала говорить взволнованно и горячо. Смысл ее речи: "Делай что хочешь. Только, ради Бога, возвращайся домой".

Евгений, однако, был тверд. Он сказал, что он едет в Псково-Печерский монастырь, потом решит что делать.

Через два дня ребята выехали в монастырь. Я поехал в Псков. Приезжаю через несколько дней в обитель. Алипий в бешенстве: "Это паразиты! Это болваны! Чего вы их прислали?"

Что такое? Оказывается, ребята, выходцы из советской буржуазии, не умеющие ничего делать, барчуки, в монастыре не пришлось ко двору. Спят себе до 8 часов, как привыкли дома, молятся, занимаются религиозными размышлениями. Хозяйственному мужику, хамоватому, полуграмотному человеку Алипию этот тип интеллигентных юношей-богоискателей неведом и непонятен. (Кажется, единственный писатель, которого он читал, это Куприн.)

Иду в кельи, хочу видеть ребят. Евгений бросился ко мне, как будто у меня в руках спасательный круг, а он утопающий. Монастырь его также очень разочаровал. Он думал, что найдет здесь ответы на все вопросы, увидит здесь людей, похожих по меньшей мере на преподобного Сергия, а вместо этого нашел хозяйственного мужика Алипия и других таких же мужичков, хозяйственных и еще менее впечатляющих, чем Алипий (тот, по крайней мере, был неглупым человеком — природный практический ум у него был).

Я посоветовал молодым людям нанять комнатку вне монастыря. Помог им это сделать. Через некоторое время Евгений вернулся под родительский кров, и здесь уже он мог начать говорить с "позиций силы" как самостоятельный человек, который может и уйти из дому снова. Характерна позиция отца-коммуниста и полковника. Он вышел к сыну с целой коллекцией антирелигиозных брошюр и заявил: "Теперь я сам буду с тобой спорить". Крестьянский сын, выходец из семьи звенигородского мужичка-коммуниста, он, видимо, считал, что этими брошюрками можно кого-то в чем-то убедить.

Мало того, через некоторое время Евгений, возвратясь домой, застал в гостях у отца молодого человека, приехавшего из Киева. Это был не кто иной, как "сам" Дулуман, специально выписанный

отцом Евгения, чтобы убеждать сына. Разумеется, все эти попытки не привели ни к чему.

Как известно, впоследствии Евгений окончил университет и затем стал церковным писателем, имя которого известно в церковных кругах и в России, и за границей.

Более сложен путь другого молодого человека, который появляется на нашем горизонте в это время. Это также ныне приобретший известность Лев Львович Регельсон.

Здесь я должен вернуться назад к другим, давно уже перевернутым страницам своей биографии.

Ровно 35 лет назад, летом 1944 года, в Ташкенте я сдавал кандидатский минимум по русской литературе у довольно известного ленинградского профессора Мейлаха. Присутствовал при этом и другой профессор — знаменитый В. М. Жирмунский. Все мы были там, в Ташкенте, в эвакуации. Вместе со мной сдавал кандидатский минимум молодой симпатичный москвич Виктор Моисеевич Регельсон. Я его видел в первый раз. Но потом мы с ним встретились в Среднеазиатском университете, где я тогда читал лекции по истории русского театра. Разговорились. Познакомились и подружились. Ныне этой дружбе, как я сказал выше, 35 лет.

Виктор Регельсон — мой старый друг — великолепный человек! Порядочнейший, многогранный, мыслящий, влюбленный, как и я, в русскую литературу XIX века. В одном отношении мы лишь никогда не могли с Виктором сойтись. Это наиболее безрелигиозный человек из всех, кого я встречал. Сын коммунистов (коммунистами были и его отец, и мать), он просто не понимал и не воспринимал религии. Или, точнее, он мог понять ее лишь в одном аспекте — в аспекте чисто нравственном, как потребность в моральном регулировании и очищении. Это характерно, — сам он человек исключительно высокой морали.

Проходит со времени нашего знакомства и с начала нашей дружбы 20 лет. И вот как-то утром появляется он у меня в Ново-Кузьминках, причем лицо у него такое, что я невольно спрашиваю: "Что случилось?" Ответ: "Несчастье".

У меня сразу сработала мысль на свой манер: "Тебя вызывали в КГБ?" Удивление: "Да нет, какой КГБ? Что ты! Племянник у меня сошел с ума". Вспоминаю, что еще в те далекие ташкентские времена он мне рассказывал, что брат на фронте и от него было получено письмо, что он сражается на родине Инсарова.

“Это какой племянник? Сын того брата, Инсарова?”

“Ну да, ты же его у нас видел”.

И я вспомнил, что в 1948 году, когда оба мы уже жили в Москве, я однажды был у него (он тогда жил на московской окраине, на Беговой улице, вместе с матерью). Во время нашей беседы вошел мальчик лет семи, брюнетик, с довольно угрюмым видом. Виктор ему сказал: “Лева, дай руку”. Потом ко мне: “Анатолий Эммануилович, дайте и вы вашу руку. (Мы тогда еще были с ним на вы.) Вот, смотрите, оба вы гибриды. Это мой племянш. Мать у него, как и у вас, русская. Смотрите: пальцы у вас грубые, скифские, но здесь грубость скифских конструкций несколько смягчена еврейским интеллектом”.

С тех пор прошло уже 20 лет. И вот теперь оказывается, что его племянник, уже взрослый, женатый человек, по его убеждению... сошел с ума. И только я могу ему помочь.

“Но чем же?” — с изумлением спрашиваю я. Оказывается, племянник стал верующим, и я должен его убедить лечиться. “Ты для него авторитет. Он о тебе слышал”.

В тот же вечер я действительно познакомился с Львом Регельсоном. Все оказалось, разумеется, совершенно не так, как предполагал дядюшка Лева: все много сложнее.

Лева Регельсона отделяли от религии, от Церкви, от Христа еще более тяжелые глыбы, чем Евгения Барабанова. Сын еврея, воспитанный в еврейской семье, матери он почти не знал, — она была с давних пор в разводе с мужем. Так же, как и Барабанов, он был отпрыском коммунистической династии: коммунистами были и его дед, и бабка, и отец, и дядя — мой приятель. Убежденными коммунистами.

Лев Регельсон еще в ранней юности был искатель. Когда-то он состоял в “Университете молодого ленинца” — была такая полуофициальная организация студенческой молодежи. Тогда он увлекался Ницше, считал, что можно его как-то соединить с марксизмом. Затем увлекся Фрейдом и сделал в этом духе доклад в Университете марксизма, наделавший много шума среди молодежи. Затем увлечение Бердяевым, Достоевским. И — как результат всего этого — приходит к христианству.

Он к этому времени уже окончил физико-математический факультет, был по специальности астрономом. Работал в Московском планетарии. Став верующим христианином, он не делал из этого тайны от своих друзей и коллег. Те — люди с выверну-

той наизнанку советской психикой — нашли нужным информировать об этом директора Планетария. И Лев был уволен из Планетария. Мало того, директор счел нужным известить об этом Льва Моисеевича — отца Левы, известного профессора-физика, работавшего в Московском университете.

И тот помчался к психиатрам, которые порекомендовали поместить Льва Регельсона в психиатрическую больницу.

Кстати, о советской психиатрической школе. О ней писали уже много, известно, что она собой представляет. Но мало кто обратил внимание на один аспект этой школы.

Так называемая школа Снежневского прежде всего свидетельствует о глубоком загнивании советского режима и советской коммунистической идеологии. Как известно, основой этой школы является "адаптация" того или иного человека с обществом.

Адаптируется — значит, нормальный. Не адаптируется — значит, ненормальный. Эталоном нормального человека объявляется мещанин, покорный "духу времени", думающий исключительно о своем благополучии. Характерен вопрос, который задал советский психиатр моему ученику, который, как и я, полемизировал с официальным идеологом Ильичевым: "Ильичев за это деньги получает, а ты зачем это пишешь?"

По этой теории сумасшедшими должны быть объявлены прежде всего сын еврейско-немецкого банкира некто Карл Маркс, сын немецкого миллионера Энгельс, сыновья симбирского действительного статского советника Александр и Владимир Ульяновы. О других — о декабристах, князьях и графах, о дочери министра Перовского, о яснополянском графе — я уж не говорю. Все ведь они не адаптировались со средой. Да еще как не адаптировались! Ничего нет удивительного в том, что подобные "знатоки человеческих душ" признали сына еврея-коммуниста, обратившегося к вере, ненормальным. К счастью, нашлись и другие психиатры, настоящие психиатры, которые признали Льва Львовича абсолютно нормальным человеком и успокоили в этом отношении отца. Затем начинается для Льва Регельсона тяжелый крестный путь. Путь церковного деятеля. Недавно вышла в свет и приобрела известность его книга "Трагедия русской церкви", изданная в Париже.

Я рассказал о двух религиозных деятелях, которые ни в коей мере не являются моими учениками. Я был лишь свидетелем их обращения к Христу и способствовал этому как мог.

Но вокруг меня была сплоченная группа моих непосредственных учеников и ближайших друзей, которые были со мной во все тяжелые моменты моей жизни.

Не так давно отец Сергей Желудков, который, вообще говоря, дает многим людям обо мне не очень хорошие отзывы, упрекнул меня в том, что из моих учеников ни из кого ничего не вышло. На это я уже отвечал, отвечаю и еще раз: гении не нуждаются в учителях, мои ученики были хорошие русские ребята, семинаристы, студенты, рабочие. Все они были и остались верующими христианами. Что с ними будет дальше, то знает Бог. Но они будут христианами, даже если и не объяснят в особых книжках, **"почему и они христиане"**.

Что касается меня, то я могу, подобно Александру Ивановичу Введенскому, сказать перед смертью: "Я сделал что мог. Кто может сделать больше, пусть сделает".

Это было только самое начало религиозного движения молодежи. Движения, которое с тех пор стало мощным и широким, хотя далеко еще не достигло высшей точки своего расцвета.

То, что я способствовал как мог возникновению этого движения, я считаю контрапунктом своей деятельности.

## ХРИСТОС!

Я рассказал о пятидесятых и шестидесятых годах. Трудное время, тяжелое время. Но и радостное, и светлое время.

Каждый день на глазах появлялись ростки нового. Было темно. Но вдали виднелся рассвет. Занимался день.

И светло, и радостно над нами Христос! Но кто такой Христос?

Один из моих друзей профессор-литературовед говорил: "Христос может быть только Богом. Если подойти к Нему как к человеку, то мало ли было светлых личностей".

Да, Христос есть Бог!

"Воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедый в мир грешные спасти".

**Истинный Бог наш.**

Когда-то Митрополит Александр Введенский говорил: "Уже давно Никео-Цареградский символ веры установил, что Христос есть Бог. Но мы до сих пор не осознали, что Он истинный Бог наш".

И апостол Фома, осознав истину воскресения, сказал: "Господь мой и Бог мой".

Обычно, когда слышат эти слова, не обращают внимания на притяжательное местоимение. А между тем в нем-то все и дело. Раньше Бог был чем-то далеким и чуждым. Русская народная поговорка гласит: "До Бога высоко, до царя далеко". А теперь Он стал близким, родным, своим.

Это понял Фома, убедившись в истине воскресения, ибо воскресение Христово — не символ, не аллегория, а реальнейшая реальность. Но кто же все-таки Христос?

Апостол Павел говорит "о Христе, как о втором Адаме".

И опять возвращается мысль к тому, о чем мы говорили выше. Творение Божие не окончилось в течение шести дней. Адам есть первенец человечества — собирательный, первый человек. В него Бог вдунул душу, но это все же полуживотное существо, подчи-

ненное страстям, не знающее ни стыда, ни того, что такое грех. Это эмбрион человечества. Он может развиваться в совершенного человека, но может пойти и по другому пути.

Совершенный человек преодолевает материю и с ней и все ее следствия: похоть, грех, страдания, болезнь, смерть. Адам пошел по другому пути: он подчинился материи ("съел яблоко") и стал диким, полуживотным существом. И от него пошли потомки: убийцы, хамы, дегенераты. Человечество дегенеративно и уродливо, и люди рождаются с дегенеративными, животными наклонностями. Об этом проникновенно и бесспорно сказал в XX веке Фрейд. И кто может оспаривать его?

И вот является Христос, который был Человеком совершенным и Богом непреложным. В момент преображения Он показал образ нового человека — образ человека прославленного, обоженного, каким он должен быть. Это первое явление истинного Образа Христа, каким Он был до этого времени в потенции.

**"Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, яко же можаху".**

А затем Он проходит страдания и смерть. Смысл воскресения Христова в том, что Он преодолел инертную тяжесть материи. Воскресение плоти есть победа над материей, над природой — над грехом и смертью. Поэтому мы с негодованием отвергаем кощунственную мысль некоторых модернистских богословов (в том числе отца Сергия Желудкова), что плоть Христова могла возвратиться в "круговорот вещества". Тогда это не было бы истинное преодоление смерти, истинное преодоление, преображение природы. Это была бы абстракция, символ. А Христос — второй Адам — победитель косной и инертной природы, Творец новой, преображенной материи. И знаменем этой победы является и победа Христа над всеми законами природы. И здесь мы возвращаемся к нашему старому спору с отцом Сергием Желудковым — спору о вознесении Господнем.

В своей книге о. Сергей цитирует мои слова из моего давнего письма, наряду с другими примерами церковной схоластики, сопровождая эти слова следующим комментарием:

**"При всем почтении к авторам, подобные выражения христианства внушают уныние, гораздо более тягостное, чем любая антирелигиозная пропаганда. Эти условности и пошлости непременно должны умереть..." (Желудков, стр. 12).**

Вот этот "образчик условности и пошлости":

"И на глазах у апостолов Христос, живой, радостный, торжествующий, оторвался от земли, преодолев законы земного притяжения, и отошел в заоблачные дали, в лучезарную синеву и освятил воздух восшествием своим, пройдя через все небесные круги: атмосферу, стратосферу и ионосферу. Это было, и я это вижу так ясно, как будто был при этом — и всякое сомнение в этом факте, запечатленном очевидцами, немыслимо и невозможно" (Из письма Л., 1964 г.). (Желудков, стр. 12.)

Если отбросить в этих словах некоторое преувеличение ("атмосферу, стратосферу и ионосферу"), то я сейчас полностью подписываюсь под этими словами и готов повторить их где угодно и перед кем угодно.

Вознесение Христа, как и Его воскресение, есть победа Христа над природой, попрание Им законов природы, предвосхищение нового человека, каким он явится в апостазисе, в конце времен.

\* \* \*

Как известно, церковь на 5-м Вселенском соборе осудила Оригена. Однако великий богослов отец Павел Флоренский в своей известной книге "Столп и утверждение истины" правильно отличает "оригенизм истинный" от "оригенизма ложного". Ложный оригенизм — это вульгарное учение, что Бог добренький, попугает немного огнем вечным, а потом простит. Это учение правильно осудил 5-й Вселенский собор. Однако не таков подлинный Ориген. Вспомним, как формулирует он учение об апостазисе. Он начинает со слов Давида:

"И сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, пока положу врагов Твоих к подножию ног Твоих".

А дальше начинается рассуждение. Что значит "положу врагов Твоих к подножию ног Твоих"? Разве и так не все у ног Бога?

И Ориген приходит к выводу, что речь здесь идет о покорении любовью, о преображении твари, о ее воссоздании.

"Ибо надлежит Ему царствовать до тех пор, пока Он не положит всех врагов под ноги Свои. Как последний враг упразднена будет смерть. Ибо Бог все подчинил под ноги Его. Когда же Он скажет, что все подчинено, — ясно, что за исключением Подчинившего Ему все. Когда же подчинено Ему будет все, чтобы Бог был все во всем" (Кор. 15, 24—28).

Это соответствует нашему современному понятию о развитии материи, об утончении, об одухотворении, о преображении материи.

\* \* \*

После мучительной смерти отца моего друга Белоцерковского присутствовавшая при этом женщина сказала: "Разве можно жить? Ведь и всех нас это ждет"\*.

Она права: нельзя жить, если примириться с мыслью, что это и есть конец всей деятельности человека на земле, не только в личном, но и в собирательном плане; ведь и все человечество — это такой же неизлечимый больной, подопытный кролик, по словам Вадима Белоцерковского. И этим кончится вся история человека на земле, все его искания, порывы, старания.

Все кончится смертью, разрушением, тлением. Тем, что человеку "полон рот набьют землю, да ответ ли это, полно?" (Гейне).

Нет, не ответ!

И в этом плане, конечно, бессмысленно что-то делать для отдаленных потомков, которые будут жить в роскоши, обжираться, жариться на солнце, парни будут иметь вдоволь девок, а девки парней. Для такого свинского человечества не стоит жить, не стоит работать, не стоит стараться.

Как правильно говорит Маяковский:

"Вам ли, любящим баб да блюда,  
Жизнь отдавать в угоду.  
Я лучше в баре буду  
Блядам подавать ананасную воду!"

\* \* \*

Всякая общественная деятельность, всякая жизнь на земле приобретает смысл только в свете преобразования материи, в свете воскресения и вознесения Христа. И хочется здесь повторить слова Ницше, хотя и влагая в них совсем иное содержание, чем он: "Человека можно любить только за то, что он мост — мост между обезьяной и сверхчеловеком". И я в это верил, верую и

---

\* См.: Вадим Белоцерковский, "Свобода, власть и собственность", Ах-берг, 1977 г., стр. 103.

буду верить. В то, что человек есть мост между полуобезьяной (Адамом) и сверхчеловеком — Христом.

“Первый человек — от земли, из праха; второй Человек — с неба. Каков тот, кто из праха, таковы и те, кто из праха, и каков небесный, таковы и небесные” (1 Кор. 15, 47–49).

И отсюда мой социализм — вера в то, что человечество должно преодолеть социальную неправду, господство денег, насилия, власти. Преодолеть не для того, чтобы обжираться, купаться в молоке и путаться с бабами на кисельных берегах, но чтобы преодолеть материю, идти путем, который показал Истинный Сверхчеловек Христос!

Потому я и вышел в конце шестидесятых годов из рамок узкоцерковной деятельности, потому я вступил в русское демократическое движение.

Оглядываясь назад, скажу, что на этот путь преображения вступили и все мои собраты, и каждый внес свой посильный вклад в это вселенское дело. Отец Александр Мень написал семь вдохновенных книг по истории религии, отец Димитрий Дудко стал известным на весь мир проповедником, отец Глеб Якунин продолжает свою церковно-общественную деятельность, приобретающую ныне мировой резонанс. Но подробно обо всем этом мы расскажем в следующей книге.

А сейчас закончим словами, которыми любил заканчивать свои беседы о нашей общей деятельности наш друг и товарищ отец Николай Эшлиман, ныне (хочу думать, что временно) отошедший от церковной деятельности:

“Не нам, не нам, а Имени Твоему!”

*Люцерн  
июль 1979 года.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

***САМИЗДАТ***

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

"И вскользь мне бросила змея:

"У каждого судьба своя".

Но я-то знал, что так нельзя —

— Жить, извиваясь и скользя".

*Л. Мартынов, "Стихотворения".*

Перед нами маленькая книжечка, вышедшая в свет в конце прошлого года.

Она сразу бросается в глаза. Две черные перекладки с белыми полосками (точно следы от грязных калош) пересекают оранжевую (цвет измены) обложку:

На обложке черными и белыми буквами — крикливая надпись: "Почему я перестал верить в Бога". Наверху имя автора: "Евграф Дулуман".

Если поговорку "По одежде встречают"... можно применять к книгам, то вряд ли автор может рассчитывать на хорошую встречу со стороны мало-мальски серьезного читателя. От этой обложки веет дешевой рекламой и дурным вкусом; в дореволюционное время так переплетались обычно бульварные романы. Однако не будем поддаваться первому впечатлению. Постараемся беспристрастно оценить книгу не по "ее одежде", а по "ее уму" (т. е. по ее содержанию).

На титульном листе подзаголовок: "Рассказ бывшего кандидата богословия", — затем что-то вроде предисловия.

Все в том же тоне бульварной рекламы издатели сообщают, что "автор этой книги Евграф Дулуман прежде был глубоко религиозным человеком. Его брошюра — это рассказ о том, как постепенно, после мучительных сомнений и поисков, он разочаровался в религии, перестал верить в Бога, стал убежденным атеистом". Все это, конечно, не лишено интереса; однако сразу читатель приходит в некоторое недоумение. Почему, собственно, издательство и сам автор делают из всего этого такую сенсацию. Перемена

убеждений — это сравнительно **вовсе не** такое уж редкое явление: нам приходилось видеть очень много людей, которые теряли веру,— и, наоборот, людей, которые приходили от атеизма к религии, — и никто из них об этом не кричал на всех перекрестках, не печатал брошюр с претенциозными заголовками и, уж во всяком случае, не делал из перемены убеждений профессию. Между тем именно так поступил автор: уже на первой странице он сообщает читателю о том, что работает антирелигиозным лектором, — и даже очень гордится этим.

К вопросу о том, насколько эта гордость обоснованна, мы еще вернемся, а теперь ознакомимся с биографией автора, или, как он высокопарно выражается, с его “исповедью”.

Начинаем читать “исповедь” и сразу снова приходим в “недоумение”. В предисловии автор рекламируется как “глубоко религиозный” в прошлом человек; но сам автор самым решительным образом опровергает “поклонников своего таланта” из издательства “Молодая гвардия”.

Он сообщает, что до шестнадцати лет он никогда не думал о религии и даже хорошо не знал, что это такое. Лишь совершенно случайно (благодаря знакомству со священником) он осенью 1945 года поступил в Одесскую духовную семинарию.

“...Семнадцати лет от роду, тайком от друзей и знакомых, я поступил в Одесскую духовную семинарию. Помогли мне при этом не соответствующие действительности справки священника о моей “глубокой религиозности” (кавычки автора), — кратко замечает автор на стр. 11.

Остановимся пока на этом. Прежде всего изумляет то, что автора приняли в семинарию, когда ему было семнадцать лет, ведь согласно нашему законодательству религиозное обучение несовершеннолетних категорически воспрещено. Духовные учебные заведения строго придерживаются закона, — и можно смело сказать, что в данном случае мы имеем дело с единственным за все послевоенные годы исключением. Чем объяснить такое исключение? Тут возможно только одно объяснение: Дулуман при поступлении в Семинарию совершил еще один подлог, введя в заблуждение семинарское начальство. Этим, однако, дело не ограничивается: ведь все поступающие в семинарию должны держать испытания: они сдают экзамены по ряду специфически религиозных дисциплин. И вот, новоявленный Жюльен Сорель из Одесской области читал наизусть перед экзаменаторами молитвы, тропари,

отвечал на вопросы из Священного Писания, произносил публично Символ веры; поминутно он осенял себя крестным знамением, “подходил” к отцу ректору под благословение... и все это, будучи, как он сам говорит, совершенно неверующим. Наконец Дулуман принят в Семинарию. Послушаем здесь самого автора: “И вот я в семинарии... Без преувеличения могу сказать, что первое знакомство с церковной средой произвело на меня такое впечатление, будто я перешел из XX века в средневековье. Каким диким и неестественным казалось мне в первые дни целование икон, длинные полуночные моления, посты, поклоны, причащение (поедание) тела и крови Бога под видом хлеба и вина... Вначале у меня так и вертелось на языке: “да бросьте вы шутить... Давайте серьезно!”— Но по глазам многих я читал, что они и не собираются шутить, что все эти обряды для них серьезнее действительности” (стр. 12).

Широкой публике малоизвестен быт наших семинарий, поэтому позволим себе сделать небольшой комментарий к этим словам автора.

Духовная Семинария является закрытым учебным заведением со строгим, почти монастырским режимом. Воспитанники живут при Семинарии — дни и ночи они находятся под неусыпным и бдительным надзором. Ни одно движение не остается незамеченным. Нам вспоминается, как в 1946 году к одному семинаристу (ныне довольно крупному церковному деятелю) подошел в церкви его товарищ по курсу и сказал: “От имени всех нас делаю вам замечание. Вы прошли мимо царских дверей не перекрестившись”. К этому надо добавить, что преподавание ведется в строго церковном духе — и преподаватели отличаются крайним религиозным консерватизмом. Малейшее проявление религиозного вольнодумства пресекается самым суровым образом.

Пишущий эти строки всю жизнь (с раннего детства и до сего дня) является верующим христианином, однако в Духовной Семинарии он смог (в том же 1945 г.) пробыть ровно две недели, т. к. в церковных кругах его считали вольнодумцем.

Каким же отъявленным лжецом должен быть ни во что не верующий человек, который учится годами в семинарии и при этом находится на хорошем счету у начальства. Поистине вся его жизнь — это сплошной обман: он притворяется утром — во время общей молитвы; он притворяется днем во время уроков; он притворяется вечером — во время вечерней молитвы. И когда после этого тяжелого дня, во время которого он все время играет

фальшивую и ненавистную ему в душе роль, он ложится в постель, он должен и тут же не забыть положить на себя крестное знамение. Иначе соседи по комнате сразу заметят, что он не совершает вечерней молитвы. Человек, ведущий такую двойную жизнь, должен иметь изломанную, дегенеративную психику и, конечно, является глубоко аморальным существом.

Прямо жуть берет, когда видишь такую страшную нравственную испорченность в семнадцатилетнем юноше.

Правда, автор через год стал, по его словам, искренне религиозным человеком.

“...Я был глубоко религиозен”, — пишет он на стр. 12.

Прежде всего самый этот факт — да простит нам автор — внушает очень серьезные сомнения. Люди очень часто (особенно в юности) меняют свои убеждения, однако — главной предпосылкой для выработки любого мировоззрения является искренность. Человеческая психика имеет свои законы: лживый человек, привыкший разыгрывать непрерывно несвойственную ему роль и обманывающий всех окружающих, кончит обязательно тем, что обманет и самого себя: он в конце концов до того запутается в своей лжи, что уже перестанет замечать разницу между правдой и ложью, ложь станет для него родной, привычной стихией. Выработка какого-либо мировоззрения является в этом случае делом почти невыполнимым. Но постараемся все же поверить автору: допустим, что, начав с подложных справок и сплошного надутельства, он в конце концов стал искренне религиозным человеком и верующим христианином (вот уж поистине странный путь ко Христу). Верующим человеком он стал примерно в 1946 году (стр. 15). К концу 1947 года он уже, однако, потерял веру... “Религиозная экзальтация, — пишет он, — продолжалась около двух лет” (стр. 16). Что-то маловато для “глубоко религиозного человека”. Как вам кажется, товарищи издатели и редакторы?

Впрочем, и в эти два года можно, основываясь на рассказе автора, говорить не о глубокой религиозности, а лишь о некоторых религиозных настроениях. Начать с того, что главную роль в “обращении” нашего семинариста сыграли церковные обряды. Так он и говорит: “Религиозная практика, опутывая, словно спрут, каждый шаг моей жизни в семинарии, была главной причиной усиления моей религиозности. Она содействовала тому, что я начал принимать нелепую мишуру, окружавшую меня, за необходимость, за проявление истинной жизни” (14–15 стр.).

Из этого следует, что недалекий и лишенный какого-либо мировоззрения, а также моральных принципов паренек, под влиянием окружающей среды и красочных обрядов, попал на некоторое время под власть религиозных эмоций.

Можно ли назвать это глубокой религиозностью? Конечно, нет. Настоящая религиозность основывается на глубоком внутреннем убеждении в бытии Бога, на моральном перерождении личности — обрядовая сторона при этом играет второстепенную роль.

Поэтому жуликоватый парнишка, отсчитывающий земные поклоны и иногда делающий сентиментальные записи в дневнике, так же похож на глубоко религиозного человека, как играющая в нигилизм "либералка Кукшина" из тургеневского романа на революционерку. Ничего нет удивительного в том, что эти эмоции скоро исчезли — и Дулуман вновь стал стопроцентным обманщиком, как и в самом начале.

В начале 1949 года он делает следующую заметку в своем конспекте: "Энгельс, кажется, прав. Кроме преднамеренного, туманного и невразумительного в нашей литературе и у святых отцов — ничего нет" (стр. 17). В это время он убеждается в том, что сделал большую ошибку, прибегнув к религии с целью найти истину... Он сделал попытку уйти из духовной Академии, однако не устоял перед 300 рублями, которые прибавили к его стипендии, и остался... (стр. 33). Как тут не вспомнить дамочку из чеховского рассказа "Загадочная натура", которая также "после мучительных сомнений и поисков разочаровалась в жизни", однако не устояла перед "богатым стариком". Не устояв перед "богатым стариком" — ректором Московской Духовной Академии, — наш проказник продолжал курс учебы. Вскоре он защитил диссертацию на звание кандидата богословия. Мы просим читателя вдуматься в эти слова. Диссертация — это рукопись, которая составляет 300—400 страниц на машинке — примерно 30.000—40.000 слов.

Итак, сорок тысяч слов — и ни одного искреннего слова, все слова фальшивые и лживые, глубоко противные автору. Защитив диссертацию, новоиспеченный кандидат получает назначение преподавателем Саратовской Духовной Семинарии. Здесь он читает нравственное богословие. Весь этот курс целиком основан на святоотеческих и аскетических произведениях. Каждый день — по пять-шесть часов подряд — он вдалбливает в молодые головы литературу, о которой еще три года назад он писал, что в ней

нет ничего, "кроме преднамеренного, туманного и невразумительного". Настойчиво он защищает религию, о которой он еще несколько лет назад писал, что "она — ложь!" (стр. 33). Дни и ночи он работает над тем, чтоб сделать глубоко религиозными десятки молодых людей, хотя еще три года назад он записывал в свой дневник: "Глубокая религиозность — сумасшествие" (стр. 33).

Мы уже замечали выше, что преподавание в духовных семинариях характеризуется, при полной политической лояльности, глубоким религиозным консерватизмом: малейшая попытка внести какое-либо новое веяние клеймится как "православный модернизм" и немедленно пресекается. Саратовская Семинария ничем не отличалась от всех других семинарий: тогдашний ректор и инспектор этой семинарии были, пожалуй, даже еще большими ортодоксами в богословских вопросах, чем их коллеги. И наш атеист сумел, однако, угодить и на них — и даже один раз получил благодарность от самого Патриарха. И что самое замечательное: обо всех этих "подвигах" он повествует без малейшей краски на лице — с самодовольной миной, как о самой обыкновенной вещи.

"Я получил 3900 рублей — при бесплатном питании и квартире", — не без удовольствия вспоминает он. Прямо не знаешь, чему удивляться — беззастенчивости "атеиста" или простодушию редакции, которая силится выдать этого "героя" за какую-то "идейную величину и даже за "глубоко религиозного человека".

Правда, в 1952 году Дулуман уходит из семинарии и открыто заявляет о своих атеистических убеждениях. Этот шаг, конечно, можно только приветствовать с любой точки зрения. Наконец человек перестал лгать, — а в церкви стало меньше одним обманщиком. "Сообщив всем о своем разрыве с религией, я пошел работать в колхоз", — все с тем же дешевым позерством пишет он (стр. 41). Проработал он в колхозе, однако, всего лишь около года. Вскоре мы видим его студентом Кредитно-Экономического Института в Одессе. Еще немного — и вот он уже студент философского факультета Киевского университета и антирелигиозный лектор. Таким образом, после небольшого перерыва "бывший кандидат богословия" вернулся на свое прежнее амплуа — торговца патентованными идеологическими товарами. Верит ли он в те доктрины, которые проповедует сейчас, больше, чем в прежние?

Не беремся отвечать на этот вопрос; однако невольно вспоми-

нается афоризм известных шутников прошлого века: "Кто тебе поверит, солгавши раз один, Козьма Прутков?!"

Мы просим извинения у читателя за то, что нам пришлось так долго говорить о личности Дулумана. К этому нас принудил он сам, решив выпустить в свет свою "исповедь". Одновременно мы разобрали главный "аргумент" этой книги. Ведь главным "аргументом" антирелигиозника Дулумана был сам Дулуман. Как может убедиться читатель, этот аргумент не выдерживает критики. Нам обещали показать глубоко религиозного человека, который порывает с религией, и хотели нас убедить в том, что "это есть явление симптоматическое" и достойное подражания. Вместо этого нам показали... как бы это помягче выразиться... "артиста", который дурачился и обманывал людей семь лет, а теперь решил рассказать, как он это делал. А вывод можно из этого сделать только один: берегитесь... артистов.

Кроме этого главного "аргумента" в книге Дулумана рассеян целый ряд полемических замечаний против религии и церкви.

"Взялся за гуж — не говори, что не дюж", — ознакомимся с антирелигиозными упражнениями нашего... "артиста" — причем будем следовать за ним и здесь так же терпеливо и добросовестно, как мы следовали за ним по извилистым тропам его автобиографии.

Предварительно нам все же хотелось бы сделать одно замечание. Автор рекомендует себя "философом и хвалится большим количеством философских произведений, которые он прочел. Ему, кажется, следовало бы знать первое правило логики: "Предмет спора должен быть точно определен". Между тем именно это-то правило наш "философ" почему-то забыл. Свою брошюру он озаглавил "Почему я перестал верить в Бога". Следовательно, в своем "опусе" он обязан дать ответ на этот вопрос и привести те аргументы, которые его убедили в том, что Бога не существует. Но как раз этого-то автор и не делает, ни одного аргумента против бытия Божия в книге нет. Обойдя этот основной вопрос религиозного мировоззрения, автор предпочитает касаться других проблем. Поэтому читателю так и остается неясным, почему наш "философ" потерял (если только, конечно, когда-нибудь ее имел) веру в Бога.

Лучше бы ему озаглавить брошюру так: "Почему я перестал верить в подлинность священных книг" — или что-нибудь в этом роде. Впрочем, дело хозяйское.

Ознакомимся с теми положениями, которые имеются в книге. Аргументы, которые выдвигает Дулуман против религии, трех родов: аргументы, направленные против религиозного мировоззрения как такового, — это, так сказать, тяжелая артиллерия, которая предназначена для подготовки генерального наступления. Далее следуют аргументы, доказывающие, что Священное Писание является продуктом творчества "невежественных" людей и собранием "пустых" побасенок. Развивая свои доводы против Священного Писания, автор, как увидим ниже, делает ряд сенсационных открытий, которые должны произвести впечатление взорвавшейся атомной бомбы и сокрушить в прах вековые твердыни христианства. И наконец, автор делает резкие выпады против православной церкви и духовенства, — это уже легкая артиллерия, которая предназначена для окончательного уничтожения разгромленного, наголову разбитого врага. Посмотрим, как действует тяжелая артиллерия Дулумана.

Религия — темная сила, враждебная разуму, — таков основной его тезис.

"Церковникам нужен ум под наркозом! Не случайно христианская религия словами Библии желчно изрекает: "Мудрость мира сего есть безумие перед Богом", "Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну" (стр. 17, 18) .

Первем здесь цитату Дулумана. Мы хотим привести дополнительно несколько высказываний, направленных также против разума.

Вот перед нами книга одного старого проповедника поповщины и идеализма. Автор всячески издевается над школьной логикой, высмеивает так называемый "здравый смысл" и, следовательно, воюет против разума. Приведя знаменитое умозаключение: "Все люди смертны, Кай человек, — следовательно, он смертен" — враг разума язвительно замечает: "Сейчас же впадешь в скуку, когда слышишь такое умозаключение". Какой-то читатель (верно, из церковников) трижды подчеркивает это место и на полях делает восторженную пометку: "Верно!"

А вот еще одно воинствующее выступление против логики (следовательно, против разума и "здорового смысла") "...диалектика, прорывая узкий горизонт формальной логики, содержит в себе зародыш более широкого мировоззрения. То же соотношение имеет место в математике. Элементарная математика, математика постоянных величин, движется, по крайней мере в общем

и целом, внутри границ формальной логики, математика переменных величин, самый значительный отдел которой составляет исчисление бесконечно малых, есть, по своей сущности, не что иное, как применение диалектики к математическим отношениям. Но почти все доказательства высшей математики, начиная с первых доказательств дифференциального исчисления, являются, с точки зрения элементарной математики, строго говоря, неверными. Иначе оно и не может быть, если, как это делается здесь, результаты, добытые в диалектической области, хотят доказать посредством формальной логики". Читатель, верно, уже догадывается, что цитируемый нами автор — это Фридрих Энгельс\*.

Что касается первой цитаты, в которой высмеивается формальная логика, то она взята из работы Гегеля "Наука логики", а читателем, который делает на полях восторженную пометку, является не кто иной, как В. И. Ленин\*\*.

Мы приводим эти высказывания трех мыслителей, которых вряд ли кто-нибудь заподозрит в том, что они являются "церковниками", потому что их выступления против формальной логики того же самого рода, что и библейские высказывания, которые приводит Дулуман. Все дело в том, что житейский здравый смысл, пригодный и необходимый в обыденной жизни, становится совершенно беспомощным, как только сталкивается с более сложными вопросами. "А есть А" и "А не есть В" — говорит обыденный здравый смысл, воплощенный в формальной логике.

"Все вещи представляют собой взаимопроникновение противоположностей", т. е. "А всегда есть В", в полном противоречии с житейским здравым смыслом, утверждает диалектика.

Когда Коперник сформулировал свое учение о вращении земли вокруг солнца, то это было в глазах всякого "здравомыслящего" человека явной и очевидной бессмыслицей: ведь повседневный опыт находится в кричащем противоречии с учением Коперника.

Книга Коперника, вышедшая в 1543 г., была "соблазном" для ученых потому, что ниспровергала неоспоримые, установившиеся веками понятия — всю тогдашнюю астрономическую науку; для большинства же людей книга Коперника была безумием, т. к. в ней утверждалась нелепость, которую мог опровергнуть, основываясь на своем опыте, любой пятилетний ребенок.

\* Фр. Энгельс, "Анти-Дюринг", М., 1957 г., стр. 127, 128.

\*\* Гегель, "Сочинения", т. 6 В. И. Ленина "Конспект книги Гегеля "Наука логики", стр. 16.

Эта книга была в то же время откровением высшей мудрости, т. к. она вскрывала глубочайшую тайну вселенной и возвещала истину, недоступную среднему человеку того времени.

Совершенно в таком же отношении к миру находится Евангелие.

“А мы проповедуем Христа распятого, — пишет Апостол Павел, — для Иудеев соблазн (потому что эта проповедь ниспровергает все вековое, традиционное, священное для евреев учение), а для эллинов безумие (т. к. оно находится в противоречии с обыденным здравым смыслом) — для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию Силу и Божию Премудрость”. (1 Послание к коринфянам, 1, 23–24.)

Здесь так же, как и в диалектике, в высшей математике, астрономии и любой другой науке, — житейский здравый смысл должен уступить свое место более глубокому и совершенному мышлению — Божией Премудрости. Апостол Павел противопоставляет разум мудрости в том же смысле, в каком Гегель (а за ним и Энгельс и все другие диалектики) противопоставляет формальную логику диалектике.

В 1 главе Послания апостола Павла к коринфянам мы находим то самое место, которое цитирует Дулуман: “Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну!” — восклицает, вслед за древним пророком, величайший проповедник христианства. (1 Послание к коринфянам, 1, 19.) А вот что мы читаем на следующей странице: “Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих; проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную...” (1, 2, 6–7) .

Апостол Павел выражает в отчетливых и ярких формулах основную мысль Библии: он противопоставляет житейский здравый смысл высшей мудрости или, как она называется часто в Библии, Премудрости. Чтобы достичь этой высшей мудрости, нельзя ограничиваться тем скудным запасом знаний, который предоставляет в наше распоряжение житейский опыт — для этого нужно сосредоточение всех сил человека, напряженное, непрестанное искание — жажда истины; для этого нужно человеку очистить свой ум и сердце от всего мелкого, грязного — “греховного”, говоря языком религии; нужно глубоко проникать в тайны вселенной, вдумываться в смысл жизни... Да мало ли что еще нужно тем, кто хочет познать истину. Дулуману ничего этого

не нужно: ему вполне достаточно тех скромных истин, которые доставляет ему житейский опыт, из которого он узнал, что дважды два — четыре; что вода превращается при нагревании в пар; что мыло нельзя есть, а стеклом нельзя утираться. Что ж вольному воля — мы и не думаем мешать ему наслаждаться его блаженным неведением. Безусловно, с позиций этого неведения он вправе отвергнуть Библию; но почему, однако, только Библию... с этих позиций ему следует отвергнуть и все остальные области знания, — источники которых выходят за границу повседневного опыта. "Довольно грошовых истин!" — восклицал в свое время В. В. Маяковский\*.

"Довольствуйтесь одними грошовыми истинами!" — настаивает Дулуман. "Нужно экономнее, с большей пользой, направлять работу своего ума и памяти, а не засорять их разной фантастикой..." — с уважением повторяет он слова какого-то филистера (стр. 38) \*\*.

Рассмотрим теперь этот вопрос в другом аспекте: Дулуман упрекает религию также за то, что она апеллирует против разума к чувству: "Погасить окончательно разум и усилить поток мутных чувств и образов — вот чего добивается практика религиозной жизни", — говорит он в другом аспекте (стр. 12, 13).

Как мы видели, религия не гасит разум, а, наоборот, возводит его на более высокий уровень. Тем не менее в вышеприведенной цитате Дулумана есть зерно истины: религия, действительно, обращается не только к разуму, но и к чувству; религиозный процесс протекает не только в сознании, но и в психике.

Религия раскрывается, таким образом, как бы в двух планах: в системе догматов (в церковном учении) и в молитве (которая является эмоциональной основой религии). Более того, религиозные переживания сопровождаются особым эмоциональным подъемом, вызывают тот особый духовный порыв, который можно назвать религиозным вдохновением. Однако только ли религия обращается к эмоциональной стороне человеческой личности? Обратимся прежде всего к той сфере жизни человечества, которая ближе всего примыкает к религии, — к искусству.

"Условие непосредственности всякого художественного явления, — пишет В. Г. Белинский, — есть вдохновенный порыв. Только

---

\* Стихотворение "Приказ по Армии искусств № 2".

\*\* Так и вспоминается при этом госпожа Простакова: "Уж верно, батюшка мой, ерунда то, чего мой Митрофанушка не знает".

вдохновение может явиться непосредственно, только непосредственно явившееся может быть органическим, только органическое может быть живым. Организм и механизм или природа и ремесло — вот два мира, враждебно противоположные друг другу. Один — свободный, беспрестанно движущийся, изменяющийся, неуловимый, в переливах цветов и красок, шумный и звучный; другой — оцепенелый в мертвенной неподвижности, рабски правильный и безжизненно определенный, с ложным блеском, поддельной жизнью, немой и безгласной. Явления первого мира, живые и непосредственно рождающиеся, называются еще и вдохновенными или творческими; в явлении второго мира — предментами механическими или произведениями рук человеческих. Разумеется, что этого не должно понимать буквально... все статуи и все картины делаются руками человеческими, но, несмотря на это, есть статуи и картины органические, вдохновенные, творческие и есть статуи и картины механические, не созданные, а сделанные. Очевидно, что созданным или творческим называется все, что не может быть произведено соображением, расчетом, рассудком и волею человека, даже все, что не может назваться и изобретением; но что непосредственно является из небытия в бытие или творящую силою природы, или творческого силою духа человеческого и что, в противоположность изобретению, должно называться *откровением*" (курсив автора) \*.

Вдохновение — это основа искусства! — такова мысль Белинского, которая проходит красной нитью через всю его критическую деятельность.

Вдохновение может совершать поистине чудеса, совершенно изменять, преображать человека, восполнять все его недостатки: "Бурное вдохновение, пламенная жгучая страсть, — пишет он про знаменитого московского трагического актера П. С. Мочалова, — ...вот все его средства. Рост его низок, фигура невзрачна, манеры не выработаны, искусства почти никакого. Он весь зависит от прихоти своего вдохновения: пробудилось оно в нем — и пораженный зритель созерцает великую тайну искусства, о которой не дает понятия никакая эстетика, никакая книга, которой нельзя передать словом, описанием. В минуты вдохновения манеры его исполнены благородства и самый рост его кажется выше"\*\*. Это

\* В. Г. Белинский, "Избранные сочинения в 3-х томах", М., 1936 г., т. 2, ст. "Идея искусства", стр. 68—69.

\*\* Полное собрание сочинений под редакцией А. С. Вергерева, т. 9, стр. 258.

вдохновение передается от актера публике, делается массовым: "...И мнилось моему разгоряченному воображению, — пишет далее В. Г. Белинский, — что окружающая меня толпа велика, как художник, которому она рукоплещет, что понимает она искусство и что полна она таинственной думы, как лес, как море"\*.

"Без вдохновения нельзя сыграть как следует ни одной роли, тем более трагической", — категорически заявляет он в другом месте\*\*.

Марксистское искусствознание полностью разделяет мысль об эмоциональной основе искусства.

"Искусство всякого народа определяется его психикой..." — утверждает Г. В. Плеханов\*\*\*.

Эмоциональная сторона играет не менее важную роль и в других сферах человеческой деятельности.

"Геометру вдохновение так же необходимо, как и поэту", — говорит А. С. Пушкин.

Вдохновение необходимо не только ученому, но и инженеру, учителю, врачу, рабочему — всякому деятелю. И особенно необходимо оно революционеру, воину, борющемуся за правое дело, народному вождю и трибуну.

"Но когда  
                                революционной тропкой  
первый  
                                делали  
                                рабочие  
                                                шажок,  
о, какой невероятной топкой  
сердце Маркс  
                                и мысль свою зажег",

— пишет любимый поэт Дулумана Маяковский.

Где нет вдохновения, — там нет героизма. И все народные герои — от Жанны д'Арк до Александра Матросова — совершали свои подвиги в состоянии особого возвышенного, эмоционального подъема.

---

\* Там же, стр. 251.

\*\* Там же, стр. 258.

\*\*\* Г. В. Плеханов, Собрание сочинений, т. 14, "Письма без адреса", стр. 36.

На каком же основании вы, Дулуман, осуждаете религию за то, что она также вызывает в своих последователях воодушевление, энтузиазм, вдохновение?

Совершенно неубедительным является указание Дулумана на кликуш, пятидесятников-трясунов и на других носителей религиозной патологии. Одним из самых трудных вопросов человеческой психики является умение управлять своими эмоциями. Марксизм, система Станиславского, литературно-критическая деятельность Белинского — все это представляет собой руководство (в широком смысле) к тому, чтобы научить людей управлять эмоциями, вводить их в определенное русло, согласовывать их с разумом.

Однако во все времена и во всех областях были люди, не умеющие контролировать своих чувств; благодаря этому время от времени появляются безрассудные герои (Дон-Кихоты), поэты, творчество которых представляет собой бессмысленный набор слов и даже прямую заумь, как у пятидесятников\*; к этой же категории относятся и все люди, страдающие болезненной религиозной экзальтацией, которая подчас принимает действительно уродливые формы. Отвергать религию на том основании, что имеют место подобные извращения, — это все равно что отвергать поэзию, основываясь на заумных стихах Крученых.

Священное Писание и церковь строго осуждают подобные уродства. Апостол Павел, отвергая гласолалию (молитва на непонятном языке), особенно ясно формулирует требование христианской религии ставить эмоции под контроль сознания.

“Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, — пишет апостол, — то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом” (Первое Послание к коринфянам. 14, 14–15).

Главное же мистическое руководство православной церкви — сборник “Добротолюбие” осуждает все подобные явления как “сатанинскую прелесть”\*\*.

---

\* Вот, например, строчка из стихотворения футуриста Крученых: “Дыр бул щыл, убежур скум вы со бур лаз”. Цитирую по книге Б. В. Михайловского “Русская литература XX века”, М., 1939 г., стр. 373.

\*\* Дулуману хорошо известна эта книга, т. к. она является также главным пособием при изучении нравственного богословия, которое наш антирелигиозник в свое время преподавал. Знает он, конечно, и то, как оце-

И уже совершенно комическое впечатление производит попытка Дулумана скомпрометировать религию указанием на то, что в медицине известно психическое заболевание под названием "Mania religiosa". Сообщаем Дулуману, что, кроме этого, существуют также меломания (помешательство на пении), эротомания (половая психопатия), страсть к поджигательству и т. д. На этом основании мы советуем Дулуману объявить, что хождение в оперу, знакомство парней с девушками, любовь к фейерверкам и т. д. есть "начальная ступень сумасшествия", так же, как он это говорит на странице 32 своего "труда" про религиозный энтузиазм.

Однако этим не исчерпываются обвинения, которые выдвигает Дулуман против религии: как помнит читатель, Дулуман упрекает религию в том, что она "усиливает поток мутных чувств...".

Какие же именно мутные чувства возбуждает в человеке религия? Как известно всякому, кто хоть немного знаком с Евангелием, чувство, которое действительно всячески культивирует христианство, — это чувство любви к Богу и людям. Христианство возносит человека на недостижимую высоту; любовь к людям — это такое же безусловное требование, как и любовь к Богу: "Кто говорит люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец", — категорически заявляет любимый ученик Христа апостол Иоанн Богослов (1 Послание Иоанна. 4, 48). Братская любовь к людям — такова основная, главная заповедь Спасителя; "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга", — говорит своим ученикам Христос, идя на страдания (ев. от Иоанна 13, 34). Эта любовь должна быть самоотверженной и безграничной: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих", — говорит величайший Человеколюбец всех времен и народов (освящая этими словами всякий героический подвиг (Ио., 15, 13). Любовь должна быть действенной, практической, конкретной — любви словесной, абстрактной, теоретической Христос не признает. "Идите от Меня, проклятые, — обращается Христос к тем, кто любит не на деле, а лишь на словах, — в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал и вы не дали Мне есть, жаждал, и вы не напоили Меня. Был странником, и не приняли Меня, был наг, и не одели Меня, болен и в темнице, и не посетили

---

нивает эта книга патологические формы религиозного экстаза. А между тем он стремится уверить читателя в том, что эта патология рекомендуется и культивируется церковью. Вот один из примеров, характеризующих добросовестность Дулумана.

Меня... Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали Мне". (Ев. Мф. 24—41, 42, 43, 45.)

Наконец, Апостол Павел воспевает величественный гимн любви — гимн, подобного которому никогда, ни до, ни после, — не складывали человеческие уста. "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут и знание упразднится" (Послание 1 к кор., 13—1—8). Тысячекратно усилить в человеке чувство любви — такова главная цель христианства. Мы обращаемся ко всякому, кто прочтет эти строки, — к верующему и неверующему читателю, с вопросом: можно ли назвать мутными подобные чувства?! Нет, не мутным, — а светлым, радостным, ясным, как кристалл, является христианское учение. Это самое гуманистическое учение в мире, потому что в основу жизни оно кладет любовь к людям и утверждает ее с такой силой, с какой никогда ее не утверждало ни одно другое учение. Эта любовь христианская, живая, действенная, самоотверженная — подобно солнцу, освещает и согревает холодный мир, — она является высшим проявлением мудрости, "Светом Разума", — в то же время это непосредственное чувство любви шире, сильнее, многограннее и действеннее любой логической отвлеченной схемы.

"Ночь смотрит тысячами глаз,  
А день глядит одним;  
Но солнца нет — и гаснет свет,  
Тьма стелется, как дым.  
Ум смотрит тысячами глаз,  
Любовь глядит одним;  
Но нет любви — и гаснет жизнь.  
И дни плывут, как дым"\*.

А теперь от стихов переходим опять к прозе — к Дулуману. Мы перед ним в долгу: если вспомнит читатель, мы его довольно

---

\* Я. П. Полонский, "Стихотворения". "Из Бурдальона", стр. 263, Л., 1957 г.

невежливо прервали на том месте, где он нам разъяснял, как Библия борется с разумом.

Возвращаем ему слово: "В таком же воинственном против разума духе выступают церковники и в настоящее время. "Сила разума не доходит до истин Божиих" ("Журнал Московской Патриархии", 1955 г., № 1, стр. 38), — говорят они. Как высохшее дерево боится огня, так религия боится логики, доказательств. "Всякий ищущий доказательства церковной истины тем самым показывает свое сомнение, исключает себя из церкви" ("Журнал Московской Патриархии", 1955 г., № 7, стр. 50)". Как видите, Дулуман, в противоположность церковникам, представляет нам доказательства в виде цитат из "Журнала Московской Патриархии". Посмотрим, что это за доказательства. Раскрываем вышеупомянутый журнал за 1955 год, № 7, на странице 50. Выписываем все, что написано на этой странице; это нетрудно сделать, т. к. здесь напечатан только один абзац — окончание статьи А. Осипова, проф. Лен. Духовной Академии. Статья называется "Матери (к всемирному конгрессу матерей)"\*.

Раскрываем другой номер "Журнала Московской Патриархии". Январь 1955 г., № 1, стр. 38. Это как раз та страница, на которой, по словам Дулумана, находятся категорические слова "Сила разума не доходит до истин Божиих". Усердно ищем эту цитату. Увы! Опять не находим. Правда, на этот раз Дулуману повезло: он, видимо, случайно попал на статью епископа Исидора "Православное учение о церкви". В этой очень содержательной и интересной статье действительно несколько раз упоминается слово "разум". Упоминается этот термин, однако, совершенно не в том контексте, в каком хочет этого Дулуман. Автор ставит в своей статье вопрос о соотношении религиозной индивидуальности с коллективным (соборным) разумом Церкви, он проявляет

---

\* Е. Дулуман, "Почему я перестал верить в Бога", стр. 18.

Примечание: Вот что читаем мы на этой странице: "...чтобы ни одна колыбельная песня матери не была прервана громом артиллерийской канонады, чтобы ни одна мать не собирала сына в страшный путь войны, чтобы тревоги за жизнь сыновей не умножали материнских седин, чтобы не обращались в руины дома матерей земных, храмы Матери-Царицы Небесной, чтобы ежечасные моления Матери-Церкви нашей "О мире всего мира" стали незыблемой явью, торжествующей осуществленной Правдой наших и грядущих дней". Далее подпись автора и типографский знак, " — ", означающий конец отдела — и абсолютно чистый лист бумаги. Вот на этом-то чистом листе бумаги и прочел наш проникательный одессит грозные слова о том, что "всякий ищущий доказательства церковной истины исключает себя из церкви".

глубокое уважение к личности каждого христианина: "Христианская жизнь есть плод гармонического сочетания Божественной благодати со свободной самостоятельностью человека", — пишет он на странице 39. Однако индивидуальные усилия отдельного человека недостаточны; для достижения тех грандиозных целей, которые ставит перед собой христианство, — нужен соборный разум церкви. "В обществе, — пишет Исидор, — всегда скорее и легче достигается всякая цель, чем в одиночку. Поэтому всегда, как только предпринимается какое-нибудь общее дело, люди соединяются в общества. И таких обществ в каждом образованном государстве существует много. Самое государство здесь именно получает свое начало и основание. Поэтому и истинно верующие во Христа, призванные не только к личному нравственному совершенствованию, но и к тому, чтобы быть "солью земли" и "светом мира", для успешного достижения цели должны соединиться в одно христианское, религиозно-нравственное сообщество" (стр. 40). Вот и все. Скажите, Дулуман, где же здесь вы увидели воинствующие выступления против разума?

Итак, все дулумановские цитаты оказались просто "очередной подложной справкой" (вроде той, которую в свое время он представил в семинарии). Такой же вопиющей неправдой является утверждение Дулумана о том, что "религия смертельно боится всякой логики, доказательства". Но чем, собственно, является богословие, как не собранием доказательств (в широком смысле) истин религии? Может быть, почтеннейший бывший кандидат богословия припомнит, что существует такая отрасль богословия, как апологетическое богословие, содержанием которого является исключительно полемика с врагами христианства и "оправдание" (т. е. иначе говоря) доказательства догматов церкви. Может быть, Дулуман вспомнит также о существовании христианской философии: по его словам, он, например, читал сочинения В. С. Соловьева, — но чем являются все произведения этого философа как не собранием различных доказательств истин христианской веры. Совершенно неверным является и утверждение, что религия боится всякой логики. Как раз наоборот — если и можно в чем-нибудь упрекнуть христианское богословие, так это в особом пристрастии к логическим конструкциям. Таким пристрастием к аристотелевской логике особенно отличается средневековое, западное богословие (так называемая схоластика) и величайший католический богослов Фома Аквинат.

Если у читателя есть хотя малейшее сомнение на этот счет, мы просим его прочесть в любом учебнике по истории философии (хотя бы в учебнике Александрова, вышедшем в 1947 году) раздел, посвященный схоластике.

Но предоставим снова слово Дулуману. Вот он на 18-й странице продолжает свою "разоблачительную" тираду против "врагов разума" церковников. "Здравый смысл мешает религии вбивать в головы людей ложное учение. Вот почему религия и восстает против здравомыслия. Один из так называемых отцов церкви — авторитетов христианской идеологии, — Григорий Богослов, пишет другому отцу церкви, блаженному Иерониму: "Надо побольше небылиц, чтобы... производить впечатление на толпу. Чем меньше толпа понимает, тем больше она восхищается" (стр. 18).

Дулуман. Ты победил! Мы сражены и капитулируем полностью и безоговорочно. Так вот какой страшный удар готовил Православной Церкви бывший кандидат. "Победитель Церкви" — вот как отныне следует ему называться, а мы-то думали, что он всего-навсего... но мало ли, что мы думали... Шутка сказать, 1600 лет церковь преклонялась перед Григорием Богословом как перед честнейшим и святым человеком; даже неверующие люди отдавали должное его чистоте и бескорыстию, и вот, он столь постыдно разоблачен Дулуманом. Все же нас, как когда-то самого автора знаменитой брошюры, точит "червячок сомнения". Мы бы хотели посмотреть эти слова Григория Богослова в его сочинениях. К сожалению, Дулуман нам в этом помочь не хочет, — никакой ссылки на то, где именно находятся эти слова в сочинениях Григория Богослова он не делает. Ну что ж, попробуем обойтись без его помощи.

Итак, Григорий Богослов писал эти слова Блаженному Иерониму; это кажется правдоподобным, потому что в творческом наследии св. Григория Богослова имеется много писем. Берем одно из русских изданий знаменитого отца церкви — самое позднее издание 1912 года\*.

В собрании сочинений напечатаны 242 письма Григория Богослова. Из них 4 послания как имеющие догматическое значение напечатаны в первом томе ("Послание Первое к монаху Евгарию о Божестве". "Послание второе к Нектарию, архиепископу Кон-

---

\* "Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского", 1912 г., изд. П. П. Сойкина.

стантинопольскому", "Послание третье к пресвитеру Кледонию против Аполлинария", "Послание четвертое к Кледонию против Аполлинария").

238 писем св. Григория напечатаны в последнем томе; внимательно изучаем эти письма — письма к Блаженному Иерониму между ними нет. Правда, есть еще одно письмо Григория Богослова, напечатанное между его стихами — увы, это тоже не то — "Послание к Селевку", оно является спорным, т. к. долгое время приписывалось св. Амфилохию, Архиепископу Иконийскому (стр. 290—296). Перелистываем стихи Григория — там также есть несколько стихотворных посланий, но нет ни одного, которое было бы адресовано Иерониму. Более того, во всем собрании сочинений имя блаженного Иеронима ни разу даже не упоминается, в чем читатель может убедиться, заглянув в указатель собственных имен в конце книги. Совершенно такая же картина и в двух более ранних русских изданиях XIX века.

Итак, в русских изданиях Григория Богослова письма блаженному Иерониму нет. Посмотрим иностранные издания. Вот перед нами огромный фолиант. Это латинское издание сочинений св. Григория Богослова XVII века. На титульном листе надпись: "*Gancti Gregori Theologia operae*".

В 1 томе напечатано 232 письма; почти каждое из них сопровождается обширным комментарием (схолией) Иакова Биллия — знаменитого теолога XVII века, отчего издание обычно называется в богословской литературе — изданием Биллия. Просматриваем эти письма (294—350 стр.) — увы! — письма к блаженному Иерониму между ними нет.

В конце издания напечатано еще десять писем святителя, они вынесены в конце второго тома, т. к. сохранились только в латинских переводах (греческий подлинник затерян). Тщательно просматриваем и эти письма. Увы! И здесь этого письма нет.

Итак, остается думать только одно: видимо, это письмо уничтожено злокозненным "церковником". Правда, остается некоторое недоумение: откуда о нем знает тогда Дулуман? Ведь никаких других изданий писем Григория Богослова, кроме тех, которые изданы церковниками, не было. Но здесь, конечно, удивляться не приходится, если вспомнить сверхъестественную способность Дулумана списывать любые цитаты прямо с чистого листа бумаги.

Итак, мы имеем дело с очередным номером одесского фокусника — и "ниспровержения православной церкви" пока не состоя-

лось. Однако не кажется ли вам, издатели, что таких “номеров” что-то уж очень много? Шутка сказать, на одной странице — три подложных цитаты. Впрочем, будем милосердны к бедному Дулуману — перевернем наконец эту злополучную, столь несчастливую для него восемнадцатую страницу.

Перед нами одна из первых глав труда Дулумана, которая носит громкое название “*Auditorae altera pars*”. В этой главе автор рассказывает историю своего “обращения” в христианство. Нас, однако, на этот раз интересует не “биография нашего “отступника”, с которой мы уже знакомы, а одно из полемических замечаний против религии, которое очень характерно не только для Дулумана, но и для всех наших антирелигиозников. Как известно, одним из самых неприятных фактов для “воинствующих” атеистов является то печальное для них обстоятельство, что подавляющее большинство ученых как в прошлом, так и в настоящее время принадлежат к верующим людям или, во всяком случае, не разделяют взглядов материалистической философии. Для Дулумана этот факт особенно неприятен, т. к. он из всех сил пытается доказать, что религия враждебна разуму. Как же он выкручивается из трудного положения? Послушаем.

“Только значительно позже я понял, — пишет он на 9-й странице, — что религии противоположна не какая-то отдельная наука, а все науки вместе взятые в их совокупности”.

Автор недаром горой стоит за логику; как видите, он и сам внес в логику немалый вклад. Ведь оба его силлогизма — так и просятся в учебник логики, в раздел “Найдите ошибку силлогизма”. Ошибку найти, конечно, нетрудно — ведь кроме ошибочного умозаключения Дулуман погрешает против так называемой Аксиомы логики, согласно которой свойства, присущие вещи, присущи также ее частям и наоборот: если “отдельные науки” не противоположны религии — никак не может быть противоположна религии и совокупность наук — “философия”, “мировоззрение”.

Послушаем нашего “философа” еще. “И если тот или иной ученый двигает науку вперед и продолжает верить в Бога, то о нем можно сказать: как ученый — он гигант, гений; но как мыслитель, философ — карлик. (Не то что Дулуман.) Ведь он только потому и является ученым, что в своей науке на деле не признает никаких сверхъестественных сил: богов, чертей, духов, чудес. Так, для верующего медика Бог может быть везде — в астрономии,

химии и так далее, — только не в медицине. Набожный астроном изгоняет Бога из вселенной, психолог — из человека, экономист — из общественной жизни” (стр. 9—10). Ну что ж, так и запишем. А пока попытаемся выяснить, что думают по этому поводу сами ученые: как-никак ведь двигают науку все-таки они, а не Дулуман.

Выслушаем Иоганна Кеплера — знаменитого астронома. “Я хотел быть богословом, — говорит этот человек, который, согласно теории Дулумана, “изгонял Бога из астрономии, — ...и долго оставался в мучительном раздумии, но наконец решил, что при усердии я могу прославить Бога и в астрономии”\*.

Вскоре Кеплер действительно становится астрономом. “...Он становится горячим приверженцем Коперниковой системы и со свойственным ему энтузиазмом обращается с молитвой к Богу помочь ему сделать такое открытие, которое доказало бы справедливость Коперниковой гипотезы”. Далее мы видим Кеплера уже знаменитым ученым; вскоре после открытия трех своих знаменитых законов 3 окт. 1595 г. он пишет письмо к своему другу Мاستилиту — и здесь излагает свои астрономические взгляды: “Мы видим, что Бог сотворил мировые тела в известном числе... до сотворения мира не было никакого числа... число есть принадлежность вещей... В шаре заключается граница: сферическая поверхность, центр и вместимость; и в мире мы видим небо звезд, солнце и эфир, как в Троице — Сына, Отца и Духа”\*\*.

Возьмем главный труд Кеплера “О Премудрости Божией, проявляющейся в его творении”, вышедшей в 1591 году. Излагая свой 3-й закон, в значительной степени предвосхитивший теорию всемирного тяготения, Кеплер восклицает: “Я предаюсь своему энтузиазму и не стесняюсь похвалиться перед смертными своим признанием! Я похитил золотые сосуды египтян, чтобы создать в них храм моему Богу от предков Египта. Если вы простите мне это — я порадуюсь, если укорите меня — снесу укор. Но жребий брошен; я пишу свою книгу. Прочтется ли она современниками моими или потомством — мне нет до этого дела — она подождет своего человека. Разве Господь Бог не ждал шесть тысяч лет созерцателя Своего творения (Кеплера) \*\*\*.

---

\* “Иоганн Кеплер”, Очерк Предтеченского. Изд. Павленкова, “Жизнь замечательных людей”, С.-Пб., 1891 г., стр. 25.

\*\* Там же, стр. 31

\*\*\* Там же, стр. 70.

Можно было бы продолжать эти цитаты до бесконечности, но ведь и так ясно, что Кеплер признавал Бога (увы, Дулуман!) в астрономии, и прежде всего в астрономии.

Обратимся к Ньютону: "Цель всякой науки, — пишет великий естествоиспытатель, — должна заключаться не только в разъяснении механизма вселенной, но также и в разрешении таких вопросов, как, например, что находится в той части пространства, в которой нет материи? И почему планеты тяготеют к солнцу и наоборот? Откуда происходит то, что в природе нет ничего бесполезного? И откуда явились этот чудный порядок и красота, которые мы видим в этом мире? И чему служат кометы? По какой причине планета движется в орбитах почти концентрических и в одном направлении, между тем как орбиты комет чрезвычайно эксцентричны и размещены, по-видимому, без всякого порядка, по всем направлениям. Не доказывает ли все это, с таким совершенством устроенное, что существует невещественный Бог, живой, мудрый, вездесущий, Который в бесконечном пространстве, как бы в своем чувствилище, видит все вещи сами в себе..."\*.

Неплохая иллюстрация к тому, как великий физик изгонял Бога из вселенной, — не правда ли, Дулуман?

Чрезвычайный интерес представляет для нас в этом отношении знаменитый современник Ньютона Роберт Бойль (1627—1691), — помните, Дулуман, в школе вы учили закон Бойля—Мариотта. Бойль в юности был почти неверующим человеком, однако после усиленного занятия физикой он становится глубоко религиозным, — в конце жизни он опубликовал книгу, в которой доказывает, что опыт приводит человека к христианству.

Сходный путь прошел и великий французский ученый Пастер; хорошо известны его слова: "До того, как я занялся наукой — я был мало верующим человеком; теперь после того, как я провел жизнь в исследованиях, я верю, как бретонский крестьянин, — если я буду заниматься наукой дальше — я буду верить, как бретонская крестьянка".

Дулуман может, однако, нам возразить, что мы приводим высказывания ученых прошедших столетий. Перейдем к ученым XX века. Ввиду того, что наши заметки очень разрастаются и чуть ли не грозят сравняться размерами с "трудом" Дулумана — ограничимся только двумя примерами.

---

\* Ис. Б. Вио, "Биография Ньютона", М., 1889, стр. 94—95.

Кому не известно имя академика И. П. Павлова? Обычно его имя упоминается в нашей литературе рядом с эпитетом "великий физиолог-материалист".

Но вот, что говорит он сам о соотношении материализма и физиологии: в апреле 1924 года Павлов написал предисловие к книге немецкого физиолога, своего единомышленника в научных вопросах, Цур-Штрассена. В этом предисловии мы читаем следующее:

"Настоящая брошюра представляет собой одну из удачных теоретических попыток обосновать строго естественнонаучное понимание жизни вплоть до ее крайнего предела в виде психических явлений. Было бы, однако, достойным сожаления недоразумением видеть в идее ее автора близорукий материализм, который грубо и преждевременно упрощает предмет и тем снижает его в глазах трезвых натур. Истинно активный ум в строгом естественнонаучном понимании всей целостной, без малейшего остатка, жизни видит только признание действия основного условия всего существующего — законы причинности"\*.

Что такое закон причинности, при отрицании материализма, — как не Первопричина всего сущего — Бог? И наконец, особо следует остановиться на величайшем ученом нашего времени и на одном из величайших ученых всех времен и народов — Альберте Эйнштейне, умершем 18 апреля 1955 года.

Каково было отношение Эйнштейна к религии в начале его жизни?

"Таким путем я, — пишет он в своей творческой автобиографии, — хотя и был сыном совсем нерелигиозных (еврейских) родителей, — пришел к глубокой религиозности, которая, однако, уже в возрасте 12 лет резко оборвалась... Следствием этого было прямо-таки фанатическое свободомыслие"\*\*\*.

Общеизвестно, что в годы своей зрелости, уже после того, как он сформулировал свою теорию относительности, Эйнштейн стал опять глубоко религиозным человеком и даже основоположником религиозного течения — неояудаизма.

"Эйнштейн обращался к своему понятию Бога чаще, чем

---

\* Цур-Штрассен, "Поведение человека и животных в новом освещении", Ленинград, 1925 г., стр. 3.

\*\* "Эйнштейн и современная физика (Сборник памяти Эйнштейна)", М., 1956 г., стр. 28.

ксендз", — пишет в своих воспоминаниях его ученик и близкий друг польский физик Инфельд\*.

Чем это объяснить?

"Он (Эйнштейн) дал нам картину мира, превосходящую свою целостностью и гармонией самые смелые мечты прошлого" (Нильс Бор) \*\*. Чем больше углублялся он в изучение вселенной, тем более убеждался он в той изумительной законченности и целенаправленности, которая лежит в ее основе.

"Эйнштейн, мне кажется, — пишет Инфельд, — до последних минут своей жизни верил, что существуют основные закономерности, справедливые как для движения звезд и планет, так и для недр атома" \*\*\*.

И в неразрывной связи с постижением вселенной находилась его пламенная вера в Бога.

"Когда Эйнштейн говорит о Боге, он всегда имеет в виду внутреннюю связь и логическую простоту, которая обнаруживается в законах Природы" \*\*\*\*.

В воспоминаниях Инфельда имеется интересное место, из которого видно, как вера в Бога непосредственно рождается под влиянием физических экспериментов: "Когда мы месяцами работали над такого рода проблемами (Теории поля, сформулированные в виде дифференциальных уравнений с частными производными), Эйнштейн говорил: "Господа Бога не интересуют наши математические трудности: Он интегрирует эмпирически". В этой фразе выражено убеждение Эйнштейна, что законы природы можно вывести из простой теории, что именно простота, а не технические трудности, связанные с дедукцией, служат мерой красоты данной теории" \*\*\*\*\*.

Постоянно, снова и снова, возвращается он к мысли о Боге, который обнаруживается в законах природы — и многие изречения Эйнштейна о Боге сделались крылатыми "В Фаун-Холл есть зал, обычной закрытый, открываемый только для почетных гостей. На камине высечено изречение Эйнштейна: "Господь Бог изощрен, но незлобен".

---

\* Там же, Леопольд Инфельд "Мои воспоминания", стр. 205.

\*\* Там же, стр. 7.

\*\*\* Там же, стр. 213.

\*\*\*\* Там же, стр. 205.

\*\*\*\*\* Там же, стр. 213.

Не случайно великий математик говорит о Боге в математических терминах — идея Бога буквально пронизывает всю систему Эйнштейна.

Мы решили ограничиться из современных ученых одним Эйнштейном; однако мы не можем все же не упомянуть о так называемом физическом идеализме. Это идеалистическое течение имеет, как известно, ту характерную особенность, что его носителями являются крупнейшие физики нашего времени: Нильс Бор и Гайзенберг, Шредингер и Оппенгеймер и другие корифеи современной мировой науки. Все они являются идеалистами именно как физики и основывают свою философию на данных современной физики. Все это Дулуман может узнать хотя бы из журнала "Вопросы философии".

Конечно, он может нам возразить, что все эти ученые плохо понимают свои собственные теории — и что он, Дулуман, понимает астрономию лучше Кеплера, физику — лучше Ньютона и Бойля, теорию относительности — лучше Эйнштейна, а квантовую механику лучше Нильса Бора и Гайзенберга.

Но ведь и мы можем сказать, что ду... дулуманам закон не писан.

Переходим к следующему аргументу Дулумана:

"Далее. Разве может здравый разум пройти мимо такого явления? Религий очень много. Одна христианская религия имеет множество направлений, приобрела многочисленные формы. А ведь кроме христианской есть еще сотни\* других: магометанская, буддийская, индийская, шаманская и так далее...

Истина может быть только одна: двух взаимоисключающих друг друга истин не бывает. Только ложь многоязыка. Тот факт, что религии исключают друг друга, убедительно говорит о том, что религия в своем существе как учение построена на ложных представлениях и понятиях" (стр. 20) .

Это возражение настолько курьезно, что стоит на нем остановиться.

Скажите, студент философского факультета Дулуман, вы сдавали курс диамата, включающего некоторые элементы диалектики? Ну что ж, поговорим опять о диалектике.

---

\* Сотни? Никак не меньше? Интересно получить от Дулумана — список религий; до сих пор было известно только 4 мировых религии и еще несколько религиозных течений, не выходящих за местные рамки.

Прежде всего позвольте вам заметить, что с точки зрения диалектики вовсе не одна только ложь разноречива; истина многолика и многообразна еще более, чем ложь.

Объясняется это тем, что истина никогда, ни в какой области не раскрывается сразу и полностью. Путь человечества к истине подобен восходу на крутую скалу, — медленно, обрываясь и отступая назад, а затем снова взбираясь, совершает человечество путь к истине. Истина открывается поэтому также с разных сторон; в различных аспектах и всегда — увы — на нее падает тень лжи.

Именно это подразумевал В. И. Ленин, когда говорил, что “развитие человечества идет по спирали”<sup>\*</sup>; он же любил повторять слова Чернышевского о том, что “история — это не Невский проспект”.

История человеческого мышления тоже, к сожалению, не Невский проспект. Религий имеется не сотни, а всего лишь несколько десятков, — а вот, научных теорий, взаимно исключающих друг друга, так действительно сотни и тысячи. Можно ли сказать, что все эти теории ложны? Нет, каждая из них имеет долю истины; но вот, приходит новая теория, в которой истина выражена полнее и ярче, и — после упорной борьбы — она занимает место старой.

Так обстоит дело и в искусстве, и в социологии, и буквально во всякой области жизни. Мы просим извинения у читателя за то, что нам приходится повторять такие избитые, аксиоматические истины, — но это необходимо, потому что, когда заходит речь о религии, у нас обычно забывают о самых элементарных положениях диалектики. Но ведь в религии обстоит дело совершенно так же, как и в других областях. Никто никогда не говорил, что есть религии абсолютно лживые. Во всякой религии есть зерно истины, поскольку она утверждает существование высшего духовного начала в мире, поскольку она учит о Боге. Все дело в том, что различные религии воплощают в себе истину в различной степени. Об этом прекрасно говорит в одном из своих Посланий апостол Павел:

**“Бог, многократно и многообразно говоривший отцам во пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, Которого поставил**

---

<sup>\*</sup> См. известную статью “К вопросу о диалектике”.

наследником всего, через Которого и веки сотворил". (Послание к евреям, гл. 1, 1—2.)

Путь, которым идут к истине, — нелегок; это трудный, тернистый, мучительный — и потому бесконечно прекрасный путь.

А теперь просим выслушать еще один номер одесского юмориста.

"Здорового ума религия не выносит, ибо он прежде всего вскрывает нелепости религиозного учения. Таинственно указывая на разум, религия шепотом говорит: Все из чего-то возникает. Безбожники утверждают, что все — из материи. А откуда же сама материя? Не может же быть так, чтобы существующее никем не было создано. Кто же тогда создал материю? И отвечает: ее создал Бог.

— Необходима логическая последовательность! — требует разум. — Если все создано кем-то, то кто же создал Бога? Почему религия отрицает вечность и несотворимость несомненно существующей материи и приписывает вечность и несотворимость якобы "существующему Богу"? (стр. 19.)

Готово! Религия поставлена в тупик и ничего не отвечает.

Читатель, верно, уже догадался, в чем суть этого номера.

Есть такое актерское профессиональное выражение: "игра с вещью". Именно такой "игрой с вещью" является вышеприведенный диалог: "артист", подвизающийся на антирелигиозном поприще, сделал манекен, который должен изображать религию, а затем быстро и легко проткнул его картонной рапирой. Попробуем, однако, представить себе, что было бы, если бы вместо манекена перед Дулуманом находился бы живой человек — и притом человек религиозный. Вероятно бы, диалог принял несколько иной оборот.

Давайте разберемся прежде всего в том, что такое материя, — сказал бы Дулуману любой здравомыслящий человек. Материя, по известному определению Ленина, есть то, что может быть чувственно воспринято нами в опыте. Но если так, то всякая материя должна иметь протяженность и массу: невозможно "чувственно воспринимать" то, что не имеет ни протяженности, ни массы. Попробуйте, например, пощупать безвоздушное пространство или понюхать торичелиеву пустоту. Протяженность, пространственность — является обязательным атрибутом материи. Однако все, что имеет протяженность, должно существовать во времени. Теория относительности Эйнштейна не оставляет и тени сомнения

в том, что пространство и время являются неразрывно связанными между собой категориями: не может быть беспространственного времени, как не может быть вневременного пространства. Итак, вселенная существует во времени и в пространстве; с этим, надемся, и Дулуман спорить не будет; возразить тут нечего. Продолжаем наш диалог, который угрожает превратиться в монолог. Поскольку вселенная существует в пространстве и времени, она, по необходимости, должна иметь пределы. Нет и не может быть беспредельного пространства, и не может быть безграничного времени. Дулуман, конечно, ответит нам на это известной материалистической догмой о бесконечной и вечной материи, однако никаких данных для того, чтоб подтвердить эту догму, у него нет и быть не может. Не говоря уже о том, что никто и никогда не видел беспредельной материи и Дулуман требует от нас слепой в нее веры, — самая мысль о беспредельной материи является вопиющим насилием над здравым смыслом. В самом деле мы знаем, что вещество не возникает и не исчезает; оно имеется во вселенной в строго определенных весовых единицах — каким образом, спрашивается, вселенная, состоящая из ограниченных пространством частей, сама может быть беспредельной.

Итак, одно из двух: вселенная материальна, но тогда она не бесконечна; или она бесконечна, но тогда она нематериальна. На помощь логике приходит астрономия. Как известно, в последнее время в астрономии было сделано потрясающее открытие — было замечено явление так называемого смещения красной линии спектра.

Этот мудреный, сугубо специальный термин означает тот весьма неприятный для атеистов факт, что наблюдения новых усовершенствованных телескопов особой конструкции установили непрерывное расширение вселенной в пространстве; среди современных астрономов имеет хождение теория фонтанообразной вселенной: согласно этой теории в центре космоса имеется источник энергии, который расплескивает с огромной силой материальные частицы во все стороны, и это является в значительной степени причиной непрерывного расширения космоса. Вселенная расширяется непрестанно и непрерывно, — следовательно, еще совсем недавно она была значительно меньше, чем теперь, и "ядром", из которого она появилась, было сравнительно небольшое космическое пространство.

Как бы то ни было, подавляющее большинство современных

естествоиспытателей твердо убеждены в том, что вселенная имеет границы; диаметр материальной вселенной определяют огромным, почти фантастическим, но все же вполне определенным числом — один миллиард парсеков. Все это в значительной мере делает невозможным (или, во всяком случае, сильно подрывает) миф о “вечной и несотворимой материи”. И уж совсем комичное впечатление производит следующий вопрос одесского философа: “Почему религия отрицает вечность и несотворимость материи и приписывает вечность и несотворимость якобы “существующему” Богу?

Помните ли вы, читатель, комедию Мольера “Мещанин во дворянстве”? Тот, кто читал эту комедию, никогда не забудет, как учитель красноречия поразил господина Журдена, открыв ему потрясающую истину: “Все, что не стихи, есть проза, а все, что не проза — это стихи”. Представим себе, что Журден не поверил бы этой столь очевидной истине, — и тогда между ним и учителем красноречия произошел бы следующий диалог:

“Почему поэтика отрицает ритм и рифму хорошо мне известной, несомненно существующей прозы и признает ритм и рифму за совершенно мне неизвестным, якобы существующим стихом”.

Ответ учителя был прост и ясен: “Проза тем и отличается от стихов, что не имеет ни ритма, ни рифмы — ритмичная и рифмованная проза — это и есть стихи”.

Или представьте себе другую картину: эскимос, живущий среди вечных льдов, мог бы сказать: “Почему вы отрицаете жидкое состояние несомненно существующего льда и приписываете жидкое состояние мне неизвестной\*, якобы существующей воде”.

Ему, конечно, ответили бы: “Но ведь лед тем и отличается от воды, что он находится в твердом состоянии, а жидкий лед — это и есть вода”.

Точно так же мы должны ответить Дулуману: но ведь материя тем и отличается от духовной субстанции (например, от мышления) \*\*, что она пространственна и, следовательно, имеет начало

---

\* Это, конечно, невозможно, но допустимо.

\*\* Материалисты также признают, что мышление представляет собой иную качественную субстанцию, чем материя; спор идет лишь о том, что является первичным — дух или материя. Современные материалисты иногда пускаются на следующий словесный фокус: они утверждают, что “материя — это все существующее”. Софизм, нелепость которого очевидна.

во времени — вечная, — не ограниченная пространством, не имеющая ни протяжения, ни массы материя — это и есть дух.

А так как в материальном мире царствует закон причинности, — то вполне закономерен вопрос: откуда взяла свое начало материя.

Мы, конечно, не знаем, что на все это мог бы ответить Дулуман; не подлежит, однако, сомнению, что ответить на все эти положения ему было бы значительно труднее, чем протыкать копьем истукана.

Но спорить с истуканом, конечно, гораздо легче, чем с живыми людьми. И вот, диспут Дулумана с истуканом продолжается. Не угодно ли послушать:

“Человек многого не знает, — продолжает религия. — Почему мир устроен так, а не иначе? Когда возникла жизнь?.. Все это объяснить легко, если признать, что существует Бог. Он и является виновником всего...

— Нельзя, опровергает разум, — незнание выдавать за знание. Нельзя из незнания частей невидимого мира выводить заранее и преднамеренно вовсе непознаваемого Бога...” (стр. 19).

Здесь что ни слово, то передержка: прежде всего религия вовсе не исходит из того, что человек не может познать вселенную. Из этой посылки исходит, наоборот, философское направление, враждебное религии, — позитивизм или агностицизм. Христианское богословие заслуживает, скорее, другого упрека: оно иногда слишком категорически утверждает познания различных вещей и явлений. Затем христианская религия самым категорическим образом утверждает возможность познания Бога, поскольку Он раскрывается в мире.

Еще в средние века богословие наметило тот путь, каким человеческое сознание может убедиться в бытии Божием.

Особое значение имеют космологическое и телеологическое доказательства. Эти доказательства полностью сохраняют свою силу и в настоящее время; с той лишь разницей, что наука и жизнь приносят каждый день все новые и новые данные, подтверждающие существование Бога. Скажем прямо: в свете последних научных достижений бытие Божие более очевидно, чем пятьдесят, тридцать и даже двадцать лет назад.

Читатель помнит изумительное выражение Эйнштейна: “Господь Бог интегрирует эмпирически”.

Это странно звучащее определение между тем характеризует отношение Бога к миру. Чем больше человек углубляется в тайны вселенной, тем больше он замечает господствующее во вселенной

интегрирующее (объединяющее) начало. "Лишь те отрицают существование Бога, — пишет под влиянием последних научных открытий известный японский прогрессивный философ Янагида Кэмдзюро, — у кого помутнело зеркало души и не способно отражать ничего, кроме близлежащих предметов. Раскрой шире свою душу, прикоснись к источнику жизни, пронизывающему всю вселенную, и тогда ты непременно познаешь нечто высшее, чем мир материальных веществ"\*.

Когда мы исследуем атом и замечаем, что он представляет собой солнечную систему в миниатюре (с ядром и вращающимися вокруг него электронами)\*\*, когда мы устанавливаем, что сумасшедшая пляска электронов непостижимо образует стройную, законченную, работающую, как часовой механизм, космическую систему, когда мы убеждаемся в том, что единый закон\*\*\* лежит в основе вселенной, — мы ощущаем как бы биение божественного пульса, дыхание Божества в природе. Мир современной физики, квантовой механики, эйнштейновский, атомно-электронный мир — неизмеримо чудеснее того мира, который знали наши предки.

Дулуман, конечно, возразит на это, что весь этот мир материален — и ничего, кроме движущей материи, в нем нет.

Здесь мы можем снова вспомнить наш диалог с господином Журденом. Рифмованная и ритмичная проза — это и есть стихи!

Вечная, не имеющая протяженности материя — это и есть дух. Всемогущая, универсальная, всеохватывающая, всеведущая, творящая, совершенная, не имеющая ни границ, ни протяженности, короче говоря, не имеющая в себе ничего материального материя, если вам так угодно ее называть, царствующая в мире, — это и есть Бог.

Особое значение приобретает в наши дни телеологическое доказательство.

Еще во времена Платона и Аристотеля было замечено, что в мире протекает целенаправленный, последовательно развивающийся процесс. Каждое живое существо уже в то время представлялось звеном в единой грандиозной цепи мирового развития.

---

\* Кэмдзюро, "Эволюция моего мировоззрения, 1957 г., стр. 122—123.

\*\* Модель Резерфорда—Бора хотя и значительно устарела — все же основной ее принцип остается неизменным.

\*\*\* Общая теория относительности Альберта Эйнштейна вскрывает нам контуры этого закона.

Наука нового времени привела бесчисленное количество примеров того, что вселенная неизменно развивается по восходящей линии — от низших ступеней к высшим.

Однако истинным Колумбом нового времени является величайший философ из всех, которых когда-либо имело человечество, — Георг Фридрих Гегель (1770—1831 гг.). Грандиозный, почти сверхчеловеческий ум немецкого философа открыл нам широкую картину развития вселенной. Диалектика — это и есть раскрытие извечных законов целенаправленного, универсального, мирового развития. 125 лет, протекшие со дня смерти Гегеля, можно назвать триумфальным шествием идеи телеологизма во всех науках.

Дулуман говорил, как мы видели выше, что “благочестивые” ученые якобы изгоняют религию из науки. Здесь с гораздо большим правом мы можем сказать совершенно обратное: именно равнодушные к религии или совершенно неверующие ученые сделали больше всего для подтверждения идеи телеологизма.

Подобно тому как из электронного хаоса конструируется стройная космическая система, — из хаотичной борьбы за существование, происходящей в органическом мире, вырисовывается лестница непрерывного телеологического развития. Все выше — от ступени к ступени — все ближе к совершенству, неизменно и неуклонно к цели — к просветлению, одухотворению, утончению, — таков путь природы! Развитие видов и естественный отбор, открытые Дарвином, приводят в конечном итоге к признанию сверхъестественной Воли, лежащей в основе природы. И наконец, XIX век увидел человека, который вскрыл железную закономерность, лежащую в наиболее, казалось бы, хаотичной области — в экономике и в социологии. Таким человеком был Карл Маркс.

Мы отнюдь не собираемся преуменьшать тех огромных различий, которые существуют между марксизмом и религией в области мировоззрения. Мы хотим лишь подчеркнуть, что, вскрывая закономерность и неуклонную последовательность, царящие в экономической и социальной сфере, Маркс тем самым подчеркивает телеологический характер мирового развития. Итак, единая цель, стремясь к которой развивается вселенная, — Единый Разум, руководящий, строящий, направляющий и хранящий Вселенную.

“Я не буду вам говорить ничего такого, что не было бы в катехизисе Лютера”, — говорил Гегель своим берлинским слушателям.

Вся мировая наука в настоящее время сама является великим

Катехизисом, который подготавливает человечество к восприятию религии.

А что делает наш Дулуман? Мы как будто совсем о нем забыли, углубившись в доказательство Бытия Божия, хотя и не исчерпали этих доказательств в тысячной доле.

Наш Дулуман тем временем отдыхает: дело в том, что, показав нам номер с говорящим истуканом, он дал свой последний артиллерийский залп по религии. Разобранными нами положениями, по существу, и ограничиваются возражения Дулумана против основ религиозного мировоззрения. Но Дулуман не просто отдыхает, — он набирается сил для дальнейшей борьбы.

Все, что мы видели до сих пор, было только артиллерийской подготовкой (предоставляем читателю судить, какова сила этой артиллерии). Однако настоящие атаки еще впереди: подлинным "коньком" Дулумана является критика Священного Писания.

Ну что ж, посмотрим, каковы таланты предприимчивого одессита в этой области. Свой труд он начинает прямо со своего коронного номера — с разбора евангельской притчи о горчичном зерне.

Новоявленный антирелигиозный пропагандист рассказывает читателю об одной из своих "лекций" (видимо, это лучшая его лекция, раз он решил именно ее показать как образчик своей "деятельности"). Щегольнув перед колхозниками одного из одесских сел своим "знанием" Евангелия, лектор затем с развязностью, достойной Остапа Бендера, заявляет: "Для верующих Библия, Евангелие — святые книги... Христос, по их убеждению, — всеведущий и всезнающий Бог. Но если бы они поближе познакомились с Христом..., то они легко увидели бы, что сплошь и рядом верующие в непогрешимость Христа оказываются намного умнее своего Бога" (стр. 4). Осчастливив своих слушателей этим потрясающим открытием, Евграф Бендер, то бишь Дулуман, переходит к разбору притчи.

"...в притче о горчичном зерне Он умудряется в одном предложении сделать три грубейшие ошибки. Христос говорит, вы это слышали вчера в церкви: "Зерно горчичное есть меньшее из всех семян на земле, но, когда вырастает, становится деревом, так что прилетают птицы и укрываются в ветвях его". Давайте разберем ошибки Христа. Первая ошибка Иисуса: зерно горчицы не является самым маленьким на земле. Даже зерно мака в несколько раз меньше зерна горчицы. А зерна таких растений, как повелика,

акила, и того меньше. Вторая ошибка Христа: горчица совсем не дерево, а однолетнее растение. Она, как известно здесь всем, сурепка, принадлежит к семейству крестоцветных. И наконец, третья ошибка "Сына Божия": горчица совсем маленькое растение (до 50 см.), и, конечно, укрыться "в ветвях его" никакие птицы не могут. Вот какими нелепостями засоряет сознание верующих так называемое Священное Писание!

— Почему же в евангелиях так много подобных несообразностей? Да только потому, что Иисуса Христа никогда не было. Он вымышленная личность... Много нелепостей в евангелиях встречается еще и потому, что сочинители сказок о Христе — а таковых было очень много — сами были невежественными людьми. Какие сочинители, такие и сочинения!" (стр. 4—5).

Вот — характернейший образчик работы Дулумана. Здесь он высказался весь, целиком и полностью. В самом деле вы взялись разбирать притчу, — прежде всего вы должны вскрыть ее идею и говорить по существу вопроса. Читаем эту притчу, как она изложена в Евангелии: "Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но, когда возрастет, бывает больше всех злаков"... далее, как у Дулумана (Мф. 13, 31—32).

Как видите, здесь Христос говорит о судьбах христианства; Он раскрывает здесь также грядущие судьбы человечества, которому суждено медленно, но неуклонно приближаться к совершенству. Оспаривает ли Дулуман самую мысль Христа? Нет, он даже и не пытается это сделать, видимо, понимая, что подобная попытка совершенно безнадежна. Мало того, он боится даже процитировать целиком всю притчу.

Первую половину притчи он поэтому просто отрезает, опасаясь того впечатления, которое могут произвести на его слушателей эти скупые строки своей огромной внутренней силой и убедительностью: ведь в этих нескольких простых и ясных словах раскрывается весь смысл мировой истории.

Дулуман не оспаривает также и идею развития человечества, которая содержится в этой притче. Не оспаривает, т. к., верно, слышал, что именно из этого места Евангелия Гегель заимствовал свой главный пример диалектического развития; основоположник диалектики возвращается к нему в своей книге "Наука логики" многократно, а закон отрицания отрицания иллюстрируется им

исключительно одним этим примером. От Гегеля этот пример заимствовали все другие диалектики, в том числе Энгельс (см. "Анти-Дюринг", стр. 127, 128, М. 1957 г.), и отсюда этот классический пример попал во все учебники диамата.

Но все это Дулумана не интересует; что ему за дело до мировой истории, — ему нужна горчица. Таким образом, мы имеем в его лице дело как раз с таким критиком, о которых Пушкин говорил: "Суди-ка, брат, не выше сапога!"

Ну, что ж, будем говорить о "сапогах", т. е. о "горчице".

Прежде всего Дулуман цитирует притчу намеренно неточно: после слов "когда вырастет", — он сознательно опускает слова "бывает больше всех злаков", — но что такое злак, как не "однолетнее растение"? Далее, поскольку речь идет о произведении, переведенном с иностранного языка, чтобы судить о нем, надо обратиться к подлиннику. Раскрываем греческий текст Евангелия Матфея.

В гл. 13, стр. 31 сказано просто, без всяких пояснений и прилагательных — кокос.

Что такое "кокос"? Обращаемся к греко-русскому словарю, сост. Вейсманом (С.-Пб., 1899 г.). Здесь на 718 стр. находим: "Кокос — зерно в плодах. Обращаемся к "Новогреческому-русскому словарю, составленному Ионнадис под редакцией Белецкого", М., 1950 г. На стр. 365 находим: "Кокос — 1. зерно, 2. ягода". Обращаемся к только что вышедшему в свет "Древнегреческо-русскому словарю", М., 1958 г. Здесь в томе 1, на стр. 962 находим: "Кокос — косточка (плода), семечко, зерно, 2. чуточка, капля; 3. анат. яичко".

Как видит читатель, в греческом тексте Евангелия от Матфея о "горчице" нет и речи. А ведь, как известно, Евангелие от Матфея написано в ближайшие годы после Христа одним из Его ближайших учеников, и в основе его лежит несомненно еврейский текст\*.

Итак, слово "горчице" внесено сюда переводчиком.

Действительно, в латинском переводе Евангелия от Матфея (т. н. Вульгата) мы находим уже термин "кокос синапис". Отсюда его заимствовали и славянские переводчики (зерно горшное), и русский текст (зерно горчице). Откуда же слово "гор-

\* Это подтвердит Дулуману любой еврей; еврейские интонации и типично еврейский склад речи, специфически еврейские обороты — все это буквально на каждом шагу.

чичное” попало в латинский текст? Видимо, блаженный Иероним — переводчик Евангелия — находился под впечатлением другого места. Дело в том, что пример с зерном встречается в Евангелии несколько раз; в гл. 17, 20, в частности, сказано: “Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда сюда; и она перейдет и ничего не будет невозможного для вас”.

Именно ассоциация с этим местом, вероятно, и заставила блаж. Иеронима или кого-либо из его предшественников вставить в указанном месте слово “горчичное”. Возможно, эта же ассоциация довлекла над евангелистами Марком и Лукой, когда они так же, как впоследствии блаженный Иероним, поставили рядом со словом “кокос” прилагательное “синапис” — горчичное.

Но пойдем, однако, навстречу Дулуману, допустим, что Христос действительно сделал ошибку в ботанике, посчитав горчичное зерно самым маленьким из всех семян на земле. Посмотрим, что из этого следует, то ли, в чем хочет уверить Дулуман? Начнем с конца — с последнего положения, которым Дулуман завершает свою лекцию. “Много нелепостей в евангелиях встречается еще и потому, что сочинители сказок о Христе — а таковых было очень много — сами были невежественными людьми. Какие сочинители, такие и сочинения” (стр. 5).

Великолепно, блестяще, убедительно. Все же нас опять грызет “червячок сомнения”: действительно ли евангелисты были уж такие “невежественные люди”? С любой точки зрения авторы евангелий (кто бы они ни были) были незаурядными и талантливыми людьми. С той же точки зрения, на которой стоит Дулуман, “сочинители сказок о Христе” представляются сами какими-то почти сказочными гениями. Шутка сказать — сложили такую “сказку”, под обаянием которой весь мир находится уже две тысячи лет — и которую все еще опровергает Дулуман — и еще за то деньги получает\*. Кроме того, все это были люди из народа (и с этим Дулуман спорить не будет); следовательно, они знали сельское хозяйство не хуже Дулумана.

Причем их было, по словам Дулумана, не четыре, не пять, не двенадцать, — а “их было много”.

---

\* Интересно, кстати, что будет он делать, если люди и впрямь перестанут верить в Бога; не пойдет же и в самом деле работать в колхоз наш греховодник. То-то счастливый был бы колхоз!

Как же никто из этих по меньшей мере неглупых людей не заметил ошибки? Но предположим, что сами авторы "сказок" не заметили; каким образом не заметили это энциклопедически образованные отцы церкви 3, 4 веков. Впрочем, может быть, и они не знали ботаники? Но вот, что пишет, например, Григорий Богослов. "Несовершенны холмы относительно к горе, зерно горчичное относительно к бобу или к другому какому из больших семян, хотя **само оно** больше многих других семян"\*.

Почему все они оставили притчу "О горчичном зерне" в той редакции, на которую нападает Дулуман? Ответ может быть только один: да именно потому, что они ничего не сочиняли, а передавали слова своего Учителя с такой скрупулезной точностью, что даже сохранили его случайную обмолвку.

Так что если Дулуман действительно прав, то мы должны быть ему благодарны: он привел еще одно доказательство несомненной подлинности евангельских текстов.

Однако каким образом Сам Христос мог сделать подобную ошибку? Но и это вполне понятно: Христос — не кабинетный ученый, который пишет свои статьи, сидя за письменным столом, имея под рукой энциклопедический словарь и всевозможные справочники; Он и не профессор, который по составленному накануне конспекту читает лекцию. Христос — странствующий народный проповедник. После долгого пути приходит Он, сопровождаемый своими учениками, в селение. Он завязывает беседу с несколькими жителями; вокруг собирается толпа — разговорчивые, экспансивные по натуре евреи охотно вступают в беседу, спорят, задают вопросы, — но вот заговорил Он, — простая, ясная, убедительная речь быстро захватывает слушателей, постепенно люди затихают; напряженное и сосредоточенное внимание приходит на смену гортанному, громкому гомону. Так начинается проповедь, которая произносится под открытым небом, перед случайными слушателями, обычно экспромтом. Наглядные примеры, которые приводил во время Своей проповеди Христос, всегда взяты из быта и обычно прямо из окружающей обстановки. Притча о зерне горчичном была произнесена примерно так же: Христос проповедовал в одном из приморских селений; довольно много людей стояло на берегу, а он говорил, стоя в лодке, слегка отчалив от берега.

---

\* "Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского", М., 1844 г., ч. 4. "Послание к пресвитеру Кледонию против Аполлинария — первое", стр. 201—202.

Отсюда, может быть, был виден заброшенный участок поля, буйно заросший кустами горчицы\*. Веточка горчицы, возможно, случайно валялась и в лодке, — так или примерно так могла родиться “притча о горчичном зерне”.

Мы, однако, не ответили на главный аргумент Дулумана: понятно, что Христос, будучи человеком, мог сделать ошибку в определении горчичного зерна. Непонятно, как Он мог сделать такую ошибку, будучи Богом. Рассмотрим и этот аргумент Дулумана: говоря об отношении верующих к Христу, Дулуман заявляет: “Христос, по их убеждению, — всеведущий и всезнающий Бог”. Здесь Дулуман снова совершает обычную для него передержку: согласно Евангелию Христос — это Богочеловек.

Для того чтобы понять отношение к Христу Его последователей, надо прежде всего раскрыть это понятие. Итак, что означает термин “Богочеловек”?

Согласно учению христианской религии Бог не отделен от человечества непроницаемой стеной. Бог — это все во всем; Он и в природе, и вне природы, Он и в человеке, и вне человека. Прекрасному выражению русского священника о. Иоанна Кронштадтского, “мы в Боге как рыба в воде”. Но Бог не только всюду и везде — вокруг нас: по учению Библии, Он также и внутри человека. Совесть, стремление к добру, к красоте — все, выражаясь словами Фейербаха, высшие человеческие потенции являются как бы отражением Бога в мире. Каждый человек имеет поэтому в себе Образ и Подobie Божие, хотя и в искаженном, изуродованном, иной раз почти в неузнаваемом виде. И явился в мире Тот, кому надлежало “падший восставить образ”. Это был второй Адам — основатель нового, возрожденного, обновленного человечества. Таким был Христос.

Мы, христиане, утверждаем, что Он был Богочеловеком, т. к. в нем обитала вся полнота Божества телесно. Как проявилось Божество в личности Назаретского Плотника во время Его земной жизни? Оно проявилось прежде всего в полной безгрешности, праведности и чистоте галлилейского Учителя и в Его ощущении полного единства с Отцом Небесным. Божественная природа Христа проявилась также и в том, что Он оставил миру совершенное, вечное учение, которое является единственным правильным

---

\* В то время в Палестине горчица не культивировалась, следовательно, росла только как сорная трава.

критерием человеческой жизни — во все времена и при любых обстоятельствах; Бог свидетельствовал свое присутствие в Иисусе Назарянине также великими чудесами, которые мог Он творить по вере в Него окружающих людей. Наконец Божественной Силой сделался распятый на Голгофе Преступник Искупителем рода человеческого, Победителем Смерти, восстав просветленным и обновленным Телом в третий день из мертвых и взойдя к Отцу. Поэтому все христиане, обращаясь к Назаретскому Плотнику, вместе с Петром исповедуют: 'Ты, Христос — Сын Бога Живого! — В то же время Христос — человек; и ничто человеческое, кроме греха, ему не чуждо. Он так же, как и все мы, был сначала ребенком, потом юношей, потом зрелым мужем, учился грамоте, читал, проходил через все стадии человеческого развития; страдал от голода, холода, жажды. Он испытывал все человеческие эмоции: плакал над гробом умершего друга, бывал на свадьбах, испытывал чувство страха и смертельной тоски перед тем, как был взят врагами, — и, как и всякий человек на Его месте, Он страдал от невыносимой физической и душевной боли, висел на кресте. После нескольких часов ужасных страданий Он, как и всякий человек, испустил свой последний вздох и умер — Христос никогда не отрицал своей человеческой природы; наоборот, Он всегда называл Себя Сыном Человеческим.

В первые века христианства существовали течения, которые считали Христа только Богом и в разной мере отрицали Его человеческое естество (докеты, монофизиты, учение Аполлинария и т. д.), — но Церковь осудила эти течения и провозгласила на весь мир, что Христос является не только Богом, но и Человеком. И как человек Христос многого не знал: запас Его знаний, вероятно, не превосходил уровня знаний любого еврейского раввина; так, например, из Евангелия не видно, чтобы Христос знал какой-либо язык, кроме своего родного; мы не обнаруживаем, чтоб Он был знаком с эллинской культурой, — апостол Павел, например, был, вероятно, гораздо более образованным человеком, чем Христос, — и все-таки Христос превосходит Павла, как и всех вообще людей, настолько, насколько Монблан превосходит маленький холмик, не знаниями — а нравственной высотой и Божественной, присущей Ему от рождения, Природой! Пусть теперь судит сам читатель — поколебал ли хоть в малейшей степени Дулуман своей смешной придиркой учение Церкви о Христе как о Богочеловеке.

Могут сказать, что учение Церкви о Христе противоречиво —

да, оно противоречиво, потому что, как и все другие догматы, оно не выдуманно Церковью, а взято из жизни и из исторической действительности.

Святые отцы, говоря о соединении естеств во Христе, часто употребляют сравнение с раскаленным докрасна железом, которое соединяет в себе две стихии: металл и огонь. Мы в наши дни могли бы вспомнить о ряде химических соединений, где несколько элементов соединяются, но не сливаются (сернистое железо и др.). И невольно вспоминает здесь каждый, знакомый с диалектикой, великий закон "Взаимопроникновения Противоположностей"; в Личности Христа (как Личности Самого Совершенного из живых существ) этот великий закон, лежащий в основе жизни и человеческой психики, сказался особенно ярко.

Церковная догматика воплощает в себе ту Божественную диалектику, которая отражается в мире. Монофизиты и несториане (христологические ереси первых веков) предлагали упростить жизнь и историю, признав за Христом только божественное или только человеческое естество. Но церковь взяла жизнь такой, какая она есть, и зафиксировала в догмате историческое явление во всей его многогранности и целостности.

Церковная догматика — это диалектика.

Христологические ереси — это метафизика в дурном смысле этого слова. Типичными метафизиками в наихудшем смысле являются и наши антирелигиозники (в том числе и Дулуман), т. к. они упрощают, обедняют, а потому искажают историю и жизнь. Но будем следить дальше за "успехами" Дулумана в области "исследования" Священного Писания. Вот он рассказывает о появлении Христа на свет и отмечает многочисленные противоречия между двумя евангелистами:

"В Евангелии от Матфея рассказывается, что царь Ирод, узнав о рождении Христа, дал приказ "избить всех младенцев в Вифлееме". Иисус, говорится далее, после рождения должен был спастись от угрозы быть убитым бегством в Египет, и только после смерти царя Ирода Его родители и Он вернулись в город Назарет, обойдя десятой дорогой Иерусалим... А вот как рассказывает о младенчестве Иисуса Евангелие от Луки. Согласно этому Евангелию, никакого гонения на Христа не было, не произошло и избиения младенцев. Иисус якобы преспокойно жил в Вифлееме, ибо его Мать исполнила все по закону Моисееву: сорок дней после родов не выходила за пределы дома.

Более того, Лука утверждает, что на сороковой день жизни Христа принесли в Иерусалимский храм, где Его встречали и прославляли многие почтенные люди. А Иерусалимский храм ведь был рядом с палатами иудейского царя, который, как повествует Матфей, искал случая убить Иисуса. Из Иерусалима, продолжает Лука, семья Христа отправилась прямо в Назарет” (стр. 21) .

А теперь мы попросим читателя забыть пока о Дулумане с его книжкой — мы хотим рассказать историю, происшедшую всего несколько месяцев назад.

В мае 1958 года у молодоженов, проживавших в Загорске (около 70 км от Москвы), произошло несчастье: сгорел дом. Молодому человеку вместе с женой, находящейся на последнем месяце беременности, пришлось экстренно перебраться в Перово (10 км от Москвы) к родственникам жены, — здесь молодая женщина благополучно родила сына. Через десять дней, когда она оправилась от родов, супруги переехали в Коломну (100 км от Москвы), т. к. в Перово были плохие жилищные условия. Через месяц супруги поехали опять в Загорск, чтобы навестить своих знакомых, а также взять уцелевшие от пожара вещи. Они взяли с собой и ребенка. Проезжая через Москву, по случаю сорокового дня рождения младенца, молодая мать зашла в Богоявленский Елоховский Собор и исполнила религиозный обряд, взяла “молитву”. Затем после двухдневного пребывания в Загорске они вернулись в Коломну, где и обосновались на постоянное жительство. Скажите, читатель, что-нибудь есть невозможное в нашем рассказе? Думаем, что нет.

Но ведь совершенно о том же самом рассказывается в евангелиях; следует только изменить географические названия. Пара новобрачных евреев по случаю переписи поехала из Назарета — 75 км от Иерусалима — в Вифлеем (10 км). Здесь Мать родила Младенца. Затем ввиду избиения детей им пришлось экстренно поехать в Египет — около 100 км от Иерусалима. Через месяц, когда Мать оправилась от родов, семья решила съездить в Назарет; по дороге, находясь проездом в Иерусалиме, Мать зашла в Иерусалимский храм и совершила там “обряд очищения”. Затем, побывав в Назарете, священное семейство вернулось в Египет, где затем прожило в течение двух лет. Вот и все. Где вы, Дулуман, нашли здесь особые противоречия? Если исследователи и находили здесь противоречия, то все это происходило потому,

что они не учитывали близости расстояния между всеми названными здесь географическими пунктами; не надо к тому же забывать, что Палестина и Египет не были тогда разными государствами, а лишь различными областями одной и той же Римской империи.

Еще более надуманными являются и другие замечания Дулумана в цитированном выше отрывке. Прежде всего нигде из Евангелия не видно, что молодая Мать "сорок дней после родов не выходила за пределы дома", т. к. закон Моисеев вовсе не запрещает в случае необходимости менять матери в течение сорока дней место жительства. Совершенно неверно, что Младенцу Иисусу в Иерусалиме угрожала какая-либо опасность. Дело обстояло так: тиран Ирод, напуганный предсказаниями астрологов, приказал перебить всех детей в Вифлееме; факт, конечно, ужасный, но вполне в духе восточного деспотизма — ничего особенно необычного в этом не видели ни сам Ирод, ни привыкшие ко всему иудеи. В Евангелии вовсе не сказано, что он при этом приказывал производить какие-то розыски в Вифлееме или в каком-либо другом месте. Тем более никому не пришло бы в голову интересоваться в Иерусалиме двумя пилигримами и их ребенком; ведь такие пилигримы проходили через Иерусалим тысячами. Собственно говоря, Иосиф мог бы со своей Семьей вполне спокойно поселиться и в Назарете, и даже в самом Иерусалиме. Но психологический шок, испытанный им в Вифлееме, был слишком силен, да и к тому же он имел все основания бояться за жизнь Младенца, живя под скипетром такого царя. Ведь если вчера было избиение младенцев в Вифлееме, так завтра может быть такое избиение и в Назарете, и в самом Иерусалиме. Поэтому Иосиф (особенно после посетившего его сна) предпочитал до смерти Ирода жить в Египте. Словом, будем считать, что Дулуман в своих кознях против младенческих лет Христа оказался не более счастлив, чем Ирод в своей попытке убить Божественного Младенца.

Далее наш антирелигиозник осчастливил своих читателей несколькими шаблонными замечаниями о якобы имеющихся "противоречиях" в евангелиях; о том, что это за "противоречия", читатель может судить хотя бы по тому, что главный "козырь" Дулумана — это разногласия евангелистов о том, в каком часу был распят Христос — в 3 или в 6 часу\*.

\* Кстати, и здесь наш "кандидат" умудрился обнаружить свое невежество: "евангелист Иоанн утверждает, что даже в 6 часов вечера все еще продол-

Так как все это уже давно набило оскомину и сотни раз опровергалось, то мы не будем здесь задерживаться; укажем только, что все эти мелкие неточности, которые действительно порою встречаются в Евангелии, лучше всего свидетельствуют о их полноте. Человеческая память — несовершенный инструмент, а всякое восприятие событий всегда имеет некоторые субъективные оттенки, поэтому никогда не может быть двух правдивых свидетелей, которые давали бы совершенно одинаковые показания\*, — и еще никогда не было двух мемуаристов, рассказывающих о событиях совершенно одинаково.

Перейдем теперь к открытию, часть которого принадлежит самому Дулуману. На стр. 23 он действительно сообщает совершенно сенсационную новость.

“Вот смотрите, евангелист Матфей говорит, что хорошо известные христианам заповеди блаженств произнесены Христом на горе. Отсюда заповеди называются Нагорной проповедью. В евангелии от Луки также приводятся эти заповеди. Но Лука утверждает, что Христос произносил их не на горе, а на ровном месте”.

Открытие действительно потрясающее: оказывается, наш философ, в довершение ко всему, не знает русского языка. Ну что ж, поможем ему восполнить те пробелы, которые у него имеются.

Дадим ему “Словарь современного русского литературного языка”, М., 1954 год, том 3. Здесь на стр. 262 он может прочесть следующее объяснение слова “гора”:

“Гора — значительная возвышенность, выдающаяся среди окружающей местности или в цепи других возвышенностей”. Слышите, Дулуман: горой называется возвышенное место; почему вы решили, что оно должно быть обязательно неровным? Или, может быть, Московский университет, воздвигнутый на Ленинских горах, тоже стоит, по-вашему, не на ровном месте?\*

Правда, на горе не все места ровные: там много уступов, обрывов. Поэтому люди, которым необходимо взобраться на гору,

---

жался спор — распять Христа или отпустить его”, — пишет он на стр. 22. На самом деле, по еврейскому счету времени, — 6-й час равен 12 часам дня. И чему вас только учили в Академии, “мрачный философ”?

\* В судебной практике полная идентичность показаний нескольких свидетелей является веской уликой против них, т. к. дает возможность подозревать их в предварительном сговоре.

\*\* Этот пример мы заимствовали у одного крупного московского антирелигиозника — профессора МГУ.

чтоб совершить какое-нибудь дело, прежде всего ищут ровного места.

Вот, например, как поступили Печорин и Грушницкий в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени", когда они решили драться на дуэли в скалах.

"У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку (т. е. на ровное место), где ожидал нас Грушницкий... Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы... Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка (т. е. ровное место, плоскогорье) была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка... Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник"\*.

Что должен был сделать Христос, когда решил произнести Нагорную проповедь перед огромным множеством людей? Он должен был прежде всего найти для Себя в горах площадку — ровное место (плоскогорье), с которого Он мог бы, как с трибуны, обращаться к окружающему народу. Так Он и сделал. Вот почему евангелист Лука особенно отмечает это обстоятельство. Если бы речь шла не о горе, так подобное упоминание не имело бы никакого смысла (на улице, в поле — все места ровные, а в горах не все). Впрочем, если у читателя остается еще какая-либо тень сомнения, мы можем предложить прочесть евангельский текст (св. Луки — 12, 13, 17), в котором ясно и недвусмысленно сказано: "В те дни **прошел Он на гору** помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих... И сошедши с ними, стал Он на ровном месте и множество учеников Его" (заметьте, — не сошедши с горы, а сошедши на ровное место, т. е. на такую точно площадку, с какой речь шла у Лермонтова).

Во всяком случае, Дулуману на этот раз нельзя отказать в оригинальности, из всей критики Священного Писания "критика" Дулумана является самой курьезной. Как рассказывает Дулуман, еще до его разрыва с церковью ректор Семинарии указал ему на нелепость его "критических замечаний", сами антирелигиозники потешаются над его "открытиями", — только "Молодая гвардия", очарованная громким званием "бывший кандидат богословия", считает своим долгом напечатать всякий вздор, какой только придет в голову "мрачному философу". Товарищи редакторы, нельзя же так благоговеть перед Духовными Академиями, иной

---

\* М. Ю. Лермонтов, "Полное собрание сочинений", т. 5. Проза, письма, М.—Л., 1937 г., стр. 299, 301, 302.

раз и им случается выпускать малосведущих (мягко выражаясь) людей.

Покончив с евангелиями, Дулуман делает маленький экскурс в Ветхий Завет, чтоб затем снова приняться за новозаветные книги.

Ну что ж, посмотрим, насколько удачлив он в критике Ветхого Завета.

“А сколько небылиц в Библии! — начинает со своим обычным апломбом незадачливый, но самоуверенный “критик”. — Разве может здравый смысл, не издеваясь над самим собой, считать за правду побасенки Библии. Так, в книге “Бытие” Библия старается убедить верующего, что некий царь был поражен красотой Сарры и хотел сожительствовать с ней. (Обратите внимание на стиль: “старается убедить” — почему, собственно, так важно для Библии убедить верующего именно в этом, а не в чем-либо другом?) Можно было бы поверить такому рассказу, если бы раньше в той же Библии не говорилось, что Сарре 90 лет?!” (стр. 20).

Все это может показаться убедительным неискушенному читателю, который не знает истории возникновения Ветхого Завета. Дадим поэтому некоторые пояснения. Первые пять книг Ветхого Завета (в том числе и книга “Бытие”) составлены величайшим еврейским Пророком Моисеем.

Моисей тщательно проверил все дошедшие до него предания о прошлом своего народа и всего человечества и скомпоновал их в единое стройное целое. Так получилась книга “Бытие”. При этом Пророк отнюдь не придерживался строго хронологического принципа; в основе книги Бытия лежит принцип нравоучительный; поэтому в Первой Книге Моисеевой часто встречаются возвращения к уже рассказанному, повторения и параллельные места (различные варианты одного и того же текста). Глава 20, в которой действительно имеется эпизод, на который ссылается Дулуман, является одним из таких отступлений от хронологического принципа. В этом легко убедиться, если внимательно читать книгу. В главе 18 повествуется о том, как Авраам у дубравы Мамре принимал трех таинственных странников, которые предсказали ему рождение сына от девяностолетней Сарры. Это факт, конечно, необычный, чудесный, но в то же время отнюдь не невероятный, если учесть, что у пастушеских народов физиологическая старость наступает очень поздно и 90 лет там обычно равняется 50-и\*.

\* Среди кавказских горцев и до сих пор можно встретить столетних стариков, которые живут интенсивной половой жизнью и сохраняют способность к деторождению.

Логическим продолжением 18-й главы является глава 21-я, в которой рассказывается о рождении Исаака. Однако между этими двумя главами помещены еще две главы — глава 19, в которой рассказывается о содомской катастрофе, и глава 20, в которой имеется эпизод с царем Авимелехом, — эпизод, на который ссылается Дулуман. Эта глава возвращает нас к молодым годам Авраама и Сарры и помещается здесь для того, чтобы дать понятие о Сарре, о ее происхождении и о ее взаимоотношениях с Авраамом. Это необходимо сделать именно тут, потому что с этого момента Сарра, родив Исаака, становится прародительницей того племени, из которого вышел еврейский народ.

Этот самый прием — возвращение к прошлому героя — очень часто употребляется и в светской литературе (напр., в *“Илиаде”* и в *“Одиссее”* Гомера — в новейшее время в романе Тургенева *“Рудин”*, в мемуарах Герцена *“Былое и думы”* и т. д.).

Таким образом, дебют Дулумана в ветхозаветную историю также оказался не слишком удачным.

Прощаясь с Ветхим Заветом, раздосадованный своей беспомощностью, Дулуман рассерженно хлопает дверью:

“В Библии есть много таких мест, — раздраженный рывок двери на себя, — о которых сами церковники предпочитают умалчивать. Благодаря достижениям науки, всегда развивающейся в борьбе с религией, — дверь оглушительно хлопает, — сейчас сам Папа Римский публично отрещивается от таких библейских сказок, как сотворение мира за 6 дней, — не верит в то, что когда-то по молитве Иисуса Навина остановилось солнце на один день и т. п.”.

Очень крикливо и опять неубедительно. Во-первых, Римский Папа не только не “отрещивается от библейских сказок”, — а наоборот, заключение Библейской Комиссии Ватикана 30-х годов настоятельно требует, чтобы все библейские сказания понимались строго в духе толкования отцов церкви.

Правда, Римский Первосвященник\* в последних своих выступлениях указывал на то, что Библия написана неисторическим методом — и что поэтому в ветхозаветных книгах возможна некоторая гиперболизация. Эта мысль, однако, тоже не новая: она многократно встречается у святых отцов еще в те времена, когда никаких “успехов науки” (как их понимает Дулуман) еще и в

---

\* Ныне покойный Папа Пий XII. (Умер 9.X.1958 г.)

помине не было: в частности, еще Кирилл Александрийский (V в.) толковал аллегорически первые страницы Библии. Можно упомянуть также о св. Амвросии Медиолинском, блаж. Августине и многих других отцах и учителях Восточной и Западной церкви. Издавна богословие понимало также шесть дней творения мира, как шесть космических эпох и т. д.

Следует также подчеркнуть, что все это относится лишь к ветхозаветным книгам, которые для христиан являются преддверием к полной, совершенной Истине, открывшейся человечеству в Новом Завете.

Между тем, совершив свою блистательную экспедицию в Ветхий Завет, Дулуман возвращается опять к Новому.

“Еще во время пребывания в Одесской духовной семинарии я натолкнулся на такое: в главе 9 книги “Деяния святых апостолов” пишется о чудесном явлении Христа апостолу Павлу. Начитавшись Библии, человек ничего поразительного в этом “чуде” не видит. — Чудо как чудо, — думал я. Но настоящим “чудом” для меня был рассказ в этой же 9-й главе о том, как шедшие с Павлом слышали голос, но никого не видели, и повествование в 22-й главе о том, как сам апостол Павел повторяет, что шедшие с ним видели чудо, но голоса не слышали” (стр. 22) .

Открываем “Деяния” на главе 9.

Здесь рассказывается о внезапном обращении гонителя христиан Савла (будущего апостола Павла) в христианство.

“Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его Свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты гонишь меня?

Он сказал: Кто ты, Господи? Господь же сказал: я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать” (“Деяния” 9, 1—6) . Итак, здесь рассказывается о том, как по пути в Дамаск посланец Первосвященника Савл пал на землю как громом пораженный и начал говорить с невидимым собеседником. Как реагировали на это лица, сопровождавшие Павла? Об этом говорится в следующем стихе: “Люди же,

шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя" ("Деяния" 9, 7). Слыша чей голос? Кого не видя? Конечно, слыша голос Павла и не видя его Собеседника. В полном соответствии с этим сам Павел рассказывает: "Бывшие же со мною... пришли в страх; но голоса, говорившего мне, не слышали" ("Деяния", гл. 22, 9). Никто из сопровождавших Павла лиц и не мог слышать никакого другого голоса, кроме голоса Павла, т. к. в противном случае шла бы речь о явлении Христа целой группе людей, между тем говорится о мистическом видении Павла — и одного только Павла. Все остальные лица, присутствовавшие при этом, сочтя Павла внезапно заболевшим, отвели его под руки в Дамаск (и м. б., никто из них не стал христианином) .

Можно, конечно, себе представить, что бестолковый паренек из одесской семинарии мог не понять даже и такое простое и ясное место, — но возникает вопрос: почему все эти семинарские "сомнения" надо печатать?

И наконец, новоявленный "экзегет" обращается к последней новозаветной книге — к книге "Апокалипсис".

"На уроках Священного Писания в духовной академии нам толковали "Апокалипсис" или "Откровение Иоанна Богослова". По внушению церковников, эта книга предсказывает судьбы будущего, вплоть до "конца мира", "страшного суда". (Т. е. по смыслу этой фразы выходит, что "церковники" внушали что-то книге и книга восприняла эти внушения. Самое интересное, что знаменитый стилист, по его словам, преподавал одно время русский язык в семинарии: грамотеями же, верно, были его ученики.) Мы разбирали вопрос об антихристе, который якобы явится перед самым "страшным судом". В "Апокалипсисе" описываются признаки этого антихриста и даже указывается его имя под шифром числа 666.

Как раз в это время я читал статьи Энгельса "К истории раннего христианства" и "Книги откровения". В них ясно и убедительно доказано, что под антихристом писавший "Апокалипсис" подразумевает римского императора Нерона. А Нерон умер в 68 году нашей эры. Узнал я у Энгельса и то, что "Откровение Иоанна Богослова" было написано после смерти Нерона, как и после других "предсказываемых" событий. Следовательно, "предсказывания" Иоанна Богослова обращены не в будущее, а в прошлое. А таким предсказаниям грош цена" (стр. 17) .

Ну что ж, поговорим об "Апокалипсисе". Прежде всего ни смерти Нерона, ни других событий, связанных с эпохой Нерона, в "Апокалипсисе" не предсказывается, — самое имя Нерона так же, как слово "Рим", в "Апокалипсисе" ни разу даже не упоминается. "Апокалипсис" — это не история, а философия истории. Это означает, что "Откровение" святого Иоанна предсказывает общий ход истории ("устанавливает общую тенденцию мировой истории", говоря современным языком), формулирует цель, к которой идет человечество, и в этом смысле действительно раскрывает "судьбы мира" (кстати, по-русски не говорят "судьбы будущего"; Дулуман и его редакторы явно не в ладу с грамматикой). В чем состоит историческая концепция "Апокалипсиса"? Согласно "Откровению", в мире происходит борьба двух начал — добра и зла, "агнца" и "зверя", начала Божественного и начала сатанинского. Борьба с течением времени делается все более и более интенсивной, принимает все более и более острые формы. Борьба ведется с переменным успехом: вся история — это чередующиеся триумфы то одного, то другого начала. Порой побеждает "зверь", — и тогда наступает эпоха духовного одичания, всеобщего нравственного развращения и страшных бедствий.

Однако в тот момент, когда торжество Зверя кажется уже полным и окончательным, снова побеждает Агнец. К концу истории человечества — эта борьба двух начал принимает невероятно грозный характер: начало зла одерживает самую большую победу и празднует самый великий из своих триумфов. Но жив Божественный Агнец, — и в последний момент Он убивает зверя "дыханием уст своих". И после этого "Небесный Иерусалим" сходит с неба на землю — наступает эра Преображенного космоса, — братства, любви, духовного просветления и счастья.

Таково откровение последней библейской книги о судьбах мира.

Картина мировой истории, которая нарисована в "Апокалипсисе", поистине грандиозна; две тысячи лет, прошедшие со времени написания этой книги, полностью оправдали ее предвидения. Ошибочным было бы, однако, искать в "Апокалипсисе" предсказаний в отношении тех или иных конкретных событий или деятелей. Подобные попытки отдельными лицами (как, например, Ньютоном и многими другими) предпринимались не раз, однако Православная Церковь всегда эти попытки отвергала как необоснованные и еретические, так как они противоречат

словам Христа: "Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти" ("Деяния" 1, 7).

Пусть читатель судит сам после этого — чего стоит рацея Дулумана об "Апокалипсисе". Он упоминает здесь также о статье Энгельса "К истории раннего христианства"; статья очень интересная и талантливая; нам к ней придется вернуться. Что же в этой статье говорится, собственно, об "Апокалипсисе"? Энгельс выдвигает очень остроумную гипотезу, при помощи которой он пытается определить год написания последней библейской книги. Автор статьи "К истории раннего христианства" исходит при этом из следующего места в "Апокалипсисе". "И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и, когда придет, недолго ему быть" (Ап. 17, 10). Исходя из этого, Энгельс полагает, что "Апокалипсис" написан в царствование Гальбы — шестого римского императора. Август — первый, Тиберий — второй, Калигула — третий, Клавдий — четвертый, Нерон — пятый, Гальба — шестой, а так как царствование Гальбы длилось всего полгода (июнь 68 г. — январь 69 г.), то время написания "Апокалипсиса" падает на вторую половину 69 года\*.

В другом месте, расшифровывая число "666" как имя "Нерон" в еврейской транскрипции, Энгельс считает, что в главе 13 (ст. 18) подразумевается Нерон-самозванец, выдавший себя за якобы спасшегося Нерона и поднявший восстание против Гальбы\*\*. Гипотеза Энгельса, конечно, очень остроумна; беда только в том, что она основывается всего лишь на одном месте, которое можно легко переистолковать и в совершенно другом смысле.

Так, например, выражение "пять пали, один есть" можно расшифровать так: шесть монархий: 1) Вавилон, 2) Ассирия, 3) снова Вавилон (Халдея), 4) Персия, 5) Империя Александра Македонского, 6) Рим — "пять пали, один (Рим) есть".

Или же здесь можно подразумевать угнетателей еврейского народа: 1) Египет, 2) Вавилон, 3) Ассирия, 4) снова Вавилон (Халдея), 5) Персы, 6) Рим — "пять пали, один (Рим) есть".

Стоит только принять одно из этих толкований, и от гипотезы Энгельса сразу буквально ничего не останется. Предположим,

---

\* Маркс и Энгельс, "Сочинения", т. 16, ч. 2. Статья "К истории раннего христианства", стр. 426. Партиздат ЦК ВКП (б), 1936 г.

\*\* Там же, стр. 427.

однако, что эта гипотеза верна (кстати, и сам Энгельс не претендует ни на что большее, кроме как на гипотезу).

Что, собственно, следует из гипотезы Энгельса?

Только то, что книга "Апокалипсиса" написана в 68-м году. И больше ничего. Чтобы найти в этом что-то потрясающее и сенсационное, надо быть по меньшей мере Дулуманом. А как быть с Антихристом? Действительно ли под ним подразумевается Нерон? Именем "666" прежде всего называется в "Апокалипсисе" вовсе не Антихрист, а "зверь, выходящий из земли" (13, 11–18). Его, конечно, можно называть и антихристом, поскольку он является олицетворением зла и обмана; можно, конечно, назвать его и вторым Нероном (вроде, как, например, Гитлера в 1941 г. называли вторым Чингис-ханом); однако отождествление этого "второго зверя" с историческим Нероном было бы крайней вульгаризацией\* — здесь речь идет о гораздо более широких обобщениях и глубоких понятиях, чем отдельные исторические деятели, кем бы они ни были.

Мы рассмотрели все возражения Дулумана против Священного Писания; никаких сенсационных разоблачений мы так и не увидели, а увидели лишь жалкие и беспомощные потуги карлика, сидящего сдвинуть с места гранитное здание.

Увы! Все осталось на своих местах: Библия осталась Библией, а Дулуман остался ... Дулуманом.

И вот незадачливый "ниспровергатель" христианства, видя полный крах своих попыток, прибегает уже к заведомой лжи.

На стр. 24–25 он пишет:

"Несколько лет назад ученые нашли древние (II–III века) списки евангелий и опубликовали их. Публикация убедительно доказывает, что рассказы первоначальных евангелий отличаются от современных и очень близко стоят к мифам других религий. Конечно, это научное открытие пришлось апологетам христианства не по вкусу. Ведь по их учению Библия, Евангелие написаны по наитию от самого Бога, и, само собой разумеется, в этих книгах должно таиться истинное учение ("не таиться", а раскрываться; учитесь русскому языку, Дулуман); оно не может изменяться, оно носит печать вечной, неизблемой истины".

---

\* Такой же крайней вульгаризацией, как, например, попытки некоторых литературоведов 20-х годов видеть в "Медном всаднике" изображение декабристского восстания—Евгений—декабристы; Петр—Николай 1, наводнение—восстание.

Здесь все ложь от первого слова до последнего. Действительно, несколько лет назад были найдены древние списки евангелий, относящиеся к началу II века. Однако ничем существенным от того Евангелия, которое мы имеем в настоящее время, они не отличаются. В них имеется всего 2—3 эпизода, которые были впоследствии выпущены. Однако ничего, хотя бы в самой отдаленной степени напоминающего "мифы других религий" в этих евангелиях нет.

Так, например, в одном из древних списков Евангелия от Марка рассказывается, что однажды один человек пристал к группе прокаженных, был для них чем-то вроде поводыря и посредника при сношении с внешним миром и поэтому питался вместе с прокаженными (любопытная бытовая деталь, характеризующая страшное обнищание Иудеи, в которой было огромное количество деклассированных, выброшенных за борт людей). Далее в Евангелии рассказывается, что злополучный поводырь в конце концов заболел проказой и прибег к Христу с мольбой об исцелении, — и Христос его исцелил. Этот рассказ как две капли воды похож на другие случаи исцеления Христом прокаженных и абсолютно ничего нового в наше представление о Христе не вносит.

Остальные разночтения с существующим текстом еще менее существенны: просто несколько добавочных фраз в повести о Воскресении Христовом и в других евангельских рассказах — и больше ничего.

Но уже совершенно сногсшибательной наглостью (при всем желании говорить вежливо — другого выражения не подберешь) является фраза: "Конечно, это научное открытие пришлось апологетам христианства не по вкусу".

Но ведь как раз наоборот; все христиане торжествовали нахождение древних текстов Евангелия как величайший триумф христианства, — а если кому и пришлось не по вкусу это научное открытие — так только сторонникам "мифической теории", которую после этих находок ни один серьезный исследователь уже не отстаивает.

Ведь главным аргументом людей, разделявших теорию "мифического происхождения" христианства, было то обстоятельство, что дошедшие до нас списки евангелий относятся к III—IV векам.

"Ну что ж, за 300—400 лет мало ли что, мол, можно выдумать!" Но вот перед нами рукописи, составленные на рубеже I и II веков

христианства. От тех событий, которые описываются в евангелиях, эти списки отделены всего 70–80 годами, т. е. примерно таким же количеством времени, которое нас отделяет от смерти Тургенева и Достоевского, А. Н. Островского и Салтыкова-Щедрина, Маркса и Энгельса. В то время, когда переписчики описывали этот текст, еще были живы близкие родственники тех людей, которые являются главными виновниками смерти Христа: внуки и, может быть, дети Понтия Пилата и Ирода, Анны и Каифы. О том, что все эти лица являются реально существующими людьми, никто не спорит и спорить не будет, — и вот, при жизни их детей и внуков имеет широкое хождение книга, в которой их отцы и деды играют такую позорную роль — и они молчат и ни одним словом не протестуют против тех страшных обвинений, которые выдвигаются против их родителей.

Далее в это время должны были быть в живых непосредственные потомки апостолов, которые все, кроме Иоанна Богослова, были женатыми людьми — их дети и внуки; должны были сохраниться еще родственники Самого Христа. Мыслимое ли дело, чтоб христиане, которые дорожили памятью своего Учителя, их бы не разыскивали, с ними бы не говорили. Наконец, в евангелиях называется родной город Спасителя Назарет, — что, если бы в этом городке, где все люди наперечет, никто не помнил семью Христа, жившую здесь всего несколько десятков лет назад, — остался ли бы после этого хоть один человек в христианской общине?! Вот почему, — повторяем, ни один серьезный и беспристрастный человек уже не пытается оспаривать историчность личности Иисуса Христа, — и даже такой неверующий исследователь, как англичанин Родбертсон, в своей недавно переведенной у нас книге "Происхождение христианства" не решается ее отрицать.

И совершенно замечательной является последняя фраза Дулумана. "Ведь по их учению Библия, Евангелие написаны по наитию, идущему от Самого Бога, и, само собой разумеется, в этих книгах должно таиться истинное учение; оно не может изменяться, оно носит печать вечной, неизблемой истины".

Но где, когда, в каких списках, — скажите, Дулуман, — изменялось евангельское учение? Или разве есть хоть малейшее разногласие между евангелистами в формулировке учения? Все разногласия между ними сводятся лишь к самым мелким, не имеющим никакого ни принципиального, ни исторического значения подроб-

ностям (в котором часу был распят Христос, что говорили распятые с Ним разбойники и т. д.) .

Все эти ошибки объясняются вполне естественными свойствами человеческой памяти и внимания, а Учение остается неизменным, живительным и таким же молодым, как если бы Евангелие было написано только вчера — и поэтому мы можем лишь повторить Ваши слова: “Оно носит на себе печать вечной, незыблемой истины”.

После того как мы проанализировали все аргументы Дулумана, направленные против религии и Священного Писания, вряд ли читатель очень удивится, когда узнает, что наш пропагандист предпочитает читать свои лекции двенадцатилетним детям, а не взрослым людям (стр. 7) . Еще бы — ведь дети всему поверят.

Но мы надеемся, что нашему читателю не двенадцать лет и он сумел дать должную оценку “аргументам” Дулумана.

Нам осталось сделать сравнительно немного — посмотреть, как “бывший кандидат” пытается скомпрометировать русскую церковь и духовенство.

Для этого Дулуман пользуется своими обычными приемами. Прежде всего он ставит знак равенства между церковью и самыми далекими от нее явлениями. Гадалки, спиритические сеансы, кликуши и церковь — все это валится им в одну кучу. От этого его книжка превращается в какой-то сплошной сумбур, в котором ничего нельзя разобрать. Но именно этого и добивается Дулуман: он ставит себе целью во что бы то ни стало “навести тень на ясный день” и устроить в головах своих читателей такую “тьму египетскую”, в которой все кошки были бы серы — и было бы совершенно невозможно отличить правду от самой беспардонной лжи.

Гадалки произвели на него “комическое впечатление” — в этом виновата церковь; какой-то дурковатый паренек (приятель Дулумана) устраивал что-то вроде спиритического сеанса — виновата церковь; какая-то полусумасшедшая истеричка выкрикивала в Троице-Сергиевой Лавре — виновата церковь; при Петре I какие-то обманщики заставляли “плакать иконы” — виновата церковь.

Правда, Церковь всегда боролась всеми имеющимися у нее средствами против ворожбы и гадания, правда, Церковь категорически осуждала спиритизм, правда, из того факта, что в Петербурге при Петре I “плакали иконы”, ровно ничего не следует, кроме того, что и в те времена были фокусники и артисты и находились наивные простаки, которые им верили. Но что за дело до всего

этого Дулуману; он не был бы Дулуманом, если бы хоть сколько-нибудь считался с фактами.

“...современные церковники, — пишет он на стр. 18, — твердят о благочестивом обмане, то есть сознательном обмане ради укрепления веры в Бога. Много таких благочестивых обманов распространяется и теперь там, где верующие не разбираются в законах природы и общества”. Где, когда, кто из церковных людей оправдывал какой-либо обман? Где, конкретно, обманы распространяются и в чем они выражаются. Тщетно было бы искать ответа на эти вопросы в “труде” Дулумана. Таких ответов вы не найдете по той простой причине, что все эти утверждения являются сплошной выдумкой. Правда, в церковной среде попадаются некоторые суеверные люди, но смешно винить за это церковь, — тем более что суеверные люди попадают во всякой среде. Известно, например, что А. С. Пушкин был очень суеверным человеком; приходил в отчаяние, случайно рассыпав соль на скатерть, отплеывался при встрече со священником на улице — и, задумав бежать из ссылки в селе Михайловском, тотчас вернулся, когда дорогу перебежал заяц. Можно ли на этом основании сказать, что поэзия развивается в человеке суеверия? По Дулуману выходит, что можно. Во всяком случае, с таким же правом и таким же основанием он делает религию ответственной за некоторые суеверия, которые бытуют в народе. К каким суевериям относится, между прочим, старинное поверье о том, что святая вода, освящаемая в канун Богоявления, не портится. Это поверье действительно разделяется довольно большим кругом верующих людей в России. Проповедовала ли, однако, когда-нибудь подобное учение Церковь?

Православная церковь не только не знает догмата о нетлении богоявленской воды, но никто, никогда из духовных лиц подобного мнения с церковной кафедры не высказывал. Мало того, в таком авторитетном церковном документе, как “Известие учительное для священнослужителей”, которое печатается всегда в конце православных служебников, имеется указание, как надо поступать со Святыми Дарами, если они испортятся; тогда как Дары являются для христианина гораздо большей святыней, чем богоявленская вода. Все эти аргументы Дулумана рассчитаны, таким образом, на крайне невежественного во всем, что касается религии, человека (увы, таких имеется немало), который совершенно не знает, что такое Церковь.

Далее Дулуман хочет огульно представить всех верующих как трусов и глупцов:

“Современный верующий во всем сомневается, колеблется. Шаткость его убеждений прекрасно знают церковники. Профессор Московской духовной академии в своей лекции об облике советских верующих справедливо говорил: “Когда советский верующий заходит в церковь или на молитвенное собрание, то он молится приблизительно так:

“Боже! — если ты есть. Спаси мою душу — если она есть!”

Летом 1955 года я проводил беседу на току села Ново-Павловки Фрунзенского района Одесской области. Пожилая колхозница чистосердечно призналась:

— Я ж на небо не лазила, Бога не бачила. Может, Бог есть, а может, його й нема...

Вот к чему сводятся убеждения современного верующего. А если верующий ходит в церковь, исполняет религиозные обряды, так в этом частенько сказывается его чисто хозяйское отношение к Богу. И молится он не из-за убеждений, а так — на всякий случай, для “профилактики”. “А вдруг Бог есть!” — думает такой верующий...”

Что среди верующих есть подобные люди — это совершенно верно, — непонятно только, почему Дулуман говорит только о нашем времени. Такие верующие были всегда и везде и даже в первые века христианства. И это к ним относятся следующие слова “Апокалипсиса”:

“Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч; Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих” (Апок. 3, 15—16). Однако не на этих людях держалась церковь — она держалась на горячо верующих, живых и действенных своих членах, готовых умереть за Своего Божественного Учителя. Такие люди и сейчас имеются в немалом количестве в церкви, — а если бы их не было, то уж давно не было бы и церкви, — и вам, Дулуман, не с кем было бы бороться.

Следует также отметить, что Церковь в этом случае не составляет особого исключения; во всяком широком движении всегда имеется некоторое и даже значительное количество теплохладных, неустойчивых, шатких людей, — и было бы очень странно, если бы таких людей не было в церкви. В современной русской церкви таких людей значительно меньше, чем их было в ней в дореволюционное время.

Послушаем Дулумана еще:

“Наша жизнь решительно отбросила большинство религиозных положений. Нельзя же советского человека, разбившего кровавый фашизм, поучать словами Христа: “Ударят тебя по правой щеке, подставь левую”, “Терпите”, “Побеждайте зло добром”, “Не противьтесь злему” и т. д.

Евангельские советы в свете современной жизни, науки, достижений техники обнаруживают всю свою несостоятельность. Приведу пример. Студенты четвертого курса Одесского политехнического института узнали, что их однокашник Дердиенко — ревностный баптист. Товарищи пытались помочь ему разобраться в своих убеждениях. Во время беседы ему был задан такой вопрос:

“А что бы ты сделал, если бы на девушку, которую ты любишь, с которой сейчас встречаешься, напали хулиганы и начали издеваться над ней. Вступил бы ты в драку, чтобы защитить ее?”

Если бы он ответил положительно, то нарушил бы заповедь Христа, который учил не противиться злу, а если отрицательно, то вызвал бы презрение со стороны студентов. Дердиенко, немного подумав, ответил в евангельском духе:

“Я бы молился, чтобы Бог послал милиционера”.

Мы, конечно, не знаем, что из себя представляет студент Дердиенко. Но с уверенностью можно сказать только одно: он не принадлежит к людям, хорошо знающим евангельское учение.

Дулуман здесь ссылается на заповедь Христа; приведем эту заповедь: “Вы слышали, что сказано: “Око за око и зуб за зуб”. А я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую” (Ев. Матф. 5, 38–39). Как может видеть читатель, Христос здесь, в противоположность мстительному и жестокому древнему Закону, внушает своим последователям дух миролюбия и прощения обид. Когда вспыхивает драка, то Христос рекомендует ее не поддерживать и от нее отстраняться. Однако можно ли сделать из этого такой вывод — что Христос советует смотреть равнодушно на насилие, которому подвергается женщина, или не защищать своей жизни или жизни своих близких, когда им угрожает опасность. Такой вывод, конечно, был бы верхом нелепости — никогда и нигде Церковь и не делала такого вывода из этой заповеди Христа.

Призывая всех к миру, любви и братству, Церковь, однако, всегда благословляла людей давать отпор всем агрессорам, завое-

вателям, — тем, кто безжалостно и вероломно нападал на чужие страны.

Русская Церковь, в частности, благословила народ устами преподобного Сергия на борьбу против татар, устами Святителя Ермогена — на борьбу против поляков в 1612 году, устами покойного Патриарха Сергия — на борьбу против немецко-фашистских захватчиков (1941 год).

Правда, находились люди, которые понимали Евангелие несколько иначе и доводили “заповедь о непротивлении злему” до абсурда. К числу таких людей, к сожалению, принадлежал и Лев Николаевич Толстой, построивший на базе Евангелия свою утопическую и совершенно нежизненную систему. Сводить христианство к толстовству — это все равно, что социализм отождествлять с учением Фурье или Сан-Симона, который предлагал превратить морскую воду в лимонад. Все это, конечно, Дулуман знает, однако сознательно разыгрывает комедию, чтобы ввести в заблуждение своих слушателей.

До каких мелких и недостойных приемов опускается этот бывший семинарист в своем стремлении унижить и очернить церковь, свидетельствует хотя бы такое место на страницах 27—28.

“Во многих христианских религиях во время молений принято просить благословения, испрашивать благодати божьей у отсутствующего в данную минуту вышестоящего церковника. Однажды после того, как учащиеся Московской духовной академии и семинарии пропели “Владыко благослови!”, выступил надзиратель Николай Степанович и говорит:

— Вот сейчас мы испросили благословения у нашего любимого Владыки\* А. Мне известно, что он сейчас едет к нам. Его благословение из машины уже пришло и исходит на всех нас. А скоро и он сам будет здесь...

Эти слова меня едва не взбесили. Как-то я видал Владыку А. в домашней обстановке. Могло случиться, что семинаристы испрашивали у Владыки заочно благословения, а Владыка в данную минуту, подчиняясь законам природы, отправлял естественные надобности...”.

Не так давно нам приходилось, проходя по площади Маяковского, видеть, как довольно большая группа юношей и девушек

---

\* “Владыка” — термин, употребляемый в церковной среде при обращении к церковнику архиерейского сана (епископу, архиепископу, митрополиту и т. д.). (Примечание Дулумана.)

возложила цветы к памятнику знаменитого поэта. Интересно было бы себе представить, что произошло бы с нашим пропагандистом, если бы он рассказал поклонникам Владимира Владимировича, что и он ведь тоже не только писал стихи, но и "подчинялся законам природы". Думаем, что пылкая молодежь ответила бы одесскому гастролеру так, что и он, несмотря на свое неверие, подобно Дердиенко, стал бы молиться Богу, чтобы Он "послал милиционера". Мы не отличаемся такой горячностью: мы просто выписываем это место на позор Дулуману и выражаем издательству "Молодая гвардия", которое печатает все, что подскажет отъявленному пошляку его гаденькое воображение, — наши почтительные поздравления по поводу столь ценного приобретения.

И наконец, Дулуман, конечно, не был бы Дулуманом, если бы он не прибег еще к одному испытанному средству — к политической демагогии.

На стр. 37 он пишет:

"О могучем влиянии нашей советской жизни на весь ход истории человечества свидетельствует также и тот факт, что церковники теперь усиленно пытаются подделывать религию под коммунизм.

Архиепископ симферопольский Лука недавно в своей проповеди говорил:

— Мы, то есть церковники, тоже идем к коммунизму. Только идем своей дорогой... В коммунизме встретимся!

О чем говорят эти факты? Ведь раньше церковники со злобой и шипением относились к коммунистическим идеям".

Итак, все связи христианства и коммунизма исчерпываются только тем, что "церковники со злобой и шипением относились к коммунистическим идеям". Выслушаем, однако, что говорит по этому поводу такой компетентный в этих вопросах человек, как Фридрих Энгельс. Разворачиваем на первой странице его статью "К истории раннего христианства". (Мы ведь недаром обещали, если вспомнит читатель, к этой статье вернуться.) Вот как начинается эту статью Энгельс:

"В истории раннего христианства есть любопытные точки соприкосновения с современным рабочим движением. Как и последнее, христианство при своем зарождении было движением угнетенных, оно выступало сначала как религия рабов и вольноотпущенных, бесправных бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов. Как христианство, так и рабочий социализм пропо-

ведут грядущее избавление от рабства и нищеты; христианство ищет этого избавления в потусторонней жизни, после смерти, на небе, социализм же — в этом мире, в переустройстве общества. И христианство, и рабочий социализм стали жертвами жестоких преследований, последователи их подвергаются гонениям, к ним применяют исключительные законы, к одним — как к врагам рода человеческого, к другим — как к врагам государства, религии, семьи, общественного порядка. И вопреки всем преследованиям, а часто даже при их помощи, и христианство, и социализм победоносно, неудержимо прокладывают себе путь вперед... Следовательно, если г. профессор Антон Менгер в своей книге "ПРАВО на полный продукт труда" выражает удивление, почему при колоссальной централизации землевладения во времена римских императоров и при безграничных страданиях тогдашнего рабочего класса, "состоящего почти исключительно из рабов, вслед за падением западноримской империи не наступил социализм", то он не замечает как раз того, что этот "социализм, поскольку он был тогда возможен, действительно существовал и даже достиг господства в лице христианства"\*.

"Параллель между обоими этими историческими явлениями напрашивается уже в средние века при первых восстаниях угнетенных крестьян и в особенности городских плебеев. Эти восстания, как и все массовые движения средних веков, выступали всегда в религиозном облачении, являясь как бы восстановлением раннего христианства, его спасением от наступавшего вырождения... Ярче всего это обнаружилось в организации богемских таборитов под руководством distinguished памяти Яна Жижки; но черта эта проходит через все средневековые, постепенно исчезала после крестьянской войны в Германии, чтобы вновь пробудиться у рабочих-коммунистов после 1830 г. Как французские революционные коммунисты, так в особенности Вейтлинг с его последователями ссылаются на раннее христианство еще задолго до того, как Эрнест Ренан сказал: "Если вы хотите получить представление о первых христианских общинах, присмотритесь к какой-нибудь местной секции Международного товарищества рабочих". Этот французский беллетрист сам не знал, сколько правды заключалось в вышеупомянутых его словах. Хотел бы я видеть старого члена Интернационала, у кото-

---

\* См.: Маркс и Энгельс, "Сочинения", т. 16, ч. 2. "К истории раннего христианства", стр. 428, Партиздат ЦК ВКП (б), 1936 г.

рого при чтении, например, так называемого второго послания Павла к коринфянам не открылись бы старые раны, по крайней мере, в одном отношении. Во всем послании, начиная с 8-й главы, звучит вечный и — ах! — так хорошо знакомый жалобный мотив: взносы не поступают. Как много самых ревностных пропагандистов 60-х годов многозначительно пожали бы руку автору этого послания, кто бы он ни был, приговаривая: "Так это и с тобой бывало!" Мы также можем кое-что рассказать на эту тему — наше товарищество тоже кишело коринфянами\*\*.

Конечно, было бы нелепо ставить знак равенства между христианством и коммунизмом. Нет сомнения, что эти явления качественно различные и во многом противоположные, поскольку коммунисты являются носителями антирелигиозной идеологии. Однако в то же время можно констатировать много точек соприкосновения у христианства и у международных движений, выступающих за социалистическое обновление мира. Поэтому издавна, во всех странах мира, у многих христиан проявилось стремление к сближению с социалистами. Были также стремления и в России — и притом задолго до революции. Упомянем хотя бы о такой колоритной фигуре, как покойный архимандрит (впоследствии старообрядческий епископ) Михаил Семенов (1874—1916 гг.) .

В 1908 году этот безусловно искренний деятель опубликовал свои "Заповеди социального христианства", в которых высказывает смелые до дерзости мысли.

"1. Не слишком смотри в небо; посмотри — рядом для твоей сестры строиться новый публичный дом.

2. ...Ненавидеть благотворительность. Это мошенническая сделка буржуа с Богом, Которому они хотят заплатить две копейки со ста...

6. Помни, что христианство может быть только общественным. Христианство личного спасения — лживые выдумки тех, кто во имя Христа создали рабство. Подожди спасать твою душу: она принадлежит другим и, спасая ее, ты воруешь\*\*.

Можно упомянуть также о таких видных церковных деятелях дореволюционного времени, как епископ Антонин (Грановский)

---

\* Там же, стр. 410—411.

\*\* Цитирую по книге А. С. Панкратова "Ищущие Бога", М., 1911 г., т. 1, стр. 125.

и о. Григорий Петров, которые уже тогда близко подходили к социализму. Мы не хотим сейчас входить в оценку деятельности вышеупомянутых лиц. Не подлежит никакому сомнению, что в их писаниях и речах было много ошибочного и неприемлемого, особенно это относится к тезисам епископа Михаила, с которыми целиком не может согласиться ни один христианин.

Однако уже этих примеров достаточно для того, чтобы убедиться в том, что и раньше далеко не все церковники "со злобой и шипением относились к коммунистическим идеям".

Вопрос о взаимоотношениях между христианством и социализмом — это вопрос чрезвычайной сложности; окончательное решение его принадлежит будущему. Сейчас можно сказать только одно: обоим этим движениям суждено играть ведущую роль в истории и существовать рядом друг с другом долгие годы и, может быть, сотни лет. И нет сомнения, что у этих течений найдется много точек соприкосновения, и в настоящем, и в будущем. Именно это подразумевал архиепископ симферопольский Лука в той проповеди, на которую ссылается Дулуман. В конце своей брошюры Дулуман скачет и играет; он утверждает, что, только порвав с религией, он нашел настоящий смысл жизни.

"Я оказался на отшибе, в стороне от широкой дороги творческих дел народа. Настоящая жизнь шла мимо меня. Но мои искренние друзья помогли мне почувствовать дыхание жизни и окончательно решить основной вопрос: где истина? Я понял, в чем смысл жизни.

Смысл истинной, непаразитической жизни заключается в труде на благо своего народа. Радостно ощущать, что твой труд, пусть самый скромный, самый маленький, идет на благо людей. Мир прекрасен. А когда я делаю что-либо, что может хоть на самую малость сделать его еще лучше, жизнь людей еще содержательнее — разве это не высшая радость?

Гордо смотря на результаты своего труда, советский человек с Маяковским говорит.

"Радуюсь я  
— это  
мой труд  
вливается  
в труд  
моей республики".

Все это, конечно, очень хорошо, но позвольте, почтеннейший пропагандист, и вам задать несколько вопросов. Вот вы упомянули имя Архиепископа, Симферопольского Луки? Ведь вам, конечно, известно (хотя вы и умалчиваете об этом), что это профессор Войно-Ясенецкий — один из замечательных наших хирургов, который своими операциями спас жизнь десяткам тысяч советских людей? Далее вы ведь, верно, знаете, что по известной книге проф. Войно-Ясенецкого (он же архиепископ Лука) "Хирургия гнойных опухолей", которая была в 1946 году отмечена особой премией, учились и учатся миллионы советских врачей? Как вы думаете, кто больше приносит пользы Республике вы (со своими лекциями и брошюрками) или архиепископ Лука своей медицинской деятельностью? Думаем, что даже и вы (не смотря на весь ваш апломб) вряд ли будете настаивать на своем приоритете.

Но если это так: если архиепископ Лука и огромное количество других людей, будучи верующими, могут приносить стране не меньшую пользу, чем вы, будучи атеистом, — то какой, собственно, имеет смысл вся ваша только что выписанная нами тирада? Что она такое, как не самая дешевая и беспардонная демагогия?

И наконец, в заключение Дулуман рассказывает нам о своих "друзьях"; это место представляет собой такой перл, что о нем никак нельзя промолчать: "Друзья у меня гораздо лучше, чем я мог о них рассказать: Сева сейчас заканчивает Одесский Консервный Институт; Леля уже обзавелась семьей; Галя Бокова из скромной служащей превратилась в Галину Петровну — заместителя главного бухгалтера Аткарского отделения Госбанка..." (стр. 43—44).

Как видите, здесь есть все, что составляет идеал мещанина: материальное благосостояние, служебная карьера и благополучная женитьба.

"Коварство и любовь" (мещанская трагедия) — так озаглавил в свое время юноша Шиллер свое известное произведение.

"Коварство без любви (мещанская комедия)" — вот как следовало бы озаглавить "юноше" Дулуману свое знаменитое произведение. Здесь, надеемся, и нам будет позволено процитировать Маяковского:

"Одного боюсь —

за вас и сам, —

чтоб не обмелели  
наши души,  
Чтоб мы  
не возвели  
в коммунистический сан  
Плоскость раешников  
и ерунду частушек\*\*.

И в заключение еще один вопрос — на этот раз издательству "Молодая гвардия".

Неужели вы думаете, что этой брошюрой вы сможете действительно кого-нибудь и в чем-нибудь убедить?

И хочется сказать издательству словами самого Дулумана:  
"Довольно шутить. Давайте серьезно".

---

\* Маяковский, "Послание пролетарским поэтам".

## ЕЩЕ РАЗ О ДУЛУМАНЕ

Разобрав брошюрку "Почему я перестал верить в Бога", мы считали, что мы можем проститься с Дулуманом, но — вот! — он опять о себе напоминает. В газете "Комсомольская правда" от 9 апреля 1959 г. № 83 помещена статья Дулумана и Дарманского "Откровенно говоря" (стр. 3).

Хотя эта статья подписана двумя фамилиями, но так как, судя по стилю, она принадлежит Дулуману, то мы будем отвечать только ему (да и было бы невеликодушно полемизировать с Дарманским, который, судя по его "письмам в редакцию", двух слов связать не может, — где уж ему с кем-нибудь спорить).

В своей статейке Дулуман "опровергает" своих полемистов (свящ. Желудкова, свящ. Лесняка\* и сектанта Семена Дмитриева). Дулуман, однако, не утруждает себя разбором того, что говорят его "полемисты", отделяваясь несколькими развязными островами дурного вкуса. Кроме того, он сообщает читателю несколько сплетен о домашнем быте знакомых ему священников (в том числе о недавно умершем прот. Полякове).

Все это, конечно, вполне в духе нашего "пропагандиста" и никого не удивит.

Остался Дулуман верен себе и еще в одном отношении: даже в этой небольшой статейке, состоящей всего из сотни строчек, Дулуман умудрился, во-первых, обнаружить грубое, постыдное невежество, а во-вторых, сказать явную, для всех очевидную ложь.

"Известно, например, — читаем мы в третьем столбце его статейки, — что в тридцатых годах специальной комиссией, в которую входили и церковники, были вскрыты "мощи" Сергия Радонежского. Оказалось, что никаких мощей там (где там? в мощах?) и не было: в гробу нашли стружки, дамские чулки, ниж-

---

\* Свящ. Лесняк был лишь распространителем моей работы "Библиографические заметки". (Прим. А. Л.-К.)

нюю челюсть с двумя прогнутыми зубами и берцовую кость. Все это можно было видеть в Московском антирелигиозном музее. В 1943 году музейный экспонат попал в руки православных монахов. Они снова обмотали кости и труху тряпьем и положили в гробницу". Здесь что ни слово — то ложь: во-первых, рака с мощами преп. Сергия Радонежского была вскрыта не в тридцатых годах, а в 1920 году. В комиссию по вскрытию мощей представители духовенства не входили, а лишь присутствовали при вскрытии мощей. В Московском антирелигиозном музее мощи преподобного Сергия никогда не находились, а всегда оставались в Троице-Сергиевой лавре, в помещении которой с 1920 г. по 1940 г. был открыт Загорский гос. музей. Все посещавшие этот музей знают, что останки Преподобного представляют собой полностью сохранившийся скелет (отсутствует лишь одно бедро, которое ушло на частицы, которые в течение сотен лет распространялись по России); все остальные кости полностью сохранились, сохранился и череп, а также волосы (рыжевато-седые), — никаких дамских чулок около мощей, разумеется, не было. Обо всем этом Дулуман может узнать из "Акта о вскрытии мощей Сергия Радонежского", который был напечатан в журнале "Церковь и Революция" за 1920 г.; кроме того, обо всем этом ему могут рассказать несколько сот тысяч москвичей, которые в период 1920 г. — 1940 г. бывали в Загорском музее. Далее, "музейный экспонат попал в руки православных монахов" не в 1943 г., а в 1945 г. — и "не попал", а был возвращен Православной Церкви по постановлению советского правительства; причем постановление было подписано тогдашним председателем Совета Народных Комиссаров И. В. Сталиным. Если мощей не было — так что же было возвращать — дамские чулки, стружки и берцовую кость?

В наших библиографических заметках мы сравнили Дулумана с Остапом Бендером. Теперь мы должны извиниться перед героем "Двенадцати стульев". Тот никогда не опустился бы до такой неумелой и грубой лжи.

Говорить очевидную ложь, которую могут легко опровергнуть несколько сот тысяч человек, — какой уж тут Бендер, это Ноздрев, купивший "лошадь с голубой шерстью", или Репитилов, который "все отвергал: честь, совесть, веру", — и так же, как Репитилову, Дулуману можно дать следующий совет: "Послушай, ври, да знай же меру".

Далее выписываем следующее место из его статьи: "Не раз и в Киеве, и в Загорске, и в других местах, где нам приходилось читать лекции по атеизму, мы вызывали знакомых церковников на честный спор, на диспут. Но они не хотят этого. Почему? Да потому, что чувствуют крайнюю убогость и бессилие религиозных доказательств и не решаются открыто защищать идеи, ложность которых видят сами". (2-й столбец.)

А теперь мы позволим себе рассказать небольшой эпизод, который произошел с Дулуманом 4 месяца назад. 23 декабря 1958 года он читал очередную лекцию в Загорске. После лекции к нему подошел хорошо известный в Москве и Загорске человек\*.

Этот человек является инвалидом Отечественной войны, награжденным за боевую доблесть четырьмя орденами и восемью медалями, после войны он стал глубоко верующим человеком. Этот товарищ, подойдя к Дулуману после окончания лекции, просил предоставить ему слово для возражения; Дулуман, однако, категорически отказался предоставить ему слово; под всеми предложениями он увиливал на глазах у трехтысячной аудитории от дискуссии, заявляя: "Идите в церковь, говорите там... Я сам приду в Академию, там будем дискутировать..." Буквально не давал сказать ни одного слова своему оппоненту. Мало того, когда т. Ш. заявил, что он будет ждать Дулумана у входа в клуб, чтобы переговорить с ним после диспута, наш знаменитый пропагандист трусливо улизнул от него через боковую дверь (уж, верно бы, вы не получили орденов и медалей за боевую доблесть, если бы были на фронте, любезнейший Дулуман).

Таким образом, как видит читатель, статья Дулумана не лишена известных достоинств: она очень забавна, и ее автор обнаруживает талант незаурядного юмориста: его наивная наглость и неумелая, шитая белыми нитками ложь даже мертвого рассмешит.

Как должны, однако, отнестись к Дулуману верующие люди? Пишущий эти строки не является ни профессиональным "церковником", ни "фанатиком" (хотя и принадлежит к религиозным людям; однако если бы он был "церковником", то он предложил бы выплачивать Дулуману не 4 тысячи (как он получал в Саратовской семинарии), а 8 тысяч ежемесячно.

Ведь лучшего средства возбудить отвращение к антирелигиозной пропаганде, чем выступление Дулумана, не придумает даже

---

\* Вадим Михайлович Шавров.

самый ярый "церковник" и "фанатик". Так что с этой точки зрения любой верующий человек может лишь поблагодарить Дулумана и пожелать ему успеха в его полезной деятельности.

Есть, однако, еще один аспект, в котором следует рассмотреть деятельность Дулумана: всякий человек, знакомый с дореволюционной прессой, сразу почувствует при чтении статей Дулумана, что в нем поднимается какое-то смутное полузабытое воспоминание. Увы! Воспоминание это скоро проясняется: ну, конечно; ведь так писали черносотенные "публицисты" (из газеты "Русское знамя", "Земщина" и других грязных листков, которые стыдился взять в руки любой порядочный человек).

Та же беспардонная, бесшабашная, нахальная ложь; тот же развязный тон (неглиже с отвагой), то же беспросветное невежество и жалкие потуги на остроумие.

Цель черносотенных писак была: разбудить человеконенавистническую истерию, посеять рознь между нациями, разжечь гнусный антисемитский предрассудок.

Какую цель преследует Дулуман? Откровенно говоря, мы не думаем, чтобы вообще у него была какая бы то ни было цель, кроме личных, узкокарьеристских целей. Однако независимо от его желания эффект получается почти такой же, как у черносотенцев: разжигание религиозной розни, возбуждение ненависти, вражды и взаимного отчуждения между верующими и неверующими слоями населения.

Что может больше озлобить, возмутить, оскорбить, чем ложь, клевета, предвзятость, нечистоплотность?! А ведь это лейтмотив всех выступлений Дулумана.

И этой безграмотной черносотенной дребедени вы даете место на страницах газеты, призванной воспитывать молодежь!

\* \* \*

12 апреля 1959 г. настоящее опровержение было мной вручено тогдашнему редактору "Комсомольской правды" — Аджубею.

## МОЙ ОТВЕТ ЖУРНАЛУ "НАУКА И РЕЛИГИЯ"

### Недотыкомка

"Недотыкомка бегала под стульями и по углам и повизгивала. Она была грязная, вонючая, противная и страшная. Сделали ее, — и наговорили".

Ф. Сологуб, *"Мелкий бес"*, Кемерово,  
1958 г., стр. 219.

И на страницы журнала пробралась недотыкомка... Хотите посмотреть? Разверните "Науку и религию", № 5, 1960 г., стр. 32—37. Там напечатана статья Воскресенского "Духовный отец Вадима Шаврова". Статья эта совершенно явно принадлежит ее перу. Хотите убедиться в этом — давайте читать вместе.

### О себе

Главный герой статьи — это я, пишущий эти строки. Волей-неволей мне придется поэтому говорить о себе. Но прежде несколько слов.

Автор — "марксист" (таким он себя рекомендует). Потому он рисует образ своего "героя" на "социальном фоне".

"...жизнерадостные песни сверстников портили настроение школьнику Толе Левитину", — пишет он на стр. 33.

"Вокруг счастливо, радостно живут люди. И Левитин улыбается вместе с ними", — утверждает он на стр. 37.

С этой манерой изображать советских людей в виде вечно смеющихся идиотиков мы, к сожалению, довольно хорошо знакомы. Это всем памятная, навязшая у всех на зубах манера "рапповцев", сторонников теории бесконфликтности и прочих литературных прохиндеев, льстецов и карьеристов, стяжавших в народе малопочетную кличку "лакировщиков".

Конечно, не по их произведениям надо судить о советской

действительности; пусть заглянет автор статьи хотя бы в роман Шолохова "Поднятая целина", и он убедится, что в то время, когда "Толя Левитин" был школьником, отнюдь не только "жизнерадостные песни" оглашали страну.

"Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые", — эти слова Тютчева можно с полным правом применить к тому поколению, к которому принадлежу я.

Ленинград 20-х годов. Годы НЭПа, послевоенная разруха, очереди безработных у Биржи труда на Ситном рынке, а рядом другая "Биржа" — черная биржа (у Европейской гостиницы), на которой валютчики спекулируют звонкой монетой. Отзвуки от той и другой биржи долетали до школьника Толи — сына крупного советского хозяйственника, работавшего в то время уполномоченным ВСНХ по городу Петрограду.

Коммунисты — суровые и сдержанные, в кожаных куртках, откормленные напманы с разряженными супругами — те и другие встречались в нашей квартире на Васильевском острове, квартире шестикомнатной, с окнами на Неву, шикарно обставленной, которая стоила любого дворянского особняка.

А затем — 30-е годы — годы великого перелома, быть может, еще более решительного и болезненного, чем Октябрьская революция.

Первая пятилетка — головокружительный прыжок в неизвестность. Работницы в красных платочках, полуголодные и еле одетые, с огоньком в глазах и с сердцем, полным энтузиазма, простаивающие по две смены у станков; рабфаковцы, грызущие гранит науки; очереди у магазинов, "заборные" карточки на хлеб и на промтовары; стихи Маяковского, говорящего "во весь голос", героическая фигура Николая Островского — и рядом "недотыкомки" — профессиональные доносчики, карьеристы, идолопоклоннический культ человека в серой шинели и зловещий карлик Николай Ежов.

Такова эпоха, когда рос, развивался и жил школьник, воспитанник подтехникума Толя Левитин.

Жизнь вовлекала всякого в свой водоворот, требовала от каждого, чтобы он разобрался в пестром калейдоскопе событий. Философом и историком невольно становился каждый мыслящий человек.

Блажен, сто крат блажен, кто посетил сей мир в его минуты

роковые, — и среди них был я, пишущий эти строки, герой знаменитой статьи.

Но кто же такой этот “Я”? И чем навлек я на себя такой страшный гнев журнала “Наука и религия”?

Обратимся к статье.

“В памяти богослова, — начинается статья, — едва ли сохранилось то время, когда покой дворянского семейства Левитиных в Петрограде нарушили вооруженные люди с полосками кумача на солдатских папах.”

Но ненависть к этим людям осталась... Нет, не простил он бойцам революции отнятого ими особняка Левитиных”. Стр. 33.

Прочтя эти строки, я сразу почувствовал, что мною овладевает какое-то смутное воспоминание. Вспомнил я, однако, не “особняк Левитиных”, а те годы, когда я был учеником 1-го курса педтехникума.

Наш учитель литературы так нам “подавал” Пушкина: “Неудивительно, что Пушкин идеализировал мелкопоместную дворянку Татьяну и противопоставил ей аристократа Онегина, — ведь сам Пушкин был типичным представителем реакционного мелкопоместного дворянства...”

И далее следовал подробный перечень пушкинского имущества в селе Михайловском. То были годы знаменитой “переверзешины”.

Все эти теории уже давно забыты и отправлены в мусорный ящик, и вот злополучный журнальчик вытащил этот хлам на свет Божий. Какого только мусора не встретишь на страницах новоиспеченного журнала! Обратимся, однако, к цитате: в ней правильно только одно, что “моя память не сохранила сведений о дворянском семействе Левитиных”...

Отец мой Эммануил Ильич Левитин (его синагогальное имя — Менахем — Мендел) происходил из города Лубны, Полтавской губернии, и был сыном приказчика.

Никакого “домика” ни он, ни его мать, моя бабушка, никогда не имели, так что в дальнейшем “бабушкин домик” и “потерянные дворянские привилегии” — Воскресенскому придется переманить на “дедушкин аршин” (тогда приказчики орудовали аршином) и черту оседлости, — в них-то, видимо, корень моей религиозности.

Правда, мой отец в свое время принял крещение (из чисто утилитарных соображений). Это дало ему возможность окончить

Киевский университет и стать чиновником (мировым судьей), — следовательно, как все чиновники (даже самые малые, вроде Поприщина), он стал личным дворянином.

Однако никогда в Петрограде он до революции не жил, а жил в городе Баку, где я и родился. Я никогда никакой недвижимостью не владел.

Моя мать — более “аристократического происхождения”; чистокровная русачка, она, будучи дочерью учителя словесности Тифлисской гимназии (дед, таким образом, был мой коллега), выросла в интеллигентной среде и усвоила манеры светской дамы. Однако и ее “аристократизм” очень недавний, т. к. мой дед был поповичем и ушел в университет, окончив духовную семинарию.

“Вот где собака зарыта!” — восклицает тут Воскресенский.

Увы! Должен опять его огорчить: дед был в молодости личным другом Н. Г. Чернышевского и на всю жизнь остался убежденным атеистом. Такой же атеисткой является моя мать (ныне жена одного из крупных деятелей советского театра — народного артиста РСФСР и старого коммуниста).

Мой отец также был человеком глубоко равнодушным к религии, хотя и не был атеистом.

Будучи очень хорошим семьянином и любя сына, он (несмотря на свои родительские чувства) питал непреодолимое отвращение к моим идеям, именно по его настоянию я дал слово, что буду называться псевдонимом.

“Не хочу, чтобы мое имя болталось под всякой поповской галиматьей”, — говорил мне Эммануил Ильич.

Таким образом, с моей родословной автору статьи не повезло. Впрочем, не будем очень винить Воскресенского: здесь виноват не столько он, сколько источники, которыми он пользовался, — какие именно — увидим.

А пока регистрируем: мое “дворянское происхождение” — ложь № 1.

\* \* \*

Пойдем дальше за автором.

“В 1933 году в подпольной группе церковников — “Захаро-Елисаветинском братстве” — появился новый человек. Все здесь было по душе Левитину. Над братством витала мрачная тень Митрополита — монархиста Иосифа Петровых...”.

Здесь я позволю себе дать маленькую справку: в 1933 году я был учеником (тогда мы назывались студентами) педагогического техникума (или по-теперешнему педагогического училища); в 1935 году я уже был учителем одной из ленинградских школ. Одновременно я учился в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена (на вечернем секторе), который, как констатирует автор статьи, я окончил в 1940 году.

Скажите, пожалуйста, мыслимо ли дело, чтобы участника подпольной антисоветской организации (и когда? в 30-х годах) послали вместо тюрьмы и лагеря в... в советскую школу и Институт им. Герцена?

Этой простой справки вполне достаточно, чтобы зарегистрировать "очередное изыскание" автора из моей биографии под названием: "ложь № 2".

\* \* \*

Однако этот эпизод слишком любопытен, чтобы с ним можно было так просто расстаться.

Дело в том, что никакого "Захаро-Елизаветинского братства" в природе не существовало. Это такой же миф, как левитинский особняк. И здесь мы уже близко (хотя пока не совсем вплотную) подходим к источникам информации Воскресенского.

Может быть, читатель вспомнит, что в 20-х, 30-х годах существовало учреждение под названием ГПУ.

Будучи по своему происхождению революционным органом, оно в 30-х годах под руководством Ягоды и Ежова стало приобретать все более злобный облик, пользоваться все более недостойными методами. К числу "таких методов" принадлежало, между прочим, широкое использование провокаторов.

В церковных кругах Ленинграда в это время подвизался печально знаменитый Николай Федорович Платонов. Это была чрезвычайно колоритная и характерная личность: талантливый оратор и образованный человек, Платонов с 1923 года становится агентом ГПУ и специализируется на ложных доносах.

В 30-е годы он занимал видное место в обновленческой иерархии (читатель, верно, помнит, что в то время Русская Церковь была расколота на две ориентации).

В 1938 году он снял с себя сан, а перед смертью, как говорят, "покаялся".

Николай Платонов и был "автором" дела о "Захаро-Елизаветинском братстве". Кстати, никакого отношения к Митрополиту Иосифу это "братство" даже по официальным источникам не имело, т. к. все его "участники" были молодые обновленческие священники и причетники. Это давало возможность Платонову продемонстрировать свою "лояльность" (вот, мол, я не только на староцерковников, а на "своих" — обновленцев — тоже доношу).

После 1956 года это дело, подобно ленинградскому делу, делу о врачах и т. д., оказалось совершенной фикцией, — и все осужденные по этому делу были реабилитированы.

Несмотря на всю свою "опытность", Платонов все же совершил крупную ошибку, внеся мое имя в свой донос (я как раз перед этим с ним познакомился и имел наивность представить ему свой "проект обновления Церкви"). Это был, безусловно, крупный просчет с его стороны. Меня как человека нового в церковных кругах тогда еще никто не знал. И когда я был арестован 24 апреля 1934 года, следствие очутилось перед пикантной ситуацией: ни один из "участников" организации не имел обо мне ни малейшего представления, и я также не знал ни одного из своих "собратий" ни по имени, ни в лицо. Это было слишком — даже для 1934 года.

5 мая 1934 года (зadolго до окончания следствия) я был освобожден. Больше по этому вопросу никто никогда меня в этой связи не беспокоил.

Однако в некоторых "источниках" этот эпизод остался, — в каких именно? Потерпите, читатель, узнаете.

### О себе

"1941 год. Трудные военные годы вели честных советских людей на запад, навстречу надвигающимся полчищам врага. А до рога Левитина легла на восток — в Ульяновск. В 1943 году бывший воспитанник педагогического института принял сан дьякона и стал секретарем Митрополита Александра. Положение служителя религиозного культа освободило его от службы в армии. За спиной своих сверстников, сражавшихся с врагом, здоровый тридцатилетний мужчина в глубоком тылу читал церковные книги, зубрил богословие" (стр. 34).

Правду ли пишет здесь автор? Пусть говорят документы. Передо

мной сейчас лежит маленькая книжечка в сером переплете, на ней черными буквами надпись: "Свидетельство об освобождении от воинской обязанности" — и пятиконечная звезда. Открываю переплет и читаю:

"Серия, ВБ № 076476.  
Свидетельство об освобождении  
от воинской обязанности

Настоящее свидетельство выдано Люберецким ГВК Московской области военнообязанному 1915 года рождения Левитину Анатолию Эммануиловичу, солдату запаса первой категории ВУС-123, уроженцу г. Баку в том, что он по освидетельствовании 23 июня 1956 года комиссией при Люберецком ГВК Московской обл. признан негодным к несению воинской обязанности с исключением с учета по гр. "Г" ст. III/2 расписания болезней приказа 130".

В 1956 году я никаким "служителем культа" не был, а был всего лишь учителем литературы, и тем не менее я был также освобожден от службы в армии.

Что скрывается, однако, за ст. III/2? Я думаю, что не раскрою особой военной тайны, если разъясню, в чем дело. Все, кто меня видел, помнят огромные очки с толстыми стеклами, которые обрамляют мое лицо, не придавая ему, разумеется, особой красоты. Это громоздкое сооружение я вынужден носить с детства, т. к. я страдаю врожденной близорукостью, которая не корректируется даже самыми сильными очками; без очков же я совершенно беспомощен и не узнаю Воскресенского даже в двух шагах от себя (от чего, впрочем, плакать не буду). Благодаря этому я с 18 лет до сего времени был всегда освобожден от воинской службы.

Что я, однако, делал во время войны? Пусть опять говорят документы.

На этот раз передо мной лежит справка, написанная на печатном бланке лиловыми чернилами на белой бумаге:

"Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР, Государственный Научно-Исследовательский институт театра и музыки".

28/VIII 1948 г.

### СПРАВКА

Выдана Левитину А. Э. в том, что он находился в аспирантуре Государственного Научно-Исследовательского института театра и музыки с октября 1940 г. и выбыл из аспирантуры в связи с мобилизацией в ряды Красной армии.

Директор: А. Оссовский  
Управделами: Петрова

В первые же дни войны я действительно был (несмотря на "белый билет") мобилизован в армию и находился в ее рядах (в 4-м запасном саперном полку) до декабря 1941 г., участвуя в обороне Ленинграда.

В декабре я, однако (как тогда говорили), "дошел": заболел дистрофией и острым нервным расстройством. По этим причинам я был демобилизован, а затем терпел ужасы Ленинградской блокады и 23 марта 1942 г. был еле живым вывезен "по дороге жизни" и направил "свой путь на восток".

На этом мы можем прервать пока обзор своей биографии и сделать в нашем каталоге еще одну пометку: "Ложь № 3".

### Кто их духовный отец?

И наконец мы подходим к центральному пункту моей биографии — к 1949 году.

8 июня 1949 года в моей жизни произошло важное событие: я был арестован и заочно "осужден" особым совещанием при Министерстве государственной безопасности к 10 годам лишения свободы. Вот так повествует об этом мой "биограф":

"Кто хотя бы однажды затаил в сердце злобу к своим согражданам и своей стране, тот рано или поздно нарушит ее законы. Так произошло и с Левитиным. Уже первые из его богословских трактатов дышали яркой антисоветчиной. В 1949 году Левитин был заслуженно наказан за "пробу пера".

Прежде всего бросается в глаза следующая передержка: ника-

ких богословских трактатов я тогда не писал, осужден же был не за "пробу пера", а за "антисоветскую агитацию в собственном окружении", попросту говоря, за антисоветские разговоры.

Какова же подоплека моего ареста? Тут я позволю себе вернуться несколько назад.

Как правильно указывает автор статьи, в 1943 году я был близок к Митрополиту Александру Введенскому. Это был своеобразный и, безусловно, выдающийся человек, оказавший большое влияние на мое внутреннее развитие. Однако это был не только исключительно одаренный и искренне (хотя и порывисто) религиозный человек; в его личности изумительно переплетались высокие порывы и светлые стремления с совершенно иными чертами (что, впрочем, к сожалению, не является редкостью).

Одной из отрицательных черт Митрополита Александра Введенского была поразительная неразборчивость в людях.

С непостижимым легкомыслием он окружал себя подонками и посвящал их в духовный сан.

Одним из таких людей был старший сын покойного — Александр Александрович Введенский. Надо сказать, этот сыночек доставлял отцу мало радости. Будучи связан с 15 лет с уголовным элементом, сын Введенского всю свою юность впутывался в различные уголовные дела, пока в 1936 году не прогремел на весь Советский Союз делом об ограблении ленинградских телефонно-автоматов.

Выйдя из тюрьмы, этот человек, не имея никакой специальности и будучи совершенно непривычен к труду, пристроился при папаше в качестве диакона и секретаря.

После смерти А. И. Введенского (отца), потрясенный горестной и тяжелой утратой, я на короткое время сблизился с его сыном, стал бывать в его доме и даже оказал ему несколько (впрочем, незначительных) услуг.

"Анатолий Эммануилович! Вы лучше всякого родственника. Вы наш лучший друг!" — говорил мне неоднократно сладкоречивый диакон.

Каково же было мое изумление, когда незадолго до ареста я узнал, что А. А. Введенский (помимо церковного служения) является секретным сотрудником б. МГБ и систематически пишет на своего "лучшего друга" доносы.

Справедливости ради надо отметить, что он писал доносы не на одного меня; точно таким же образом им был оболган некий

Свистунов (сын известного московского фотографа Паоло), а также некий Михаил Иванович Макаров и, вероятно, много других людей.

Я не знаю, насколько высоко оценивает "talанты" А. Введенского его начальство по линии КГБ, однако доносы, написанные им на меня, составлены поразительно глупо и аляповато.

Полуграмотный и вечно пьяненький шпик все перепутал, кое-что присочинил, кое-что не понял, — так родились легенды о моем "дворянском происхождении", о "бабушкином домике", о "Захаро-Елизаветинском братстве" и о моем увлечении Ницше.

В бериевские времена это было более чем достаточно...

И вот с этой бериевской помойки щедро черпает материалы для своей статьи Воскресенский. Все сообщаемые им факты взяты из доносов "секретного" сотрудника Введенского (чья деятельность в этом направлении уже давно ни для кого не является секретом), любезно предоставленных вместе с моим делом работниками КГБ.

Теперь мы можем ответить на вопрос: кто же является духовным отцом Воскресенского, который похож на Введенского как родной брат. Они и действительно братья по духу. Духовный отец у них один — и этот духовный отец — **Лаврентий Павлович Берия**, — и никаким увертками и лживыми фразами ни тот, ни другой этого не опровергнут и от этого не уйдут.

Во всем ли, однако, были лживы доносы Введенского? Будем справедливы — не во всем.

Я действительно в резких выражениях выступал против культа личности Сталина (почти в тех же выражениях, что и Хрущев), я выражал свое возмущение зверскими актами б. МГБ (репрессии, направленные против целых народов, против беззакония и произвола). Я, христианин и гуманист, не мог молчать перед лицом этих зверств и горячо осуждал князей Церкви за то, что они молчат.

"То, в чем меня обвиняют, является для меня источником вечной гордости и глубокого удовлетворения", — написал я в своем заявлении на имя Генерального прокурора СССР в 1956 г.

Как реагировала на это заявление прокуратура? Она согласилась со мной и опротестовала незаконное решение.

Как реагировал на мое заявление Верховный Суд СССР? Он также согласился со мной, о чем свидетельствует следующий документ:

## СПРАВКА

Дана гр. Левитину Анатолию Эммануиловичу 1915 года рождения в том, что определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 29 сентября 1956 года Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 31 августа 1949 года в отношении него отменено и дело производством прекращено за недоказанностью предъявленного ему обвинения.

Зам. Председателя Судебной Коллегии  
по уголовным делам Верх. Суда СССР  
И. Аксенов

Как реагирует на эти мои слова Воскресенский? Мы уже слышали. Он говорит: "Левитин наказан не даром".

Воскресенский не согласен ни с прокуратурой, ни с Верховным Судом СССР. Он согласен с Берией и Аббакумовым, утвердившими Постановление от 31 августа 1949 года, и даже не упоминает, что это Постановление было отменено.

Будем ли этому удивляться? Не будем и лишь пометим в нашем каталоге: "Ложь № 4".

### "Горизонты вертикальные"

Воскресенский — очень "образованный человек", с ним не шути. Он даже всех философов знает, и не как-нибудь, а всех их вам по пальцам перечтет. Вот беда только в том, что знать-то имена философов мало: надо их еще и упоминать к месту.

"...Левитин, избравший своими духовными вождями философов-мракобесов Владимира Соловьева и Фридриха Ницше, — говорит он (на стр. 34) — ...душа его возрадовалась циничным откровениям Ницше" (там же). И наконец: "Развернув соловьевско-ницшеанское знамя, Левитин двинулся в поход против марксизма".

Воскресенский, ура! Ты себя обессмертил! Умри, лучше не напишешь! И раз уж речь зашла о Вл. Соловьеве, то здесь уж никак нельзя обойтись без его знаменитой пародии на символистов:

"Горизонты вертикальные  
В шоколадных небесах,

Как мечты полужеркальные  
В лавровишенных лесах”.

В самом деле “соловьевско-ницшеанское знамя” и богослов, являющийся учеником Ницше, — это и есть “горизонты вертикальные в шоколадных небесах”.

Этот перл Воскресенского говорит сам за себя и не нуждается в комментариях, но, чтобы неискушенному читателю было понятно, в чем дело, — поясним: Ницше был полным и решительным атеистом; он отвергал не только идею Бога и бессмертия души, но также и христианство со всеми его догматами и моральными принципами. В частности, критике христианства он посвятил известное сочинение “Антихрист”. Антихрист — это он, Ницше. Он называет себя этим именем и очень им гордится... И после этого Воскресенский имеет наглость говорить, что “Ницше — этой мой любимый учитель” и что в моих работах чувствуется его влияние.

**Не купите и не запугаете, не запугаете и не купите!**

Пойдем, однако, дальше за Воскресенским. Он не только знаток “философов”, — он еще и литератор, он знает, что такое метафора. Вот извольте-ка послушать:

“Так, под сенью креста вырос человек, продавший свою душу дьяволу мракобесия и ненависти”.

Вишь, как красиво умеет выражаться наш журналистик! И все же мы вынуждены ему заметить словами Базарова: “...Друг Аркадий, не говори красиво”.

Не говори, а прежде подумай о том, что ты говоришь! Итак, Левитин продал душу дьяволу мракобесия, ну, а (позвольте вас спросить) дорого ли заплатил ему дьявол?

В 1940 году (как правильно рассказывает Воскресенский) я окончил институт им. Герцена, упомяну, что окончил не как-нибудь, а с отличием.

Тогда же я вступил в аспирантуру. Уже через год я сдал кандидатский минимум, все мои руководители и товарищи предсказывали мне блестящую научную карьеру.

Что же, однако, испортило все дело? А вот именно та “поездка в Ульяновск”, о которой упоминает автор статьи.

Несмотря, однако, на это, я в 1944 году становлюсь старшим

преподавателем Средне-Азиатского университета, и после возвращения в Москву, работая при ГИТИС'е, я готовлю к защите диссертацию "Белинский и театр".

Одновременно я всю свою жизнь (кроме, разумеется, ульяновского периода и пребывания в лагере) работаю учителем.

В 1949 году моя диссертация должна была быть поставлена на защиту. Что же помешало? Арест в июне 1949 года.

В 1956 году я вернулся из лагеря с полной реабилитацией и вновь стал учителем.

Этот период моей жизни окончился несколько месяцев тому назад, когда стараниями Воскресенского (он понимает, о чем я говорю) я вынужден был уйти из школы "по собственному желанию" и сейчас, будучи осужден на бездействие (что может быть хуже для трудящегося человека!), живу на счет своих друзей, готовлюсь поступить на работу почтальоном, а в данный момент (наряду с богословскими вопросами) разрешаю сложную проблему, как мне оплатить присланный вчера счет за электричество.

Нет, недорого заплатил мне "дьявол" за душу! Уж если продаваться, — так не проще ли было продать душу... ангелам?

А ведь не поздно еще это сделать. Хочется, ах, хочется купить меня "ангелам" (покровителям Воскресенского). Выгодная была бы для них покупка! Уж сумел бы я писать антирелигиозные статьи не хуже Воскресенского!

Только вся беда в том, что не продается Левитин, — не купите вы его и не запугаете; не запугаете и не купите!

### **Не "выученик и подручный", а ученик и друг**

Этот раздел мы начнем извинением перед читателем. Нам стыдно перед ним, что приходится утруждать его столь долго такой неинтересной темой, как разбор статьи Воскресенского. Нам и самим скучно и противно ерошить всю эту дурно пахнущую жижу, но что поделаешь, "взялся за гуж, не говори, что не дюж".

Придется коснуться еще одного вопроса. Статья называется: "Духовный отец Вадима Шаврова".

В статье неоднократно связывается имя товарища Шаврова с моим именем. Для этого действительно имеются все основания: в сентябре 1953 года я впервые встретил т. Шаврова в лагере,

и с тех пор он является моим верным товарищем и единомышленником. Только, к сожалению, редакция журнала и Воскресенский дают неправильное толкование нашим отношениям. Моим "выучеником" т. Шавров не является по той простой причине, что ни к кому в "выученики" он не пойдет; еще меньше он может быть чьим-нибудь "подручным".

Человек смелый, независимый и вольнолюбивый, он вряд ли станет выполнять чьи бы то ни было приказания и поручения.

Вадим Шавров после долгих внутренних исканий пошел примерно тем же путем, что и я, поэтому он стал моим единомышленником и другом.

Я вступил на этот путь много раньше его, поэтому, возможно, несколько опередил его на этом пути. В этом смысле его можно, пожалуй, назвать моим учеником.

Что я могу сказать о личности Вадима Шаврова? Могу сказать только одно, что горжусь своим учеником и товарищем вопреки всему тому, что говорилось о нем на страницах журнала.

Я не собираюсь его защищать, т. к. Шавров в моей защите несколько не нуждается, что он доказал, между прочим, своей мастерски написанной автобиографией. Все же придется сказать несколько слов.

Вот, что пишет Воскресенский в одном месте своей статейки: "Шавров — это, так сказать, тунеядец в чистом виде. Он вообще не хочет работать на пользу общества, не скрывая своей принадлежности к малоуважаемой категории лиц без определенных занятий" (стр. 34).

Не для того (повторяю), чтобы защищать т. Шаврова, а лишь для того, чтобы проиллюстрировать методы Воскресенского, позволю себе дать маленькую справку.

Вадим Шавров с 1945 года является инвалидом Отечественной войны 2-й группы, вследствие нескольких страшных ранений, полученных им на фронте (может, и это будет отрицать Воскресенский?!).

В данный момент он уже в течение 3-х недель лежит в больнице ввиду тяжелой болезни: язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки.

"Он у вас болен, болен уже не один и не два года, а очень много лет", — говорил мне по этому поводу его лечащий врач.

Как назвать людей, которые издеваются над тяжело больным человеком, пенсионером и ругают его тунеядцем?!..

Мы здесь кладем на уста печать, т. к. иначе нам пришлось бы перейти грань, дозволенную приличием. Пусть уж сам Воскресенский мысленно поставит здесь недостающий эпитет, характеризующий человека, делающего подлость!

### Воскресенский обижен

Воскресенский обижен. Он оскорблен в своих лучших чувствах и заливается горячими слезами. Обидел, оказывается, бедного мальчика злой дядя Левитин.

“Как похож Левитин на Смердякова, — всхлипывает Воскресенский, — каким его вывел Достоевский. Так же клянет и презирает он окружающих людей, считая их ничтожествами, а самого себя превознося до небес. Такую же злобу внушает ему все светлое, возвышенное... Он сбивается с полемического тона и переходит к издевательствам и оскорбительным эпитетам в адрес своего идейного противника...” (стр. 35).

Оставляя в стороне литературные аналогии и украшения (кстати, можете себе представить, с кем бы сравнил Воскресенского Достоевский, если бы был жив), внимем в его жалобы.

“Светлое и возвышенное” — “светлое” это, конечно, журналист, в котором сотрудничает Воскресенский.

“Возвышенное”? Вероятно, это Лаврентий Берия со своими подручными, которых, как мы видим, берет под защиту Воскресенский и чьими обносками он пользуется.

“Идейные противники?” — Уж не сам ли это Воскресенский? Ну, уж, извините. Клеветников, лжецов и провокаторов я никак не могу считать “идейными противниками”. Их я, действительно, ругал и ругаю, и оскорбить их невозможно.

“Оскорбить, — говорил Алексей Александрович Каренин (и в данном случае совершенно правильно), — можно честную женщину, а сказать вору, что он вор, — это значит только констатировать факт”.

Или, по-вашему, надо хвалить Дулумана, который десять лет обманывал людей, а теперь в этом с поразительным бесстыдством признается и еще делает себе из этого профессию?

Или я должен восторгаться провокатором Введенским, который два десятка лет только и делает, что пишет на людей лживые доносы?

Или, может быть, от меня ждут, что я буду осыпать ласками Воскресенского, который по ложным доносам, официально перечеркнутым советской властью, которую он якобы так любит и уважает, составляет свои статьи?

Нет, не будет этого.

Если хотите, чтобы с вами обращались как с идейным противником и честным человеком, станьте тем и другим: сначала честным человеком, а потом идейным противником.

Значит ли это, что я проклинаю и презираю всех атеистов? Нет, не значит.

Есть атеисты, перед которыми я благоговею. Я смиренно преклоняю колена перед светлой памятью Виссариона Григорьевича Белинского, изучению творчества которого я посвятил многие годы, хотя он в последние годы своей жизни был атеистом.

Это он мой учитель, и у него я научился бороться с нечестными и продажными людьми, какой бы маской они ни прикрывались.

Я преклоняюсь перед Чернышевским и Добролюбовым потому, что они (хотя и были атеистами), поступали как подлинные христиане, "полагая душу свою за други своя".

И величайшее восхищение вызывают у меня отважные борцы за счастье народное — благородные мыслители Герцен и Огарев, Писарев и Шелгунов, Желябов и Перовская, Лавров и Михайловский, Бакунин и Кропоткин.

Василий Алексеевич Десницкий и Михаил Васильевич Серебряков — мои незабвенные, дорогие учителя (один в институте, другой в аспирантуре) — останутся памятными мне на всю жизнь, хотя оба они были убежденными атеистами.

С величайшим уважением я отношусь к окружающим меня честным трудящимся, хотя и они (в большинстве своем) являются атеистами.

Воскресенский предлагает мне идти в Московский университет, на заводы и в колхозы, уверяя меня, что там меня осудят. Я принимаю его вызов и посылаю ему следующее приглашение: пойдемте туда вместе.

Давайте, назначим публичный диспут в Московском университете, на любом заводе и в любом колхозе по вашему выбору. Назначьте, и увидим, кого из нас студенты, рабочие и колхозники осудят.

**Что бы я сказал? Я сказал бы следующее:**

“Уважаемые товарищи, дорогие друзья!

Конечно, никто из вас не читал статьи Воскресенского, потому что почти никто, кроме попов и профессиональных антирелигиозников, журнальчика, в котором он пишет, не читает.

Но если бы читали, так знали бы, что он хочет выставить меня вашим врагом.

Не верьте! Я всю жизнь с 18 лет честно трудился, уча ваших детей и, вероятно, многих из вас, потому что я уже пожилой человек.

Чтобы меня скомпрометировать, этот плут выдумал какой-то “бабушкин домик”. К сожалению, моя бабушка (очень хорошая женщина) никогда никакого домика не имела, т. к. происходила из нищей еврейской семьи из города Чечерска и была замужем за небогатым (хотя и несколько более, чем она, состоятельным) человеком.

Но если бы даже у нее и был дом, то мне он не нужен. Потертый пиджак, который вы на мне видите, — мое единственное достояние, и ничего больше у меня никогда не было и не будет.

Я, однако, отличаюсь от вас только одним: вы в своем большинстве неверующие люди, а я верю в Бога и отстаиваю свою веру, где и как могу.

Почему я так поступаю?

Будучи сыном формально православных, хотя и неверующих родителей, я еще младенцем был окрещен и в детстве был очень религиозен. Уже тогда я всей душой прилепился к православной Церкви, хотя ни у кого в своей семье не находил в этом поддержки, кроме няньки, простой неграмотной женщины из народа.

Это была религиозность, так сказать, бессознательная, стихийная, опирающаяся в значительной степени на эстетические (зрительные) ассоциации.

Однако в 16 лет я стал критически относиться к окружающему и предпринял полный пересмотр своей веры.

В это время я с огромным интересом (я бы сказал, с жадностью) припал к родникам марксистской философии. Целые дни я просиживал, штудировав Маркса, Энгельса, Ленина и других столпов марксизма.

Впоследствии, когда я учился в институте, я изумил одного из диаматчиков тем, что наизусть прочел ему целых шесть страниц “Капитала”, так что он принял меня за сумасшедшего.

“Православным диаконом, помешанным на Марксе”, называл меня религиозный учитель А. И. Введенский.

Я и сейчас преклоняюсь перед гениальным автором “Капитала” и считаю его одним из величайших мыслителей, каких только имело человечество.

В его “Капитале” мы находим, без сомнения, правильную картину экономического развития человечества, а теория прибавочной стоимости, изложенная всего на нескольких страницах, является величайшим взлетом человеческого гения.

Я думаю, что правильной является также историческая концепция Маркса, и считаю, что пролетариату принадлежит великая миссия обновить мир и поднять над всем земным шаром знамя социализма.

Я горячо стремлюсь к тому времени, когда в мире не будет ни богатых, ни бедных, когда исчезнут все границы и когда превратится в ничто гигантский спрут, именуемый государством (всякое государство есть зло, хотя оно является пока лишь еще необходимым и неизбежным злом).

Ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин не убедили меня, однако, в ложности религии. Наоборот, критически рассмотрев с их помощью основы христианства, я только еще более убедился в его истинности.

Во всем ли неверна материалистическая философия? Нет, не во всем.

Но ее слабое место в том, что она говорит не всю правду, а лишь половину правды.

Когда я говорю: “Пушкин есть позвоночное, млекопитающее животное”, — я абсолютно прав.

Когда я говорю: “Сикстинская Мадонна Рафаэля — это размазанное полотно”, — это тоже правда.

Можно ли, однако, сказать, что эти определения хотя бы в какой-нибудь степени правильно определяют предмет?

Нет, и тысячу раз нет!

Нечто подобное делает материалистическая философия.

Когда материалисты говорят, что мир материален, — то они совершенно правы.

Когда они говорят, что человек в чем-то является животным, то они тоже правы, и, наконец, когда они провозглашают, что прежде всего люди должны есть, пить и одеваться, — они тысячу раз правы.

И, однако, все это только половина правды.  
Мир материален. Да. Но не только материален.

Каждый человек, если только он поглубже взглянет в природу, увидит в ней присутствие незримой, животворящей, творческой силы.

“Не то, что мните вы, природа:  
Не слепок, не бездушный лик —  
В ней есть душа, в ней есть свобода,  
В ней есть любовь, в ней есть язык”, —

говорит великий русский поэт Ф. И. Тютчев.

Только слепые и очень ограниченные люди могут видеть в природе лишь механическое сцепление атомов.

Именно к ним обращается Тютчев со следующим проникновенным словом:

“Они не видят и не слышат.  
Живут в сем мире, как впотьмах,  
Для них и солнца, знать, не дышат  
И жизни нет в морских волнах.  
Лучи к ним в душу не сходили,  
Весна в груди их не цвела,  
При них леса не говорили,  
И ночь в звездах нема была.  
Не их вина: пойми, как может,  
Органа жизнь, глухонемой!  
Увы! Души в нем не тревожит  
И голос матери самой!”

И чем больше всматривается человек в природу, тем яснее он чувствует вечно бьющийся пульс в недрах вселенной, мировую душу, все движущуюся, украшающую и направляющую.

Поэты и композиторы запечатлели биение божественного пульса в стихах и симфониях, а ученые, естествоиспытатели, зафиксировали его в своих открытиях.

Именно поэтому большинство великих ученых являются верующими.

Хотите убедиться в этом?

Прочитайте в журнале "Наука и религия" № 2 за 1960 г. статью некоего Львова "Эйнштейн и мы".

Автор ее полемизирует с моей работой "Библиографические заметки" и ругает меня за то, что я причисляю Эйнштейна к верующим людям, а сам все-таки признает, что великий ученый был проповедником особой "космической религии".

Чудак! Как будто ему, материалисту, легче от того, что Эйнштейн не исполнял при этом религиозных обрядов.

Точно так же обстоит дело с И. П. Павловым.

Воскресенский советует мне ознакомиться с материалами его жизни. Могу его уверить, что я это сделал уже давно, еще при жизни великого ученого, который был моим земляком по Ленинграду и соседом (он жил на Васильевском острове).

Вот что говорил по этому поводу (как это может подтвердить его дочь Вера Ивановна) И. П. Павлов:

"Я прежде всего могу сказать о себе словами Дирака: если вы меня спросите, что такое психика, — я отвечу — рефлексы. Если вы меня спросите, что такое рефлексы, — я отвечу — нервная энергия. Нервная энергия есть один из видов мировой энергии, а если вы меня спросите, что такое энергия, — я вам отвечу: не знаю.

Поэтому материалисты, объясняющие все, исходя из материи, не правы: в основе природы лежит другая закономерность".

Именно эта мысль ясно и четко была сформулирована Павловым в его предисловии к книге Цур-Штрассена, — в том месте, которое я цитирую в своих заметках. При этом не имеет никакого значения, насколько ортодоксален был в своей вере Павлов.

Вообще, когда я говорю о религиозных ученых, я вовсе не имею в виду, что все они были обязательно ортодоксально верующими. Они могли быть и не согласны с Церковью в тех или иных вопросах, но все это в данном случае не имеет ровно никакого значения.

Ведь вы восстаете не против церковной догматики, а против вообще всякой религии, и это снова подтверждается как раз в том номере журнала, в котором напечатана статья Воскресенского. "Следует бороться против всякой религиозности", — говорится на стр. 85 в ответах на вопросы читателей (и с космической религией Эйнштейна в том числе). Не имеет также никакого значения при этом то, что **Церковь** преследовала некоторых из этих ученых.

Л. Н. Толстой был, например, как известно, отлучен от Церкви, однако посмеете ли вы утверждать, что он был атеистом?

Точно так же и то обстоятельство, что Джордано Бруно был сожжен инквизицией, нисколько не меняет того факта, что он был носителем религиозной пантеистической философии, — и, если я начну сейчас проповедовать в своих “трактатах”, инквизиторы из журнала “Наука и религия” будут разжигать костры клеветы и злобы, точно так же, как это они делают сейчас, когда я являюсь православным.

Глубокое изучение материи не оставляет никаких сомнений в том, что наш материальный мир относителен и конечен. С большой убедительностью это устанавливается именно Эйнштейном.

“Мир пространственно конечен, — утверждает он в своей книге “О физической природе пространства”, — это должно иметь место, если средняя плотность весомой материи не равна нулю. Объем мирового пространства тем больше, чем меньше средняя плотность” (см.: Альберт Эйнштейн, “О физической природе пространства”, 1922 г., стр. 40) .

Таким образом, все: интуиция всякого нормального человека и теории ученых указывают на наличие в мире помимо материи другой — духовной, высшей силы.

Искусство, наука, философия — у всех у них цель одна — очеловечить человека, развить в нем высшие потенции, которые есть во всяком человеке, хотя иногда в неразвитом, дремлющем виде.

Однако лучше всего это достигается при помощи религии. Религия питает самые глубокие корни жизни, она в то же время дает каждому человеку комплекс неповторимых по своей сладости и красоте переживаний и в то же время дает каждому человеку в руки компас, который направляет его всегда, во всех случаях жизни, по стезям добра, правды, справедливости.

Пусть не смущает вас то обстоятельство, что имеется немало недостатков и пороков среди религиозных людей. Увы! Это так. С этими пороками необходимо бороться, но делать вывод, что следует уничтожить религию оттого, что некоторые попы пьянствуют, — это все равно что (согласно английской поговорке) выплескивать из ванны вместе с водой и ребенка.

Не призывает же никто уничтожить театральное искусство на том основании, что среди актеров есть тоже, к сожалению, немало пьяниц и морально нечистоплотных людей.

Пусть не смущает вас также и то, что в религиозной среде есть немало суеверных людей, которые имеют примитивные представления о Боге.

Но во всякой области есть высшие и низшие ступени. Не закрывайте же вы Художественный театр оттого, что еще совсем недавно существовали балаганы и бродячие "артисты" с Петрушкой!

Пусть не смущает вас также то, что среди религиозных людей бывают разногласия по вопросам веры. Это абсолютно необходимо и свидетельствует о жизненной силе религии.

"Полное единодушие, — говорил Сталин, который был человеком исключительно глубокого ума (отдадим ему должное), — бывает только на кладбище".

В первые годы революции существовала группа литераторов, считавших себя воинствующими марксистами (так называемые "пролеткультовцы"), которые, по существу, призывали к уничтожению искусства.

"Во имя нашего завтра, мы  
сегодня сожжем Рафаэля  
И растопчем искусства цветы", —

писал пролеткультовский поэт Кириллов.

"Сбросим Пушкина с корабля современности!" — требовал другой идеолог Пролеткульта.

Другая группа молодых партийцев требовала уничтожить философию. "Философию за борт", — говорил один из них.

И еще совсем недавно, на моей памяти (до 1936 года), находились люди, которые охаивали русскую историю. Священные для каждого русского, в том числе и для меня, хотя я по крови только наполовину русский, имена Суворова, Кутузова, Минина и Пожарского находились в полном забвении.

Давая отпор всем этим попыткам, Ленин говорил: "Нельзя стать коммунистом, не усвоив всех тех богатств, которые выработало человечество".

Но ведь религия — это и есть самое великое, самое драгоценное из всех богатств, которые выработало человечество.

Вся культура, все лучшее, что было в искусстве, в литературе, — все в конечном итоге имеет свои корни в религии.

Религию поэтому, как и искусство, и литературу, и философию, надо беречь, очищать от плесени, сохранять.

Религия должна быть сохранена, — и она будет сохранена, потому что она есть истина, потому что в ней высшая красота, высшая поэзия, высшая радость жизни.

Это мое глубокое убеждение, и я от него не отступлю никогда.

И я всю жизнь его ни от кого никогда не скрывал и старался строить свою жизнь в соответствии с религиозными принципами, хотя мои старания, к сожалению, не всегда увенчивались успехом, т. к. я имею тысячу грехов, слабостей и недостатков, о которых и понятия не имеет Воскресенский.

И моя работа в школе отнюдь не противоречила моим религиозным принципам. Я старался передать учащимся красоту чудесной русской речи. Я стремился пробудить в них любовь к замечательной русской литературе, которую я страстно любил всю жизнь с детства до сего дня.

Я, наконец, стремился воспитать в них чувство справедливости, гуманности, ненависти ко всякому гнету и патриотизм.

Правда, при этом я не вел никогда антирелигиозной пропаганды, не являясь, впрочем, в этом смысле, особенным исключением из правила, т. к. и большинство учителей ее не ведут, да и не могут вести, если бы и хотели, за недостатком времени.

Итак, вот вам моя исповедь. Можете меня судить!”

Так или примерно так скажу я на этом диспуте.

А что скажет Воскресенский?

А ничего не скажет по той простой причине, что ни на какой диспут он никогда (я в этом заранее уверен) не пойдет и выступить не отважится.

### **Заветный венок**

Религия должна быть сохранена, и она будет сохранена. Ошибкой, однако, было бы думать, что она может быть сохранена без усилий с нашей стороны.

Бог ничего не дает людям даром: все блага, данные Богом (идет ли речь о материальных или духовных благах), человек должен завоевать мужественно, бесстрашно, настойчиво, неустанным трудом, — это же относится и к религии.

Мужественно и бесстрашно, не боясь никаких преследований, должны выступать верующие в защиту своих идей.

И нет лучшей награды и большего почета для верующего, чем увенчаться терновым венком в этой борьбе.

Я кончил. Положил перо и развернул маленький томик Валерия Брюсова, лежащий у меня на столе.

И сразу бросились в глаза стихи:

“В снах утра и в бездне вечерней  
Лови, что шепнет тебе Рок,  
И помни: от века из терний  
Поэта заветный венок!”

Этими словами большого поэта я заканчиваю свой ответ моим врагам.

*20 июня 1960 г.*

25 июня 1960 года этот ответ был вручен мною секретарю редакции журнала “Наука и религия”.

*А. Краснов-Левитин*

## ЛЮБОВЬЮ И ГНЕВОМ

Любовью и гневом спасается мир. Любовь и гнев принес на землю Христос. Любовь и гнев — родные сестры: и где нет гнева, там нет любви.

Великим гневом были исполнены речи древних пророков, именно потому, что сердца их были исполнены великой любви к своему родному народу — и любовь рождала гнев не только к притеснителям народа, но и на самый народ за то, что он не шел стезями правды.

Великим гневом были преисполнены слова Спасителя, когда взирал Он на книжников и фарисеев, отравляющих человеческой ложью живительные источники Божественного Откровения: “И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их...” — говорит евангелист Марк (Мр. 3, 5).

Великим гневом исполнена речь Спасителя, обращенная к книжникам и фарисеям, в которой Он клеймит лицемерных и продажных учителей еврейского народа... вожжами слепых, безумными и слепыми, гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри суть полны костей мертвых, змеями, порождениями ехидны.

Разве не kloкочущий гнев слышится в заключительных словах этой речи: “Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахи, которого вы убили между храмом и жертвенником...” (Мтф. 23, 35). И кому не памятен образ гневного Христа, изгоняющего торгашей бичом из храма, рассыпающего деньги у меняльщиков и окрокидывающего столы (Ин. 2, 15).

Любовь без гнева — маниловщина и бесполезное слюнотечение. Гнев без любви — ненависть, ярость, необузданность, переходящие в жестокость. Гнев без любви — человекоубийство, отцом которого является дьявол.

Любовь без гнева — безразличие к страданиям людей — лицемерие и ложь, отцом которой тоже является дьявол.

Как известно, Л. Н. Толстой, пытавшийся превратить учение Христа из слов жизни в мертвенную бесплодную доктрину, соблаз-

нялся тем, что Христос в Нагорной проповеди сказал: "...всякий гневающийся на брата своего напрасно (только напрасно) подлежит суду" (Мтф., 5, 22), освятив таким образом праведный гнев, направленный против врагов истины, гнев, растворенный любовью, чуждый ненависти и жестокости. Но другой Толстой — великий русский, подлинно христианский поэт А. К. Толстой глубоко почувствовал нравственную диалектику Евангелия и выразил ее в чеканном стихе:

"Господь, меня готовя к бою,  
Любовь и гнев вложил мне в грудь.  
И Он десницею святою  
Мне указал правдивый путь".

### О Патриархе Алексии

Передо мной лежит текст следующего документа:

"Митрополит Крутицкий и Коломенский

. . . . .

Управляющий Московской епархией

16 мая 1966 г.

№ 489.

Священнику Казанской  
церкви Якунину Глебу.

Настоящим сообщается Вам резолюция Святейшего Патриарха Алексия от 13/V 1966 г.

"...Как видно из объяснений священников Н. Эшлимана и Глеба Якунина, соблазнительное упорство в их вредной для церкви деятельности продолжается.

В целях ограждения Матери-Церкви от нарушения мира церковного считаю необходимым освободить от занимаемых ими должностей с наложением запрещения в священнослужении до полного их раскаяния, причем с предупреждением, что в случае продолжения ими их порочной деятельности возникает необходимость прибегнуть в отношении них к более суровым мерам, согласно с требованием правил церковных.

Патриарх Алексий.

13/05.66 г.

Пимен, Митрополит Крутицкий и Коломенский".

Читаю и чувствую, как краска стыда заливает мое лицо. Девять лет назад я принимал участие в приготовлении патриаршего юбилея — восьмидесятилетия со дня рождения. И я написал статью “Первосвятитель Русской Церкви”, посвященную Патриарху Алексию. Напечатанная в “Журнале Московской Патриархии”, она занимает почти весь юбилейный номер журнала, целых два печатных листа (ЖМП, 1957, № 11). Два печатных листа — сорок с лишним страниц — сорок позорных страниц, которые я считаю великим грехом своей жизни, в которых я горячо раскаиваюсь. Однако раскаиваться и отречься мало: надо же наконец понять, кто он, этот старец, занимающий 21 год Патриарший престол Русской Православной Церкви.

Патриарх гордится тем, что родился в аристократической среде. Покойная сестра Патриарха Алексия — Анна Владимировна любила рассказывать о бархатных книгах, в которых записаны Симанские. Как убедился я, работая над биографией Патриарха, дворянский род Симанских возвысился при Екатерине II, выдвинув из своей среды адмирала, все потомки которого служили при дворе. Когда Алексей Симанский в мае 1913 года был рукоположен в епископа Тихвинского, в Синодском офицозе “Колокол” появилась статья Е. Поселянина (известного консервативного духовного писателя). Статья называлась “Исполла эти деспота”. Е. Поселянин прославлял в этой статье аристократическое происхождение нового епископа. В этом он видел его большое преимущество над архиереями — “сыновьями дьячков”. Епископ-барин-де сумеет держаться с представителями власти с большим достоинством, чем попovich-семинарист.

Прав ли был Поселянин? Я очень далек от какого бы то ни было преклонения перед русским дворянством, однако справедливость требует признать, что из дворянской среды выходило немало смелых, честных, неподкупных людей. Дворянину было присуще чувство чести, которое заставляло его не только драться на дуэли, но и воздерживаться от наиболее бесчестных поступков. Аристократ — это, по прежним взглядам, прежде всего человек чести.

Сергей Владимирович Симанский, я уважаю ваш возраст, но истина заставляет меня сказать вам в лицо: вы очень плохой аристократ, и вам совершенно чуждо чувство чести. Вспомните ваше поведение по отношению к Митрополиту Николаю, когда вы заставили его 15 сентября 1960 года подписать прошение об отставке, заверяя его при этом, что он может спокойно ехать отды-

хоть на два месяца в Сухуми, т. к. Синод не будет без него на осенней сессии рассматривать прошение. "Пока мы это прошение положим под сукно, — говорили вы. — Там оно забудется". Между тем Митрополит Николай, приехав в Сухуми, нашел там вашу телеграмму, извещавшую его о том, что его прошение рассмотрено Синодом и отставка принята. Это ли не бесчестный поступок?

А потом, когда низверженный Митрополит в последний год своей жизни жил в Москве на покое, разве вы не делали все от вас зависящее, чтобы отравить ему жизнь? Вы не позволяли ему служить, не приглашали его в Елоховский собор, не позволяли ему даже служить Светлую Заутреню, отравив Митрополиту его последнюю Пасху.

А в дни массового закрытия храмов, когда несчастные иноки, выгнанные из монастырей, когда тысячи пастырей и православных мирян обращали к вам молящие, полные доверия и надежды взоры, — разве сказали вы хоть слово в их защиту? Пошевельнули ли хоть пальцем, чтобы им помочь?

Когда ваш помощник, Митрополит Никодим (он был вам навязан, вы хорошо знаете ему цену), выступил с ложными декларациями по поводу гонений на Церковь, опровергли ли вы его хоть одним словом? Нет. Вы сами не раз выступали с аналогичными заявлениями...

Вы не являетесь человеком сильной воли, и за это, конечно, нельзя вас винить. Однако можно ли объяснить только лишь слабостью воли тот позорный фаворитизм, который процветает при вас и какого не было ни при одном Патриархе. Где, когда было видно, чтобы случайные люди, не облеченные священным саном, вся заслуга которых состоит лишь в личной преданности Патриарху, были фактическими диктаторами, вмешивались во все дела, третировали бы митрополитов, назначали бы архиереев.

В вашем определении по делу двух священников вы ссылаетесь на правила церковные, на каноны. Между тем вся ваша деятельность — это сплошное нарушение канонов Церкви. Я уже не говорю о грубых нарушениях канонического права, которые были указаны в петиции двух священников. Антиканоичность стала до такой степени нормой вашей деятельности, что каждый день приносит все новые и новые случаи нарушения канонов.

Как известно, канонические правила уделяют очень много внимания порядку поставления епископов. Епископы поставляются всеми епископами данной области, причем предусматривает-

ся и консультация с народом: "Подобает определить и сие, — читаем мы в одном из правил, — еще когда приступим к избранию епископа и возникает некое прекословие, понеже были у нас в рассмотрении таковые случаи, дерзновенно будет трем токмо собратися для оправдания имеющего рукоположиться, по выше-реченному числу да присоединится один или два епископа: и при народе, к которому избираемый имеет быти поставлен, во-первых, да будет исследование о лицах прекословящих, потом да присо-вокупится к исследованию объявленные ими, и когда явится чистым пред лицом народа, тогда уже да рукоположится. Все епископы рекли: совершенно согласны" (Карф. Пр. 61). Кто, однако, разрешит поставить на архиерейскую кафедру человека, против которого единодушно возражает вся епархия — абсолютное большинство клириков и мирян.

Между тем такой случай имел место три месяца тому назад, когда Митрополит Антоний Кроцевич вернулся на Тульскую кафедру вопреки всеобщему протесту всего без исключения верующего населения. Этот архиерей, пользующийся единодушным и вполне заслуженным презрением своей паствы, был насильно поставлен на кафедру и в настоящее время он вынужден совершать богослужение под охраной милиции. Все многочисленные просьбы народа не назначать этого непопулярного архиерея на Тульскую кафедру абсолютно ни к чему не привели.

Столь же антиканонично, без всякой консультации с народом и даже не выслушав мнения украинских епископов, вы дали согласие, уступив сделанному на вас давлению, на назначение экзархом Украины молодого епископа Филарета при наличии более достойных кандидатов, которым означенный епископ уступает во всех отношениях\*.

Столь же антиканоничной является и ваша резолюция от 24 декабря 1965 года по поводу петиции двух священников. В этой резолюции вы взяли под сомнение право пресвитеров апеллировать к собору епископов и поставили священникам в вину то, что они разослали копии петиции епископам. Однако правило церковное гласит ясно и определенно: "Аще же некоторые не будучи ни еретики, ни отлученные от общения церковного, ни осужденные или предварительно обвиненные в каких-либо преступлениях, скажут, яко имеют нечто донести на епископа по делам церковным,

---

\* Это еще, впрочем, не самый худший вариант. (Прим. автора.)

таковым святым собор повелевает, во-первых, представить свои обвинения всем епископам области, и перед ними подтвердить доводами свои доносы на епископа, подвергшегося ответу" (Правило 6-е 2 Конст. собора) .

\* \* \*

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ протесты, посылавшиеся со всех сторон, видимо, сыграли свою роль. В своей резолюции от 14 мая 1966 г. вы уже ни словом не упоминаете свое прежнее обвинение, а ставите в вину священникам "вредную для Церкви деятельность".

В чем, однако, эта вредная деятельность выражается?

В том, что они выступают против всем известных зол церковной жизни? Но вы ни одним словом не опровергаете ни одного из утверждений, содержащихся в петиции. Более того, по имеющимся у меня совершенно неопровержимым сведениям, вы сами в частных разговорах подтверждаете правильность выступления двух священников. Или, может быть, их "вредная деятельность" выражается в том, что эти два священника выступают против антиканонического собора 1961 года? Но вы и сами не можете оспаривать антиканоничности этого собора (Ап. 38, 41, Карф. 2) , да и действительно не оспариваете, ни единым словом не возражая против приводимых аргументов. Но вы говорите о "соблазнительном упорстве" пресвитеров. В чем выразилось это соблазнительное упорство и с чего началось это обвинение?..

А началось оно с того, с чего начинаются и кончаются все акции нашей высшей церковной власти.

12 мая 1966 года Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен был вызван в Совет по делам религиозных культов. Вернувшись из Совета в Новодевичий, Митрополит немедленно вызвал двух священников и потребовал от них в экстренном порядке написать объяснение о том — не переменили ли они свои взгляды. Оба пастыря, как честные люди, конечно, тут же подтвердили верность своим взглядам. На другой же день последовало Патриаршее запрещение.

Возникает вопрос, когда и каким образом Патриарх мог убедиться в "соблазнительном упорстве двух священников"? За шесть месяцев, прошедших со времени подачи петиции, Патриарх ни разу не вызвал их, не обратился к ним ни разу ни с каким увещанием. Митрополит Пимен также после 25 декабря ни разу

этих священников не видел и не разговаривал с ними. Видимо, оба иерарха не считали это дело спешным.

Почему же они вдруг всполошились и так экстренно, в течение суток, “испекли” запрещение? Ответ может быть только один. Потому, что 12 мая Митрополит Пимен был вызван в Совет по делам религиозных культов и получил там соответствующие установки. Об этих установках речь впереди, а теперь обратимся вновь к Патриарху.

Ваше Святейшество!

Вы, по милости Божией, достигли очень преклонного возраста. Мы все, в том числе и пишуший эти строки, желаем вам прожить еще долгие-долгие годы и отпраздновать свой столетний юбилей.

Однако сколько бы юбилеев вы ни праздновали, не за горами тот день, когда и вы, как и самый последний нищий, стоящий на паперти Елоховского собора, предстанете пред тем Судом, которого никто и никогда еще не избегал. Этот страшный и праведный Судья, для которого ничего не значат пышные титулы, архиерейские мантии, золотые митры и прочие атрибуты, которые и здесь, на земле, являются самой обыкновенной мишурой, когда им не соответствует духовно-нравственная высота того, кто их носит. Это будет там, в условиях загробного, неземного существования, в том мире, для нас пока закрытом, но реальном, который мы, люди преклонного возраста, так ясно предощуаем.

А что будет на земле? На земле наступит суд истории — тоже суровый и неподкупный суд. Беззащитным и жалким стоите вы в предчувствии этого суда уже сейчас, в наши дни. Если вы внимательно посмотрите вокруг себя, вы увидите скорбные, гневные взоры, которыми окидывают вас все честные люди. Если вы заглянете внутрь себя, вы увидите там беспокойную совесть, которая не перестает вас обличать. Если вы взглянете ввысь, вы найдете там меч божественного Правосудия, уже нависший над вашей седой головой.

В своих речах, обращенных к епископам в день их хиротонии, вы постоянно напоминаете им, что они должны “возгревать в себе Благодать архиерейства”, — и эти слова имеют действительно глубокий богословский смысл, ибо Благодать не действует помимо воли человеческой, ее надо достигать непрерывным трудом.

Сделайте же и вы усилие воли, — стряхните сковывающий вас холодный сон, и да обновится, яко орля, юность ваша.

И первым делом вашего обновления духовного да будет отмена вами вашей резолюции и отеческая беседа с двумя молодыми священниками, в честности и добрых намерениях которых вы и сами не сомневаетесь.

### **Разговор с гражданской властью**

Мы не случайно упомянули о Совете по делам религиозных культов. Никто не сомневается, что это учреждение сыграло во всей этой истории не последнюю роль.

Обратимся теперь к Совету по делам религиозных культов. В газетах, декларациях, речах государственных деятелей часто мелькает термин "морально-политическое единство".

Морально-политическое единство является, действительно, насущным вопросом для всех патриотов. Достижение этого единства (если говорить не о декларациях, а о действительном реальном единстве) является трудным делом. Над ним надо непрерывно работать, его надо непрерывно созидать.

Я хотел бы обратиться с вопросом ко всем советским людям: может ли быть единство, если 30 миллионов человек (такова примерно цифра, составляющая количество религиозного населения в СССР) считают свои права ущемленными? Что надо сделать, чтобы достигнуть единства с этими людьми? Очень немного — осуществить последовательно целиком и полностью закон об отделении Церкви от государства. Надо сделать так, чтобы религиозный человек в нашем обществе не чувствовал себя пасынком, чтобы ему были открыты все дороги, чтобы перед ним были раскрыты все двери. Такой порядок существует во многих социалистических странах: и в Польше, и в Румынии, и в Югославии — в странах, в которых у власти стоят неверующие правительства, совершенно отсутствует малейший признак религиозной дискриминации. Начать с того, что ни в одной из этих стран не было никакого закрытия храмов. В Бухаресте с его менее чем миллионным населением в настоящее время имеется 400 храмов, примерно такое же количество храмов имеется и в Варшаве, и в Будапеште, и в Белграде. И это несмотря на то, что во многих из этих стран духовенство занимает резко оппозиционную платформу по отношению к правительству. Ни в одной из этих стран не существует грубого вмешательства во внутрицерковные дела (в виде

санкционирования священнослужителей), ни в одной из этих стран никого не выгоняют за религиозные убеждения, не разгоняют и не издеваются над монахами, — и что же? Дело морально-политического единства (по крайней мере, в таких странах, как Югославия, и Румыния, и Чехословакия) только выигрывает.

Почему нам не использовать этот опыт, а может быть, не грех и поучиться у этих стран. Понятно, нельзя переносить их опыт в наши условия механически. Мы вовсе не требуем, чтобы государство предоставляло средства на религиозное обучение (как это имеет место, скажем, в Польше). Это было бы не только невозможно, но даже нежелательно, т. к. усиливало бы зависимость религиозной совести от государства. Мы стоим за полное, последовательное отделение Церкви от государства, поэтому нам не нужны никаких привилегий и преимуществ, — мы хотим быть лишь обыкновенными свободными гражданами в свободном социалистическом государстве. Мы не ставим вопрос о религиозном обучении детей, т. к. в настоящее время, в настоящих условиях это было бы нереально. Мы хотим лишь одного: свободного и независимого существования Церкви и всех других религиозных организаций. Мы хотим гарантий против всякого административного произвола и насилия над религиозными людьми.

Петиция двух священников ставит минимальные требования (их — семь), которые могли бы явиться основой для переговоров между государственными органами и религиозной общественностью. Между тем государственные органы в настоящее время, видимо, отклоняют такие переговоры. Почему? Очевидно, потому, что считают вполне достаточными контакты с церковной властью. Слов нет, с послушными чиновниками в рясах и белых клобуках иметь дело легче, чем с мужественными, убежденными людьми. Тем не менее интересы советского государства настоятельно требуют контактов с людьми, выражающими точку зрения широких кругов верующего народа. Церковь есть живой народный организм, и всякие попытки создавать церковные эрзацы всегда кончаются провалом.

Позволю себе привести несколько примеров из недавнего прошлого.

В 20-е годы правительство официально признавало Священный Синод, состоящий из обновленческих архиереев. Во всех официальных документах Синод фигурировал как официальный пред-

ставитель Православной Церкви. С Синодом вели переговоры правительственные инстанции, в ведении Синода находились Соборы, и ему была предоставлена бывшая официальная резиденция Московских Патриархов — Троицкое Подворье. Патриарха Тихона (его именовали "бывшим Патриархом") и его преемников государственная власть просто не замечала и категорически отказывала им в... легализации. Так решила власть, но не так решил народ. Он отхлынул от обновленцев, и они остались одни в пышных пустых соборах и в своих резиденциях, — и советское правительство в 1943 году вынуждено было отказаться от обновленцев и дать согласие на восстановление Патриаршества.

Можно привести пример из более близкого времени. Как известно, в послевоенное время играл большую роль в борьбе за мир Митрополит Николай. В его деятельности, конечно, было немало ошибок (не ошибается тот, кто ничего не делает), но в целом она имела положительный характер. Во всяком случае, несомненно, она была очень полезна для советского государства. Все выступления Митрополита Николая на международных ассамблеях имели широчайший резонанс и сплачивали религиозных людей в борьбе за мир. При этом надо сказать, что Митрополит работал совершенно один, имея при себе лишь двух-трех помощников.

Митрополит Николай занял, однако, независимую позицию во время начавшегося в 1958 году нажима на Церковь — и заплатил за это своим высоким положением. Его место занял податливый и на все готовый Митрополит Никодим. Новый Митрополит организовал Иностранный отдел, состоящий из нескольких десятков дармоедов, которые составляют никому не нужные картотеки и отвечают на никому не нужные письма. Он организует по всем правилам парадной показухи пышные банкеты и приемы. А в результате? Результат такой, что движение за мир в его религиозном секторе, организованное с таким трудом, полностью и целиком распалось (от него остался лишь жалкий огрызок в виде Пражского христианского движения за мир).

Ездит в вагонах первого класса, летает на самолетах по всему миру Митрополит Никодим, читает по машинописному тексту свои речи, грубо и неумело составленные, хитрит, разыгрывает из себя дипломата, — и решительно никто не обращает на него никакого внимания. И хорошо еще, если не обращают внимания —

бывает и хуже, бывает, что он становится мишенью злобных выходов и международным посмешищем\*.

Спрашивается, выиграло ли что-либо государство, поставив у руля правления Церкви столь одиозного человека, как Митрополит Никодим? Несмотря на свои способности и большой ум, он не приобрел никакого авторитета и развалил важное и полезное дело. Это Митрополит Никодим — человек выдающегося таланта. Что же сказать о его бесталанных соратниках? Одно следует сказать: коэффициент их полезного действия в пользу государства можно обозначить, написав круглый ноль.

Государственной необходимостью является экстренное урегулирование религиозного вопроса на основе самой широкой консультации не только с официальными органами церковной власти, но и религиозно-общественными кругами. Как было сказано выше, петиция двух священников может быть основой для переговоров. Кроме того, в ближайшее время я намерен представить (как и всякий гражданин Советского Союза, я имею на это право) в Президиум Верховного Совета СССР и ЦК КПСС проект законодательных актов, необходимых для урегулирования церковного вопроса.

Что сказать о современном моменте?

Всякий внимательный наблюдатель легко заметит наличие противоречивых тенденций и недостаточную продуманность в религиозной (или антирелигиозной) политике.

В последнем Указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 года имеется статья, которую в принципе можно лишь приветствовать:

“Отказ гражданам в приеме на работу или в учебные заведения, увольнение с работы или исключение из учебного заведения, лишение гражданских установленных законом льгот и преимуществ, а равно иные существенные ограничения прав граждан в зависимости от их отношения к религии... является нарушением законов об отделении Церкви от государства, влекущим уголовную ответственность по статье 142 Уголовного Кодекса РСФСР”.

Мы намерены испытать действенность и серьезность этого постановления и обратиться к директору 116 школы рабочей молодежи города Москвы и в Министерство просвещения РСФСР с

---

\* Наш прогноз в отношении деятельности Митрополита Никодима оказался не совсем верным.

требованием восстановить пишущего эти строки в должности учителя этой школы. Полное и безоговорочное соблюдение этого постановления означало бы конец религиозной дискриминации в нашей стране и было бы большим шагом вперед в религиозном вопросе, урегулирование которого в интересах как верующих людей, так и советского государства.

### **Гневом или любовью? Раскол или разномыслие?**

ПАТРИАРХ упрекал в своей первой резолюции от 24.12.1965 года священников, авторов петиции, в попытке нарушить церковный мир. Пишущему эти строки также пришлось испытать немало подобных упреков.

Особенно много упреков по моему адресу доносилось из кругов Московской духовной академии, преподаватели которой, как видно, были раздражены моими указаниями на плохое качество их преподавания и на низкий уровень знаний некоторых их воспитанников. В стенах Академии началась шумная кампания, направленная против меня. В эту кампанию включился сам преосвященный ректор, предложивший преподавателям во время очередного чаепития в профессорской следить, на кого именно в Академии я имею влияние.

Должен покаяться — мне не стоило никакого труда не обратить никакого внимания на всю эту неумную шумиху. Как говорил А. К. Толстой:

“Не мню, что я Лаокоон,  
Во змей упершийся руками,  
Но скромно зрю, что осажден  
Лишь дождевыми червяками”.

Если можно так отшучиваться в плане личном, то нельзя не реагировать на упреки в нарушении церковного мира. Наоборот, этот вопрос во всех отношениях очень серьезный. Как всем известно, я принимал активное участие в обновленческом расколе, долгие годы я наблюдал раскол, находясь в самой его сердцевине. Я более чем кто-либо другой знаю, каким страшным злом раскол является. Положа руку на сердце, призывая в свидетели Предвечного Бога, я заявляю, что ни я, ни кто-либо из людей моего образа

мыслей не хочет раскола. Думаю, что менее всего хотят раскола священники-авторы петиции: они являются богобоязненными, покорными, послушными сынами Церкви. Однако когда нас лишают права критиковать явно гибельные меры князей Церкви, означающие собой прямое извращение всех церковно-канонических норм, и все это якобы во имя церковного мира, — то мы отвечаем, что подобная постановка вопроса означает предложение самоубийства из страха смерти. Более того, подобная постановка вопроса означает измену Православию. Как известно, тем и отличается Православная Церковь от католической, что она не признает догмата непогрешимости ни по отношению к Папе, ни по отношению к Патриарху. Более того, люди, отрицающие за нами право обличать явные вины церковной власти, предлагают ухудшенный вариант папизма. Как известно, догмат папской непогрешимости требует безоговорочного признания лишь тех высказываний Папы, которые относятся к вопросам веры и нравственности и делаются *ex cathedra*. Это не мешает, однако, иной раз очень резкой критике политики Ватикана, исходящей из католических кругов. И Папа Пий XII, и Папа Иоанн XXIII сталкивались не раз с такой критикой: им не раз подавались петиции и открытые письма, и ни разу ни одному из них не пришлось в голову ответить на эту критику каким-либо прещением.

Исторический парадокс. Римские Папы в XX веке спокойно выслушивают критику, а православный Патриарх отвечает на критику запрещением и угрозами и считает всякую критику своих действий "вредной для Церкви деятельностью".

Нет, Ваше Святейшество, не удастся Вам навязать православной Руси догмат непогрешимости — и уж во всяком случае, Вас никто не будет считать непогрешимым.

\* \* \*

Патриарх Алексей ссылается в своей резолюции на каноны.

Побеседуем и мы о канонах. Всякое право представляет собой своеобразный договор между государством и гражданами. Граждане должны соблюдать законы, а государство не должно ими злоупотреблять. На этих же позициях стоит и христианская нравственность и величайший ее провозвестник, Апостол Павел.

Христианин подчиняется всякой власти, рассматривает ее как

происходящую от Бога. Однако когда власть требует от христианина чего-либо противоречащего его христианской совести (допустим, отречения от веры), вступает в силу другой принцип: "Нельзя слушать людей более, чем Бога". На этом же принципе строится и семейная жизнь христианина. Муж должен любить жену, как Христос возлюбил Церковь, но и жена должна бояться мужа, как Церковь боится Христа (боится оскорбить Того, Кто так любит нас). Нарушение этого обязательства с одной стороны делает невозможным его соблюдение другой: очень понятно, что княгиня Анна Кашинская уважает, любит, видит духовного руководителя в своем муже св. Михаиле Тверском, мученике и герое, положившем жизнь свою за веру и Русь в Орде (она боится причинить ему малейшую скорбь и боль), и вряд ли можно поставить в вину жене, если она не подчиняется, не боится мужа, который требует, чтобы она сняла с себя крест, или требует, чтобы она продавала себя другим мужчинам (в Англии был в двадцатых годах сенсационный процесс на этой почве).

Церковные каноны существуют для блага Церкви, для ее защиты, для укрепления ее нравственного начала. Когда же их употребляют в явно безнравственных целях — с целью развращения и опошления Церкви, — смертный грех им подчиняться. Это есть извращение евангельского духа, победа лжи над истиной, служение сатане.

Патриарх грозит в своей резолюции новыми прещениями в адрес двоих священников за то, что они сказали правду. Мы не знаем, конечно, какую позицию займут два священника перед лицом этих угроз, мы не полномочны говорить от их имени и не можем предвосхищать их действий. Мы, однако, должны сказать, что, каковы бы ни были резолюции Патриарха, мы никогда не признаем этих священников лишенными сана и не будем признавать никакой силы за патриаршей резолюцией или указом.

Святой Дух не слуга Патриарха, а он слуга Святого Духа. И если он, Патриарх, плохой и недостойный слуга, Святой Дух осеит более достойных служителей, епископов, ибо не свет клином сошелся в Чистом переулке.

Мы выражаем свой гнев и возмущение и могли бы поставить здесь точку. Но теперь вступает в свои права любовь. Нет, не хотим мы раскола, а хотим братского единения со всей Церковью. Это единение и при разномыслии возможно, и примером тому может служить современная католическая Церковь, в которой мирно

уживаются два течения — интегралистское и модернистское. Неужели же мы, православные, окажемся менее проникнутыми духом любви, чем католики?

Пусть же Патриарх имеет терпение и смирение выслушивать правдивую критику в свой адрес и пусть отвечает на нее не прещениями, а разъяснениями.

И все его обращения будут встречены с любовью.

Итак, гневом или любовью, путем терпеливого улаживания разногласий или путем прещений, которые неминуемо приведут к расколу?

Выбор зависит от Патриарха.

*А. Краснов*

*21 мая 1966 г. Москва.*

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| ВВЕДЕНИЕ. В поисках Нового града. . . . .            | 3   |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ. Возвращение. . . . .                   | 5   |
| ГЛАВА ВТОРАЯ. Больше света . . . . .                 | 18  |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Ante lucem . . . . .                   | 27  |
| Интермеццо. И творчество, и чудотворство . . . . .   | 59  |
| ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. После стихов — проза. . . . .       | 75  |
| ГЛАВА ПЯТАЯ. На пороге шестидесятих . . . . .        | 91  |
| Интермеццо. Гамлет . . . . .                         | 106 |
| ГЛАВА ШЕСТАЯ. Живым и только до конца . . . . .      | 118 |
| ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Живым и только до конца . . . . .     | 132 |
| Интермеццо. На смерть иерарха . . . . .              | 140 |
| ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Новые времена — новые песни . . . . . | 147 |
| Интермеццо. Запоздалый ответ. . . . .                | 171 |
| ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. В единоборстве . . . . .              | 174 |
| Интермеццо. Апостол Фома . . . . .                   | 198 |
| ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. В зените . . . . .                    | 220 |
| ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Контрапункт . . . . .            | 247 |
| Интермеццо. Лицом к лицу . . . . .                   | 260 |
| ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Петиция . . . . .                 | 271 |
| Христос!. . . . .                                    | 297 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### САМИЗДАТ

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Библиографические заметки . . . . .          | 303 |
| Еще раз о Дулумане . . . . .                 | 368 |
| Мой ответ журналу "Наука и религия". . . . . | 372 |
| Любовью и гневом . . . . .                   | 396 |